ISSN 0130-6545

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[2] 2003

"НЕИСЧЕРПАЕМАЯ АВСТРИЯ": РОМАН КРИСТОФА РАНСМАЙРА "УЖАСЫ ЛЬДОВ И МРАКА" / ФРАНЦ КАФКА "ПИСЬМА ФЕЛИЦИИ" / ИНГЕБОРГ БАХМАН В РУБРИКЕ "ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ" / "ПЛЕМЯННИК ВИТГЕНШТЕЙНА" ТОМАСА БЕРНХАРДА / РАССКАЗЫ ПЕТЕРА ХАНДКЕ, ХАЙМИТО ФОН ДОДЕРЕРА, ДАНИЭЛЯ КЕЛЬМАНА / СТИХИ ФРИДЕРИКИ МАЙРЕКЕР

Основан в 1891 году

*Неисчерпаемой назвал Австрию прусский король Фридрих II, которого поражало, каким богатством "подпитываемых источников" обладает эта империя, остающаяся могучей наперекор своим министрам, готовящим ей погибель. История империи закончилась с Первой мировой войной, и повинны в этом были, разумеется, не только и даже не столько австрийские министры. Однако случилось так, что стагнация, а затем крушение империи совпали с необыкновенным расцветом австрийской литературы, с эпохой Райнера Марии Рильке и Франца Кафки, Роберта Музиля и Германа Броха. И никакие последующие исторические пертурбации не смогли остановить поступательный ход развития этой литературы, которая все так же изумляла мир богатством талантов, напряженностью творческих поисков, глубоким своеобразием художественного мышления. Имена таких австрийских писателей недавнего (или совсем близкого) прошлого, как Хаймито фон Додерер, Ингеборг Бахман, Томас Бернхард – все они широко известны в нашей стране, – говорят сами за себя.*

*Этот номер "ИЛ", как мы надеемся, покажет читателю, что звездный час австрийской литературы не закончился, что она остается неисчерпаемой: в ней есть и яркие писательские индивидуальности, и сложность, значительность духовных, этических, культурных проблем, которые волнуют австрийских авторов. На страницах номера представлены и мастера, по праву считающиеся, как Кристоф Рансмайр или Петер Хандке, современными классиками, и ушедшие корифеи, чье присутствие по-прежнему ощутимо в сегодняшней литературной ситуации, и писатели, весомо заявившие о себе в последние годы. Мы верим, что эта книжка "ИЛ" станет еще одним свидетельством тому, что "подпитывающие источники" австрийской культуры не оскудевают.*

[2]
2003

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Номер издан при поддержке Культурного Форума Посольства Австрии в РФ и Министерства образования, науки и культуры Австрии

## "НЕИСЧЕРПАЕМАЯ АВСТРИЯ"

3 Кристоф Рансмайр. *Ужасы льдов и мрака.* Роман. Перевод Н. Федоровой

72 Петер Хандке. *Опыт познания природы jukebox.* Эссе. Вступление и перевод Г. Косарик

112 Фридерика Майрёкер. *Стихи и эссе.* Вступление В. Куприянова. Перевод Е. Соколовой и В. Куприянова

116 Даниэль Кельман. *Под солнцем.* Рассказ. Перевод А. Кацуры

128 Карл Любомирский. *Стихи.* Вступление и перевод Е. Соколовой

Вглубь стихотворения

131 Ингеборг Бахман. *Что истинно. Слова.* Вступление Елизаветы Соколовой

Из классики XX века

144 Томас Бернхард. *Племянник Витгенштейна.* История одной дружбы. Перевод и послесл[illegible] Т. Баскаковой

204 Хаймито фон Додерер. *Рассказы.* Вступление и перевод В. Седельника

Эпистолярий

212 Франц Кафка. *Из писем Фелиции Бауэр. 1912–1913.* Вступление, перевод и примечания М. Рудницкого

Статьи, эссе

280 Марианна Грубер. *Два плюс два лишь изредка четыре.* Перевод Е. Кацевой

Наши интервью

286 *"Высказать невысказываемое, произнести непроизносимое..."* С австрийской писательницей Эльфридой Елинек беседует Александр Белобратов

Курьер "ИЛ" 293

Австрийская литература на страницах "ИЛ" 296

Авторы номера 299

© "Иностранная литература", 2003

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
*заведующая отделом критики и публицистики*

Л. Н. Васильева
*заведующая отделом художественной литературы*

Т. А. Ильинская
*ответственный секретарь*

А. Я. Ливергант
*заместитель главного редактора*

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

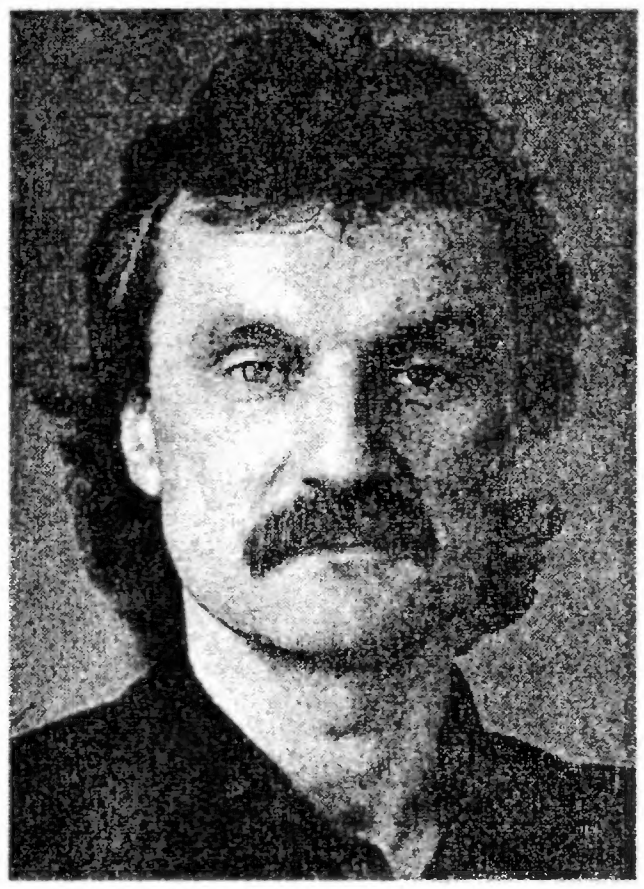
Редакция :

О. Г. Басинская
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует МДМ Банк (Московский деловой мир).

# Кристоф Рансмайр



# *Ужасы льдов и мрака*

Роман

*Перевод* Н. Федоровой

Посвящается Пиццо

## *Прежде всего*

ЧТО же в конце концов получилось из тех рискованных предприятий, которые вели нас через обледенелые перевалы, через дюны, а зачастую прямиком по шоссе? Мы держали путь через мангровые леса, и травянистые степи, и открытые всем ветрам безлюдные пустыни и ледники, через океаны, а потом и сквозь облака, к все более отдаленным внутренним и внешним целям. Нам недостаточно было просто переживать свои приключения, мы представляли их общественности, по крайней мере на открытках и в письмах, главным же образом в скверно иллюстрированных репортажах и очерках, втайне укрепляя иллюзию, что и самое отдаленное не менее доступно, чем какой-нибудь развлекательный комплекс, сверкающий огнями луна-парк, — иллюзию, что благодаря стремительному развитию средств передвижения наш мир уменьшился и, скажем, путешествие вдоль экватора или к земным полюсам отныне исключительно вопрос финансирования и увязки вылетов. Но это заблуждение! Ведь авиалинии в поистине абсурдном масштабе сократили для нас лишь длительность путешествий, а не расстояния, которые по-прежнему огромны. Не стоит забывать, что авиалиния действительно только линия, но не дорога, а мы, с точки зрения физиогномики, пешеходы.

© 1984 by Christian Brandstätter Verlag & Edition, Wien
© Н. Федорова. Перевод, 2003
Отдельным изданием роман выйдет в издательстве "Эксмо".

# 1. *Отлучить от мира сего*

Йозеф Мадзини часто странствовал в одиночку и, как правило, пешком. В пеших походах мир для него не уменьшался, а, наоборот, увеличивался и стал наконец таким огромным, что поглотил его.

Арктической зимой 1981 года Мадзини, тридцатидвухлетний турист-пешеход, пропал во льдах Шпицбергена. Прискорбная гибель, однако же случай, безусловно, сугубо приватный. Еще один без вести пропавший — что тут особенного? Но когда человек пропадает, не оставив и крупицы осязаемого праха, то бишь ничего, что можно сжечь, утопить или закопать, его можно навек отлучить от мира сего только постепенно — в историях, которые о нем начинают рассказывать после исчезновения. *Жить дальше* в таких рассказах пока никому не удавалось.

Мне часто бывало не по себе оттого, что начало, да и конец всякой истории, если достаточно долго следить за ее ходом, так или иначе теряется в просторах времени, — но поскольку вообще невозможно сказать все необходимое и поскольку, чтобы прояснить ту или иную судьбу, наверняка хватит одного столетия, я начну у моря и скажу так: март 1872 года, яркий ветреный день на адриатическом побережье. Быть может, и тогда чайки, словно изящные бумажные змеи, парили на ветру над набережными, а в небесной синеве скользили белые клочья разорванной вешними вихрями облачной гряды — я не знаю. Однако доподлинно известно, что в этот день Карл Вайпрехт, лейтенант императорско-королевского австро-венгерского военно-морского флота, держал речь и происходило это возле управления порта, в городе, который итальянцы называют Фиуме, а хорватское население — Риека. Рассказывал же он матросам и разношерстной портовой публике об опасностях Крайнего Севера.

Я долго не расставался с мыслью, что во время пространной речи Вайпрехта внезапно хлынул весенний дождь и в ровном, утешном его шуме кое-кто из слушателей-матросов вполне мог улизнуть, не вызывая ни малейших нареканий, а ушли они потому, что устрашились картин, какие живописал лейтенант. Вайпрехт говорил о далеких краях, где холодное солнце месяцами кружит над мореходом, вовсе не опускаясь за горизонт; осенью же начинает темнеть, и в конце концов, опять-таки на месяцы, воцаряются в тех местах мрак полярной ночи и несказанная стужа. Вайпрехт говорил о великом одиночестве корабля, что, вмерзнув в паковый лед, дрейфует в неизведанном море — отданный произволу течений и *сжатиям льдов*, от которых многотонные ледяные поля трескались и льдины громоздились одна на другую, торосами вышиною с дом! Эта могучая стихия, бывало, словно модели из хрупкого шпона, раздавливала даже обшитые сталью корпуса шхун и фрегатов. У путешественника, попавшего в те края, треск и скрипы оцепенелой зыби Северного Ледовитого океана иной раз пробуждают самые потаенные страхи, и все же он зачастую вынужден годами оставаться в этом мире, запертый среди торосов, уповая лишь на собственную выносливость.

Но тут в речи Вайпрехта произошел неожиданный поворот, который представил полярные ужасы в совершенно ином свете и так заворожил по крайней мере нескольких матросов, что они потом явились к господину лейтенанту в управление порта и сказали вот что:

*Безотрадное однообразие арктической экспедиции, мертвящая тоска нескончаемой ночи, чудовищный холод – все это перепевы праздных рассуждений, какими цивилизованные народы привыкли соболезновать бедным полярным путешественникам. Однако соболезновать можно лишь тому, кто не в силах побо-*

*роть воспоминания о покинутых удовольствиях и, оплакивая себя и свой жестокий удел, считает дни, которым еще суждено пройти до часа возвращения. Такому лучше спокойно сидеть дома и возле теплой печки приятно щекотать себе нервы чужими, в воображении, наверное, преувеличенными мытарствами. Для того же, кто увлечен созиданием и многоликостью природы, холод не так ужасен, чтоб невозможно было его вынести, а длинная ночь не так длинна, чтоб однажды не прийти к концу. Тоску испытывает лишь тот, кто несет ее в самом себе и не умеет найти занятия, которое помешает духу ужасаться и тем приводить себя в бедственное состояние.*

На бремерхафенской верфи "Текленборг и Бойрман", закончил свою речь Вайпрехт, под его руководством построен корабль – "Адмирал Тегетхоф", трехмачтовый барк водоизмещением двести двадцать тонн, оснащенный вспомогательной паровой машиной и необходимой защитой против льда. Уже в июне "Адмирал Тегетхоф" выйдет в море, возьмет курс на мыс Нордкап, а оттуда все дальше на север в неизведанные воды к северо-востоку от российского архипелага Новая Земля. Стало быть, те из присутствующих матросов, что здоровы, не страшатся Ледовитого океана и готовы на два с половиною года расстаться со всем родным и близким, пусть зайдут к нему в управление порта – на предмет участия в *императорско-королевской австро-венгерской полярной экспедиции.* Он, Вайпрехт, будет командовать на "Адмирале Тегетхофе"; *на суше* начальником будет его товарищ, обер-лейтенант Юлиус Пайер.

На Адриатике все шло своим неспешным, утомительным чередом, нанимали команду, готовились к разлуке, а в Вене аристократический *Полярный комитет* во главе с влюбленным в приключения графом Хансом Вильчеком изыскивал средства на финансирование экспедиции, ну а обер-лейтенант Юлиус Пайер писал письма в южный Тироль.

*Дорогой Халлер!*

*Очень рад, что наконец-то разыскал тебя и что ты так скоро мне ответил.*

*Я намерен отправиться в путешествие года на два с половиной, причем в весьма студеные края, где людей нет, одни только белые медведи, а солнце то неутомимо светит по нескольку месяцев кряду, то, опять же по нескольку месяцев, не светит вовсе.*

*Иными словами, я еду в полярную экспедицию.*

*1. Я полностью, без каких-либо удержаний, оплачу тебе дорогу из Санкт-Леонхарда до Бремерхафена, где мы взойдем на корабль.*

*2. Служба твоя начнется в конце мая. К этому времени ты должен прибыть в Вену.*

*3. Два с половиною года ты останешься при мне.*

*4. Я целиком обеспечу тебя одеждой, оружием и питанием; кроме особых наградных за особые заслуги, ты получишь по крайней мере 1000 гульденов[1] ассигнациями, из коих часть может быть выплачена еще до отъезда.*

*Прошу тебя, Халлер, подыскать еще одного человека, опытного в горных восхождениях, порядочного, уживчивого, работящего, из тех, что не падают духом и остаются стойки, сколь бы велики ни были лишения, и надобно ему быть хорошим охотником; условия те же, какие я выше изложил тебе. По возвращении ты дополнительно получишь в подарок отличное ружье системы "Лефошё" (штуцер, заряжается с казенной части).*

*Напиши, стало быть, не откладывая и непременно сыщи второго человека, за которого можешь поручиться, что он подходит.*

*Нас ждут опасности и холод – не пугает ли это тебя? Сам я дважды благополучно участвовал в таких экспедициях, а что могу я, сможешь и ты.*

*Твой друг Пайер*

1. Гульден (= 100 крейцеров) – до 1892 г. денежная единица Австро-Венгрии. (*Здесь и далее – прим перев.*)

# 2. *Пропавший без вести.* Биографические сведения

Йозеф Мадзини родился в 1948 году в Триесте, в семье обойщика Каспара Мадзини, уроженца Вены, и его жены Лючии, триестинской художницы-миниатюристки. В первые же дни после его рождения многонедельный спор в доме обойщика достиг своей высшей точки: мать, восторженная итальянка, тщетно отбивалась от немецкого имени Йозеф. Однако обойщик, который уже тогда страдал болезнью глаз и по причине слабеющего с каждым годом зрения делался все более несносным, и на этот раз остался глух ко всем возражениям и мольбам. Рос Йозеф Мадзини в квартире, отделенной от отцовской мастерской лишь раздвижною перегородкой, и воспитывали его на двух родительских языках с таким усердием, что сей наследник, которого прочили для *лучшего будущего*, очень скоро начал жить не только наперекор отцовским планам, но и наперекор любым предписаниям вообще. Стал *трудным*.

В ранних рассказах матери, урожденной Скарпа, мир был альбомом, который можно листать. Лючия Мадзини неутомимо старалась смягчить сына. И рассказывала она много. В послеобеденные часы день сегодняшний зачастую был всего-навсего шумом работы, проникавшим иногда сквозь раздвижную перегородку, а за кухонным столом царило прошлое, могучее и живописное. Из семейства Скарпа вышло много моряков, рассказывала Лючия, штурманов, капитанов! К примеру, Лоренцо — прежде чем был убит в Порт-Саиде, он совершил семнадцать кругосветок; или Антонио, двоюродный прадед Антонио Скарпа! Вместе с австрийской экспедицией, которая по правде-то почти сплошь состояла из матросов-итальянцев, он добрался до самого Северного полюса и нашел там горный кряж из льда и черного камня, сверкающую землю под незакатным солнцем. Но корабль, весь покрытый ледяными кристаллами, вмерз во льды, и в конце концов Антонио воротился из этих глухих краев пешком по застывшему морю. Ужас как он настрадался. Рассказывая о многотрудном пути Антонио Скарпы сквозь льды, мать иной раз порывисто сплетала руки над головой и смотрела как-то странно. Италия была огромна. Италия была повсюду! И Лючия, уже не находившая радости в своем венском обойщике, утешала этим и себя, и сына. Школьник Мадзини познакомился с *героями*. И в том числе узнал о судьбе красавца генерала Умберто Нобиле, уроженца городка Авеллино, — художница-миниатюристка наверняка не раз о нем мечтала. В мае 1926 года Нобиле вместе с покорителем Южного полюса Руалом Амундсеном, американским миллионером Линкольном Элсуортом[1] и еще двенадцатью товарищами стартовал на дирижабле со Шпицбергена, перелетел через Северный полюс и целый-невредимый приземлился на Аляске в затканном золотой нитью парадном мундире. А спустя два года Лючия, девочка в белом платьице, с флажком в руке, своими глазами (!) видела, как Милан провожал Нобиле в его второй полет к полюсу. Какое торжество! Дуче[2] тоже присутствовал. Однако тот долгий апрельский день миновал, а дирижабль генерала Нобиле "Италия" так и не

1. Линкольн Элсуорт (1880—1951) — американский исследователь Антарктики, горный инженер, полярный летчик, участник перелета Р. Амундсена через Северный полюс на дирижабле "Норвегия", которым командовал У. Нобиле.
2. Дуче — Бенито Муссолини (1883—1945), фашистский диктатор Италии в 1922—1943 гг.

поднялся в миланское небо. До поздней ночи оставался пришвартован к мачте, и толпы уже потихоньку разбрелись, когда исполинская тускло-серебристая сигара "Италии" зловеще медленно освободилась от своих пут и взмыла во мрак. Лючия тогда дождалась этого дивного, неповторимого мгновения — стоя на цыпочках, вытянув вверх руку, она размахивала в ночи бумажным флажком и от восторга даже впилась зубами в побелевший кулачок. Но из этого приключения Лючиин герой вернулся совершенно другим — сломленным неудачником, и впоследствии художнице-миниатюристке лишь с большим трудом и вопреки общественному мнению удалось сохранить в памяти образ его былого величия. Вот об *этой-то* трагедии Йозеф Мадзини и услышал в доме обойщика. И хотя к тому времени крушение "Италии" отошло в далекое прошлое, давно уже смерть унесла погибших, а уцелевшие герои почти канули в забвение и Вторая мировая война успела перевести все арктические и прочие приключения в разряд смехотворных авантюр, — в жизни Мадзини это была как-никак первая трагедия, которая обескураживала его и вызывала дурные сны. Ведь в рассказах о гибели экспедиции "Италии" Мадзини впервые начал осознавать, что смерть вправду существует. И это пугало его. Что же это за океан, где герои превращались в подонков, капитаны — в людоедов, а дирижабли — в обледенелые лохмотья?

Думается, тогда-то Мадзини (сколько лет ему было — двенадцать или меньше?) и начал складывать свои первые, смутные представления об Арктике в картину холодного, блистающего мира неумолимостей — мира, в пугающей пустоте которого возможно все что угодно и мечтать о котором в доме обойщика дерзали только украдкой и чуточку старомодно. Красоты в этой картине не было. Но она дышала такой мощью, что Мадзини сохранил ее на долгие годы.

Обойщик не любил слушать истории, какие жена рассказывала наследнику. Обзывал Лючиных героев идиотами, самого Нобиле порой ругал фашистом, однако ж фотографическую открытку, изображавшую генерала возле причальной мачты дирижабля в шпицбергенском поселке Ню-Олесунн, не трогал — много лет она висела пришпиленная к раздвижной двери мастерской. Когда открытку наконец сняли, на двери остался светлый прямоугольник, будто окошко в иной мир; Йозеф Мадзини к тому времени давно перебрался в Вену. Распростившись с Триестом, он пресек и вконец безнадежный родительский спор о своем будущем, в гости заезжал все реже и наотрез отказывался вновь занять надлежащее место *наследника*. Отъезд Мадзини в Вену, возможно, был как-то связан с упорными отцовскими помыслами о бегстве, ведь в свои дурные дни отец вечно проклинал Триест и рассуждал о возвращении в родной город; свою роль сыграла, пожалуй, и немногочисленная полузабытая родня, которая держала в Вене на Талиаштрассе фруктовую лавку и на первых порах помогала итальянскому племяннику, хотя и без особого энтузиазма, — так или иначе, Мадзини был в Вене и, если не считать утомительных разъездов, не делал поползновений вернуться обратно в Триест или отправиться куда-нибудь еще. Он *водворился здесь*, так он говорил, вероятно на том немецком, какой усвоил от отца.

Мадзини снял комнату у вдовы мастера-каменотеса, эпизодически подрабатывал шофером в транспортно-экспедиционной фирме, где один из друзей родни служил бухгалтером, позднее попутно привозил дальневосточный антиквариат — безделушки из фарфора, нефрита и

слоновой кости, за которые платили черным налом, и много читал. Каменотесова вдова целыми днями сидела за неуклюжей вязальной машиной, предлагала жильцу весьма диковинные шерстяные одеяния и нередко часами смотрела в окно на непроданные мужнины надгробия, до сих пор хранившиеся на задворках. Камень порос мхом.

Я познакомился с Йозефом Мадзини дома у Анны Корет, владелицы книжного магазина; написав этнографическую работу об одном из самоедских племен сибирского побережья Северного Ледовитого океана, эта женщина вошла в университетские круги, а затем специализировала свой магазин на этноисторической литературе и путевых записках. В своей темной, просторной венской квартире на Рауэнштайнгассе хозяйка магазина от случая к случаю давала ужины для солидной клиентуры. В такие вечера много рассуждали о рукописях, о редких изданиях и пили дешевое итальянское вино. На Рауэнштайнгассе можно было узнать самые невероятные подробности о возникновении различных книг, о годах публикации, об оформлении и переплетах, но — почти ничего о людях, читавших такие книги. Мадзини — однажды Анна Корет пригласила его на такое вечернее собрание и представила как *своего Йозефа* — был исключением. Он много говорил о себе. Причем на изысканном немецком, сразу выдававшем свое эмигрантское происхождение. К примеру, еще новичком на Рауэнштайнгассе Мадзини употреблял старомодные слова вроде "синематограф", говорил "на сей конец", "высокие помыслы", "следственно" или "телефонировать".

В ту пору я превратно истолковал его свободный от акцента лексикон как составную часть нарочито претенциозной беседы — тем более что и предметы, о которых он говорил, в кружке Анны Корет казались странными и чудаковатыми. Он, говорил Мадзини, как бы заново набрасывает прошлое. Придумывает истории, изобретает ход действия и события, записывает все это, а после проверяет, нет ли в далеком или недавнем прошлом каких-нибудь *реальных* предшественников либо соответствий для персонажей его фантазии. Метод, по сути, тот же, говорил Мадзини, каким пользуются сочинители романов о будущем, только с обратным временны́м направлением. В результате он имеет преимущество — возможность проверить жизненность своих фантазий посредством исторических изысканий. Ведет игру с реальностью. А отталкивается от того, что все, о чем бы он ни фантазировал, когда-то наверняка уже произошло. "Ага, — говорили на Рауэнштайнгассе итальянцу, который в своем непомерно просторном вязаном пуловере важно восседал за столом и *хлестал* красное вино, — ага, очень мило, даже вроде бы знакомо", но ведь придуманная история, которая некогда произошла на самом деле, не будет абсолютно ничем отличаться от обыкновенного *пересказа*; никто не оценит такой вымысел по достоинству, всяк решит, что перед ним просто-напросто изложение фактов. Это не важно, ответил тогда Мадзини, ему вполне достаточно приватного, тайного доказательства, что он сумел создать реальность.

По-моему, именно Анна Корет (она была почти на голову выше своего Йозефа, на *ее* голову) в конце концов убедила выдумщика забыть о приватности и тайности игр его фантазии и познакомить с ними публику. (Так или иначе, мадзиниевские истории от случая к случаю печатались в тех немногих журналах, что продавались в книжном магазине Корет и, окруженные плотными рядами исторических трудов, представляли там современность.) Мадзини по-прежнему нет-нет да и шо-

ферил в экспедиционной фирме, на дальних перевозках, по-прежнему снабжал статуэтками падкую до антиквариата буржуазию и писал рассказы, место действия которых зачастую можно было отыскать на карте лишь приблизительно. По его хотению тонули в далеких морях рыболовные катера, вспыхивали в азиатской глуши степные пожары, а порой он как *очевидец* рассказывал о караванах беженцев и боях где-то там, далеко-далеко. Причем грань между фактом и вымыслом оставалась незрима.



"Для жажды развлечений и без того все едино, — якобы позднее записал Мадзини в одном из своих полярных дневников (океанограф Хьетиль Фюранн из шпицбергенского шахтерского поселка Лонгйир переслал их Анне Корет), —...наверное, мечтать после работы о переходах через джунгли, о караванах или о сверкающих плавучих льдах заставляет нас все та же стыдливая готовность сбежать от будней. Куда мы не добираемся сами, туда посылаем заместителей — репортеров, которые потом рассказывают нам, как все было. Но большей-то частью было как раз *не так*. И о чем бы нам ни сообщали — о гибели Помпей или о теперешней войне на рисовых полях, — приключение остается приключением. Ведь нас уже ничто не трогает. И нас не просвещают. Не пытаются расшевелить. Нас развлекают..."

Чем больше Мадзини увлекался тогда идеей вправду разыскать свои фантазии в реальности, тем чаще он переносил действие своих рассказов в суровые необитаемые края и в северную глухомань. В конце концов вымышленная драма, разыгравшаяся в пустынном безлюдье, была куда вероятнее и *представимее*, нежели какое-нибудь тропическое приключение, придумывая которое необходимо учитывать влияние многообразных природных факторов, а то и обряды чуждой культуры. И Мадзини отправлял персонажей своей фантазии все дальше на север, в конце концов туда, где не было даже эскимосов, — в вечные льды высоких арктических широт. Тем самым сочинитель как бы установил связь с ледяными образами детства; лишь впоследствии выяснится, что это была и связь с гибелью. Ведь первый шаг к исчезновению Мадзини сделал, когда в антикварных фондах книжного магазина Корет наткнулся на давнее описание арктической экспедиции, которая состоялась сто с лишним лет назад и была так же драматична, так же прихотлива, а в итоге так же невероятна, как вымысел, — отчет Юлиуса кавалера фон Пайера об *императорско-королевской австро-венгерской полярной экспедиции*, опубликованный в 1876 году Венским придворным и университетским издательством Альфреда Хёльдера.

Йозеф Мадзини был заворожен. Больше двух лет провела эта экспедиция среди паковых льдов и в один из лучезарных августовских дней 1873 года открыла в Ледовитом океане чуть выше 79-го градуса северной широты неизвестный до той поры архипелаг — примерно шесть десятков островов, сложенных из коренной породы и почти целиком погребенных под мощным ледовым панцирем, базальтовые горы, девятнадцать тысяч квадратных километров безжизненности. Четыре месяца в году солнце не всходило над этим островным царством, и с декабря по январь там властвовал кромешный мрак, когда температура воздуха опускалась до минус семидесяти по Цельсию. Начальники экспедиции — Юлиус Пайер и Карл Вайпрехт — в честь своего далекого монарха нарекли этот мрачный, неприветливый край *Землею Императора Франца-Иосифа* и таким образом заполнили на карте Старого Света одно из последних белых пятен.

Отчет экспедиции заворожил Йозефа Мадзини, и причиной тому, думается, могло быть лишь одно: он решил, что записки Пайера документально *подтверждают* реальность одной из его вымышленных историй. Доподлинно известно только, что Мадзини с прямо-таки маниакальным рвением начал тогда реконструировать путаный ход этой исследовательской экспедиции. Он прилежно копался в архивах. (В морском отделе Австрийского военного архива хранился истрепанный вахтенный журнал "Адмирала Тегерхофа", а также неопубликованные письма и дневники Вайпрехта и Пайера, в картографическом собрании Национальной библиотеки — дневник экспедиционного машиниста Отто Криша и *непритязательные* однообразные заметки егеря Иоганна Халлера из долины Пассайерталь...) Казалось, тот вихрь, который прежде забрасывал на Крайний Север выдуманных персонажей Мадзини, теперь подхватил, повлек прочь и его самого. Мадзини устремился вдогонку давно ушедшей реальности. А для такой погони любые архивы слишком тесны, слишком малы. Мадзини отправился в Ледовитый океан. Торжественно читал летопись экспедиции Пайера-Вайпрехта на театре реальности — фиолетовое небо над дрейфующими льдами, несомненно, было то самое, под каким более ста лет назад впадала в отчаяние команда "Адмирала Тегетхофа". Мадзини бродил по глетчерам. Мадзини пропал.

Нет, я не принадлежал к числу его друзей. Временами этот малорослый, едва ли не субтильный парень, который, однако ж, не замедлил бы с энергией фанатика ринуться и вослед за миражем, даже вызывал у меня ту особенную враждебность, какую испытываешь, пожалуй, только к натурам очень близким, очень похожим на тебя самого. Я замешался в его жизнь совершенно нечаянно — всего-навсего шапочный знакомец. По-настоящему Мадзини привлек мое внимание лишь после того, как исчез во льдах. Ведь загадочная и зловещая эманация этого исчезновения стала задним числом пропитывать его жизнь, да так, что мало-помалу все, чем он занимался, сделалось загадочным и зловещим. Тем не менее на первых порах мои попытки внести ясность — хоть какую-то ясность! — в обстоятельства исчезновения были не более чем игрой ума. Но каждый путеводный знак оборачивался новым открытым вопросом, невольно я делал один шаг, потом еще и еще, укладывал биографические детали, сведения и имена в некую связную схему, наподобие сетки кроссворда, и вот так Мадзини очутился *в фокусе* моих интересов. В конце концов я даже продолжил изыскания по истории Арктики, которые он вел с таким поразительным упорством, и, все больше углубляясь в его работу, совершенно забросил мою собственную. Я до того освоился со шпицбергенскими заметками и дневниками Мадзини (мне дала их Анна Корет), что с легкостью мог процитировать по памяти любые самые путаные пассажи. Фразы, образные картины и даже несущественные фрагменты не шли у меня из головы. При всем желании я уже не мог их забыть. Кучевые облака, что отражались в витринах, казались мне нагромождениями льдов, остатки снега в городских парках — дрейфующими ледяными полями. Северный Ледовитый океан простирался за моим окном. Наверное, примерно так же происходило и с Мадзини. Мне до сих пор неприятно и тягостно вспоминать тот мартовский день, когда по дороге в географическую библиотеку я вдруг осознал, что давно уже перекочевал в мир другого человека; постыдное и смехотворное открытие — некоторым образом я занял место Мадзини, потому что выполнял *его* работу и поневоле, как шахматная фигура, двигался в *его* фантазиях.

В тот день до поздней ночи лил беспросветный унылый дождь. Длинные лужи, вскипая пеной, смыкались за автомобилями, которые катили по улицам, от светофора к светофору. Под дождем старый, почерневший снег превращался в скользкую жижу. Было холодно. Мадзини умер. *Скорей всего*, умер.



# 3. *Список участников драмы на краю света*

*(Приложение: выдержки из личных дел начальников)*

*Приложение*

| | |
|---|---|
| Лейтенант военно-морского флота Карл Вайпрехт из Михельштадта в Гессене | начальник экспедиции на море и во льдах, командир "Адмирала Тегетхофа" |
| Обер-лейтенант Юлиус Пайер из Теплица в Богемии | начальник экспедиции на суше, картограф императора |
| Лейтенант военно-морского флота Густав Брош из Комотау в Богемии | первый помощник командира (внутренняя служба), провиантмейстер |
| Мичман Эдуард Орел из Нойтитшайна в Моравии | второй помощник командира (штурман) |
| Доктор Юлиус Кепеш из Бари в Венгрии | экспедиционный врач |
| Шкипер Пьетро Лузина из Фиуме | боцман |
| Шкипер Эллинг Карлсен из Тромсё в Норвегии | ледовый боцман и гарпунщик |
| Отто Криш из Кремсира в Моравии | машинист |
| Йозеф Поспишил из Прерау в Моравии | кочегар |
| Антонио Вечерина из Драги под Фиуме | плотник |
| Иоганн Ораш из Граца | кок |
| Иоганн Халлер из Пассайерталя в Тироле | первый егерь, травознай и погонщик собак |
| Александр Клотц из Пассайерталя в Тироле | второй егерь, травознай и погонщик собак |
| Антонио Скарпа из Триеста<br>Антонио Занинович из Лезины<br>Антонио Катаринич из Лусина<br>Антонио Лукинович из Брацы<br>Джузеппе Латкович из Фианоны под Альбоной<br>Пьетро Фаллезич из Фиуме<br>Джорджо Стиглич из Буккари<br>Винченцо Пальмич из Волоски под Фиуме<br>Франческо Леттис из Волоски<br>Джакомо Суссич из Волоски | матросы |

| | |
|---|---|
| Юбинал, вожак упряжки, североазиатская собака, купленная в Вене | ездовые собаки |
| Гиллис, происхождение неизвестно, куплен в Вене | |
| Маточкин, происхождение неизвестно, куплен в Вене | |
| Боп, происхождение неизвестно, куплен в Вене | |
| Новая, происхождение неизвестно, куплена в Вене | |
| Земля, происхождение неизвестно, куплена в Вене | |
| Сумбу, лапландский пес, куплен в северной глухомани | |
| Пекель, лапландский пес, куплен в Тромсё | |
| Торосы, родился от Земли в Ледовитом океане, на борту "Адмирала Тегетхофа | |
| Две безымянные кошки из Тромсё | |
| Йозеф Мадзини из Триеста | потомок |

ВАЙПРЕХТ Карл, лейтенант военно-морского флота, полярный исследователь. Родился 8 сентября 1838 г. в Михельштадте в горах Оденвальд (Великое герцогство Гессен-Дармштадт), в состоятельной бюргерской семье; закончил в Дармштадте гимназию и профессиональное училище. Восемнадцати лет зачислен *временным кадетом* в австрийский военно-морской флот. 1856–1859 гг.: штурманская подготовка на парусном фрегате "Шварценберг", корвете "Эрцгерцог Фридрих", фрегате "Дунай" и пароходе "Куртатоне"; трансатлантические плавания. 1860–1861 гг.: офицерская служба в качестве *действительного кадета военно-морского флота* на фрегате "Радецкий" под командованием (будущего) адмирала Вильгельма фон Тегетхофа. 1861 г.: Тегетхоф присваивает ему звание *мичмана*. 1863–1865 гг.: офицер-инструктор на бриге "Гусар". 1866 г.: в морском сражении при Лиссе́[1], находясь на борту фрегата-броненосца "Дракон", проявил особую выдержку и отвагу, за что награжден орденом Железной короны 3-й степени; 1868 г.: после похода в Мексиканский залив произведен в *лейтенанты военно-морского флота*. До 1871 г.: ряд экспедиций в Азию и Америку; крейсерские плавания у сирийского и египетского побережья, а также уточнение береговой линии Далмации. Превосходно владеет языками – итальянским, венгерским, сербохорватским, французским, английским и норвежским. В 1871 г. вместе с Юлиусом Пайером и графом Хансом Вильчеком предпринимает на фрегате "Исбьёрн" ("Белый медведь") разведочную экспедицию на Шпицберген и Новую Землю с целью выяснения метеорологической и ледо-

1. Лисское сражение 20.07.1866 г. у о. Лисса (ныне о. Вис) в Адриатическом море между итальянским и австрийским флотами во время австро-итальянской войны 1866 г.

вой обстановки в северной акватории Баренцева моря; в 1872 г., в тридцать три года, назначен начальником морского этапа австро-венгерской полярной экспедиции.

Многочисленные публикации по проблемам навигации, метеорологии, земного магнетизма и океанографии, в том числе: "Метаморфозы льда", "Практическое руководство по наблюдению полярных сияний", "Будущая полярная экспедиция и ее надежный результат"...

Награды: рыцарский крест ордена Леопольда; орден Железной короны 3-й степени; прусский королевский орден Красного орла 3-й степени; офицерский крест итальянского королевского ордена Маврикия и Лазаря; Серебряный лавровый венок города Франкфурта; Большая золотая медаль Международного географического конгресса (Париж); золотая учредительская медаль Лондонского географического общества и т. д. и т. д. Ср. награды Пайера; почетный гражданин гг. Фиуме (Риека) и Триест.

ПАЙЕР Юлиус, кавалер фон, обер-лейтенант, картограф, альпийский и полярный исследователь, художник, литератор. Родился в семье уланского ротмистра в Шёнау под Теплицем (Богемия) 2 сентября 1841 г. Закончил кадетский институт в Лобзове под Краковом и Терезианскую военную академию в Винер-Нойштадте; 1859 г.: унтер-лейтенантом 36-го пехотного полка участвует в сражении при Сольферино[1]; награжден военным Крестом за заслуги и произведен в обер-лейтенанты. Гарнизонная служба в Майнце, Франкфурте, Вероне, Венеции, Кьодже и Егерндорфе; преподает историю в кадетском институте в Айзенштадте, позднее работает под началом маршала фон Флигели для Военно-географического института. Сенсационные экспедиции в высокогорье с целью изучения Южно-Тирольских Альп и Высокого Тауэрна; картографирование Лессинских Альп, массивов Пазубио, Глокнера и Венецианских Альп; более тридцати первых восхождений в массивах Бренты, Адамелло и Презанеллы. 1867—1868 гг.: систематическое изучение и тригонометрическая съемка всех частей широко разветвленного массива Ортлер; шестьдесят восхождений на вершины. 1869—1870 гг.: участие во Второй немецкой полярной экспедиции в Гренландию в качестве географа, орографа и гляциолога; открытие *Тирольского фьорда* и *фьорда Франца-Иосифа* во время шестисоткилометрового пешего перехода вдоль восточного побережья Гренландии. 1871 г.: совместно с Карлом Вайпрехтом и графом Хансом Вильчеком в плавании по Баренцеву морю достигает 78°48′ северной широты; уточняет карту Шпицбергена. 1872 г.: в возрасте тридцати лет назначен сухопутным начальником австро-венгерской полярной экспедиции.

Многочисленные публикации по картографии, географии и на темы арктических приключений, в том числе: "Альпийский массив Адамелло-Презанелла", "Бокка-ди-Брента", "Ортлерские Альпы", "Первая австрийская исследовательская экспедиция в Новоземельскую акваторию", "О холоде", "Внутренние районы Гренландии", "Австро-венгерская полярная экспедиция 1872—1874 гг." и др.

Награды: орден Железной короны 3-й степени; золотые медали Лондонского и Парижского географических обществ; почетный член

1. В районе этого селения юго-западнее г. Вероны 24.06.1859 г. во время австро-итальянской войны итало-французские войска нанесли поражение австрийской армии.

географических обществ Вены, Берлина, Рима, Будапешта, Дрездена, Гамбурга, Бремена, Ганновера, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне и Женевы; почетный член Алжирского метеорологического общества, Гамбургского навигационного союза и Пресбургского географического объединения; почетный член французского, английского и итальянского Альпийских клубов; кавалер французского ордена Почетного легиона, королевского прусского ордена Красного орла 3-й степени, королевского шведского ордена Северной звезды, королевского итальянского ордена Маврикия и Лазаря, ордена Итальянской короны, королевского португальского ордена Башни и Меча и саксонского великогерцогского ордена Белого сокола; почетный доктор философии Пражского университета; почетный гражданин гг. Брюнн, Фиуме и Теплиц; славится как лучший погонщик собачьих упряжек своего времени, рожденный за пределами полярного круга.

## 4. *Хроника прощаний, или Реальность дробима*

*В 1868 году, во время картографической съемки Ортлерских Альп, до моей палатки далеко в горах случайно добралась газета с заметкой о Первой немецкой экспедиции Кольдевея[1]. Вечером у костра я прочел пастухам и егерям, которые меня сопровождали, лекцию о Северном полюсе, не переставая удивляться, что вот есть же на свете люди, куда больше других способные выдерживать ужасы холода и мрака. Я и не предполагал тогда, что всего через год сам стану участником полярной экспедиции, да и Халлер, один из тогдашних моих егерей, тоже не думал не гадал, что будет сопровождать меня в третьем моем путешествии.*
*Юлиус Пайер*

Где началось прощание? И когда? Оно происходило во многих местах — на платформе венского Западного вокзала, у ворот шлюза в Геестемюнде, в гавани норвежского города Тромсё, а столетие спустя — в аэропорту и опять-таки у корабельного трапа.

У пятерых матросов "Адмирала Тегетхофа" дома остались семьи; повторили они на прощание или нет все то, что было обещано им самим? *Мы откроем новые земли.* Говорили или нет о хорошей жизни по возвращении и о жалованье, более высоком, чем на других судах? *Тысяча двести гульденов серебром, снаряжение и бесплатные харчи на два с половиной, а может, и три года или, может, даже навсегда, но нет, такого наверняка не случится!* Те, кто остался дома, знали разве только, что там, куда уходят их сыновья, братья, отцы, царит холод и все совершенно по-другому, что никто там доселе не бывал и что разлука будет долгой — более долгой, чем обычно.

На праздник Тела Господня 1872 года, а выпал он на четверг 31 мая, австро-венгерская полярная экспедиция впервые выступила в путь в полном составе, вместе с ездовыми собаками. Погрузилась в бремерхафенский поезд, который в 18.30, окутанный тучей дыма (о ней достоверных сведений не сохранилось), отошел от венского Западного вокзала. Проводы были скромные. Двое суток за окнами купе тянулся привычный пейзаж, убегал вспять, туда, откуда они уехали. Мэриш-Трюбау, Будвейс, Прага, Дрезден, Магдебург, Брауншвайг, Ганновер, Бремен — на

1. Карл Кольдевей (1837—1908) — немецкий полярный исследователь.

станциях порой ожидали депутации, передавали наилучшие пожелания, махали вслед, но без ликования.

*Каждый хоть и молчит, но в глубине души чувствует, что впереди его ждет суровое время; каждый волен еще и теперь уповать на то, о чем мечтает, ибо никому не дано заглянуть в будущее. Но всех окрыляет одно – сознание, что в борьбе за научные цели мы служим славе нашего отечества и что дома с живейшим участием следят за всяким нашим шагом. Юлиус Пайер*

Матросы в новом платье, стоящие возле окон купе или сидящие на лавках, с бутылкой водки между колен; егеря Халлер и Клотц, по-прежнему в пассайертальских костюмах, то бишь в расшитых куртках зеленого сукна, широкополых шляпах и замшевых штанах до колен (Пайер попросил их так одеться к отъезду), — что могли означать для этих людей наука и слава отчизны по сравнению с тысячью двумястами гульденов серебром? Тысяча двести гульденов серебром, а в придачу наградные и новая земля! Пока что они сидят в поезде и знакомятся друг с другом на диалектах четырех разных языков; на корабле главным станет итальянский. Но едут они навстречу дню, когда мужественный тиролец Александр Клотц рухнет в снег *Земли Франца-Иосифа*; в рваной меховой одежде, истощенный, с обмороженными ногами, он разрыдается и очень долго будет недоступен уговорам и утешениям. А в другой день Отто Криша, двадцатидевятилетнего машиниста, отнесут по льду к скалам новой земли, в гробу, сколоченном Антонио Вечериной, и похоронят под камнями среди базальтовых столпов. *Несказанное одиночество объемлет эти снежные горы...* — напишет в своем дневнике Юлиус Пайер. – *Когда прибрежный лед не звенит и не стонет, поднимаясь от прилива и отлива, а ветер не вздыхает в каменных расщелинах, призрачно-бледный ландшафт объят тишиною смерти. Мы часто слышим о торжественном безмолвии леса, пустыни, даже ночного города. Но что за безмолвие объемлет такой вот край с его стылыми заледенелыми горами, которые теряются в непостижимых зыбких далях и бытие которых мнится тайною на все времена... И человек умирает у Северного полюса, в одиночестве, угасает, как блуждающий огонек, оплаканный простодушным матросом, а вовне ждет усопшего могила из льда и камней...*

Однако в поездных разговорах навстречу грядет лишь суровая, белая даль; и если на пути через Ледовитый океан им суждено открыть какой-нибудь остров, это непременно будет прекрасная земля, тихая и уютная.

*Нам представлялось тогда, что долины ее украшены ивами и населены северными оленями, которые безмятежно наслаждаются благами своего убежища, далеко от всех врагов. Юлиус Пайер*

Мир за окнами купе мало-помалу становится чужим. Но он по-прежнему зелен. Поля хмеля. Тополевые аллеи. Выгоны, крытые соломой кирпичные домики. Здесь начинается лето.

2 июня участники экспедиции прибыли в Бремерхафен, а вечером того же дня шли вдоль причалов Геестемюнде. И наконец — одни с благоговением, другие с тревогой — остановились перед "Адмиралом Тегетхофом". Ах, какой корабль! Совершенно новый. Ни водорослей на обшивке, ни ракушек, ни соляной корки; пахнет лаком, смолой и свежей древесиной. Обитый ниже ватерлинии железными листами, оснащенный вспомогательной паровой машиной мощностью сто лошадиных сил (изготовитель: завод "Стабилименто текнико триестино"), этот барк и в штиль пройдет сквозь плавучие льды; съестных припасов, поставленных гамбургской продовольственной фирмой "Рихерс" и любекским производителем мясных консервов Карстенсом, хватит на тысячу дней, а ста тридцати тонн угля — на тысячу двести часов хода под пара-

ми, на тысячу двести часов независимости от ветра в парусах. Но как долог окажется путь через Ледовитый океан и как велик бывает айсберг? "Адмирал Тегетхоф" имел 32 метра в длину и 7,3 метра в ширину. Что такое три мачты и сотня лошадиных сил по сравнению с льдинами, настолько огромными, что на них впору строить дворцы? На корабле было тесно — тесные офицерские каюты, скученные, узкие койки в матросском кубрике. Кают-компания украшена гравировкой, это арабская пословица: *Ин ниц бегуцпред – И это пройдет.*

Последние приготовления занимают еще десять дней. В управлении порта оставлен письменный документ: в случае кораблекрушения императорско-королевская полярная экспедиция просит не высылать спасательных и поисковых партий; она либо вернется своими силами, либо не вернется никогда. Документ скреплен подписями офицеров, первыми идут изящный, с наклоном вправо, готический росчерк Карла Вайпрехта и твердый, прямо-таки по-мальчишески суровый автограф Юлиуса Пайера. Подписей матросов я не помню. Там наверняка стояли и кресты. Не все умели читать и писать.

Ранним, по-летнему теплым утром 13 июня 1872 года паровой буксир проводит "Адмирала Тегетхофа" через шлюзы Геестемюнде, а затем вниз по Везеру. Опять деревья и выгоны. Потом Вайпрехт приказывает ставить паруса. Перед ними открывается море. Тирольцы видят море впервые в жизни.

*Мы безбоязненно смотрели, как уменьшаются и тают вдалеке все прелести творения, как земля за кормой мало-помалу исчезает из виду; вечером немецкий берег скрылся из глаз... Команда охвачена веселым оживлением; вечерами легкий ветерок разносит над водою бодрые песни итальянцев, а не то мерный ритм далматинских наигрышей пробуждает воспоминание об их солнечной родине, которая вскоре сменится диаметральной противоположностью, неведомой пока даже их фантазии. Юлиус Пайер*

На подходе к Гельголанду никто уже не поет. "Адмирал Тегетхоф" с трудом минует прибрежные мели. Надвигается шторм. Крутое волнение, дождь, холод, хотя нет, это еще не холод. *Тиролец Халлер сильно страдает от морской болезни,* записывает в своем дневнике машинист Криш. Так продолжается две недели. Потом из волн встают скалы Норвегии, синевато-серые, как и морская зыбь. Ветер слабеет.

*2 июля 1872 года, после довольно бурного плавания, мы стали на якорь в виду Тромсё, где приняли на борт гарпунщика Эллинга Карлсена, шестидесятилетнего опытного полярника, прославившегося плаванием вокруг Шпицбергена. Густав Брош*

*Штормовая погода на некоторое время задержала нас у Лофотенских островов, так что в Тромсё мы прибыли только 3 июля. Юлиус Пайер*

*4 июля в 11 ночи прибыли в Тромсё. Загасили топки и бросили якорь в Тромсёйском проливе. Отто Криш*

Второго, третьего, четвертого июля... Откуда взялись эти расхождения в датировке, можно реконструировать без особого труда — скажем, посредством допущений о воздействии полуночного солнца, которое стерло разницу меж днем и ночью; не приходится сомневаться и в том, что при сильной волне в приватном исчислении времени вполне могли потеряться день-два или же один говорил о часе входа в пролив, а второй — о высадке на пристань. Вдобавок есть неоспоримые признаки, указывающие на объективную дату прибытия, но я о них умолчу. Ведь более реальным, чем в сознании человека, который его пережил, день быть не может. И поэтому я говорю: экспедиция добралась до Тромсё и второго, и третьего, и чет-

вертого июля 1872 года. Реальность дробима. (В немногочисленном обществе на борту "Адмирала Тегетхофа" дневники подчиненных тоже так отличались от записок начальства, что иной раз возникало впечатление, будто в кубрике и в каютах вели летопись не одной, а нескольких абсолютно разных экспедиций. Всяк рассказывал о своих льдах.)



Тромсё. Здесь прохладно, и южное лето — только воспоминание. Иногда падает туман. Снова готовят проводы, готовят разлуку, самую суровую из всех, пополняют снаряжение и провиант, закупают листовое железо, сталь и вяленую треску в городе, целиком выстроенном из дерева. Вайпрехт нанимает норвежских водолазов, чтобы они заделали течь; после штормов последних недель в трюме "Адмирала Тегетхофа" многовато воды. Возвращения зверобоев из северных районов моржового промысла флотский лейтенант ждет напрасно; ему придется выйти в море без сведений о том, где в этом году проходит граница дрейфующих льдов. Для матросов "Тегетхофа" последние дни в обитаемом мире — это еще и непритязательная возможность поупражняться в той жизни, что в случае счастливого возвращения из глухомани ожидает их в салонах, — в жизни, полной почестей, приглашений, непривычных разговоров и глубокого уважения; Андреас Огорд, австрийский консул в Тромсё, приглашает их на званый обед; другие следуют его примеру. Ни одно из плаваний, до сей поры совершённых этими матросами, не приносило им так много восторженных похвал, как нынешнее *намерение* отправиться *к Северному полюсу*. Выходит, Северный полюс куда желаннее, куда важнее, чем побережья Америки и Индии, где некоторым из них уже довелось побывать. Лишь спустя месяцы, глубоко во льдах и во тьме полярной ночи, Юлиус Пайер просветит последних простодушных:

*При 20–30 градусах ниже нуля (по Реомюру) было заложено в сынов природы семя мудрости. Однако сей климат не благоприятствовал прорастанию оного. С мучительным разочарованием люди услышали о положении и малоценности "Северных полюсов", о том, что это не суша, не край, который надобно завоевывать, но всего-навсего точка пересечения линий, совершенно незримая в реальности!*

Я пытался представить себе, что́ почувствовал простодушный человек, который, дрейфуя на вмерзшем во льды корабле, в окружении всех ужасов льда и мрака, вдруг узнаёт, что его цель вдобавок незрима — пустяковая точка, ничто. Дальше этой попытки дело у меня не пошло, я не мог почувствовать столь мучительного разочарования. Но пока что они в Тромсё, принаряжаются к приему у консула.

*6 июля приглашены на званый обед к г-ну Огорду; оставались там до 12 ночи, солнце уже не заходит, и на борт мы вернулись при ярком солнечном свете. 7-го приглашены на обед к тромсёйскому градоначальнику – в красивый особняк, расположенный в лесу высоко над городом; в 2 часа ночи вернулись на борт.*

*8 июля побывали в шатрах у лопарей; оные живут со своими многочисленными оленьими стадами у подножия горы Кильписъяуре; в каждой жердяной постройке помещается целый род, владеющий 3-5 сотнями оленей. В таком шатре, снаружи тщательно укрытом дернинами, а внутри обтянутом оленьими шкурами, висит на цепи котел, в котором варят еду. Одежда у этих людей сшита из оленьих шкур; школьная наука им вовсе незнакома, в большинстве они язычники и верят в Юбинала, или Айку; вместе с людьми в шатрах обитает множество оленьих собак, это совершенно особенная порода; мы купили там одну собаку за 2 1/2 кёльнских талера и привезли на корабль; собака получила кличку Пекель, по-лопарски Черт, позднее матросы перекрестили ее в Пекелино. Отто Криш*

Вайпрехт собак недолюбливает. Пайер чрезвычайно доволен; шесть ньюфаундлендов и две лапландские собаки, думает он, вполне составят

ездовую упряжку, на которой он, как два года назад на восточном побережье Гренландии, помчится по льду. Однако, невзирая на тумаки тирольцев, дикости у собак, похоже, не убывает: *В трюме были такие места, где лишь их друзья могли не опасаться растерзания. Юлиус Пайер*

Вместе со своими егерями *сухопутный начальник* поднимается на тромсёйские скалы, проверяя на разных высотах точность привезенных барометров. 10 июля они стоят на вершине, которую лопарь-проводник по имени Дилькоа называет Саллас-Уойви. Внизу лежат фьорды, изрезанный расселинами горный ландшафт и море.

*С вершины горы мы увидели огромный столб черного дыма, в спокойном воздухе он поднимался вертикально вверх тысячи на полторы футов – северная окраина Тромсё была охвачена огнем. Юлиус Пайер*

С борта стоящего на якоре "Адмирала Тегетхофа" это видится иначе: *10 июля в северо-восточной части города вспыхнул пожар, в котором дотла сгорели несколько жилых домов и сараев; мы отрядили на берег шлюпку с большею частью команды и огнегасительными средствами. Упорная борьба с огнем продолжалась 2 1/2 часа, после чего пожар был потушен, а комиссар пожарного двора выразил г-ну начальнику Вайпрехту благодарность за оказанную помощь...*

*11 июля я осматривал город, в коем нет почти ничего примечательного; все дома и даже две церкви построены из дерева, как и концертный салон, где как раз выступал некий арфист.*

*12 июля прибыл почтовый пароход; я получил три письма – от Антона, от отца и от Теодора; тех, что пришли позднее, я уже не мог получить, потому что у нас не было времени дожидаться следующего парохода; в 5 часов пополудни иду в парную баню, а потом – на ужин, загодя заказанный в гостинице "Нильсен".*

*13-го утром, в 9 часов, для нас отслужили мессу в католической церкви; затем легкое угощение у приходского священника; потом на все оставшиеся у меня деньги я купил 1/2 эймера[1] вина и 40 бутылок пива и уже без единого шиллинга в кармане поднялся на борт, ведь завтра мы покидаем Тромсё, а в Ледовитом океане деньги без надобности, не то что добрый глоток вина; в 10 вечера развели в топках огонь. Отто Криш*

В полночь "Адмирал Тегетхоф" уже под парами — готов к отплытию. Только теперь по забортному трапу поднимается ледовый боцман и гарпунщик Эллинг Карлсен; он единственный на корабле не обязан повиноваться приказам австрийского императора. С крепким моржовым гарпуном в руке, в наброшенной на плечо беломедвежьей шубе, он входит в кубрик. Старый-то какой. Здешние матросы и даже начальники годятся ему в сыновья. Самые большие ценности в небогатом карлсеновском багаже — белый курчавый парик для будущих праздников да орден Олафа Святого, которым он награжден за плавание вокруг Шпицбергена. Сколько моржей он успел уложить своим гарпуном? Карлсен не помнит. И вот наступает утро. 14 июля 1872 года, воскресенье.

*Воскресным утром мы покинули маленькую тихую столицу европейского Севера. Гамбургский пакетбот, только что вошедший в гавань, проводил нас неумолкающими приветственными возгласами пассажиров, а затем мы под парами прошли узкими проливами Квальсунн и Грётсунн, мимо скал островков Сандё и Рюсё в открытое море. Шкипер Карлсен при этом служил нам лоцманом. Когда мы вышли из шхер, пал туман, целиком окутавший гигантскую скалистую башню острова Фуглё. Здесь топки загасили и подняли паруса. 15 июля мы в виду изо-*

1. Эймер — старинная мера объема (для вина).

*бильного ледниками норвежского побережья шли под парусами курсом на север; 16 июля в голубой дали завиднелся мыс Нордкап, самая северная точка Европы...*

*Идеальной целью нашей экспедиции был Северо-Восточный проход; подлинную же ее задачу составляло изучение морских акваторий или суши к северо-востоку от Новой Земли. Юлиус Пайер*

Я прямо воочию вижу черную воду островного пролива, которая разглаживается за кормой "Адмирала Тегетхофа". Дымный плюмаж, каким машинист Криш украсил тромсёйское небо, еще висит над гаванью, когда пассажиры гамбургского пакетбота сходят на берег. Утро тихое, безветренное. В гостинице "Нильсен" готовят завтрак; все только и говорят что о "Тегетхофе". Куда, вы сказали, они направляются? В Японию? Через полюс? В почтовом мешке лежат письма для команды; сразу два адресованы машинисту Отто Кришу. Их для него сохранят.

А потом я вижу Йозефа Мадзини, который в доме вдовы каменотеса целыми днями бродит меж разбросанного по полу снаряжения, будто в музее, и порой сомневается, защитит ли его все это от льдов — пуховая одежда, полотняные сапоги, спальный мешок и прочие утеплительные атрибуты. На дворе июльская жара. Он же готовит эшелонированный бросок из лета в холод, сперва самолетом — Копенгаген, Осло, Тромсё, Лонгйир; а из Лонгйира морем на северо-восток, в Ледовитый океан, все дальше, до побережья *Земли Франца-Иосифа*, ну а лучше всего еще дальше — до Берингова пролива и в Иокогаму.

"Ты сошел с ума", — говорит Анна Корет. Но знает, что это не шутка. Я вижу Мадзини в квартире Анны: он отчаянно старается растолковать, зачем надо ехать *на Шпицберген*; вечернее общество тоже хочет от него разъяснений, нет-нет, не всерьез, а так. (Итальянец-то говорит не просто на Шпицберген, да и *походы по ледникам* еще бы куда ни шло, причуда, — но путешествие по следам какого-то парусника, давным-давно затонувшего в Ледовитом океане? Ну кто едет в Арктику лишь затем, чтобы *представить себе*, что было, что могло бы быть?)

Гости сидят за столом, по-прежнему за столом, но Мадзини уже наедине с Анной; все, что он говорит, адресовано ей. Но после они уже не слушают друг друга, хотя весь вечер продолжают разговаривать, каждый из своих льдов.

# 5. *Первый экскурс.* Северо-Восточный *проход, или* Белый путь в Индию. *Реконструкция мечты*

*Северный полюс, уединенная макушка Земли, окружен каменными пирамидами; это знаки, отмечающие точки, до которых сумела добраться неугомонная людская предприимчивость. Прямо над полюсом парит в зените крохотная чайка, его льдины дарят надежный жизненный приют тюленьему племени, что ищет спасенья от гарпунов, – и только для открывателей он по сей день оставался недостижим.*

*Как всякое развитие лишь исподволь, шаг за шагом, продвигается к все более крупным задачам, так и тусклый рассвет миросотворения распространялся мешкотно, от гомеровского земного диска до страны гипербореев; только спустя тысячелетия жажда знаний превозмогла полярные ужасы, какие, по представлениям арабов, уже в Сибири кишмя кишели. Тысячелетиями мир окрест солнеч-*

*ного Запада был погребен под вымыслами и мифами, которые лишь нравственный пафос древнейших поэтов-философов уберег от наивной тривиальности, присущей всему незрелому.*

*Ни малейшим ветерком правды не веяло в этом мире, закоснелом в кастовой нетерпимости, ничто не разгоняло обманных призраков палящего зноя, убийственной стужи, низвергающихся в бездну вод, откуда моряку нет возврата, грозных божеств ветра и моря, муравьев, стерегущих золото. Ведь и сама Земля сиротливо покоилась в беспредельном пространстве, держа на столпах своих гор хрустальный купол небес, – но покоилась она неустойчиво, перегруженная в тропиках изобильной растительностью, а на Севере скудная и голая. Эти обстоятельства, обросшие затем религиозными догмами, и обнесли тесный круг научного знания тройным кольцом стен, неприступных на протяжении тысячелетий...*

*Только когда люди поняли, что Земля имеет форму шара, возникли теоретические основы климатов, очень смутное поначалу представление о поясах, впервые строго научно изложенное Пифеем из Массилии[1] за четыре столетия до Р. Х. в его учении о полярном круге. Почти в то же время поход Александра в страну чудес Индию сотворил земной рай торговли и мореплавания, для достижения которого спустя 1800 лет не убоятся даже абсурдного короткого пути – через льды. Юлиус Пайер*

Меж тем как в моем воображении "Адмирал Тегетхоф" проходит под парами первые поля дрейфующих льдов, а Йозеф Мадзини, сидя в самолете Скандинавских авиалиний, видит внизу ослепительно белые облачные громады, я тихонько погружаюсь во тьму времен, скольжу сквозь столетия к истокам грезы. Ведь когда итальянцы-матросы "Тегетхофа" ставят паруса, европейское мореплавание еще не рассталось с одной из самых долгих своих грез — с грезой о том, что где-то у полярного побережья Сибири непременно найдется короткий, окаймленный паковыми льдами путь на северо-восток, в Японию, Китай и Индию, *Северо-Восточный проход* из Атлантического океана в Тихий.

Однако к 1872 году в вечных льдах пропали целые флоты, а Северо-Восточный проход так и не был найден. Хронисты заполнили описаниями ледовых катастроф многие фолианты, сообщали о кораблях, что отплыли с товарами на продажу, с подарками, с тяжелыми пушками и рекомендательными письмами к императорам Японии и Китая, но никуда не прибыли и не вернулись. В конце концов хронисты и те уже не знали, сколько моряков погибло в поисках северо-восточной трассы. Тысяча? Тысяча четыреста или больше? Статистика гибелей всегда оставалась противоречивой и неполной — напрасная попытка облечь в цифры ужас и беспощадность этого окутанного мифами пути. (В канцеляриях возникли трудности с классификацией: зверобойный флот, вмерзший в паковые льды и дрейфовавший с ними все дальше и дальше на северо-восток, за сибирский мыс Челюскина, а затем раздавленный ледовым сжатием и затонувший, — считать ли тех, кто погиб и пострадал в такой катастрофе, жертвами Северо-Восточного прохода или же просто жертвами Ледовитого океана?) Корабли тонули. Хронисты писали. Арктике было все равно.

Если кто-то пожелает вникнуть в предысторию северо-восточной грезы, ему придется мысленно уйти даже не в глубь веков, а в глубь тысячелетий, и задолго до начала христианского летосчисления обнаружатся зарисовки холодного моря; он попробует представить себе полярные

1. Пифей из Массилии (середина IV в. до Р. Х.) — греческий ученый, полярный путешественник.

плавания Пифея из Массилии или Гимилькона[1] Карфагенянина, дубовые драккары викингов и их кормчих — скажем, Бьярни Херьюльфссона и Лейфа Эйрикссона[2], которые еще на рубеже второго тысячелетия частью под парусами, частью на веслах достигли берегов Северной Америки; вспомнит он и Эйрика Рыжего, господина Гренландии и Исландии, и Отера, обогнувшего мыс Нордкап и по Белому морю доплывшего до страны Биармии, то бишь до Сибири, и Эйрика Кровавую Секиру[3], и многих других, что ступали на Шпицберген и прочие земли Крайнего Севера задолго до открывателей нового времени... Но я прерву игры фантазии с обращенным вспять временем на той эпохе, когда память о ранних полярных путешествиях была так же забыта, как и космографические знания античности, и наведаюсь в некий кастильский замок. Замок Тордесильяс. На дворе 1494 год. Июнь.

Летом этого года в Тордесильясе происходит подписание договора между Испанией и Португалией, и родной отец Лукреции и Чезаре Борджа, pontifex maximus[4] Александр VI, поклонник куртизанок и искусств, *на вечные времена* скрепляет его папской буллой: Новый Свет и все земли оного, уже открытые и еще неведомые, надлежит разделить меж народов Пиренейского полуострова; границу образует меридиан, что в 1200 морских милях к западу от островов Зеленого Мыса от полюса до полюса опоясывает земной шар; земли к востоку от этой линии принадлежат Португалии, к западу же от нее — Испании. Тордесильясский разбойник, который обращается с кругом земным как с выгоном для скотины, отдает в монопольное испано-португальское владение не только новые земли, но и морские пути, в западном направлении ведущие через Атлантику туда, где все драгоценно и воздух насыщен тяжелым ароматом пряностей. Не в последнюю очередь именно приговор папы Александра Борджа в итоге подогрел алчность обделенных в Тордесильясе англичан и голландцев и толкнул их на поиски обходных путей, северных ледовых трасс. Происходившее в течение многих лет до папского вердикта и в десятилетия после оного едва ли заслуживает особого упоминания.

Ведь не оставляющая ни малейших сомнений правда этой эпохи открытий была записана не в кабинетах европейских космографов, а в сообщениях вроде ацтекского текста на языке науатль, повествующего о появлении европейцев: "Меловые лица светились восторгом. Точно обезьяны, они взвешивали золото в ладонях или с довольным видом садились на пол, и душа их черпала новые силы и просветлялась. И плоть у них поэтому расширялась; они алкали золота. Алкали его, будто голодные свиньи..." Какие бы вести ни привозили мореплаватели, в Старом Свете истерично цеплялись за мифы о неисчерпаемом золотом рае; ни самая что ни на есть скудная пустыня, ни самая что ни на есть убогая реальность не могли развеять этот самообман: желтая галька, которую полярные экспедиции шестнадцатого столетия находили на айсбергах, усыпанных каменными обломками арктических земель, и та непременно считалась золотом (!) и подтверждением, что за стенами вечных льдов есть еще острова, притом побогаче новых испанских территорий.

1. Гимилькон (V в. до Р. Х.) — карфагенский мореплаватель.
2. Бьярни Херьюльфссон (X в.) — исландский мореплаватель, по преданию, ок. 968 г. доплыл до Северной Америки; Лейф Эйрикссон (XI в.) — скандинавский исследователь Северной Америки.
3. Эйрик Рыжий — основатель первого европейского поселения на о. Гренландия; Отер, или Оттар (IX в.) — норвежский хёвдинг, совершавший торговые поездки на восток вплоть до Белого моря; Эйрик Кровавая Секира (X в.) — норвежский конунг.
4. Великий понтифик (*лат.*).

(И за борт летело все, что казалось ненужным, а в трюмы грузили серный колчедан, никчемные камни.)

У колыбели этой *грандиозной* эпохи — как всегда в великое время — стояли личности героические; для следующих поколений арктических мореходов они стали кумирами, да и нам они до сих пор понятнее, нежели культуры, что в конце концов были уничтожены их авантюрными предприятиями: генуэзец Кристофоро Коломбо, по-испански Кристобаль Колóн, в 1492—1504 годах совершает четыре плавания на запад через Атлантический океан. Он твердо верит в правильность испещренной белыми пятнами, неверной карты мира, составленной флорентийским космографом Паоло даль Паццо Тосканелли[1], а финансирует его экспедиции Изабелла Кастильская[2], покровительница святой инквизиции и мать Иоанны Безумной[3]. (Случайность или знамение, что именно в замке Тордесильяс Иоанна позднее окончательно впадает в идиотизм и умирает?) В ходе своих экспедиций Колон ступает на землю островов Карибского моря, полагая, что находится в Японии, затем — на побережья Центральной и Южной Америки, полагая, что это Индия, а открыв дельту Ориноко, принимает ее за дельту Ганга и в 1506 году умирает в Вальядолиде, так и не признав своих заблуждений.

Васко да Гама, граф Видигейра, по заданию португальского короля Мануэла ищет в 1498 году морской путь к Островам Пряностей, огибает южноафриканский мыс Доброй Надежды, добирается до *настоящей* Индии и таким образом отдает райский край под власть колониального произвола.

Фернан де Магальяйнш, то бишь Магеллан, держа курс на юго-запад, в 1520 году находит между южноамериканским континентом и Огненной Землей новый путь из Атлантического океана в Тихий. Годом позже он погибает на Филиппинах. Но *Магелланов пролив* остается.

Магальяйнш еще обследовал побережья Нового Света в поисках прохода к Тихому океану, а Эрнан Кортес начал меж тем уничтожать царство ацтеков. А чуть более десяти лет спустя свинопас-мореход Франсиско Писарро и с культурой инков поступает по всем церковным и испанским канонам: крестит и казнит, истребляет недовольных и посвящает свои кровавые бойни Господу Иисусу и испанской короне.

Однако все то, что герои Пиренейского полуострова отыскали в своих плаваниях на запад, юго-запад и юго-восток — новые торговые пути, золото, пряности и земли, — конечно же достижимо и по заданию английских королей и русских царей, притом более короткими, северными путями. Уже в 1497 году генуэзец Джованни Кабото, или Джон Кабот, состоявший на службе у Генриха VII, отправился из Бристоля через Атлантику — на северо-запад. Кабот достиг американского континента за тринадцать месяцев до Кристобаля Колона, ступил на берега Нового Света на севере, в Ньюфаундленде, но, как и Колон, ошибочно решил, что это *Катай*. То бишь Китай. По следам Кабота опять-таки двинулись авантюристы — к примеру, братья Гаспар и Мигель де Корте-Реаль (они тоже достигли Ньюфаундленда, а затем оба пропали в море), флорентиец на французской службе Джованни да Веррацано, испанец Эстебан Гомес и даже немецкие шкиперы вроде Пининга и Потхурста... Они сообщали о

1. Паоло даль Паццо Тосканелли (1397—1482) — итальянский астроном и географ, научно обосновал идею достижения Азии при плавании из Европы на запад.
2. Изабелла Кастильская (1451—1504) — королева Кастилии и Арагона.
3. Иоанна (Хуана) Безумная (1479—1555) — королева Кастилии и Арагона.

студеных скалах и айсбергах, но ни один не упоминал о золоте и не называл координат скорого пути к богатствам Ост-Индии. С каждым плаванием делалось все яснее, что исполинский материковый барьер, *Америка*, монолитом тянулся до высоких северных широт, блокируя все западные морские пути вокруг земного шара. Но где-то, пусть даже в сплошных дрейфующих льдах, и этот континент наверняка кончается, а значит, можно обогнуть самую северную его оконечность, наверняка там зияет разрыв меж Новым и Старым Светом, холодный пролив, водный путь в Тихий океан. Тогдашние космографы нарекли эту надежду *Fretum Anianum*, то бишь *Анианов пролив*, хоть никогда его не видели. Лишь спустя столетия такой пролив вправду будет открыт и, названный именем первопроходца, датчанина Витуса Беринга, появится в географических атласах. Однако ж как добраться до *Берингова пролива* от берегов Европы, оставалось загадкой еще многие-многие десятилетия после плаваний датчанина, который выходил из сибирских гаваней, — загадкой и игрой с тремя возможностями.

На северо-запад через Атлантику, а затем вдоль берегов Нового Света, постоянным курсом на северо-запад.

На северо-восток вдоль скал Старого Света и Сибири, постоянным курсом на северо-восток.

Строго на север, только на север, прямо через полюс, а затем дальше, до самых Южных морей...

Северо-восточные проходы, северо-западные проходы, барьеры паковых льдов, свободные от льда проливы, край света, Тихий океан (!), скалы и мысы, острова, плавучий лед и попутный ветер — кому только не хотелось сквозь весь этот хаос и все загадки пройти ЛЕДОВИТЫМ ОКЕАНОМ в рай и вернуться оттуда со всеми сокровищами Востока, явиться перед князьями и негоциантами и сказать: Я был первым!

Но меж тем как первые корабли пропадают в поисках *Северо-Западного прохода* и холодные волны смыкаются над потерпевшими крушение открывателями, идея *Северо-Восточного прохода* еще только разрабатывается: весной 1525 года в Рим к папскому двору прибывает посланник великого князя московского Василия III. Имя его — Димитрий Герасимов. По поручению папы Климента VII посланника опекает историк Паоло Джовио. Знакомство ученого и посланника подводит под фантазии христианского мореплавания зыбкую теоретическую основу. Ведь рассказы Герасимова побуждают Джовио составить на латинском языке меморандум, который в том же году был представлен небольшому кругу лиц. Увлекая с собою несчетные притоки, река Северная Двина мощно стремит свои воды на север, рассказывает со слов Герасимова римский историк, и море там имеет столь огромную протяженность, что, держась правого берега, можно, по всей вероятности, доплыть до Китая, если путь не преградит какая-нибудь новая земля... Меморандум Джовио переводят на итальянский, и он становится сенсацией — тем более что из Аугсбурга в этом году тоже приходят вести о путешественниках из Московии, обсуждавших с немецкими учеными возможность северо-восточного морского пути к *Островам Пряностей*. Через два года после первых слухов о сообщениях из Московии космограф и коммерсант, проживающий в Севилье уроженец Бристоля, по имени Роберт Торн, посылает памятную записку Генриху VIII. Наряду с другими, не менее авантюрными проектами, Торн рекомендует британской короне и путь вдоль сибирского побережья — так-де Англия достигнет Островов Пряностей скорее, чем португальцы и испанцы. Но королю Генриху плахи важнее айсбергов. Поэтому минует

еще два с лишним десятилетия, прежде чем несокрушимая вера в *Северо-Восточный проход* приведет в движе́ние не только перья, но и корабли.

Наконец, в 1549 году при содействии барона Сигизмунда цу Герберштайн, Найперг и Гюттенхаг северо-восточная мечта вырывается в реальность. В этом году в Вене выходит сочинение Герберштайна "Rerum Moscoviticarum Commentarii"[1]. Барон, бывший посланник императора Максимилиана I при московском дворе, не только рисует в своей книге облик почти неведомой державы, но и воспроизводит российские путевые заметки и географические отчеты, дополняя сведения Паоло Джовио и Димитрия Герасимова касательно Северо-Восточного прохода. Его дополнения и описания так убеди́тельны, что их в нескольких вариантах переводят на несколько языков. Спустя четыре года после публикации Герберштайна первый мореплаватель отправляется навстречу северо-восточной мечте и ледяной смерти. Это сэр Хью Уиллоби[2].

Английские коммерсанты учреждают в 1553 году *Общество купцов-изыскателей*, и в том же году его принципал Себастьян Кабот, сын Джона Кабота и главный лоцман Англии, поручает сэру Хью Уиллоби заняться поисками *Северо-Восточного прохода*. Под командованием Уиллоби три корабля – "Bona esperanza" ("Добрая надежда"), "Edward Bonaventure" ("Эдуард Счастливый") и "Bona confidentia" ("Благое доверие"), и он так уверен в успехе своего предприятия, что еще на Темзе велит обшить днища кораблей свинцовыми пластинами – от древоточцев индийских вод. Летом экспедиция выходит в море. Однако уже в сентябре льды у русских берегов Кольского полуострова сплачиваются настолько, что два из трех кораблей вмерзают в них. Уиллоби приказывает разбить на побережье лагерь. Начинается первая арктическая зимовка европейской экспедиции. Уиллоби и еще шестьдесят четыре человека остаются в этом импровизированном лагере, а третьему кораблю, "Эдуарду Счастливому", под командованием Ричарда Ченслера и Стивена Барроу удается продолжить путь через плавучие льды Белого моря и достичь устья Северной Двины. Затем льды и здесь перекрывают последние свободные фарватеры. Англичане сходят на берег, местные жители, поморы, сопровождают их в Москву. Там, в золотых кремлевских палатах, мореплавателей принимает царь Иван IV Грозный. Следующим летом "Эдуард Счастливый" с большим грузом товаров возвращается в Англию. Но еще до того как в Лондоне пышными торжествами чествуют вернувшихся, русские зверобои находят лагерь Уиллоби – кладбище. Во время полярной ночи поголовно весь экипаж обоих кораблей погиб от мороза, от голода и цинги. По сообщениям зверобоев, мертвый сэр Хью Уиллоби сидел склонившись над судовым журналом "Благого доверия". Северо-восточная экспедиция Уиллоби кладет начало пляске смерти, продолжающейся вплоть до эпохи Пайера–Вайпрехта и далее.

## 6. *Воздушные трассы во внутреннюю и внешнюю пустоту*

*Путешествие внутрь арктического мира – задача многотруднáя. Страннику, избравшему ее, дóлжно приложить все свои духовные и физические силы, чтобы от-*

1. "Записки о московитских делах" (*лат.*).
2. Хью Уиллоби (?–1554) – английский полярный мореплаватель; в 1553–1554 гг. руководил экспедицией, исследовавшей Северо-Восточный проход.

*воевать у тайны, в которую он жаждет проникнуть, скудные крупицы знания. Ему необходимо запастись несказанным терпением для защиты от иллюзий и неудач и идти к цели, даже когда она обернется игрою случая. Целью этой должно быть не удовлетворение тщеславной гордыни, но расширение наших познаний. Годы человек проводит в страшнейшем изгнании, вдали от друзей, от радостей жизни, окруженный опасностями и тяготами одиночества. Вот почему поддержать его способно лишь идеальное в этой цели; иначе он, впавши в духовное раздвоение, блуждает во внутренней и внешней пустоте. Юлиус Пайер*

Собирая и укладывая багаж, который в последние дни заполонил чуть не весь пол, Йозеф Мадзини опрокидывает один из полупустых бокалов, оставшихся со вчерашнего вечера: я вижу его утром в день отъезда, 26 июля 1981 года, он в своей комнате, сидит на корточках на белом шерстяном ковре и сыплет соль на свежее пятно от красного вина. Соль можно смахнуть щеткой уже по возвращении. Так он рассчитывает. К тому времени она высохнет и сделается светло-красной. Став на два-три месяца старше, он опять будет сидеть на корточках на этом ковре, словно от рассыпания до смахивания соли прошло совсем немного времени, не больше, чем всегда при подобных манипуляциях, и обо всем, что сейчас только предстоит, будет вспоминать как о мимолетном мгновении. Этим утром Йозеф Мадзини начинает еще не одно мелкое дело, но не заканчивает — открывает чайницу и не закрывает ее, до половины выдвигает ящик стола и оставляет в таком виде, устраивая тем самым легкий нечаянный беспорядок, который намерен ликвидировать по возвращении. Начатые и незаконченные дела послужат мостиками в ту реальность, какую он вот-вот покинет. С отъездом Йозеф Мадзини сразу отдаляется от меня, теперь он нисколько не ближе, чем команда "Адмирала Тегетхофа". А то, что я знал его иначе, нежели машиниста Криша или боцмана Лузину, позволяет мне разве только восстановить вероятные ситуации — обстоятельства, которые в записках Мадзини не упомянуты. Потому-то я и систематизирую намеки и указки, имеющиеся в моем распоряжении, восполняю пробелы домыслами, а дойдя до конца цепочки выводов и сказав "вот так оно и было", все же воспринимаю собственные слова как самоуправство. Отъезд Мадзини кажется мне тогда переходом из реальности в вероятность.

Помню один вечер, уже спустя много времени после исчезновения Мадзини, — вечер, когда мы с Анной Корет впервые вошли в его комнату. Букинистка была в рабочем халате и в косынке, словно для защиты от пыльных туч. Но осевших за эти месяцы пылинок хватило только, чтобы на столешнице да на шкафу проступили отпечатки ладони. Анна Корет открыла окно. Мягко и упруго, будто через дамбу, холодный ветер хлынул через подоконник, и где-то с таким грохотом хлопнула дверь, что вдова каменотеса, сидевшая в конце коридора за своим обычным делом, на миг остолбенела — стрекот вязальной машины прервался. Анна Корет вынула из ящика никелированный столовый прибор, задвинула ящик, потом запаковала посуду, в том числе и чайницу, в газету и уложила в картонную коробку. Через час-другой комната опустела. Когда сворачивали ковер, из шерстинок посыпалась соль. Светло-красное пятно исчезло, как земляной отпечаток на снежном коме, который катят по зимней лужайке. К тому времени я уже так изучил дневники Мадзини, что через это красное винное пятно перенесся на льдину: Мадзини писал о белых медведях, по которым с вертолета стреляли обездвиживающими ампулами.

Неподражаемым, почти грациозным движением звери выпрямляются, поднимают морды, принюхиваются. Вертолет подлетает ближе, а

затем происходит нечто, происходящее в Арктике крайне редко: медведи бросаются наутек, трусят прочь, набирая скорость, и вот уже бегут, пружинисто и мощно. Перепрыгивают широкие трещины в льдинах, переплывают разводья, неожиданно и резко меняют направление. Но вертолет теперь прямо над ними, стрелки́ палят обездвижкой, и бег оборачивается неуклюжим ковылянием. А потом они лежат на льду, поодаль друг от друга. Их трое. Из пасти у каждого вырывают по зубу. Лужица крови возле морды впитывается в лед. Специальной цангой к уху каждого прикрепляют металлическую метку, тонкая красная струйка сбегает по шкуре, на которую вдобавок наносят спреем большой яркий знак. Это поможет разобраться в медвежьих миграциях, чья протяженность составляет многие сотни километров. Кровавое пятно, быстро прорастающее ледяными кристаллами, блекнет.

(И это пятно тоже связано с воспоминанием: в ходе своей экспедиции команда "Тегетхофа" уложила из ружей системы "Лефошё" и вердлевских карабинов шестьдесят семь белых медведей. Туши расчленяли топорами и ледовыми пилами, всегда по одной и той же схеме: мозги — офицерам, язык — экспедиционному врачу Кепешу, сердце — штирийцу-коку Орашу, кровь — цинготным больным, вырезка и окорока — на общий стол, головизна, хребет и ребра — ездовым собакам, печень — на выброс.) Кристаллики соли, рассыпанные на гладком паркете, больше ни о чем не напоминали. Когда мы уходили, вдова каменотеса по-прежнему сидела за вязальной машиной и не глядя взяла купюры, протянутые Анной Корет. Время было позднее. К ночи пошел снег.

Последнему лету и отъезду Мадзини предшествовала многомесячная переписка, которая исподволь противопоставила его домыслам касательно обстоятельств полярной экспедиции Вайпрехта–Пайера туманные картины арктического настоящего. Переписка с губернатором Шпицбергена, с представителями Норвежского полярного института и канцеляриями угольной компании "Стуре норшке Спитсберген кулькомпани" началась непринужденно, почти небрежно, а в результате привела к твердым договоренностям и превратила мадзиниевские фантазии в четкие планы. Не думаю, что он с самого начала так определенно, *по-настоящему* желал этого путешествия. Все словно бы и вправду пошло *само собой*, и Мадзини лишь задним числом попытался выдать это за *собственное* решение. И хотя подготовительная переписка завершилась не только обещанием уютной защищенности гостевого жилья в Лонгйире, но и твердой гарантией предоставить место в каюте на борту "Крадла", траулера средней ледовой пригодности, с движком в 3200 лошадиных сил, все же Арктика, делаясь доступнее, одновременно становилась для него более негостеприимной, более враждебной и даже грозной. В ледяных пустынях своих представлений и умозрительных игр Йозеф Мадзини не нуждался в пуховой одежде, в защите от слепящего света, в оружии... Но теперь... Мир арктических островов, дотоле служивший лишь сценой и фоном для его фантазий, по мере приближения обретал угловатые, причудливые формы, которые и пугали его, и притягивали. И он шагнул им навстречу.

"Дорогой г-н Мадзини, — писал в своем первом ответном письме из Лонгйира губернатор Ивар Турсен, — отдавая должное Вашему интересу к истории Арктики, я тем не менее сомневаюсь, достаточно ли Вы информированы об условиях, какие ждут Вас в норвежской Арктике. О Вашем намерении дойти на рыболовном катере от Шпицбергена до северной акватории Баренцева моря лучше всего поскорее забыть. Подобная

затея в любое время года сопряжена с огромным риском. Кроме того, у нас тут нет ни рыбаков, ни рыболовных судов. Что же до Вашего запроса об участии в одной из морских экспедиций Норвежского полярного института, рекомендую Вам направить его в компетентные ословские инстанции. Но не стоит возлагать на это слишком большие надежды. Вы ведь знаете, как Новая Земля, так и Земля Франца-Иосифа принадлежат Советскому Союзу — значит, каковы бы ни были Ваши планы, Вам нужно вести переговоры не со мной, а с советскими властями. В приложении к письму Вы найдете наиболее существенную для туристов информацию. С дружеским приветом, Ивар Турсен".



## *Информация для туристов*

*Свальбард* — таково общее название всех островов, расположенных в Северном Ледовитом океане между десятым и тридцать пятым градусами восточной долготы и семьдесят четвертым и восемьдесят первым градусами северной широты и включающих архипелаг Шпицберген, а также острова Белый, Земля Короля Карла и Медвежий. *Свальбард* — название древненорвежское; впервые оно упомянуто в Исландских хрониках XII века и связано с характером этих земель, сложенных из базальта, метаморфических осадочных пород и серого гранита, — в переводе Свальбард означает *Холодный Берег*. Но в 1596 году, когда голландский мореплаватель Виллем Баренц достиг Шпицбергена, и исландские хроники, и сама эта земля успели вновь кануть в забвение. Поэтому Баренц считается ее первооткрывателем. С 1925 года Свальбард входит в состав Королевства Норвегия. Верховный представитель государства на островах — *сюсселъман*, губернатор. Его резиденция находится в Лонгйире по адресу: 9170 Longyearbyen. Распоряжения губернатора надлежит беспрекословно выполнять.

*Условия въезда.* Заграничного паспорта и визы не требуется, зато необходимо свидетельство о способности выжить под открытым небом в условиях Арктики. На Свальбарде нет ни общедоступных гостиниц, ни туристских баз. Возможности продовольственного обеспечения отсутствуют. Поэтому все туристы, не решившие заблаговременно квартирную проблему, должны предъявить экипировку, необходимую для пребывания вдали от цивилизации: палатку, спальный мешок, провиант, одежду, пригодную для Арктики, географические и морские карты, компас, сигнальные лампы, оружие и т. д. Сразу по приезде экипировка каждого туриста контролируется местными инстанциями. Если снаряжение и провиант недостаточны для самообеспечения, турист получает отказ и обязан покинуть острова на том же самолете или корабле, с которым прибыл.

*Рельеф.* Острова Свальбарда представляют собой рассеченные, изрезанные фьордами горные массивы, почти начисто лишенные растительности. Встречаются мхи и лишайники, а также цветы, но деревьев нет. Обширные области полностью безжизненны. Береговую линию образуют фронтальные обрывы ледников, отвесные скалы и крутые утесы. Почти две трети из 62 049 квадратных километров архипелага покрыты ледниками. За пределами поселков — Лонгьира, Ню-Олесунна, Баренцбурга и Пирамиды — ни проселочных, ни шоссейных дорог нет.

*Климат и световые условия.* Свальбард — одна из немногих территорий высокоширотной Арктики, куда ежегодно в течение длительных периодов можно добраться морем; благодаря ответвлению Гольфстрима западное побережье Шпицбергена летом свободно от льдов. Температура воздуха и в летние месяцы редко превышает +10° по Цельсию, зимой же опускается до −35°, а иногда и до −40°. Лето туманное, погодные условия в целом чрезвычайно неустойчивы. В Лонгйире *полуночное солнце* светит с 21 апреля по 21 августа. С 28 октября по 14 февраля длится *полярная ночь*. С каждым широтным градусом дальше на север полярный день и полярная ночь удлиняются на шесть дней.

*Население и воздушное сообщение.* Постоянные жилые поселки Свальбарда заложены угледобывающими компаниями — норвежской "Стуре норшке Спитсберген кулькомпани" и советским трестом "Арктикуголь". Приблизительно 1200 норвежцев и 2100 советских граждан проживают на Свальбарде постоянно. Авиакомпания "САС" совершает регулярные рейсы между Тромсё и Лонгйиром, "Аэрофлот" — между Мурманском и Лонгйиром; летом на Свальбард регулярно заходят пассажирские суда. Частотность авиарейсов меняется в зависимости от сезона.

*Угроза от белых медведей.* В летние месяцы белые медведи мигрируют главным образом в восточных и северных районах, но можно столкнуться с ними и на западном побережье. Большей частью они очень голодны и оттого крайне опасны. Туристам надлежит соблюдать нижеследующие правила.

Всегда держите безопасную дистанцию. Ни в коем случае не пытайтесь приманивать животных пищей — ни с лодки, ни из окна жилища. Белые медведи нападают без предупреждения.

Отходы складируйте всегда на расстоянии минимум ста метров по прямой от входа в палатку или в дом, чтобы своевременно заметить приближающегося медведя.

Все без исключения белые медведи находятся под охраной государства. И если в экстренной ситуации тем не менее придется стрелять, цельтесь не в голову, а в плечо и в грудь. Опасность промаха в таком случае не столь велика, а если первый выстрел окажется несмертельным, у вас будет время выстрелить еще раз. Об убитом медведе следует сообщить властям, а шкуру и череп передать губернатору. И так далее.

Виды пернатых, обитающих на Свальбарде, известны наперечет. Названия мхов и лишайников занесены в каталог, регенерационный их цикл установлен. Для экстремальных ситуаций предусмотрены правила поведения, которые помогут спастись; морские глубины промерены, рифы и скалы оборудованы маяками, возвышенности, даже самые обрывистые, закартографированы. Йозеф Мадзини направляется в край отдаленный, но давным-давно утративший мифический ореол. Обмерянный, управляемый лежит Шпицберген в Ледовитом океане, студеный плот, последняя каменная стоянка на его пути в другое время.

В полдень 26 июля Мадзини покидает Вену в некотором замешательстве, какое обыкновенно испытываешь, когда просыпаешься, ощупью шаришь вокруг и постепенно осознаешь, что вот только что видел во сне *эту* комнату, эту стену, кровать, на которой лежишь, и вместо того чтобы растаять, предметы и обстановка грезы делаются при пробуждении четче и осязаемее.

Движение рейсового самолета на Осло, набирающего крейсерскую высоту, мягко вдавливает его в кресло. Линия горизонта наискось прочерчивает вращающуюся картину в рамке иллюминатора. Потом на секунду кажется, что не самолет поднимается ввысь, а мир проваливается в глубину и зеленым морским дном просвечивает оттуда на поверхность. Потом вода покрывается рябью. Белый облачный покров смыкается. Дна больше нет. Земли тоже.

И в самолете Йозеф Мадзини как истинный пешеход пытается остаться *внизу*: равнинные пространства, возникающие в редких разрывах облаков, он разукрашивает подробностями и воспоминаниями о прежних путешествиях и заводит с соседом — торговым представителем, который летит навстречу деловому контракту и *новому будущему*, — неопределенный разговор об этих скрытых от глаза ландшафтах. Сосед рассуждает о государственных границах и оставшихся позади городах. О дамбах и тополевых аллеях он знать не знает. В Копенгагене они желают друг другу удачи. Торговый представитель прощается. После этой промежуточной посадки у Йозефа Мадзини уже нет воспоминаний о местах, что видны под крылом. Пейзажи, мелькающие теперь в разрывах облаков, ему незнакомы. Устремив взгляд на спинку кресла прямо перед собой, он видит тирольца Александра Клотца, в своем пассайертальском костюме тот стоит у вагонного окна. В пустой синеве неба плывет дымный шлейф бремерхафенского поезда, плывет дым из трубы "Тегетхофа". В багажном отделении DC-9 тявкают ездовые собаки. Далекий рокот двигателей — это плеск попутной струи за кормой, зыблющийся волнами, уходящий в бесконечность клин, на поверхности которого дрейфуют обломки льдин и соленая пена.

К вечеру Мадзини уже в Осло. По дороге в гостиницу начинается теплый, тяжелый летний дождь. Если не считать долго не меркнущего дневного света, который позже не даст ему заснуть, ничто здесь не похоже на Север его фантазии. Несмотря на дождь, по-прежнему душно. Стеклянный фасад гостиницы отражает строительные краны. Над кранами в струях дождя парит привязной аэростат. Поздней ночью Мадзини начинает письмо Анне, но фразы выходят неловкие, пригодные разве что для дневниковых записей, никому не адресованных и хранящих всего лишь первые фрагменты путевых воспоминаний. Мадзини вычеркивает "Дорогая Анна" и присоединяет листок к другим заметкам. Дождь льет до утра.

— Обычно мы отклоняем такие ходатайства, — повторил Оле Фагерлиен этим утром содержание письма, которое Мадзини получил еще в Вене, — слишком много народу приезжает; а "Крадл" не туристское судно. Для вас сделано исключение, благодарите Фюранна. Ну да вы об этом знаете.

Еще усталый после ночи в гостинице, Мадзини сидел в обшитой деревянными панелями комнате Полярного института, напротив Оле Фагерлиена; зашел он сюда из вежливости и думал сейчас об упреках, какие слышал от Анны, когда после первого, беспомощного письма шпицбергенскому губернатору обратился не к кому-нибудь, а к Хьетилю Фюранну, одному из *ее* друзей, и попросил помочь с подготовкой экспедиции, которую Анна считала сумасбродством. В свое время Фюранн выступал в Вене на конференции с докладом о промышленных ядах, обнаруженных в Северном Ледовитом океане, побывал у Анны на одном из вечерних сборищ и пил там шнапс из стаканов для воды, а теперь давно сидел у себя в Лонгйире, размышляя о Ледовитом океане.

После вмешательства Фюранна, занимавшегося океанографическими исследованиями по заданию Полярного института, Фагерлиен, во всяком случае, согласился на участие Мадзини в одном из ежегодных научных рейсов "Крадла", сделав то самое исключение, о котором нынче утром говорил так, будто сожалел об этой своей уступке, — "Крадл", в конце концов, вроде как флагман норвежского полярно-научного флота, н-да, отнюдь не туристское судно; Полярный институт за огромную сумму приобрел этот траулер у судовладельца, который испытывал трудности с ликвидными средствами, и переоснастил для научных целей; каждое место на борту дорогого стоит... Мадзини почему-то все время казалось, что Фагерлиен ждет от него извинений за настырность, с какой он добивался для себя каюты, и после каждой фразы норвежца с видом прилежного ученика кивал, соглашаясь с его доводами. (В конце концов, что такое легкая пренебрежительность, выказанная Фагерлиеном, по сравнению с тем обстоятельством, что 10 августа "Крадл" выйдет из гавани Лонгйира и возьмет курс на *Землю Франца-Иосифа* и что он, Йозеф Мадзини (!), через сто десять лет после дрейфа "Тегетхофа", стоя у палубных поручней, заново переживет миг открытия.)

— Стало быть, книга... — сказал Фагерлиен, отвернулся от посетителя и устремил взгляд на завесу дождя, — ...еще одна книга, на каждое приключение теперь целый корабль книг приходится, целая библиотека...

— И из каждой библиотеки является новое приключение. — Мадзини сделал робкую попытку нарушить свое безмолвное, кивающее согласие, но Фагерлиен даже бровью не повел, оставил последнее слово за собой:

— Или турист. — Вот теперь он улыбнулся.

Хьетиль Фюранн посоветовал Мадзини указать в письменном ходатайстве, направленном в Полярный институт (а Фагерлиен как раз и *воплощал собою* Полярный институт), конкретный повод (лучше всего научную задачу, на худой конец историческое изыскание, только не репортаж!), побуждающий его совершить ледовое плавание в стороне от линейных летних маршрутов. Эта переписка и заставила Мадзини декларировать — и подлакировать — свое любопытство, изобразив его как *сбор материалов*. А какое, в сущности, обоснование прозвучало бы убедительнее, чем ссылка на работу над книгой по истории Арктики? На работу, для которой совершенно необходимо глубоко прочувствовать ледовый мир, чтобы ни разговоры, ни суматошность плавания на рейсовом судне не замутили впечатлений? Нет, книгу об *экспедиции Пайера—Вайпрехта* не напишешь на туристском пароходе. (По крайней мере в своих письмах Мадзини вымучивал из себя такие и тому подобные доводы.)

Но Оле Фагерлиен и этим утром, когда протеже пьянчуги Фюранна так учтиво, чуть ли не покорно сидел перед ним, оставался безучастен к затее Мадзини. (С какой стати Фюранну приспичило ратовать за этого итальянца?) Фагерлиен знал слишком многих полярных хронистов, чтобы за компанию с посетителем восхищаться рискованной авантюрой одной-единственной экспедиции, одной из сотен, вдобавок у него были собственные герои. Его просторный кабинет переполняли реликвии великого прошлого. В витринах лежали окаменелости: улитки, ваи папоротников, ракушки и древесная кора — свидетельства того, какими зелеными и райски богатыми были некогда эти арктические края; Шпицберген, тропический сад. На стенах тускло поблескивали золотом и лаком рамы живописных картин, запечатлевших давние сцены из жизни Арктики — охоту на белых медведей под небом, чьи краски уже покрылись трещинками; корабли под надутыми парусами среди плавучих

льдов и огромный бело-голубой фонтан над рухнувшим в море обломком глетчера. Перед стенной картой северного полярного круга — большая, как гобелен, она висела между картинами — стоял бронзовый бюст Руала Амундсена, алтарь. Амундсен! Фагерлиен неоднократно поминал его в это утро — разве рассказ итальянского гостя о матросах-далматинцах и о тяготах его полярных кумиров сопоставим с величием этого *одиночки*? И разве *Он*, покоритель Северо-Западного прохода, первый человек, ступивший на Южный полюс, руководитель предпринятого вместе с Нобиле полета к Северному полюсу и герой Норвегии, не попал из-за итальянцев в неприятности? В архиве Фагерлиена — "Вот, взгляните сюда... и сюда..." — хранились газетные вырезки, документирующие возмутительные нападки Нобиле на *Единственного*. После совместного полета к полюсу итальянский генерал пытался оспорить *Его* славу, втискивался между Амундсеном и восхищением мира, кропал памфлеты! Хотя Нобиле построил дирижабль "Норвегия", а Муссолини поддержал экспедицию — что толку было бы от всех этих средств без гениального воплотителя, без Амундсена?

— Я знаю эту историю, — сказал Мадзини.

А потом, через два года, когда генерал, совершая на "Италии" *свой* полет к полюсу, потерпел крушение во льдах и предприятие его закончилось плачевно, — у кого, кроме Амундсена, хватило великодушия сесть в самолет и отправиться спасать недруга? Амундсен и пятеро его спутников без вести пропали в тот день, когда вылетели на поиски, 18 июня 1928 года, погибли ради обвешанного орденами фанатика, безумца. После радиограммы, посланной из района над островом Медвежьим (Фагерлиен помнил ее текст слово в слово), они замолчали навеки. Поплавок самолета Латама — вот и все, что впоследствии нашли на побережье Шпицбергена.

— Я не Нобиле, — вполголоса сказал Мадзини по-итальянски (как же давно он не говорил по-итальянски) и встал, собираясь откланяться. За время этого визита вежливости мокрая от дождя одежда просохнуть не успела. Близился полдень.

— Sorry? Простите? — Фагерлиен не понял.

— Меня зовут Йозеф Мадзини, — сказал гость.

И Фагерлиен впервые, за много времени впервые, как будто бы смешался. В этот миг он ощутил что-то вроде симпатии к невысокому суматошному итальянцу, который так упрямо рвался в Ледовитый океан, — но, возможно, то был всего лишь отблеск великодушия, каким Амундсен некогда посрамил Нобиле; отблеск, дробной чертой рассекавший фагерлиеновскую картину мира и порой словно бы превращавшийся в нравственный императив.

— Передавайте привет Фюранну. — Фагерлиен превозмог мгновение симпатии и замешательства, кивнул посетителю и наконец остался один — кругленький, лысый мужчина в голубом костюме.

Улицы курятся испарениями. Дождь перестал. Медленно, кружным путем, чтобы составить себе представление об Осло, Мадзини возвращается в гостиницу — турист, сражающийся на ветру с гармошкой карты. Он останавливается на уличных углах, пробует *нарисовать в воображении* очередной отрезок пути, прежде чем идет дальше и подлинные городские пейзажи опровергают его фантазии, — игра. Лишь к концу долгой прогулки воображаемые улицы начинают походить на реальные. Как тихо и сдержанно течет здесь жизнь — шума от нее не больше, чем от праздника в провинциальном городке. "Фрам", говорил Фагерлиен,

ледовый корабль Амундсена и Нансена, "Фрам" стоит в музее мореплавания на Бюгдё... Уже направляясь к парому на Бюгдё, Мадзини меняет решение. Нет, в музей он не пойдет, хватит визитов, хватит вникать в иные, чужие приключения, которые помехой вторгаются в его собственное. Пусть Осло будет ничейной землей, отделяющей настоящее от безвременья арктического ландшафта. Промежуточной станцией.

За покупками недостающего снаряжения проходит остаток дня. В любом книжном магазине здесь продаются морские карты всех масштабов — снежные очки, он забыл снежные очки в доме вдовы каменотеса. Вечером Мадзини стоит перед зеркалом гостиничного номера: черные плошки снежных очков прикрывают глаза (как уверенно он себя чувствует, когда поле зрения сужается до щелки), резинка очков топорщит густые темные волосы; безбородое лицо, узкое, скуластое, с тонким носом, блестит от нанесенного на пробу крема против обморожений. Минуту-другую он стоит не шевелясь, ружье (ферлахская двустволка) на изготовку, взгляд сквозь прорезь очков устремлен на мушку прицела и в зеркало — ряженый хлюпик.

Завтра он будет в Тромсё.

## 7. *Меланхолия*

Паруса отяжелели от холодного дождя. Порой крупными влажными хлопьями падает снег. Низкие тучи ползут по небу, день и ночь ничем друг от друга не отличаются, горизонт тает в пеленах тумана и светло-серой бесконечности. Испытывая силыную килевую качку, "Тегетхоф" идет вперед, а море все мрачнее, все яростнее. Никогда еще на палубу не обрушивались такие валы. Накатывая на барк, они превращают в пытку всякую палубную вахту. Тирольцев-егерей поочередно одолевает морская болезнь, в результате оба едва держатся на ногах, но ухаживают друг за другом, ободряют. *Прибрежные воды острова Новая Земля будут спокойнее; мы увидим красивые горы.* Так обещал обер-лейтенант Пайер. Когда водяные горы наконец-то опадают и ветер уже не рвет в клочья их гребни, приходит стужа, сковывает морозом весь такелаж; реи и мачты, сетка вант — искрящийся перламутром скелет, ледяной шедевр, с которого и довольно слабое волнение, и шквалистый ветер срывают стеклянные сосульки, разбивая их о палубный настил. Этот звон доводит собак до бешенства. Двух недель не прошло после выхода из Тромсё, но о Тромсё, о свечах и серебряных канделябрах на столе у консула Огорда и о минувшем празднике никто уже не вспоминает. Море вытесняет из дневников память о материке. Палят дробовики, и морские птицы — гаги, гагарки, полярные чайки — падают с неба. А потом Халлер с Клотцем сидят возле ведер с кипятком и ощипывают перья. Время потихоньку замедляется. Вайпрехт велит установить на грот-мачте "воронье гнездо" — может быть, тусклая световая дуга, уже несколько дней заметная на северо-северо-востоке, как раз и есть *ледяной отблеск*, знак, что открытая вода скоро заполнится плавучими льдинами и ледовыми барьерами? Так рано? Прошлый год, во время разведочного плавания "Белого медведя", граница дрейфующих льдов располагалась об эту пору значительно дальше к северу. Вахтенный офицер в "вороньем гнезде" увидит льды раньше всех других, предупредит рулевого и направит его. Однажды вечером в кубрике –

ветер улегся – начальник играет своим матросам на цитре. Вахтенный в "вороньем гнезде" – Орел или Брош – ничего не слышит. Он наедине со своим сосредоточенным вниманием.

*25 июня в 8.30 утра сука Новая сдохла родами. В 10 утра ее опустили в холодную могилу, и в тот же день в 7.30 пополудни мы увидели первые льдины и приветствовали их пожеланием, что они будут и последними. Отто Криш*

*Мы никак не ожидали встретить льды уже в этих широтах, но не замедлили утешиться мыслью, что пока имеем дело не со сплоченным ледовым покровом, а с плавучими льдинами, которые, вероятно, вынесло через пролив Маточкин Шар из Карского моря. Но, увы, очень скоро мы убедились, что на самом деле окружены ледяными полями и что в 1872 году условия судоходства значительно хуже, нежели годом раньше. Юлиус Пайер*

Дрейфующие ледяные поля, разрозненные пока и разделенные широкими разводьями, барк проходит на всех парусах; затем сплоченность льдов возрастает, и силы попутного ветра уже недостаточно. Отто Криша и кочегара Поспишила отряжают к паровой машине. Барк с трудом продвигается вперед. Но мало-помалу льды смыкаются в сплошную белую равнину, что тянется до самого горизонта. Разводья исчезают. 30 июля льды впервые *запирают* "Тегетхоф"; барк вмерзает в них. Лишь на следующий день океанская зыбь взламывает ледовую равнину, воздух тоже теплеет. Криша обуревает гордость, когда корабль под шлейфом дыма, чья тень размером превышает скаковое поле, вновь продолжает путь. 3 августа они достигают западного побережья российского архипелага Новая Земля. Под парусами и под парами, но все же очень медленно барк продвигается вдоль скалистых берегов. По воскресеньям команда собирается на палубе. И Вайпрехт читает из итальянской Библии.

*Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объяденiем, и пьянством, и заботами житейскими и чтобы день тот не постиг вас внезапно: ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого...*

А когда и слову Божию уже не под силу успокоить маловеров, их успокаивает слово Вайпрехта, который неуклонно толкует им на пользу все знаки моря и неба. Мы подготовлены, говорит он. Ничто не застанет нас врасплох.

*Несколько дней назад мы вступили в мир, совершенно чужой для большинства на борту; часто нас окутывали густые туманы, из прорех снеговой шубы далекой пока суши навстречу нам угрюмо глядели ее изломанные зубчатые скалы. Все окрест твердило о бренности, ведь море беспрестанно гложет сей заледенелый край и с неутомимым упорством вершат свой труд процессы таяния. В пасмурные ночи, пожалуй, едва ли можно представить себе более меланхолическую картину, чем это шепчущее умирание льда; медленно, горделиво, будто праздничная процессия, движется к могиле вечная вереница белых гробов-обломков под солнцем, что сияет на юге. На считанные секунды мерный шорох зыби под поздреватыми льдинами нарастает до прибойного гула; с высоких закраин больших льдин, монотонно шурша, каплет талая вода, а иной раз лишенный опоры невеликий пласт снега падает в море и исчезает, шипя словно гаснущий огонь. Непрестанно слышны шорохи и потрескивания – это разлетаются в пыль крохотные льдинки. Изумительные каскады талой воды прозрачными, чуть поблескивающими пеленами низвергаются с айсбергов, что, сами себя разрушая, с грохотом раскалываются в жарком солнечном потоке... И вновь воцаряется день с его слепящим светом, перед которым любое буйство и волшебство красок обращается в ничто. Юлиус Пайер*

Чтобы получить мало-мальски наглядное представление о курсе корабля в Ледовитом океане, целесообразно спроецировать на белый экран траекторию полета кухонной мухи, ведь, огибая айсберги, уклоняясь от спаянных паковых фронтов, наседая на льдины и с треском их проламывая, лавируя в лабиринте разводьев, корабль идет курсом, который в целом похож на раздерганный, спутанный клубок ниток, а не на ровную линию. Именно таков их путь в прибрежных водах Новой Земли. Марсовой в "вороньем гнезде" кричит до хрипоты. *Открытая вода! К ветру, лево на борт, четыре румба, пять румбов!* И штурвал под руками боцмана Лузины мгновенно поворачивается; руль стремительно меняет углы поворота, будто крыло перепуганной птицы. "Тегетхоф" пробирается свозь слепящее яркий, блистающий мир ледяных осколков.

12 августа — они-то думали, что вокруг никого нет, — из пелены тумана внезапно выныривает чужой корабль. Вдохновляющий образ пока столь мал и смутен, что впору принять его за мираж, однако корабль плывет не килем вверх, как мираж, а чин чином идет навстречу, с поднятыми топселями, и если на миг зажмуришься и опять откроешь глаза, он по-прежнему там. Немного погодя вспыхивают крохотные звездочки, ало-золотое дульное пламя, сигнальные выстрелы! Это фрегат. Но самое замечательное — флаги, которые как раз поднимают на мачтах: норвежский... и австрийский! Австрийский флаг в здешнем безлюдье, оглашаемом сейчас матросскими "ура". "Белый медведь", граф Вильчек, меценат и друг, отправился со Шпицбергена им вдогонку! Несмотря на сложную ледовую обстановку, он намерен сдержать данное в Вене обещание и заложить для экспедиции на мысу Нассау провиантский склад, первое прибежище, на случай если и "Адмирала Тегетхофа" постигнет то же, что произошло на днях всего в нескольких морских милях отсюда: яхты "Исландия" и "Вальборг" были раздавлены льдами и затонули, — так рассказывает граф, поднявшись из шлюпки на борт "Тегетхофа" вместе со своими спутниками, бароном Штернэкком, императорско-королевским придворным фотографом Вильгельмом Бургером и профессором геологии Хансом Хёфером. Сколько погибших? Граф не знает. Он привез с собой шампанское.

В кильватере "Тегетхофа" "Белый медведь" еще несколько дней идет дальше на север, до Баренцевых островов, прозванных норвежскими моряками *Три Гроба*. Там провиантский склад при необходимости будет достижимее, чем на мысу Нассау. С каждой милей растет опасность, что льды заблокируют корабли и вынудят их к зимовке в безлюдных каменных пустынях Новой Земли. У "Белого медведя" нет ни паровой машины, ни тяжелой оснастки, и зимовка для него равнозначна смерти. Но граф не желает поворачивать обратно, пока не желает. Перед Баренцевыми островами льды смыкаются. Корабли стали. Придворный фотограф Бургер неподвижно стоит среди торосов и смотрит в объектив на край света — голые черные скалы, небо и лед.

Аварийный запас продовольствия (две тысячи фунтов ржаного хлеба в бочонках и тысяча фунтов гороховой колбасы в запаянных оловянных ящиках) перевозят на собаках на *Три Гроба* и складируют на вечные времена среди тамошних скал. Никто из них никогда сюда не вернется. Профессор Хёфер, геолог, собирает окаменелости.

*Погребенная в известняковых скалах Баренцевых островов фауна неопровержимо свидетельствует, что некогда в этих высоких широтах простиралось теплое море, в чьих водах конечно же никоим образом не могли купаться такие огромные ледники, как сейчас. В ту пору и здешний край, теперь совершенно*

*мертвый и похороненный во льдах, переживал, стало быть, эпоху буйного расцвета. В море кишела тысячеликая, зачастую хрупкая и изящная фауна, тогда как на суше – доказательством тому находки на острове Медвежьем и на Шпицбергене, соответствующие тогдашней эпохе, – росли похожие на пальмы исполинские папоротники. Мы называем этот период истории Земли каменноугольным; то была благословенно-щедрая юность Крайнего Севера, который эволюционировал скорее, спешил навстречу умиранию торопливее, чем южные зоны, по сей день живущие в полную силу, в каждодневной изменчивости... Если беглый взгляд на погребенные здесь окаменелости воскрешает в нашем представлении картину некогда буйной жизни, многообразные формы органической природы, то взгляд в настоящее Баренцевых островов поневоле навевает прямо-таки мрачное уныние. Ханс Хёфер*

Пока они заперты возле островов, по распоряжению Вайпрехта к корпусу барка крепят тяжелые, свободно подвешенные брусья — подвижную защиту против мощи грядущих ледовых сжатий; эти брусья должны принять на себя напор льдов. Пайер, Клотц и Халлер то и дело запрягают собак в санки и гоняют по льду, пытаясь укротить свирепых зверюг. Собаки тянут плохо. А потом егеря добывают первого белого медведя. Праздник. Собак вовсе не обуздать.

*18 августа по случаю дня рождения Его Величества императора Франца Иосифа I на борту был устроен торжественный обед, на который пригласили всех господ с "Белого медведя" ("Исбъёрна"), г-н граф Ханс Вильчек предоставил необходимое по сему поводу шампанское. За столом командир корабля г-н Вайпрехт стоя произнес здравицу в честь императора – несомненно, впервые среди льдов и в непосредственной близости от Новой Земли; с "Белого медведя" доставили также свежий олений окорок, превосходный на вкус. Подавали на обед вот что: черепаховый суп, дроздов с пикулями, оленье жаркое с картофельным пюре, рагу из курятины с фасолью на лопатку, пироги со сливовым вареньем и малиновым повидлом, а под конец сыр, хлеб и сливочное масло, затем черный кофе и отличные сигары, предназначенные для особо торжественных случаев, потом пошли разговоры, мы вспоминали родину и милых своих близких. Отто Криш*

У матросов трапеза попроще, меню не сохранилось. Обедают за отдельными столами. Боцмана Лузину, ледового боцмана Карлсена и машиниста Криша приглашают к офицерскому столу лишь по особенным случаям. Но придет время, когда не будет уже ни столов, ни корабля; все вместе они будут сидеть во льду, с почерневшими руками и растрескавшимися от мороза лицами, и жевать сырой тюлений жир. Под рубахами они будут носить фляжки со снегом, чтобы после тяжких многочасовых переходов, когда придется самим тащить санки, иметь глоток-другой безвкусной воды.

*В 10 часов вечера мы встали из-за стола, и господа с "Белого медведя" вернулись на свой корабль, а я записал эти строки и лег в постель. Отто Криш*

*20 августа во льдах наметились кой-какие изменения – судя по всему, нам удастся продолжить плавание; поэтому на следующий день мы поднялись на борт "Исбъёрна", чтобы попрощаться с графом Вильчеком, командором бароном Штернэкком, профессором Хёфером и г-ном Бургером. Прощание было необычное. Если у людей, и без того отлученных от остального мира, разлука возбуждает более сильные эмоции, нежели всегда, то здесь она не могла не вызвать глубочайшей растроганности... Мглистым днем при свежем норд-осте мы под парами прошли мимо "Исбъёрна" на север; скоро "Исбъёрн" утонул в тумане, скрылся из глаз... Во второй половине дня мы очутились в полынье (окруженное льдами открытое водное пространство, пруд среди моря; прим.); но уже следующей ночью и здесь сплошные ледовые барьеры преградили нам путь. Юлиус Пайер*

*22 августа нас окружает сплоченный лед, в 4.30 утра гасим топки и ждем подвижки льдов, начинается сильный снегопад... Нынче сдохла от заворота кишок одна из двух наших кошек. Отто Криш*

Ждать. Дни. Недели. Ждать. Месяцы. Годы. Ждать до отчаяния. Ледяная ловушка больше не откроется. Никогда. На сороковой день после выхода из тромсёйской гавани застывшее море обступает "Тегетхоф" со всех сторон. Открытой воды нет нигде. "Тегетхоф" уже не корабль, а хижина, зажатая льдинами, убежище, тюрьма. Паруса — бестолковые тряпицы. Паровая машина — балласт. Штурвал — нелепость. Запись ледового боцмана Карлсена в вахтенном журнале сообщает координаты блокады: 76°22′ северной широты и 62°3′ восточной долготы. Выпавший снег был мелкозернистым и твердым.

Отныне они дрейфуют на льдине, на ледяном острове, который то уменьшается, то растет, а сердце у него деревянное — их корабль, они дрейфуют в слепящую пустоту, затем в сумерки полярной ночи, во тьму, на север, северо-восток, северо-запад и опять на север — целиком во власти совершенно неведомых морских течений и ледовой пытки. Они уже никуда не направляются. Все подступает к ним само, идет навстречу — два года, из которых более восьми месяцев солнце не восходит; заброшенность и страх; стужа такая, что теплые шерстяные одеяла примерзают к обледенелым стенам кают; одышка легочных заболеваний; обморожения, грозящие смертельной опасностью, которую корабельный врач Кепеш может отвести только мучительной ампутацией; цинготные разрастания десен, которые они срезают друг другу ножницами, прижигая раны соляной кислотой; в конечном итоге бред и отчаяние.

Но страшнее всего им покажется *яростный вой* льдин — во время первой зимовки они то и дело с оглушительным скрежетом и визгом вгрызаются одна в другую, громоздятся высоченными торосами, грозя раздавить "Тегетхоф". При таких сжатиях команда будет сидеть в трюме среди мешков с аварийным запасом и ждать предупредительного окрика вахтенного: *Уходите! Уходите! Ваша жизнь в опасности!* — а уж тогда скорей за борт, в потемки, на лед, где из зияющих трещин, клокоча, выхлестывает черная вода. Потом все успокаивается, воды больше нет. Наваждение.

Впрочем, что, в конце концов, значат все лишения и муки по сравнению с бессмертием первооткрывателя или — если стать на позиции команды — по сравнению с постоянно растущими наградными и жалованьем? И что значит мрак полярной ночи по сравнению со световой феерией арктического неба? По сравнению с полуночным солнцем, что благодаря преломлению лучей является в туманной дымке пяти- и даже шестикратным? По сравнению с хрупкими миражами, с огромным мерцающим венцом вокруг луны и зыбким блеском северного сияния, впервые увидев которое матрос Лоренцо Марола падает на колени и начинает громко молиться?

Во время ледового дрейфа все, о чем говорил Вайпрехт перед управлением порта в адриатическом Фиуме, рисуя ужасы льдов и мрака, полностью подтвердилось, однако матросам-южанам, похоже, и это нипочем. Вайпрехт удовлетворен, ведь он оказался прав, вопреки укорам и сомнениям многих чинов императорско-королевского морского флота. Только не южане! — твердили ему. В арктическую экспедицию надо нанимать норвежцев, датчан, русских. А он набрал итальянцев и далматинцев, и во тьме зимней ночи, когда вокруг спокойно и безветренно, они выходят на лед и при свете факелов играют в шары. Позднее в письме одной из приятельниц Вайпрехт напишет, что южан, которые внушают ему величай-

шее уважение, взял с собою потому, что они обладают *самым ценным*, чем только могут обладать люди среди опасностей Крайнего Севера, — *бодрым оптимизмом*. А завершит Вайпрехт свое письмо замечанием, что, по его мысли, куда важнее сообщить миру об этом, чем об открытии Земли Франца-Иосифа.



Они дрейфуют. Все необходимые меры приняты, возможность блокады учитывалась изначально, заверяют команду начальники; "Тегетхоф" — корабль надежный, лучше не бывает, построен специально для этого моря; следующей весной ледовый капкан откроется, и они продолжат путь, в неведомых водах, до самого Берингова пролива, а то и дальше. Начальники так уверенны. Вайпрехт непоколебим. А Пайер ссылается на него. И пусть всё говорит за то, что вряд ли они когда-нибудь вернутся оттуда, куда сейчас дрейфуют, Вайпрехт упорно повторяет: *Мы вернемся. Я знаю.* И ни один пока в этом не сомневается. Ледовому боцману Карлсену, наверное, известна и другая правда. Но он молчит.

*Столь многие до нас потерпели неудачу. Мы дрейфуем на север, неудержимо на север. К тем широтам, где все замерзлет навеки и весны не бывлет. Там нет таяния. Нет свободной воды. И никогда никто оттуда не возвращался. Берингов пролив далеко, и мы, как и все другие, дрейфуем навстречу гибели.*

Кому бы достало сил высказать такие пророчества? Нет, смерть просто умозрительная фигура. Юлиус Пайер мысленно набрасывает картину. Столь же невероятную, сколь и отрадную: вокруг человека, нагого, беззащитного, отданного произволу зимнего арктического холода, вдруг возникнет туманное облако, вроде венца вокруг луны. При благоприятном освещении края этого облака, которое есть не что иное, как быстро испаряющаяся телесная влага, заиграют всеми цветами радуги: фиолетово-синим, голубым, зеленым, желтым, оранжевым, красным. Постепенное угасание этих красочных каемок, цвет за цветом, ознаменует этапы холодной смерти; смерть по ту сторону болевого порога, зримая в исчезновении последней, красной каймы.

Умирание, игра цвета.

## 8. Второй экскурс. Искатели прохода. Страница хроники неудач

(Избранные предшественники экспедиции Пайера–Вайпрехта, чьими именами названы арктические ландшафты, мысы и водные пути)

*NB!* Тот, кто на рыболовном суденышке безнадежно застревает во льдах и тонет, умирает с голоду или замерзает, на место в анналах истории не претендует. И никто уже не вспоминает о без вести пропавших китобоях и зверобоях — о мореходах, каждый год выходивших в Северный Ледовитый океан и отнюдь не называвших свои плавания высокопарным словом *экспедиция*. А ведь зверобои тоже совершали открытия и зимовали на островах, которые еще долго оставались неведомы космографам; они лучше знали льды и судоходные трассы, нежели академики, — но кто, кроме писаря в торговой конторе, стал бы записывать их имена? Что такое десять сгинувших зверобойных фрегатов по сравнению с одним-единственным экспедиционным кораблем, вышедшим в рейс по королевскому приказу и затонувшим? Кто делает свое дело на зверобойном судне, славы не взыскует. Но *экспедициям*, даже самым безуспешным, ставят памятники.

| Имя (начальник экспедиции) | Годы во льдах | Недостигнутые цели | Примечания |
|---|---|---|---|
| Хью Уиллоби | 1553/ 1554 | Северо-Восточный проход | Ср.: Первый экскурс, гибель Уиллоби. |
| Мартин Фробишер | 1576/ 1577/ 1578 | Северо-Западный проход | Достигает южной оконечности Гренландии, возвращается с грузом серного колчедана, *золотого камня*, и с пленниками – гренландскими эскимосами. Во время второго плавания эскимосы убивают пятерых матросов; Фробишер сообщает, что многие гренландцы сами утопились, чтобы не попасть к нему в руки; в конце концов он пропадает в Ледовитом океане. |
| Виллем Баренц | 1594/ 1595/ 1596/ 1597 | Северо-Восточный проход, Северо-Западный проход, прямой путь через Северный полюс в Тихий океан | Впервые огибает Новую Землю и вслед за поморами и исландцами вновь открывает Шпицберген, постоянно возвращается с серным колчеданом. В последней экспедиции его корабль был затерт льдами у *Трех Гробов* возле северо-восточного побережья Новой Земли и затонул; Баренц и четверо матросов умирают во время зимовки на побережье. Остатки его лагеря спустя сотни лет были найдены ледовым боцманом Эллингом Карлсеном. |
| Джон Найт | 1606 | Северо-Западный проход | Убит в Гренландии эскимосами. |
| Джеймс Холл | 1605/ 1606 1607/ 1608 | Северо-Западный проход | Убит в Гренландии эскимосами. |
| Генри Гудзон | 1607/ 1608 1609/ 1610/ 1611 | Северо-Западный проход, прямой путь через Северный полюс в Тихий океан | Совершает плавания в Гренландию, на Шпицберген и через *Гудзонов пролив* и *Гудзонов залив* к североамериканскому континенту; возвращаясь из одной такой экспедиции, открывает остров Ян-Майен; после подавления двух бунтов команда высаживает его вместе с сыном и семью матроса- |

| Имя (начальник экспедиции) | Годы во льдах | Недостигнутые цели | Примечания |
|---|---|---|---|
| | | | ми в шлюпку, после чего он пропадает без вести; бунтовщики возвращаются в Англию, где их казнят через повешение. |
| Витус Беринг | 1725–1741 | Северо-Западный проход, Северо-Восточный проход, прямой путь через Северный полюс в Тихий океан | Герой запланированной и организованной Иваном Кирилловичем Кириловым царской *Большой северной экспедиции* (всего семь отрядов и шестьсот участников). Одним из первых проходит *Берингов пролив*; потерпев кораблекрушение у берегов *острова Беринга*, умирает там от цинги. |
| Василий Яковлевич Чичагов | 1765/1766 | Прямой путь через Северный полюс в Тихий океан | По возвращении из первой безуспешной экспедиции по отысканию прохода вынужден выйти во второе плавание, в ходе которого большинство участников погибает. (Принудительные экспедиции типичны для полярных исследований при царе – поэтому мореходы порой придумывают новые земли и свободные от льда трассы, чтобы избежать повторного плавания.) |
| Джон Франклин | 1818/1819<br>1820/1821<br>1825–1827<br>1845–1847 | Северо-Западный проход, прямой путь через Северный полюс в Тихий океан | После трех тяжелейших полярных экспедиций Джон Франклин в четвертой своей экспедиции пропадает во льдах вместе со 129 членами экипажа и двумя кораблями – "Эребусом" и "Террором"; многолетние поиски остаются безрезультатны. Только в 1859 году капитан Мак-Клинток находит остатки стоянок и мертвые искалеченные тела. |
| Илайша Кент Кейн | 1850/1851<br>1853–1855 | Американский путь (через пролив Смит у западного побережья Гренландии к Северному полюсу и Берингову проливу) | Кейн выходит из Нью-Йоркской гавани, намереваясь впервые пройти *Американским путем* в Тихий океан; первая экспедиция терпит неудачу, во время второй остается в живых лишь часть экипажа, а сам Кейн по возвращении умирает от последствий лишений. |

| Имя (начальник экспедиции) | Годы во льдах | Недостигнутые цели | Примечания |
|---|---|---|---|
| Чарлз Фрэнсис Холл и Эмиль Израэл Бесселс | 1860–1862<br>1864–1869<br>1871–1873 | Американский путь | В качестве проводников и советников Холл берет с собой в экспедицию несколько эскимосских семей; в 1871 году он умирает от тягот санного путешествия во льдах; экипаж под командованием Эмиля Израэла Бесселса продолжает попытки дойти до Северного полюса, часть экипажа остается на льдине, оторвавшейся от корабля, и семь месяцев дрейфует до моря Лабрадор; к моменту отправки "Адмирала Тегетхофа" экспедиция Холла еще считается пропавшей без вести. |

Дополнение. Победители

В 1878 году, через четыре года после возвращения экспедиции Пайера–Вайпрехта, Адольф Эрик барон Норденшёльд, вполне сознательно вморозив свой корабль "Вега" во льды, начинает ледовый дрейф сквозь полярную ночь; следующим арктическим летом "Вега" освободится от льда, поставит паруса, пройдет Беринговым проливом и, наконец, 2 сентября 1879 года достигнет Иокогамы, где Норденшёльда встретят бурным ликованием: Первый! Покоритель *Северо-Восточного прохода*! (Проход этот не имеет транспортно-торгового значения, поскольку преодолеть его можно лишь ценой едва ли не многолетнего ледового плена... Но и это изменится: с появлением ледоколов далекого пока что будущего, к примеру советских гигантов класса "Ленин" с двигателями мощностью 75 000 лошадиных сил или танкеров компании "Эксон ойл" и других специальных судов, созданий могучей техники.)

В 1903–1906 годах Руал Амундсен на судне "Йоа" выдержит две полярные ночи, дрейфуя со льдами, и достигнет Берингова пролива через Северо-Западный проход, каковой не имеет транспортного значения, ибо лишь ценой многолетнего ледового плена... и т. д., и т. п.

Но кто дерзнет утверждать, что все муки и тяготы искателей этих проходов были бессмысленны? Странствия в аду ради путей, не имеющих ценности? Так или иначе, они послужили если не обогащению и торговле, то науке, разрушению мифов о свободном от льдов полярном океане, мифов о райских кущах во льдах. А мифы не разрушить без жертв.

## 9. *Ландшафт – сегодня и вчера*

Завтра июль кончается. Йозеф Мадзини уже третий день в Тромсё. Ледовитый океан тонет в дымке; высокая влажность воздуха туманит перспективу; максимальная дневная температура не превышает 10° по Цельсию.

Небо белесое. У самой земли, над окаменелым ландшафтом, ветру как раз хватает силы чуть взбудоражить поверхность какого-нибудь стоячего водоема, пруда, изредка поднять легкую волну да вызвать в кронах корявых березок тот умиротворяющий шелест, который у синоптиков слывет характерным признаком легкого бриза. На фоне каменных круч Фрагернеса, господствующих над Тромсё, парит дельтаплан, выписывая плавные, продолговатые петли. Как добыча в когтях дракона висит планерист под ярко-алым крылом своего аппарата, а тот несет его прямо на гору, словно бы на мгновение замирает в воздухе, сворачивает, исчезает из поля зрения Мадзини, а через секунду-другую появляется вновь, чуть ниже. Скалы будто притягивают дельтаплан, и опять отталкивают, и мало-помалу заставляют его снижаться. Когда алое крыло со своею добычей уплывает из виду, Йозеф Мадзини остается наедине с этой горой, что стоит здесь как сто и тысячу лет назад, — все те же ущелья, кручи, граница лесов, проходящая в каких-то двух-трех сотнях метров над уровнем моря, скудные низкие купы деревьиц, березки, напоминания о лесах, кусты можжевельника, а выше лишайники, голый камень и мох. Наверное, туда поднимался Пайер, неся в заплечной корзине барометры и прочие приборы, следом шел Халлер с собаками, а впереди всех — лопарь Дилькоа. Вот они стоят на вершине и видят черный дымный столб над Тромсё, город охвачен пожаром, и Вайпрехт спешит из гавани на подмогу пожарным; колокола бьют набат. А потом дельтапланерист, завершив петлю, возвращается в поле его зрения и тянет за собою реальность сегодняшнего дня. Взгляд Мадзини сосредоточенно следует за ним туда, где у круч Фрагернеса поблескивают гондолы канатной дороги; пешком наверх ходить уже незачем, разве только для развлечения, бесцельная трата сил. Бетонный мост изящной аркой накрывает вход в гавань; у причала стоят два промысловых судна — великаны, корпуса в потеках ржавчины; матросы "Тегетхофа" глазам бы своим не поверили, ведь рядом с этими колоссами их барк сущий пигмей, чуть больше лоцманского катера, вдобавок оба увенчаны ветвистой путаницей антенн и вертушками радаров. Портовый пирс, нитка рельсов — он переводит взгляд на церковь, нет, там он не может представить себе вайпрехтовских матросов, для которых перед отплытием служат мессу; образчик тщеславного зодчества — так вчера за завтраком в гостинице "Ройал" отозвался об этой церкви турист из Гамбурга, — удачное сооружение, незамысловатая конструкция навеяна сушильными стойками, к которым в здешних краях подвешивают рыбу, а сверху набрасывают сети, для защиты от прожорливых птиц. Нет, здесь они колен не преклоняли. Гамбургский архитектор стоит сейчас у поручней какого-нибудь катера и ловит во фьорде рыбу, которой не ест, — таков один из пунктов программы паушальной поездки; Мадзини может спокойно к ним присоединиться, сказал гамбуржец, одним человеком больше, одним меньше — какая разница, а здесь так и так *все в ажуре*. Красновато-коричневые, темно-зеленые и розовые деревянные дома в центре города, по-деревенски тихого и спокойного, и стоят дома поодаль один от другого, из предосторожности, чтобы в случае пожара огонь не перекинулся; опасность пожара учитывают по сей день. Чем дальше от центра, тем плотнее новая застройка, кирпичные здания, стекло и бетон, — крики чаек. На одном из газонов высится трехчетырехметровый, куда больше, чем в жизни, металлический Амундсен, устремивший пустой взгляд в седое море.

Я вижу, как Йозеф Мадзини, вскинув на плечо спальник и легкий багаж, шагает по песчаной дороге, потом по каменистой тропе, фиоле-

товые склоны, светлая ночь, а он в сорока километрах пешего хода от Тромсё — испытывает себя одиночеством. На берегу окруженного березками озера колышутся зыбкие высокие столбы — тучи мошкары, миллионы насекомых, гудящая аллея. Там на ночлег устраиваться нельзя. Пасма тумана плывут над черной водой, скрепляют сушу с озером. Он идет вниз, в Скейвог, заброшенный поселок на Улльс-фьорде — развалины, рухнувшая, заросшая травой хижина, пустые окна. Двенадцать часов он провел в пути. И тою же ночью снова пускается в дорогу, взбирается высоко на скалы — дальше идти некуда, глубоко внизу в Улльс-фьорд вливается Грётсунн, именно здесь "Тегетхоф" прошел под парами в открытое море, сейчас воды пусты, совершенно пусты, а затем падает густой туман. Компасу Мадзини пока не очень доверяет. Утром выбирается возле Скарбю на песчаную дорогу, деревянные домишки в тумане, видимость меньше десяти метров. По берегу Грётсунна он шагает обратно. Неподалеку от Вогнеса рядом тормозит грузовик, шофер жестом приглашает его в кабину; только теперь он чувствует, до чего же устал. Шофер не понимает ни английского, ни знаков, когда Мадзини пытается сообщить ему, что сам водил такие машины, как эта, и даже побольше, — он только снова и снова качает головой. На здешних дорогах много не говорят. Мокрый пейзаж грохочет за окном. Громкий голос из радиоприемника, шум помех. Шофер кивает на небо, потом на лежащую рядом пуховую куртку. Сводка погоды. Надвигается похолодание. Вечером Мадзини опять в городе. Гамбургский архитектор только что прилетел на "Туин-оттер" из Вардё, сетует на какой-то из тамошних ресторанов, куда без галстука не пускают, он побывал и на Нордкапе: трехсотметровая столовая гора, круто встающая из моря, край Европы, но в туман и дождь, увы, полное разочарование. И на́ тебе — галстук! Галстук на рубеже глухомани, в этой дыре, идиотизм! А Мадзини размышляет о званом обеде в доме консула Огорда. Интересно, ледовый боцман Карлсен уже был среди гостей? Он в своем белом парике, при ордене Олафа Святого, а Пайер в парадном мундире? Доктор Кепеш, венгр, самый тщеславный из всех, наверняка облачился в выходной сюртук. Вы вообще меня слушаете? — говорит гамбуржец. Нынче ведь последний вечер, да? а завтра на Шпицберген? ну что ж, ваше здоровье, можно и это отметить, на сей раз молодой человек из Вены вряд ли откажется? Но Мадзини и согласия тоже не выражает. Просто идет следом за гамбуржцем. Сейчас, по возвращении из малого одиночества, Тромсё кажется ему еще новее, еще современнее. Он видел разбомбленный немецкий эсминец, затонувший в скалах? — спрашивает архитектор. Нет, Йозеф Мадзини высматривал другой корабль. Н-да, паршивая история, во время Второй мировой войны старый Тромсё сгорел от обстрелов немецких пушек.

Воспоминания об исчезнувшем городе, быть может о Тромсё Пайера, романтические пейзажные литографии висят в рамках под стеклом на деревянных панелях рыбного ресторана "Фискероген и Пеппермёллен", интерьер которого имитирует кают-компанию парусного судна — фонари "летучая мышь", дерево, много латуни. Классный кабак, говорит Мадзини, опережая гамбуржца, и усмехается. Хозяин, кулинар, давний австрийский эмигрант, гордится тем, что превращает в деликатесы именно такую рыбу, какую обитатели норвежских берегов выбрасывают в море как несъедобную. Может, он и серный колчедан превратит в золото? — спрашивает Мадзини.

— Простите?

— Серный колчедан в золото.

— Ну и шуточки у вас... — Хозяин уже оборачивается к соседнему столику. — А попробовать вообще-то не мешало бы, ха-ха-ха... — Он желает им приятного вечера. *Скат по-норвежски*, за сто восемнадцать крон. Серный колчедан в золото, алхимия, секрет богатства, настоящее приключение.

— Вы слишком быстро пьете, — говорит гамбуржец.

Здесь на неделю требуется больше денег, чем в Вене на месяц, подсчитывает Мадзини. Впрочем, завтра он будет в океане, там и это, и вообще все изменится. Завтра. Ночной рейс.

— Ладно, будьте здоровы! — говорит гамбуржец. Молодой венец, похоже, со спиртным не очень в ладах. Аквавит ударяет ему в голову и делает до того неловким, что позднее он никак не может отпереть магнитной карточкой дверь своего номера. Пьяный турист. Портье приходит на помощь.

Последний день на европейском материке — головная боль и тошнота. Еще вечером (багаж уже стоит наготове) Мадзини рвет желчной пеной. Холодный ветер на аэродроме бодрит. Рейсовый самолет в слепящем конусе света — полная неожиданность. Опять DC-9. Он-то рассчитывал на "Туин-оттер" или на иной маленький винтовой самолет с горсткой пассажиров. Вскоре после полуночи он над облаками. Вполне обычный внутренний рейс. Шахтеры и инженеры летят на работу в угольных шахтах Лонгйира, а несколько туристов в ярких куртках — в отпуск, предвкушая обещанное проспектом глухое безлюдье. Когда треть дистанции остается позади, без малого через час после вылета из Тромсё, небо загорается огнем: восходит багряное солнце. Над Лонгйиром полуночное солнце будет видно еще две недели. Странный свет внушает туристам тревожное ожидание; они показывают друг другу на пылающие облачные гряды. Большинство шахтеров спит. Сосед Мадзини затевает разговор; это болгарин, музыкант, один из многих болгарских джазменов, которые в летний сезон играют на танцплощадках Финнмарка старые шлягеры. "Rock Around the Clock", "Белые розы Афин", "Love Me Tender". Болгарин церемонно представляется, будто после особенно трогательного номера знакомит публику с музыкантами своей немногочисленной группы: Златю Бояджиев, контрабас. Антонио Скарпа, матрос, говорит Мадзини в ответ и тотчас сожалеет. Он обманул доверчивого, искреннего человека. Придется теперь разыгрывать интерес, задавать вопросы и внимательно слушать, чтобы вознаградить болгарина, который с тем же дружелюбием примет на веру и любую другую его ложь. Златю Бояджиев ничего этого не замечает. Он отыграл свое в Хаммерфесте и в Алте и теперь, как каждый год, проведет неделю в палатке на Шпицбергене, хотя его *boys* и говорят, что это попросту выброс денег; *boys* ничего не понимают, ну и пускай, ему без разницы. Все-таки почему же именно болгары должны удовлетворять потребности финнмаркских обитателей в развлечениях? Контрабасист точно не знает. Так сложилось. Наверно, для западных музыкантов Север слишком скучен и уныл. Когда-нибудь он попросит убежища в Норвегии и тогда на годик-другой устроится в Лонгйире на шахты. Не облагаемый налогом доход, десять тысяч крон в месяц, вдобавок льготы, а позднее, глядишь, и собственный ресторанчик.

На посадочной полосе Лонгйира в лицо ударяет резкий ветер. Самолет "Аэрофлота", следующий рейсом на Мурманск, рулит мимо. Возле барака стоит молчаливая кучка советских шахтеров; они ждут вертоле-

та, который доставит их в Баренцбург, на шахты треста "Арктикуголь". Контрабасист что-то им кричит. Разноцветные туристы, в том числе небесно-голубой Мадзини, бросают на русских смущенные, чуть ли не робкие взгляды; старомодные пальто, чемоданы, перевязанные веревками. Значит, приключение уже началось.



## 10. Гнетущий ход времени

Они сопротивляются. Отбиваются. Топорами и кирками колотят по льдине, длинными пилами пытаются прорезать во льду каналы, бурят в этом треклятом застывшем море шпуры, набивают их черным порохом, взрывают заряды, один за другим; машинист Криш выковывает из ледового якоря громадное зубило, которое матросы с помощью специальной опоры и талей подтягивают вверх и раз за разом обрушивают на ледяной капкан, — они вызволят "Тегетхоф" из льда, освободятся, *непременно* освободятся, чтобы по крайней мере подыскать у побережья Новой Земли защищенную бухту для зимовки, однако архипелаг мало-помалу уходит за горизонт. Марселя и фок сутками не убирают, чтобы не потерять ни секунды, когда ледяной остров расколется и наконец-то их освободит; у горизонта видны темные полосы, *водяной отблеск*! — вот куда им надо, там наверняка есть судоходное разводье. Но они здесь. Здесь! Заперты во льдах. Водяной отблеск не для них. Пилы на морозе совершенно теряют упругость и ломаются, прорези уже через минуту-другую опять смерзаются, взрывы только швыряют вверх тучи ледяных осколков, которые затем градом сыплются им на голову, "Тегетхоф" неподвижен, руль, всего лишь вчера очищенный от льда, сегодня вновь обмерз, штормовой норд-ост заметает лунки от большого зубила, снег делается стеклянистым и твердым — новым льдом, паруса тщетно полощутся на ветру. Порой небо стремительно мчится у них над головой, в холодной буре от льдины отламываются большие и малые куски, остров уменьшается, покрывается трещинами, может быть, наконец пришло время — по местам, стоять! — но в результате течения приносят еще более огромные ледяные поля, которые смерзаются с их льдиной в сплошной стылый ландшафт.

*Итак, надежда на исполнение нашей миссии оказалась лишь краткой иллюзией; больно признать, но злой рок по-прежнему преследует нас, и нам едва удалось кое-как сохранить присутствие духа... Дни становились все короче, солнце на закате пылало все ярче, погружаясь в красные тучи испарений за барьерами исчерна-синего льда; и сумерки после его исчезновения с каждым разом были все гуще... Лишь изредка мы видели чаек, залетавших на ближние к нам разводья. Коротко взмахивая крыльями, они зависали над мачтой, пристально глядели на нас и с хриплым криком стрелой мчались на юг. Улетающие птицы навевали тоску – казалось, все живые существа стремились поскорее уйти от долгого владычества мрака, предстоявшего нам... безрадостная пустыня приняла нас; безвольные на неопределенное время и расстояние, мы вступили в нее. Юлиус Пайер*

*Корабельный такелаж до того обледенел, что добраться до "вороньего гнезда" стоит огромного труда и напряжения... Удивительные кристаллы обсыпают такелаж – точь-в-точь перья несказанной красоты. Отто Криш*

И даже если кто-нибудь взбирается по этим звенящим ледяным лесам и топором расчищает себе место в "вороньем гнезде" — он не видит

ничего, о чем мог бы сообщить товарищам. Водяной отблеск растаял. Льдам нет конца. Когда Вайпрехт приказывает убрать паруса, а затем и снять стеньги, они осознают, что на этот год проиграли. Но, может быть, чудо все-таки случится. Может быть, полярные сияния, которые они наблюдают в небе с первых недель сентября, предвещают грядущее освобождение. Когда над их одиночеством пробегает первая волна света, вначале изумрудно-зеленая, а потом в великолепных переливах всех цветов радуги, Марола с молитвой падает на колени. Мадонна им поможет. Но Вайпрехт говорит, что уповать надо не на чудеса, а на него.

*Именно северное сияние прежде всего наполняет новичка в тех краях изумлением – неразгаданная загадка, которую природа огненными письменами напечатлела на звездном арктическом небе.*

*Как отдаленные зарницы в душной летней ночи совершенно несравнимы с яростным грозовым ненастьем, так и слабый отголосок полярных сияний в наших местах несопоставим с величественным природным спектаклем Крайнего Севера. Здесь небесный купол целиком объят пламенем; пышными снопами тысячи молний беспрестанно устремляются со всех сторон к той точке небосвода, куда указывает свободная магнитная стрелка; вокруг этой точки искрятся, мерцают, колышутся, зыблются в неистовом хаосе слепяще белые пламена с цветною каймой; словно подгоняемые ветром, огневые волны света, пересекаясь и захлестывая друг друга, мчатся с запада на восток и с востока на запад. Без устали чередуются краски – белый, зеленый, красный, белый, зеленый, красный. Тысячи и тысячи лучей огненными пучками непрерывно летят ввысь и в бешеной гонке жаждут достигнуть точки, которая их всех притягивает, – магнитного зенита. Мнится, будто древняя легенда Священного Предания стала явью: небесные воинства вступили в битву и на глазах у обитателей земли истребили друг друга огнем и молнией. Происходит все это в глубочайшей безмолвной тишине, всякий звук молчит, сама природа словно замирает в оцепенелом восторге перед собственным своим делом. Карл Вайпрехт*

Теперь у них есть досуг – досуг пленников. Для своего освобождения они ничего сделать не могут. Так же одержимо, как сражались с ледовыми преградами, они теперь сражаются с однообразием. С временем. Шьют из парусины защитные накидки и мешки для провианта, по два, по три раза ставят на сапоги новые подметки, натягивают над палубой брезент, готовят корабль к зимовке, – полезной работы недостает, она слишком быстро подходит к концу. Матросы сооружают вокруг "Тегетхофа" постройки из льда, сперва отхожее место, потом стены, дома, башни (!), а после, с прямо-таки яростным рвением, крепости и дворцы. Распиливают ледяные пласты и выкладывают из искристых кирпичей арки ворот и стрельчатые окна, сквозь которые будет улетать время. Хорошо, что при подвижках льда – могучие сжатия еще впереди! – эти здания и города снова и снова рушатся и тонут. Можно начать сначала, все восстановить и выстроить даже больше и краше прежнего. В многодневных тяжких трудах они прокладывают сквозь торосы улицы и дороги, выравнивают твердокаменное море, заливают водой и, привязав к войлочным сапогам полозья, катаются на коньках. Машинист Криш, смеясь, обучает матросов. Однако южане и тут быстро достигают недюжинной ловкости и проворства, так что в конце концов даже играют на коньках в шары. Вайпрехт остается серьезен. Он никогда почти не выказывал сомнений в ходе экспедиции и разочарования, вот и теперь, когда они мало-помалу обживаются в своем плену, он мало участвует в их беззаботности. Ночи напролет сидит один в наблюдательной палатке, поставленной по его распоряжению на льду, ведет метеорологические,

астрономические и океанографические журналы, отмечает колебания земного магнетизма, записывает длинные столбцы цифр, вычисляет причудливый курс дрейфа, замеряет лотом морские глубины, описывает, подсчитывает, проясняет взаимосвязи. Он весь внимание.

*Чтобы увлекаться природой, нет нужды быть кабинетным ученым, который видит в тычинках цветка только признак его класса, в насекомом – объект для микроскопа, а в горе́ – камень, однако, с другой стороны, нет и нужды быть сентиментальным энтузиастом, который приходит в восторг от мерцания звезд и в банальном своем восхищении перед величественной молнией, может статься, знать не знает об извечных законах, каким подчинено в природе всё и вся. В изучении загадок, которыми окружает нас природа, наиболее полно выражается стремление мыслящего человека к прогрессу. Когда Ньютон из простого наблюдения вывел непреложные законы, составляющие основу движения небесных тел, всей небесной механики и существования Земли, на которой мы живем, он не только выработал формулы, но подтолкнул вперед все мыслящее человечество, подняв его в собственных глазах и показав, на что способен человеческий разум.*

*Кто впрямь желает восхищаться природой, пусть наблюдает ее в крайностях. В тропиках, в полном ее расцвете и изобилии, в роскошном летнем уборе, любуясь которым очень легко проглядеть главное, и у полюсов, во всей скудости, каковая, однако ж, куда как ясно и отчетливо выявляет великолепную внутреннюю структуру. В тропиках взгляд запутывается в великом множестве деталей, сплошь вызывающих восхищение, здесь, за отсутствием оных, он обращается к внушительному целому, за отсутствием продукта – к производящим силам. Внимание, не отвлекаясь на частное, сосредоточивается на самих природных силах. Карл Вайпрехт*

Жизнь на корабле течет в тесноте и скученности, и все члены команды близко знакомятся между собой: Карлсен, в молодости отыскавший на Новой Земле зимовье великого Баренца, Клотц, побывавший на высочайших пиках, умеющий ходить по канатам и заваривать целебные настои, Пьетро Фаллезич, участвовавший в строительстве Суэцкого канала и рассказывающий невероятные истории про Египет, заядлый курильщик боцман Лузина, гармонист Марола и остальные — все они сообщают друг другу повести своей жизни, снова и снова, в разных вариантах; только у их начальников дружбы не выходит. Меж ними начинается отчуждение. Пайер горюет о потерянном времени. Ему хочется открывать новые земли и морские пути, хочется ездить на собаках по неизученным местам, ему тесно в наблюдательной палатке, он жаждет вернуться с замечательной космографической новостью, чтобы встретили его бурным ликованием. Для Вайпрехта море, где они сейчас дрейфуют, тоже достаточно неизученно и ново. Работы и без того полным-полно; сведения, которые он собирает, послужат науке, а не национальному честолюбию, жаждущему теперь любой ценой покорить и Северный полюс; но ведь Северный полюс для науки ничуть не важнее любой другой точки Крайнего Севера; обуявшая весь мир погоня за славой первооткрывателей и высокоширотными рекордами ему претит, он предпочитает воротиться домой с надежными результатами и без людских потерь, нежели с приблизительным наброском ледовой земли. Новые территории, конечно, дело хорошее. Но не ради одной только славы и не любой ценой. В этом Пайер, безусловно, с ним согласен, и все же вернуться домой без успеха, без новой земли для него позорнее смерти. Словеса, говорит Вайпрехт. Мечты Пайера целиком сосредоточены на огромных ледяных горах, что высятся средь окрестной пустыни, —

эти великаны явно оторвались не от глетчеров Новой Земли, слишком они огромны для тамошнего побережья, слишком могучи, нет, *эти* горы принесло сюда от другой, неведомой земли, и он, Пайер, *непременно* ее найдет.

Сухопутный начальник готовится к триумфу. Тренируется для исследовательской экспедиции. Снова и снова гоняет по льдине собачью упряжку. Собаки до того злющие и неуправляемые, что Кришу приходится смастерить им намордники из кожи и железа. Громадный ньюфаундленд Гиллис растерзал последнюю тромсёйскую кошку, единственное существо, которое они могли приласкать.

*Сие обстоятельство очень опечалило команду, потому что все любили этого зверька, особенно тиролец Клотц, у которого прямо-таки слезы навернулись на глаза. Отто Криш*

Клотц, рассудительный, спокойный Александр Клотц, впадает в столь ужасную ярость, что набрасывается на собаку и как одержимый тузит ее кулаками, — приходится его оттащить. Потом он сидит подле растений, которые выращивает в матросском кубрике, неотрывно глядит на горшки с жерухой (без солнечного света стебельки у нее не зеленые, а сернисто-желтые) и разговаривает с Халлером на диалекте, понятном лишь им двоим.

Когда сделано все необходимое, все, что они на себя возложили, когда они сидят в кубрике — одни с книгой или с дневником, другие, неграмотные, просто так, с пустыми руками, — и только хронометр удостоверяет бег времени, тогда лишь крик вахтенного порой выводит их из оцепенения: Un orso! Медведь! Мгновенно стряхнув задумчивость, они, в чем были, нередко без сапог, без шуб, мчатся на палубу. Нет большей радости, чем охота. Каждому хочется выстрелить первым. Когда зверь на прицеле, нет ни печали, ни свинцово-тяжкого времени.

*6 октября налетает юго-западный ветер, метель... После полудня я для моциона вышел на палубу и, к величайшей моей радости, увидал по левому борту белого медведя, сей же час я сообщил в кубрик: "Медведь рядом!", – все мигом устремились на ют и поспешно расхватали ружья; медведь шел мимо борта, на прежнем расстоянии, временами поднимаясь на задние лапы и принюхиваясь в сторону корабля, все изготовились стрелять и притаились за бортовой стенкой, но медведь зашел за торос и там остановился, незримый для нас, мы ждали, когда он выйдет из-за льдины, однако тщетно, терпение наше было напряжено до предела, я взобрался на бизань-мачту, чтобы высмотреть медведя, и увидал, что оный начекпется уйти, я предупредил остальных, и было решено двинуться в погоню; по льду мы направились к медведю, а поскольку из-за тороса он нас не видел, сумели подойти поближе, первым выстрелил г-н Пайер и попал разрывною пулей в спину, так что медведь упал, но продолжал еще ползти вперед; поскольку же ему оставалось недалеко до полыньи за кормой, по нем сделали еще шесть выстрелов, и он, касаясь мордой края полыньи, испустил дух... Восемь человек с большим трудом втащили его на борт; когда тушу свежевали, в желудке не нашли даже малой частицы пищи, кишки тоже были дряблые и пустые, бедняга, как видно, очень давно голодал. Отто Криш*

Но охота — развлечение редкое, а снежные бури, когда дышать можно, лишь отвернувшись от ветра, все чаще вынуждают их сидеть в кубрике. И даже когда буря утихает и слышны только звон и скрежет разламывающихся вдали ледяных полей, остается стужа, да такая, какой большинство из них в жизни не испытывали. Темнеет. Мягко пламенея, угасает свет в их искристом ледяном театре. Однако ж занавес больше не откроет великих спектаклей. Драмы ледовых сжатий, чьи прелюдии

теперь тревожат их почти ежедневно, разыграются во тьме. Они боятся за свой корабль. Аварийный провиант и уголь выгружены на лед, ведь настанет день, когда "Тегетхоф" не сможет противостоять напору льдов. Необходимая предосторожность, говорит Вайпрехт, "Тегетхоф" выдержит. 28 октября солнце в этом году окончательно скрывается за горизонтом. Но через два дня исчезнувшее светило вдруг появляется снова, неправильный эллипс, впрочем, нет, это не само солнце, а его образ, искаженный, да еще и умноженный, отражается из-за горизонта, мираж, сотканный из лучей, преломленных в морозной дымке, оптический обман. Всего лишь образ? Что́ есть реальность? Ведь они видели и земли, горы, пронзавшие небо и растаявшие, фата-морганы, впрочем, земли были ненастоящие, хотя нет, все-таки настоящие — окаймленные серебром, парящие миры.

*31 октября, четверг. Погода прекрасная. Лед возле корабля довольно спокоен. Шил войлочные сапоги г-ну обер-лейтенанту. 30 октября я в последний раз видел солнце, а 31 октября – последнюю чайку. Гарпунщик подстрелил ее. Иоганн Халлер*

*Уже в начале ноября нас окутали глубокие сумерки; волшебная красота преобразила нашу пустыню, морозная белизна корабельного такелажа призрачно рисовалась на фоне серо-синего неба. Тысячи ледяных изломов, укрытые снегом, казались чистыми и холодными, как алебастр, как нежные кристаллы аргонита. Лишь на юге в полдень еще поднимались фиолетовые завесы морозных испарений. Юлиус Пайер*

Красота здесь, как нигде, мимолетна, а тишина — лишь пауза, лишь мгновение. Мало-помалу бесконечность и та словно бы уже не в силах вобрать в себя эти льды, такие прекрасные. Как установят в следующем столетии, протяженность полярного ледового покрова изменчива и составляет в год от пяти до двенадцати миллионов квадратных километров. Полярная шапка — пульсирующая амеба, а "Тегетхоф" — заноза, исчезающе малая щепка в плазме. Сейчас льды растут. Все растет. Тьма, мощь напора на "Тегетхоф", страх за корабль; за свою жизнь они пока как будто не опасаются. Где вчера высилась гора, сегодня поблескивает замерзшая полынья, а завтра — снова торос. Их дворцы раскалываются. Город рассыпался. Может быть, эта льдина, этот остров, защитит их от натиска ледяных гор, притязающих и на то крохотное место, что занимает "Тегетхоф". Пока занимает. Теперь они холят и скрепляют свой остров, свое угрожаемое прибежище. Если во льду открывается трещина, они сшивают ее канатами и якорями, заполняют проломы снегом. Но раны не заживают.

*Один-единственный вздох Ледовитого океана – и латка рвется. Как бунтующие народные массы, льды ополчились теперь против нас. На ровном месте грозно вставали горы, тихий шорох оборачивался хрустом, рыком и шипением, нарастая до тысячеголосого яростного воя... Звон и гул все ближе, будто тысячи боевых колесниц мчатся по песку поля битвы. Сила сжатия постоянно растет; прямо у нас под ногами лед уже начинает дрожать, жалуясь на все лады, сперва слышен свистящий шелест, как от полета несчетных стрел, затем с треском, грохотом, пронзительным визгом и басовым гулом, с все более свирепым ревом льды поднимаются, вспарывают окрестности корабля концентрическими трещинами, расшвыривают изломанные ледяные глыбы. Чудовищно быстрый ритм прерывистого воя возвещает высшее напряжение могучей стихии. Затем раздается громовой треск, беспорядочные черные линии во множестве расчерчивают снег. Новые трещины совсем рядом, мгновение – и на их месте уже зияют*

*бездны... Грохоча, сдвигаются и рушатся вздыбленные колоссы, будто разваливается город... Новые массы откалываются от нашей маленькой льдины; плоские обломки стоймя торчат из воды, немыслимый напор гнет их дугою, кое-где ледяные поля вздуваются куполами – устрашающее свидетельство пластичности льда. Повсюду ратоборствуют хрустальные воинства, а меж их порядками хлещут в отверстые провалы каскады воды; ледяные утесы падают, разбиваются вдребезги, снежные реки стекают с разламывающихся склонов... И в этом сумбуре – корабль! Изворачивается, кренится, выпрямляется, но сколь же страшен напор сжатия, если он расплющивает "предохранители", толстые дубовые брусья, и сам корабль начинает скрипеть... Люди давно уже не работают, лишь в духе борются за свою жизнь. Они больше не стягивают лед канатами, только на первых порах чуточку суетятся, бегут с фонарями к разломам, пока трескающийся вокруг лед не берет в тиски сам корабль. У одних на лице тревога, у других – мрачная решимость, то и другое сокрыто в ночи. Неуслышанные звучат слова, лишь крики еще можно разобрать... Где на свете царит такой хаос? Не ведая о своих ужасах, властвуют здесь законы природы. Юлиус Пайер*

Ярость зачастую длится лишь минуты. Потом все стихает, только ветер свистит в такелаже, а они, закутавшись в меха, сидят среди мешков с аварийным припасом и ждут очередной атаки льдов; сделать они ничего не могут, могут только быть готовыми к той минуте, когда корабль разломится и придется прыгать за борт, скорее за борт. Но куда потом? Новое ожидание мучительнее прежнего. Спят они чутко, очень чутко, нередко урывками. *Уходите!* Хоть бы этот треклятый корабль и правда треснул. Все бы тогда кончилось. Заткнись, незачем черта кликать, ничего тут не треснет. Матросы швыряют за борт медвежьи головы, а затем и привезенные из Тромсё оленьи рога. Гарпунщик Карлсен внушил им, что головы убитых животных приносят несчастье, природная стихия угомонится, только если вернуть ей то, что у нее забрали. Матросы делают, как он говорит. Приносят языческую жертву, ведь сила, грозящая им, — это наверняка не милосердный Господь, а какой-то чужой бог, и они бросают ему свои трофеи. Вайпрехт не протестует. Только на чтениях Библии, как и раньше, каждое воскресенье, все должны быть на палубе; отсутствовать простительно только лежачим больным. В эту пору ледовых сжатий начальник читает из Книги Иова. Несчастный Иов из земли Уц с Божией помощью выдержал испытания пострашнее, чем лед.

*Дни мои прошли; думы мои – достояние сердца моего – разбиты. А они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. Если бы я и ожидать стал, то преисподняя дом мой; во тьме постелю́ я постель мою; гробу скажу: ты отец мой, червю: ты мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя? и ожидаемое мною кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе... Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителева не отвергай, ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло.*

Кто же в это верит? Неужто плач Иова им ближе счастья, ожидающего после всех бедствий? Здесь не земля Уц. Они стоят на палубе. Чин чином, по стойке "смирно".

*9 ноября, суббота. Ветер и туман. Некоторое время назад я захворал "ломотой в суставах". Ну что прикажете думать на Крайнем Севере при этакой хвори? Трехмесячная полярная ночь... Жить или умереть средь суеты матросов. Утешает меня добрая надежда на нашего доктора. Боли он мне снял сразу, и уже спустя четыре дня я смог встать с постели и очень скоро вновь стал ходить.*

*10-е, воскресенье. Ветер и туман. Я болен.*

*11-е, понедельник. Ветер и метель. Я болен.*

*12-е, вторник. Ветер и метель. Болен.*

*13-е, среда. Ветер и метель. Болен.*

*14-е, четверг. Ветер и метель. Болен.*

*15-е, пятница. Ветреная погода. Я болен.*

*16-е, суббота. Ясно, ветер. Я болен.*

*17-е, воскресенье. Вблизи корабля нынче было шумно. Я болен.*

*18-е, понедельник. Ясно. Возле корабля появился медведь, но его не застрелили. Доктор разрешает мне выйти на палубу, только на минутку, а потом сразу назад в постель.*

*19-е, вторник. Сжатие льдов опять грозило раздавить корабль. Неутешительно для меня, для хворого.*

*20-е, среда. Ясная погода. Температура −29 °R (−36 °C. Прим.). Опасность, что корабль будет раздавлен, не миновала. Я болен.*

*21-е, четверг. Ясная погода. Новое сильное сжатие. Возле корабля образовалась целая гора льда вышиною с большой дом.*

*22-е, пятница. Ясная погода. Лед вокруг корабля довольно спокоен. Хворь моя идет на убыль.*

*23-е, суббота. Лед спокоен. С напряжением всех сил я подшил пару войлочных сапог.*

*24-е, воскресенье. Ясная погода. В 11 часов – церковная проповедь. Я вновь ходил к мессе. Иоганн Халлер*

*Наступил декабрь, но обстановка не изменилась. Жизнь наша стала вовсе уединенной и однообразной – зримого чередования дней более не было, только вереница дат, а единственные ориентиры во времени – трапезы да сон... мы сидим на койках в своих одиноких кельях, слушая, как часы отщелкивают секунды. Медленно ползли для нас за два с половиною года эти семьдесят восемь миллионов щелчков; никто не скорбел об их тягостном беге, ибо он не имел ценности для наших намерений. Юлиус Пайер*

Ничего, ничего (!) они не достигли. Снова и снова в лицо рычит лед, рычит смерть. Температура падает до минус 40, 45, 48 градусов по Цельсию, и все окрест тонет во тьме, в которой они уже в двух-трех шагах не видят друг друга. Стены кают давно обросли дюймовым слоем льда, это конденсируется и замерзает влага их собственных тел. Даже в матросском кубрике (его отапливают майдингеровской угольной печкой) температура возле пола не поднимается выше точки замерзания. На уровне головы жарко. Однако до их каморок тепло не доходит. Под койками образуются небольшие ледники. Шерстяные одеяла примерзают к стене. От привычки каждые две недели мыться в бане пришлось отказаться; баня создает сырость и только способствует обледенению внутри корабля, вдобавок частенько то одному, то другому случалось выскакивать нагишом из чуть теплой воды, когда внезапное сжатие грозило им гибелью. В наспех наброшенной шубе или вовсе нагишом выбегать на такой мороз! — красивого разноцветного венца, который, по мысли Пайера, должен был возникнуть вокруг тела, они не видели. Но дыхание у них хриплое, тяжелое. Теперь никто уже не раздевается. Машинист Криш кашляет кровью. Дня не проходит, чтобы несколько человек не остались в койках, с симптомами цинги; десны белеют и начинают разрастаться, кожные поры сочатся кровью, потом больной корчится от желудочных колик и чувствует невообразимую усталость. У них слишком мало свежего мяса; добыть в таких потемках медведя — удача редкая.

Сотни бутылок лимонного сока, сушеных фруктов, консервированных овощей и малины против цинги недостаточно. Если охота удачна, они пьют медвежью кровь.

За три дня до Рождества гарпунщик Карлсен, заряжая ружье, случайно спускает курок. Пуля угодила в кормовой склад боеприпасов, а на борту у них двадцать тысяч патронов. Вайпрехт и Криш стремглав бегут на ют, где уже взрываются первые пакеты патронов, и спасают еще не поврежденные упаковки. Пожар невелик. Его быстро тушат. Вайпрехт ни слова не говорит о небрежности Карлсена. Но от укоров своих товарищей ледовый боцман становится еще молчаливее. Ишь ты, говорит Клотц, господин гарпунщик этак блюдет воскресенье, что ни на медвежью охоту идти, ни шкуры снимать не хочет, а нынче, в субботу, надумал весь корабль на воздух пустить. 24 декабря — льдам без разницы, святой это вечер или нет, — обшивка "Тегетхофа" опять скрипит под напором; они вскрывают ящики с подарками от гамбургского поставщика Рихерса и от военного флота: шесть бутылок коньяка, две бутылки шампанского, табак, сотня сигар, печенье, игральные карты, все завернуто в мюнхенские лубочные картинки, а еще фотография рождественской елки и шесть фарфоровых фигурок — танцовщицы, изящные, поднятые в пируэте руки, розовые глазурованные бедра, темно-красные губки; все девушки в разных грациозных позах. Рихерс распорядился приложить и книжку на нижненемецком, под названием "Охальник".

Много ли они говорят о женщинах? Или им порой хочется прислониться друг к другу, обняться? Там, откуда они родом, такая любовь сурово карается. Но какие законы действуют во льдах? Довольно ли им того, что доктор или "санитар" погладят по лбу, когда они лежат в лихорадке? Я не знаю.

Если рухнет дисциплина, говорит им Вайпрехт, все пропало.

*Нигде на свете изоляция не может быть столь полной, как здесь, под властью ужасного триумвирата – мрака, холода и одиночества. Ангелам и тем, наверное, не чужда потребность в переменах, а какая же тоска охватывает людей, оторванных от всего, что будоражит желания и расцвечивается фантазией. Вот когда справедливы слова Лессинга: "Мы слишком привыкли к общению с противоположным полом, чтобы при полном отсутствии прельстительного не ощутить ужасающей пустоты". Юлиус Пайер*

Новогодней ночью лед спокоен, и они с горящими смоляными факелами обходят вокруг корабля — огненная процессия. Потом матросы выстраиваются на льду и поют для офицеров, самый красивый голос — у Лоренцо Маролы, а Пьетро Фаллезич аккомпанирует им на гармонике.

Solo et pensoso i piu deserti campi
vo mensurando a passi tardi et lenti,
et gli occhi porto per fuggire intenti,
ove vestigio human l'arena stampi...

Впрочем, нет, *что* они пели, предание не сохранило, как не сохранило и что было изображено на той фотографии, которую они потом вместе с несколькими морскими сухарями сунули в жестянку и через прорубь пустили в море: мол, эта жестянка — минувший год, он погрузится на дно, а с ним и все разочарования, — и троекратным "ура" они приветствуют 1873 год. Пайер велит принести бутылку шампанского, а обнаружив, что вино замерзло, разбивает бутылку — в стаканах звякают светло-желтые льдинки, а потом Эллинг Карлсен, проведший так много зим в

этой глухомани, садится за вахтенный журнал и задумчиво, едва ли не торжественно, завершает хронику уже прошлых бедствий:

Vi onsker at Gud maa vaere med os i det nye aar,
da kan intet vaere imod os.
Желаем мы, чтобы Господь был с нами в новом году,
тогда не будет у нас супротивников.

## 11. C*ampi deserti*[1]

Надо же — здесь растут пинии.

А ведь твердили, что на Шпицбергене деревьев нет. Правда, и это не деревья. Это одна-единственная пиния. Облаком хвои и густых ветвей раскидистая крона обнимает верхний этаж дома. Дом белоснежный. Необычно для Лонгйира, где деревянные дома окрашены в мягкие цвета, знакомые ему по Тромсё. Ржаво-коричневый. Ржаво-красный. Но этот дом — белый. А облако — темно-зеленое. Окна нижнего этажа, как в летний день, распахнуты настежь.

Холодновато все-таки.

Тихо. Только шторы шуршат от сквозняка и порой открывают обзор. Тогда он видит темное нутро дома, на дальней стене тоже распахнутые окна, пенные буруны Адвент-фьорда, морской язык, беззвучно лижущий скалы Лонгйира. Рокота прибоя не слышно. В темноте дома кто-то начинает говорить. Неожиданно, громко, монотонно. Стихи! Итальянские стихи! Здесь. Других итальянцев тут нет, сказал Хьетиль Фюранн, ты единственный.

Solo et pensoso i piu deserti campi
vo mensurando a passi tardi et lenti,
et gli occhi porto per fuggire intenti,
ove vestigio human l'arena stampi...

Сонет Петрарки! Первая строфа сонета, который он читал Анне. Но кто же знает его здесь? Голос то и дело умолкает, начинает сначала, запинается, путает слова, рифмы, умолкает, начинает сначала. Так учат школьный урок, беспомощно повторяя снова и снова; шуршат шторы, плещет прибой. Три сонета Петрарки. К завтрашнему дню. Наизусть, Мадзини. Solo et pensoso i piu deserti campi... a passi...

Задумчивый, медлительный, шагаю
Пустынными полями одиноко;
В песок внимательно вперяя око,
След человека встретить избегаю...[2]

Это Анна. Голос Анны! И никакие это не шторы, а завеса снежинок, сыплющихся с карнизов, завеса снежинок, и словно в судороге, словно зеленый кулак, крона пинии обхватывает теперь дом, крепко обхватывает, сжимает... per fuggire intenti... вот уже падает штукатурка, обламы-

1. Пустынные поля (*итал.*).
2. Перев. Ю. Верховского.

ваются карнизы... Ой-йа-а, Аноре!.. ove vestigio human... из льда! Аннин голос, дом из льда, и облако со звоном сгущается, ледяные осколки падают из ветвей...

Ой-йа-а, Кинго! Аноре! Йа-а-а!

Он просыпается с резкой болью в затылке. Йа-а-а! Ой-йа-а!



Окно закрыто, но крики были до того громкие, что разбудили его. Йозеф Мадзини вскакивает и едва не теряет равновесие, потому что боль швыряет его назад. Один нетвердый шаг — и он стоит у окна, возле которого Хьетиль Фюранн остановил свою упряжку, семь заскорузлых от грязи гренландских собак. Две из них затевают грызню. Фюранн, чертыхаясь, растаскивает драчунов. Когда Мадзини отворяет окно — в Лонгйире холодное августовское утро, — тявканье перерастает в бешеный лай.

— Eh! Er du ikke stat opp enda, du?[1] — кричит ему Фюранн, пытаясь усмирить собак.

— "Altro schermo non trovo che mi scampi!"[2] — Мадзини тоже говорит на родном языке. Что, если сейчас он пробудится и от этого сна? Вдруг деревянные домики растают и Фюранн исчезнет, а на его месте явится вдова каменотеса — доброе утро, господин Йозеф?

Но голый, пустынный, скалистый край за окном не тает, не рассыпается. Campi deserti — он *уже* проснулся.

— А? — Фюранн не понял, что́ ответил ему Мадзини, а Мадзини не понял, о чем спросил Фюранн. Секунду каждый из них был сам по себе. И понимал лишь себя одного. Не стану утверждать, будто они все равно поняли друг друга. Однако оба кивают.

— See you![3] Ой-йа-а! — Собаки вскакивают. Санки Фюранна срываются с места.

— See you! — Фюранн уже не слышит Мадзини; сидя на санках (это всего-навсего гладкое, "раскатанное" днище вагонетки, к которому привинчены сиденье да стойка с рулевым колесом), он мчится по слякотным, раскисшим улицам Лонгйира. Снег, выпавший в последние дни, растаял. Лето ведь.

Не отрывая глаз от окна, Мадзини отступает в глубь комнаты. Пытается выбросить из головы мысль о запотевших, полных до краев рюмках со шнапсом, которая усиливает боль и дурноту. Неотвязная картина. При том что вчерашние рюмки были полны полько наполовину, все время только наполовину.

Выпивка. На "Адмирале Тегетхофе" каждому матросу раз в восемнадцать дней выдавали бутылку рома. И тогда начинался торг и обмен, потому что некоторые уже через день-два опорожняли свою утешительницу. В пору ледовых сжатий полагался особый рацион.

Мадзини закрывает окно. Фюранн превратился в крохотную красную фигурку, собаки — в светлые, скачущие пятнышки; Уби, вожак упряжки, впереди всех, а за ним, как шесть точек на игральной кости, Кинго, Аванга, Аноре, Колючка, Имиаг и Сули. Фюранн *тренируется*... после такого-то вечера. Чтобы в бесснежные летние недели собаки не отвыкли от дисциплины, океанограф регулярно заталкивает свору в постромки и цепляет ржавеющие санки. Йа-а! И упряжка с погонщиком мчится по шахтерскому поселку. Но сенсации Фюранн не вызывает. Ни к чему

1. Эй! Ты что же, еще не встал? (*норв.*)
2. "Другой защиты от людей не знаю!" (*итал.*) — строка из того же сонета Петрарки.
3. Пока! (*англ.*)

это здесь, где обстановка глухомани куда весомее и ощутимее, чем все мерила цивилизованного мира, скрытого далеко за горизонтом. Медленно, неловко Мадзини одевается. В комнате, которую он уже целую неделю занимает в доме угольной компании, жарко, как в инкубаторе, термостаты центрального отопления словно бы уже откликаются на грядущую зимнюю стужу. За окном идет мокрый снег. А потом почти горизонтальный дождь. Грязные дороги меж деревянными домами вконец раскисают, впору по колено увязнуть. Нынче 10 августа 1981 года. День отплытия. "Крадл" со вчерашнего вечера стоит у пирса — водоизмещение тысяча триста брутто-регистровых тонн, длина шестьдесят метров, ярко-синий корпус, белые надстройки вышиною с дом; в сравнении с ледоколами, которые летом ходят по 2800-километровому Северному морскому пути от Мурманска до Берингова пролива, то бишь по давнему Северо-Восточному проходу, судно маленькое. Но каким же, наверное, маленьким и хрупким выглядел бы "Тегетхоф" рядом с этим траулером, о котором Фюранн сказал, что у него всего-навсего средняя ледовая пригодность, вполне достаточная для обычного летнего рейса, но отнюдь не для тяжелых льдов...

...Вайпрехт? — переспросил капитан Коре Андреасен, когда Фюранн представил ему Мадзини. Пайер и Вайпрехт?.. А-а, ну да, конечно, Земля Франца-Иосифа... Вайпрехт! С Ледовитым океаном связано так много имен мореходов; всех не упомнишь... Они стояли у стойки бара, размещенного в здании лонгйирской почты; Фюранн — большой, шумный, бородатый сорокалетний здоровяк в ярко-желтой бейсбольной куртке, которая выглядела на нем почти по-детски; капитан — субтильный, чуть повыше Мадзини и без командирских знаков различия. Андреасен был в толстом свитере из темно-синей шерсти и в выцветших джинсах; а что он персона важная, стало заметно лишь по тому, что, едва он ронял какую-нибудь фразу или задавал вопрос, галдеж у стойки разом немного стихал.

Бар, единственный на весь Лонгйир, был набит битком; у стойки теснились шахтеры и инженеры, научный персонал и члены экипажа "Крадла", в красных комбинезонах с белой аппликацией — названием судна. Пуще всех шумели трое геологов, потешались над каким-то честолюбивым коллегой, чей проект из-за резкой перемены погоды на острове Медвежьем кончился неудачей, и наперерыв изображали его предположительное разочарование, под аплодисменты и возгласы остальных. Вечер затянулся. Когда Мадзини после полуночи брел по грязи к себе на квартиру, даже мягкое, темно-рубиновое солнце слепило ему глаза, вызывая головную боль, с которой он проснулся наутро, разбуженный криками Фюранна и лаем собак.

Близится полдень, когда Мадзини выходит из своей комнаты. В общей гостиной громыхает телевизор. Малколм Флаэрти в одиночестве сидит перед экраном, озаренный голубым светом катастрофических сцен, следит за тревожным мельканием документальных кадров, запечатлевших ход спасательных работ и тушения пожара. Осторожно, будто по тонкому свежему льду, двигаются среди развалин спасатели в асбестовых костюмах. Меж разметанными вокруг обломками самолета валяются рваные чемоданы и груз, возле лопнувшей плоскости крыла — обутленный труп какого-то пассажира. За кадром дрожащий голос очевидца рассказывает об аварии — заход на посадку, вспышка, грохот, хвост дыма, удар о землю. Воздух в гостиной до того жаркий и недвижный, что дым сигареты, которую Флаэрти вокнул в зубцы пепельницы да так и забыл, тянется вверх тонкой вертикальной струйкой и лишь потом завивается спира-

лью. Большинство своих свободных дней Флаэрти начинает у экрана, но даже самые свежие новости успевают состариться как минимум на неделю, пока доберутся до шахтерского поселка в ледниковой долине Адвентфьорда. А в Лонгйире живут без телевизионной связи с материком. Поэтому видеоновости Норвежского телевидения записывают в Тромсё на пленку, а кассеты — с тем успокоительным опозданием, по причине которого любой факт кажется всего-навсего воспоминанием, — отсылают на Шпицберген; и уже там местное "Радио Свальбард" транслирует эти новости по кабелю в деревянные домики. После такой долгой задержки даже репортаж о катастрофе выглядит менее ужасающим, а актуальные события в записи совершенно тускнеют.

— Funny[1], — комментирует Малколм Флаэрти экранные кадры, — funny, funny, — хватает банку с пивом, зевая встает, убавляет громкость и оборачивается к Мадзини. — Ну, отпускник, как насчет партии в бильярд?

На экране теперь тропический ландшафт, потом карта Африки, где, точно черви, копошатся белые стре́лки — армейские транспорты. Мадзини подходит к бильярдному столу. Он привык к здешней манере общения, которая ничего не принимает всерьез. Одной недели в Лонгйире хватило, чтобы познакомиться с несложными порядками и тесными подмостками общественной жизни шахтерского поселка, — даже скучно стало. В гостиных вроде вот этой, где стук костяных шаров заглушает устаревшие новости, собираются только привилегированные — горные инженеры, ученые и гости угольной компании. По-настоящему общественной жизнь становится только в здании почты; помимо резиденции губернатора, это единственная в Лонгйире каменная постройка, сердце поселка. Там люди общаются, поддерживают контакты, холят их, будто в оранжерее: у почтового окошка — связь с материком, а у стойки бара — местные, не слишком крепкие приятельства. Киоск в вестибюле, увешанный многоязыкими журналами со всего света, главным образом порнографическими, обеспечивает материал для круговорота фантазий; порой можно и подняться по лестнице наверх, в театральный зал, чтобы за голливудским фильмом или — реже — за фольклорным концертом забыть, что живешь на холодном краю света. Два дня назад показывали хичкоковских "Птиц". Жуткие картины атакующих птичьих стай, дробные удары клювов публика встречала хохотом и аплодисментами. Флаэрти во время сеанса бубнил в темноту зала свои воспоминания о каком-то радиотехнике, которого прошлый год здорово покалечили черные крачки. Парень бродил в скалах и слишком близко подошел к гнездовьям этих птиц.

Sterna paradisea, удивительная, похожая на чайку птица с белыми крыльями и черной головкой, иногда нападает и на людей, в пикирующем полете бьет клювом и когтями, если ей кажется, что выводок в опасности, — стремительная, красивая атака оставляет на голове жертвы рваные раны и царапины, которые разглядывают и осмеивают у стойки бара. Информационный буклет губернатора рекомендует неопытным новичкам носить для защиты от крачек плотные шерстяные шапки. Юару Хулю, зубному врачу, пришлось тогда зашивать голову радиотехника.

Костяные шары после очередного удара Флаэрти еще не успели остановиться, а он, держа кий как рапиру, делает ложный выпад в сторону Мадзини.

1. Любопытно (*англ.*).

— Ну, Вайпрехт, давай, твоя очередь!

Флаэрти играет быстро и сосредоточенно. Меняя позицию, он не идет вокруг стола, а бежит, чтобы мгновение спустя вновь застыть в крайнем напряжении. С такой странной смесью спешки и самоотверженной увлеченности Флаэрти, похоже, делает буквально все. Много лет назад в Ню-Олесунне, самом северном поселке Шпицбергена, проиграв какое-то пари, он тою же ночью принялся конструировать подвесное сиденье и через несколько дней целых тридцать часов провисел в нем на причальной мачте, к которой еще Амундсен и Нобиле швартовали свои дирижабли. После этих тридцати часов ему ампутировали четыре отмороженных пальца на ногах и мизинец на левой руке, и губернатор Ивар Турсен призвал его впредь проявлять больше уважения к историческим памятникам Шпицбергена. По крайней мере, так рассказывал вчера вечером Хьетиль Фюранн.

Впрочем, и Малколм Флаэрти отнюдь не выделяется в маленьком лонгйирском обществе, объединяющем людей беспокойной, переменчивой судьбы. Аккуратные, прямо-таки обывательски чистенькие деревянные домики шахтерского поселка мирно тулятся к холодному берегу Адвент-фьорда, однако ж среди жизненных историй, каких Мадзини в разных вариантах наслушался за первые дни на Шпицбергене, не было ни единой, где бы не обнаруживалась хоть *одна* чудинка. От других шахтеров Флаэрти отличался только тем, что прожил здесь двенадцать с лишним лет. Большинство приезжали сюда на год-другой, ради высоких заработков, не облагаемых налогом; если они выдерживали тяготы арктического уединения и шахтерский труд, который в столовых горах Лонгйира был куда суровее, чем в других местах, то имели потом шанс вернуться к прежней жизни, сделав ее, пожалуй, чуть более благоустроенной. Ничего сверх этой личной выгоды работа в шахтных стволах, зачастую тесных, как дымовые трубы, в общем-то не сулила — стоимость добытого угля не шла ни в какое сравнение с огромными затратами; широко разветвленная система штолен, казалось, служила не столько законам рынка, сколько убедительной демонстрации норвежского присутствия в этом отдаленном северном уголке королевства. Но что значили здесь законы рынка? Какой закон не утратит силу в этой каменной глухомани или не станет хотя бы шатким? Так или иначе, шахтеры искали в здешнем малолюдье лучшее будущее, а государство — авторитет. О красоте ледникового ландшафта, вообще о природе или волшебстве одиночества никто и не заикался. Да и зачем? Кто за десять тысяч крон в месяц и хреновую жизнь изо дня в день ползает на брюхе сквозь горы, говаривал Флаэрти, когда речь заходила о шахтах, тот либо достаточно знает о mother earth, о матушке-земле, либо ничего о ней более знать не желает.

Флаэрти утверждал, что приехал сюда навсегда. Этот сорокашестилетний мужчина, сын английского колониального офицера, вырос в Кении, горному делу учился в Польше, работал на шахтах Канады и Южной Африки, потом за огнестрельное ранение, которое нанес в Кардиффе отставнику отцу, был приговорен к тюремному заключению, а выйдя на свободу, не один год прожил на Шетландских островах — несчастный муж столь же несчастной жены, хозяйки фирмы, торгующей удобрениями. В конце концов двенадцать лет назад в Леруике он сел в гребную шлюпку, приспособленную для плавания в открытом море, и налег на весла, наедине со своей злостью. Три месяца потребовалось ему, чтобы пройти по Атлантике полторы тысячи морских миль — от Шетландских

островов до норвежского Нордкапа. Совершив это величайшее в своей жизни усилие, он в щепки разбил в Хаммерфесте свою шлюпку, а потом на углевозе перебрался на Шпицберген. С той поры и работал здесь техником-проходчиком, жил среди шахтеров, последние пять лет — дверь в дверь с Хьетилем Фюранном, который тоже давным-давно не делал поползновений покинуть Арктику. Флаэрти постоянно носил белые шелковые перчатки, снимал он их, только садясь за покрытую золотым лаком фисгармонию — окруженная пышными растениями, она стояла в углу его комнаты; изъеденные экземой руки Флаэрти неторопливо ложились тогда на клавиши, он пел валлийские песни, а Хьетиль Фюранн порой, в меру своих возможностей, подыгрывал ему на тенор-саксофоне.

— Сдаюсь. — После неудачного пике Мадзини прерывает игру и сердитым движением руки разрушает формацию шаров.

Когда Хьетиль Фюранн, перемазанный грязью, входит в комнату (собак он нынче загнал на псарню с огромным трудом), Флаэрти опять сидит перед телевизором, на экране которого уже нет картинки, только чуть шуршащее белое мерцание, Мадзини склоняется над газетой, оба молчат. Фюранн вваливается шумно, будто не нашел времени сменить тон, каким только что кричал на собак. Фюранн — первый, следом за ним приходит зубной врач Хуль, потом Израэл Бойл, канадец-шахтер, одержимый походами по ледникам, кладовщик Эйнар Гуттурмсгорд и другие, для Мадзини пока что безымянные. Полдень. Все здороваются, задают обычные пустяковые вопросы, и Йозефу Мадзини тоже, слышат в ответ столь же обычные реплики: да ничего... само собой... грех жаловаться... старая калоша нынче выходит в море... ну что ж... — и идут обедать.

Йозеф Мадзини думает, что давно вошел в это общество, однако ж оно знает, с кем имеет дело, — журналист не то писатель или вроде того, помешанный на истории Арктики. Маленького итальянца просто бы не заметили и сразу забыли, если б в последнее время он то и дело не появлялся в компании Фюранна, Флаэрти и Бойла, видели его и на шахтах; похоже, малыш жутко любознательный. Израэл Бойл водил его в штольни и разрешил доползти до самого пласта; говорят, такие субъекты иной раз готовы хоть на километр в гору зарыться, лишь бы написать потом, что там было темно и тесно, а, Бойл? Губернатор Турсен и тот приглашал этого малыша на рюмку водки, а теперь и на научный корабль его берут, чтоб он получше рассмотрел льды, а Хьетиль... эй, Хьетиль, ты, часом, не связал ему напульсники, ведь, не дай Бог, отморозит себе чего, занимаясь писаниной. Будем здоровы! Н-да, мало ли таких, что шастают по маршрутам давних экспедиций, — обвешанные фотоаппаратами и понятия не имеющие о розе ветров.

Здóрово, да? Теперь, когда любой рахитик-отпускник может запросто перелететь через этот вонючий полюс на "Боинге", ясное дело при костюме и галстуке, с бифштексом в пластиковой коробке на коленях, с "Кодаком", нацеленным в иллюминатор, — именно теперь все они снова чертовски заинтересовались психами, которые черт знает когда на трухлявых лодках, на санях и воздушных шарах, с сизыми обмороженными лицами рвались к полюсу, сущие шизики. По слухам, малыш-то еще и на фюранновских собаках задумал прокатиться; позарез ему приспичило в погонщика поиграть; не иначе как перепутал кобелей с пони. Да ладно, не наше это дело. Будем здоровы!

Под вечéр пора на судно. Метель улеглась. Дождь тоже перестал. Только норд-ост по-прежнему задувает холодом, взбивает во фьорде пенные барашки. Насквозь ржавые грузовые гондолы заброшенной канат-

ной дороги скрежещут на шквальном ветру; длинная вереница деревянных опор ведет наверх, к жерлам штолен. Тумана нет. "Крадл" выйдет в море еще до полуночи. Фюранн и Мадзини, готовые в путь, стоят у стойки бара; к поясу океанографа, где во время коротких совместных походов вдоль побережья Ледовитого океана и в глубь острова вечно болтался крупнокалиберный револьвер, теперь подвешен маленький кассетник; после первой порции пива Фюранн нацепил наушники и теперь временами пытается пропеть обрывки песни, слышной ему одному: *never put me in a job... Mama Rose... well, never, never again...*

В последние дни Фюранн почти не расставался со своим вокманом — как обычно, когда в лонгйирский магазин-супермаркет, где вправду можно было купить все, от полярного снаряжения до засахаренных фруктов, поступали новые записи. Целыми днями Фюранн мог наслаждаться одной мелодией — он заказывал преимущественно пьесы для саксофона, — снова и снова слушал запись, пробовал повторить пассажи на своем саксофоне, сняв наушники, восхищался оригиналом, а потом опять все бросал и неделями не играл и не пел. *Mama Rose!* Еще пивка, Эйрик; это уж точно последний бокал.

Пять лет назад Хьетиль Фюранн приехал в лонгйирское отделение Полярного института, сперва на одно лето, да так и остался здесь, из-за Торил Холт, учительницы местной школы. Учительница, однако ж, успела тем временем сменить фамилию, вышла замуж за горного инженера Ларсена, жила вместе с ним в доме, стены которого были оклеены яркими фотообоями с изображением карибских ландшафтов, и видела океанографа разве только на школьных мероприятиях, когда он, сидя в заднем ряду театрального зала, горланил за компанию с другими зрителями, — Фюранн все еще был здесь; Шпицберген он вообще покидал редко, разве что на несколько дней, чтобы изложить перед небольшой ословской аудиторией свои гипотезы или позаботиться о плановом осуществлении какого-нибудь высокоширотного научного проекта, иногда выезжал и на конгрессы, неизменно возвращаясь с целым набором дорогих табачных смесей и крепких напитков. Частенько Фюранн ночи напролет сидел возле взлетной полосы, в конторе кладовщика Гуттурмсгорда, вел радиопереговоры с экспедициями, что странствовали далеко в глуши, и сам, бывало, на недели пропадал, объезжал на лодке или на санях замерные станции, регулировал приборы, снимал показания датчиков, на досуге вместе с Флаэрти или Бойлом ходил на глетчеры, а в зимние месяцы выкладывал из кусочков меди, которые сам эмалировал в маленькой плавильной печке, диковинные пейзажные мозаики и обучал ездовых собак всяким сложным кунштюкам — Уби, вожак, по команде Фюранна ходил на задних лапах. Кстати, в Лонгйире ездовые упряжки давно уже не были необходимостью — на зиму почти все обзавелись *скутерами*, моторными снегокатами, и в результате полярная ночь стала самым шумным временем года, а после снеготаяния поселковую грязищу, хоть расстояния были невелики, месили мощные внедорожники или (чаще) таксомоторы, оборудованные радиотелефоном, — эти замызганные лимузины курсировали меж гаванью, аэродромом и шахтами. Держать собачью упряжку даже здесь не более чем блажь, экстравагантный спорт, а может быть, и неопровержимое свидетельство арктической стойкости; кроме Фюранна и других лонгйирцев, держал на псарне четырех гренландских лаек и зубной врач Хуль — полярной ночью он вставал на лыжи, и эти псы, которые у местных собачников слыли самыми свирепыми на всем Шпицбергене, мчали его по льду.

Наиболее тихое, хотя, возможно, и наиболее страстное увлечение Фюранна, не имело, кстати сказать, ничего общего с исследованиями Ледовитого океана, и были это средиземноморские и тропические медузы; на книжных полках у него в комнате пачками громоздились книги о *Hydrozoe,* и даже абажур настольной лампы являл собою изготовленную из молочного стекла точную копию полосатого гребневика. Честное слово, сказал Фюранн Йозефу Мадзини, нет зрелища более удивительного и прекрасного, чем парение медузы в подводном сумраке — щупальца на колокольчиках, чашах и куполах такие хрупкие, такие нежные, а любое движение в бирюзовой воде словно мягкое биение сердца...

Но и эта страсть океанографа никак не отразилась бы на жизни Йозефа Мадзини, если бы много лет назад Фюранн не приехал в Вену, прежде всего из-за медуз, и не попал заодно в компанию Анны Корет. В ту пору — Мадзини еще маялся в Триесте, в доме обойщика, — Фюранн приехал в Вену, намереваясь ознакомиться с чудесными моделями медуз, созданными неким богемским стеклодувом и хранящимися в Музее естественной истории, и через какого-то зоолога-библиофила свел знакомство с Анной; правда, в конечном счете это знакомство вылилось в продолжительную переписку, причем Фюранн щедро иллюстрировал свои письма рисунками.

— Всё, Эйрик! Еще один бокальчик для меня, по-быстрому, и вызывай нам такси; пора на пристань. — Фюранн сдвинул дужку наушников на затылок... *never put me in a job...* Мадзини вскидывает на плечо свой рюкзак.

Гавань расположена выше по фьорду. Ехать недалеко; окна такси сплошь заляпаны грязью, и облитая алым светом земля, бегущая навстречу, различима лишь сквозь грязные разводы на кое-как протертом ветровом стекле. Фюранн и Мадзини поднимаются на борт последними. Рукопожатия. Затем Фюранн снова надевает наушники и не снимает их, даже когда Одмунн Янсен, метеоролог из Тронхейма, *руководитель проекта,* произносит перед собравшимися в кают-компании десятью учеными, тремя *гостями* и двенадцатью членами судового экипажа краткую речь: он рад приветствовать на борту и так далее, особенно гостей Полярного института... в надежде на доброе сотрудничество... И так далее. Подобные речи всем знакомы. Контрольная лампочка фюранновского вокмана упорно горит красным; Фюранн улыбается блондинке, единственной женщине на борту... *Mama Rose!..* гляциологу из Массачусетса. Йозеф Мадзини понимает только приветствие Янсена, обращенное к гостям, — это английская часть речи.

Выход "Крадла" в море ничем не отличается от отплытия какого-нибудь парома из любой другой гавани, — стандартное начало служебного рейса. Лишь в протяжном гудке туманного горна сквозит смутная торжественность, которая прокатывается по долине Адвент-фьорда, отбивается от скал и возвращается обратно. Мощный движок — три тысячи двести лошадиных сил — выводит траулер из фьорда в черную зыбь Ледовитого океана.

Я представляю себе Йозефа Мадзини в первые часы на борту, в уютной каюте, и задаюсь вопросом, не начал ли он еще в Лонгйире потихоньку отделять свое путешествие от плавания "Тегетхофа", ведь в конце-то концов и в Арктике безраздельно царила современность, неотвратимая современность, которая не допускала, чтобы этот скудный край обернулся всего-навсего кулисой воспоминаний. Воскрешать в шахтерском поселке образы давнего прошлого Йозефу Мадзини вряд ли было легче,

нежели в читальне венского Морского архива, где он снова и снова листал вахтенный журнал "Тегетхофа". Но я не располагаю записями, которые могли бы однозначно подтвердить мои предположения, — шпицбергенские дневниковые заметки Мадзини нередко столь же немногословны, как и журналы егеря Халлера или машиниста Криша, они излагают события лишь вкратце, иной раз в виде непонятных отрывочных тезисов, и почти не содержат мыслей, выходящих за рамки современности. И потому я отталкиваюсь от мысли, что Йозеф Мадзини испытал едва ли не облегчение, к примеру, когда Малколм Флаэрти этак по-хамски назвал его Вайпрехтом и тем самым небрежно продемонстрировал, что от любой фантазии, от любой идеи можно освободиться и поднять ее на смех.

## 12. *Terra nuova*[1]

Январь. Ледовитый океан все-таки похож на землю Уц. А каждый из них — на Иова.

Егерь Клотц страдает меланхолией и *чахоткой*;
матрос Фаллезич — цингой;
плотник Вечерина — цингой и *ломотой в суставах*;
матрос Стиглич — цингой;
егерь Халлер — ломотой в суставах;
матрос Скарпа — цингой и судорогами;
машинист Криш — чахоткой...

Знаки нездоровья и слабости не миновали практически никого; один встает с одра болезни — другой занимает его место. Так оно и идет.

Даже будь "Адмирал Тегетхоф" деревянным храмом какого-нибудь культа света, который почитает солнечный восход как возвращение божества, надежда на окончание полярной ночи, на спасительное возвращение солнца и тогда бы вряд ли была сильнее, чем в эти январские дни 1873 года. Больные окрепнут, ледовые бастионы рухнут, а волны унесут тающие обломки, и ветер будет добрый, попутный — пусть только солнце поднимется над горизонтом...

Но пока царит темнота.

Ясными звездными днями около полудня на краю небосклона уже виднеется отблеск грядущей утренней зари — тусклая полоска света, быстро блекнущая в фиолетовом сумраке. Они стоят тогда у поручней и славят этот свет; ведь нынче он опять немного ярче, немного интенсивнее, чем намедни; нынче можно было почти разобрать заголовок, еще недавно совершенно слепой, и в четырех шагах без фонаря разглядеть лицо.

Но ледовые сжатия продолжаются. Кажется, океан навеки погребен под оцепенелыми громадами льдов. Вайпрехтовская наблюдательная палатка и часть аварийных запасов угля исчезают в неожиданно разверзшейся трещине, а следом в пучину срывается Боп, один из ездовых кобелей. В январскую стужу, которая лишь раз-другой перемежалась незначительными потеплениями, можжевеловая водка замерзает в стеклянистые слитки, а ртуть делается такой твердой, что, зарядив ею ружье, они пробивают дюймовые доски.

Хотя жизнь вольготней не стала, а страх, владеющий ими в несказанно тяжкие часы тревоги и ожидания катастрофы, только притупился, по-

1. Новая земля (*итал.*).

лоска света, тлеющая у горизонта, все-таки внушает бодрость, дает новые силы противостоять ледовому хаосу. Вайпрехт твердит, что жизнь им спасает в первую очередь дисциплина: самые что ни на есть обыкновенные, будничные дела — метеорологические замеры, смена вахтенных, дежурства на камбузе, воскресный обход матросского кубрика, неукоснительно совершаемый офицерами, — опять-таки лишь подтверждают, что даже в такой глухомани человеческая собранность и дисциплина нисколько не утрачивают своей значимости; в соблюдении дисциплины и закона проявляется суть человека, и в них же — единственный шанс уцелеть среди здешней пустыни.



Ледовый боцман и гарпунщик Карлсен подает пример: когда этого старика, столь многие годы проведшего в Ледовитом океане, приглашают к офицерскому столу, он всегда надевает свой курчавый белый парик, а по церковным праздникам в честь особо почитаемых им мучеников даже нацепляет на шубу орден Олафа Святого. (Однако ж когда на небе вспыхивают волнистые завесы полярного сияния, Эллинг Карлсен снимает с себя все металлическое, в том числе и поясную пряжку, чтобы не нарушить гармонии текучих фигур и не навлечь на свою голову *ярость огней*.)

В эти январские недели Вайпрехт организует школьные занятия; хотя никто до них не зимовал так близко к Северному полюсу и хотя эта грохочущая пустыня таит неотступную угрозу, *каждому* теперь до́лжно выучиться грамоте, до́лжно иметь возможность использовать корабельную библиотеку — четыре сотни томов, в том числе драмы Лессинга и Шекспира, "Потерянный рай" Джона Мильтона и желтеющие выпуски "Новой свободной прессы", — чтобы побороть бесконечность времени и тоску. Пусть у них будет поэзия — да-да, поэзия! — и мысли, выходящие за пределы бедствий настоящего. Вайпрехт и офицеры Брош и Орел обучают итальянцев и славян, Пайер — своих тирольцев. В шубах, с заиндевевшими бородами сидят они в палубной рубке — одни выводят буквы, другие постигают основы физики и математики.

*Когда в этом маленьком учебном классе надобно было проверить урок, ученикам приходилось задерживать дыхание, чтобы наставник, окутанный морозным облаком, мог разглядеть аспидную доску, а решив задачу на деление, они вдруг замирали и терли руки снегом, — так стоит ли удивляться, что школа наша популярностью не пользовалась? Юлиус Пайер*

Нередко посреди школьного урока звучит сигнал тревоги, и все бросаются к спасательным шлюпкам. А в конце концов мороз вновь так крепчает, что занятия превращаются в нерегулярную череду разрозненных лекций и практических упражнений. Это как же, говорит Клотц, медведям, что ли, будем читать Священное Писание? Плот строить из тетрадок? В последних числах января, когда утренняя заря светит уже все утро, белый медведь задрал ньюфаундленда по кличке Маточкин. Теперь пайеровской упряжке куда труднее тащить большие сани. Верит ли еще сухопутный начальник в научные экспедиции на собаках? Однако он упорно запрягает собак в постромки и иной раз так их лупит, что потом егерю Халлеру приходится их лечить. Вылазки Пайера опять становятся чаще — и яростнее. Если на Крайнем Севере еще есть ничейная земля, он погонит туда свою упряжку.

Не знаю, может быть, эпизодические стычки между все понимающим, серьезным исследователем Вайпрехтом и жаждущим открытий энтузиастом Пайером уже в первые месяцы 1873 года начали принимать драматические формы. Тогдашние дневники об этом молчат. Зато я знаю, что Карл Вайпрехт начальствовал во всем; он поистине был авто-

ритетом — судьей, когда среди матросов вспыхивали ссоры и даже потасовки, утешителем и пророком, когда речь заходила о хрупкой надежде на возвращение, и последней инстанцией во всех вопросах. А сухопутный начальник Пайер так и оставался без суши, без земли. На следующий год, уже во время мучительного марша через льды назад, в обитаемый мир, Вайпрехт упомянет в своем дневнике размолвку, о которой журналы первой полярной ночи не сообщают ничего.

*Пайер опять впадает в давнюю мелочную зависть. Он опять так переполнен яростью, что я в любую минуту ожидаю серьезной стычки. Из-за сущего пустяка – речь шла о мешке хлеба, который якобы перегрузил его шлюпку, – он прилюдно наговорил мне обидных колкостей, которые я никак не мог оставить без ответа. Я предупредил, что впредь ему должно остерегаться подобных выражений, иначе мне придется при всех поставить его на место. В результате последовал новый приступ ярости, он сказал, что прекрасно помнит, как год назад я угрожал ему револьвером, и заверил, что непременно меня опередит в таком случае, даже без обиняков объявил, что посягнет на мою жизнь, коль скоро поймет, что домой ему не вернуться. Карл Вайпрехт*

Мне очень трудно представить себе, как задумчивый Вайпрехт идет с револьвером на своего спутника и бывшего друга, и так же трудно представить себе, как поэт и художник Пайер грозит убийством, — но в Ледовитом океане случались метаморфозы и пострашнее, а затем, после триумфального возвращения, которое в эти январские дни мнится недостижимым, ненависть снова уйдет, преобразится в формальную вежливость. *Сей труд я начну с безоговорочного признания высоких заслуг моего коллеги, лейтенанта морского флота Вайпрехта, по сравнению с коими результаты собственных моих усилий весьма и весьма незначительны...* — такой фразой Пайер откроет свой отчет об экспедиции.

Если же то, что Вайпрехт записал в своем дневнике, чьи густо исписанные страницы потихоньку блекнут на полках Австрийского морского архива, произошло на самом деле, тогда, значит, случилось оно в сумерках, внутренних и внешних сумерках, когда они так ждали возвращения солнца.

*Чем светлее становилось, тем отчетливее проступали страшные картины разрушений. Вокруг нас высились горы торосистых льдов... Даже с небольшого расстояния видны были только верхушки корабельных мачт, все остальное скрывалось за высоким ледовым барьером. А ведь сам корабль, поднятый над уровнем моря, покоился на семифутовом ледяном куполе и в отрыве от своей естественной стихии выглядел поистине безотрадно. Купол этот был образован льдиною, которая многократно разламывалась, снова смерзалась и под воздействием подпирающих ее снизу льдов и бокового натиска недавних сжатий приобрела удивительную сводчатую форму... Отчаянная надежда, с какою мы встретили появление солнца, дала нам повод посмотреть и друг на друга, и мы поразились перемене, происшедшей в нашей наружности за долгую ночь. Ужасная бледность покрывала осунувшиеся лица. Большинство отмечены следами минувшей болезни, носы заострились, глаза запали... Юлиус Пайер*

*У меня сильные боли, при каждом вздохе, и я вынужден лежать в постели; от постоянного недомогания я очень исхудал и выгляжу плохо; увидев в бане свое изможденное тело, я до невозможности испугался, но надеюсь все-таки, что лечение рыбьим жиром поставит меня на ноги. Отто Криш*

*11 февраля 1873 г., вторник. Ветер и снегопад. Лед возле корабля неспокоен. Давеча возникло разводье. Ездил на собаках, присутствовал на школьных занятиях.*

*12-е, средa. Ясная погодa. Лед возле корaбля неспокоен. Ездил нa собaкaх, присутствовaл нa школьных зaнятиях.*

*13-е, четверг. Ветер и туман. Прибрaл г-ну доктору кaюту, присутствовaл нa школьных зaнятиях.*

*14-е, пятницa. Ездил нa собaкaх. Во второй половине дня отослaли бутылочную почту – нa север, юг, восток и зaпaд. Почту спрятaли в бутылки, зaкупорили их, зaпечaтaли сургучом и отдaли во влaсть льдов. В бутылкaх сообщения о нaшей экспедиции, они рaсскaжут о нaс, если нaм суждено погибнуть и никто больше нaс не увидит, a ведь нaс двaдцaть четыре человекa. Иогaнн Хaллер*

*Aвстрийскaя яхтa "Aдмирaл Тегетхоф", экспедиция в Северный Ледовитый океaн. В ловушке пaковых льдов, 14 феврaля 1873 г.*

*21 aвгустa 1872 г. вблизи берегов Новой Земли под 76° 22′ северной широты и 62° 3′ восточной долготы были зaжaты льдaми. От той поры дрейфовaли с пaком по воле преоблaдaющих ветров и зa зиму не рaз терпели ущерб от постоянных ледовых подвижек. Ныне корaбль, поднятый нa несколько футов, нaходится среди льдов сaмого тяжелого видa, однaко во вполне приемлемом состоянии. Нa борту все в добром здрaвии, особых зaболевaний нет. Кaк только льды вскроются, рaссчитывaем идти дaльше нa ост-зюйд-ост, чтобы достичь сибирского побережья вблизи полуостровa Тaймыр, a зaтем следовaть вдоль оного нa восток, нaсколько позволят обстоятельствa. Летом 1874 г. двинемся в обрaтный путь через Кaрское море. Сaмaя высокaя широтa, достигнутaя нaми доныне, – 78° 51′, при 71° 40′ к востоку от Гринвичa; новых земель не обнaружено. До середины октября 1872 г. побережье Новой Земли во всех нaпрaвлениях было плотно зaкрыто льдaми, позднее мы потеряли его из виду.*

*Если льды рaздaвят корaбль, мы рaссчитывaем пешком добрaться до побережья Новой Земли, где нaми был зaложен провиaнтский склaд.*

*Пaйер* (подпись), *Вaйпрехт* (подпись)

Лишь через сорок восемь лет норвежский зверобой найдет на западном побережье Новой Земли первую из бутылок, которые экспедиция снова и снова оставляла на разных широтах; указанные в документе адресаты — венское *Военно-морское ведомство* и императорско-королевские консульства — к тому времени прекратят свое существование, монархия распадется, а начальников экспедиции уже не будет в живых; бывший первый помощник на "Тегетхофе", старый отставной вице-адмирал Густав Брош, откликнется на сообщение о находке бутылочной почты — напечатает в хроникальном приложении к венской "Новой свободной прессе" свои воспоминания, высказав надежду, что *эта дерзкая научная экспедиция никогда не канет в забвение...* Ну да ладно. Первая почта экспедиции еще лежит разбросанная в радиусе двух морских миль от барка, а команда собралась точно на праздник. Сегодня 19 февраля 1873 года. Два дня назад они уже видели над горизонтом искаженный призрак солнца, мираж, а нынче ожидают само солнце, ало-золотую реальность.

*И вот ширь пространствa рaзом зaтопилa первaя волнa светa, и нa зaледенелые подмостки вышло солнце, окруженное пурпурной пеленою. Никто не произнес ни словa; кто бы мог облечь в словa чувство освобождения, сиявшее нa всех лицaх и ненaроком безыскусно излившееся в тихом возгласе простого человекa: "Benedetto giorno!"*[1] *Лишь до половины дискa поднялось солнце нaд мрaчным крaем льдов, нерешительно, будто сей мир недостоин его светa... Мрaч-*

1. Блaгословенный день! (*итaл.*)

*ные фантасмагорические руины ледяных колоссов; словно несчетные сфинксы, вонзались в лучистое море света, окруженные разломами; недвижные, высились утесы и валы, бросая длинные тени на сверкающие алмазами россыпи снегов. Юлиус Пайер*

Егерь Клотц до того ушел в созерцание этой половинки солнца, что после в глазах у него не один час мельтешат пятна и круги, бирюзовые, светло-зеленые, белые. Сколько же раз доводилось им видеть рассветы, огненные, величественные, — на торговых судах, в горах над долиной Пассайерталь, на полях сражений императорской армии. Но что значат все рассветы прежней их жизни в сравнении с этим единственным, незавершенным солнечным восходом. И пусть они теперь избавились только от темноты, но не от Ледовитого океана, не от плена, не от тягот болезни, они все же стараются хоть на один день как бы избавиться от *всего.* И отмечают это. Празднуют карнавал.

Каждому, кто явится на карнавал в костюме, офицеры назначают награду — дополнительную порцию рома. И матросы вырезают из пустых консервных жестянок короны, шлемы, епископские митры, шьют из ветоши мантии, из войлока — плавники и лапы, поят спиртом лапландского пса Сумбу и с помощью своих войлочных штучек превращают его в неуклюжего дракона; потом, таща этого дракона за собой, они под песни Маролы и наигрыш гармоники пляшут среди торосов. На один этот день каждому Иову нужно стать карнавальным ряженым. И когда егеря Халлер и Клотц в безуспешной погоне за медведем, прерывающей праздник, отмораживают себе ноги, Антонио Катаринич вручает обоим увитые гирляндами костыли.

*21 февраля, пятница. Ясная погода. По причине обмороженных ног мы с Клотцем хворем. Ужасные боли.*

*22-е, суббота. Ясная погода. Мы с Клотцем хворем. Рано утром к кораблю опять подошел белый медведь. Поскольку же, кроме вахтенного офицера и одного матроса, все еще спали, зверя удалось добыть без замешательства.*

*23-е, воскресенье. В 11 часов церковная проповедь. Мы с Клотцем хворем и потому к мессе не ходили.*

*24-е, понедельник. Мы с Клотцем хворем ногами.*

*25-е, вторник. Ясная погода. Мы с Клотцем хворем ногами. Команда получила подарки и разыгрывает их по жребию. Мне досталась бутылка малинового сока. Иоганн Халлер*

В марте они две долгие недели опасаются за жизнь своего доктора. Экспедиционный врач Кепеш, который так часто им помогал, а главное, выслушивал рассказы об их недомоганиях, теперь сам мечется в горячке. Он тяжко бредит и, как безумный, отталкивает лекарства и еду. А вдруг доктор умрет? Кто же тогда поможет раненым и недужным? Целительским искусствам Александра Клотца доверяют лишь немногие матросы. Поэтому все поочередно сидят у постели доктора, растерянно увещевают его, не сводят с него глаз.

*Командир Вайпрехт не отходит от него и всеми силами старается помочь; в минуты просветления доктор называет нужные лекарства и их количество, и командир сам их готовит... однако состояние врача покуда не улучшилось, напротив, даже ухудшилось, он круглые сутки без умолку кричит, плачет и стонет. Отто Криш*

*Я дежурил подле доктора. Он совершенно без памяти, мечется в койке и ужасно стонет. Иоганн Халлер*

*В ночь с 27-го на 28-е самочувствие врача резко изменилось, судороги прекратились, но, по всей видимости, он повредился рассудком, потому что ночь напролет бормочет, видит всяческие призраки и бредит в горячке. Отто Криш*

Демоны. Травознаям эта беда не в диковинку. Клотц и Халлер, когда на часок остаются одни с Кепешем, льют спирт на левое — *сердечное* — плечо доктора и поджигают бредящего больного. Оба хохочут и вопят от радости, когда Кепеш с криками ужаса на миг приходит в себя, а затем погружается в спокойный сон без горячечных видений.

Несколько дней спустя Кепеш впервые выходит на палубу прогуляться, и Клотц говорит, что силы огня избавили венгра от демонов и из безумия вернули его в реальный мир, но, может статься, услуга нè очень-то и добрая, ведь здешний мир — он не бог весть какой хороший.

Весна у них ветреная и порой столь ослепительно белая, что высматривать в пустыне благоприятные знаки, разводья и трещины можно только сквозь прорези снежных очков. Из ледяных кирпичей они сооружают террасу-солярий, где больные проводят безветренные вечера. Порой температура за считанные часы от минус сорока градусов по Цельсию поднимается выше нулевой отметки, и тогда каждая слеза талой воды, капающая с такелажа, становится событием. Они воочию видят корабль под парусами. Счастливый день, когда первые глупыши садятся на реи. Теперь уж плену скоро конец.

*Снег, прежде похожий на песчаный камень, мало-помалу влажнеет, из него можно слепить комок, непривычная температура ощущается как тягостная духота, наподобие той, что бывает в наших краях, когда задувает сирокко, и в толстой меховой одежде чувствуешь себя неуклюжим, хотя совсем недавно эта самая одежда толком не защищала от страшного холода. Густая дымка закрывает небо и что в полдень, что в полночь без следа гасит свет. Раньше снег сыпался тончайшими иглами, теперь валит крупными хлопьями и в огромных количествах – подхваченный ветром, он погребает все на своем пути. Но власть оттепели в здешних местах непродолжительна. Большею частью уже в течение 48 часов ветер слабеет и медленно поворачивает на север, в темных тучах кое-где возникают разрывы, из которых взблескивают полярное сияние и звезды; проясняется, и температура начинает падать. Битва стихий воздуха утихает. Но ненадолго! Словно злобствуя на бесстыдного захватчика, которому уступила поле боя, с севера вдвойне свирепо налетает студеная снежная буря, бич арктических странников... Воздух так переполнен снегом, что человек может дышать, только отвернувшись от ветра, и обречен верной смерти, если останется беззащитным средь этой бури.*

*Ясно ли, облачно ли – определить невозможно, ведь все окрест сплошная, безостановочно летящая вперед, кипучая масса снега... Она несется по ледяной равнине – встретив препятствие, громоздит целые стены, выравнивает колдобины и так крепко все сплачивает, что в конце концов многослойный покров обеспечивает ногам твердую опору.*

*Летом предвестниками снежной бури большей частью бывают ложные солнца, зимой – ложные луны.*

*Вследствие преломления лучей в невидимых, парящих в воздухе ледяных кристаллах возникает целая система солнц и лун, всегда упорядоченная под определенным углом. В большинстве случаев это одно-единственное световое кольцо, окружающее солнце на расстоянии 23°; на равной высоте по обе стороны и по вертикали располагаются на этом кольце три ложных солнца. Если явление достаточно интенсивно, то на удвоенном расстоянии образуется второе световое кольцо, опять-таки с тремя ложными солнцами. От настоящего солнца отходят тогда вверх, вниз и в обе стороны снопы лучей, которые достигают самого*

*дальнего кольца и образуют большой крест. Иногда на вертикальной стойке креста, соприкасаясь с внешним кольцом, возникает обратная дуга, и по бокам, на еще большем расстоянии, являются еще два солнца. Феномен сей изумительно красив. Карл Вайпрехт*

*Изо дня в день нам казалось, что долгожданный час освобождения близок. Коли мы освободимся, у нас будет реальная возможность добраться если не до легендарной Земли Гиллиса, то хотя бы до безлюдного сибирского побережья Ледовитого океана. Сибирь сделалась самой заветной нашей надеждою. Лишь тот, кто предавался особенно буйным мечтаниям, даже и во время дрейфа рассчитывал на открытие новых земель. Впрочем, упования наши стали так скромны, что и крохотная скала вполне удовлетворила бы наши открывательские амбиции. Юлиус Пайер*

И они возобновили свою тяжкую битву со льдом. По восемь с половиною часов ежедневно ломают, взрывают, пилят и прокапывают льдину, палками сбивают лед с такелажа, дробят панцирь, глазурью покрывающий корпус корабля. В подвесных котлах вываривают из белья зимний смрад, щелоком оттирают со стен кают копоть керосиновых ламп и сальных плошек. Машинист Криш очищает от ржавчины паровой котел, меняет уплотнительную паклю на медных кипятильных трубках, впускных вентилях и кранах для спуска пены, драит поршни и расширительные клапаны, смазывает подшипники — машина как новенькая, хоть сейчас разводи пары; корпус просмолен, паруса проветрены, лежат наготове. Но они по-прежнему в тисках льда. Когда в воскресный день после чтения Библии они обводят взглядом свою работу, им кажется, будто и не было никакого времени меж недавними трудами и тщетными усилиями минувшего года, будто они поневоле повторяют последний год, как несданный экзамен. Все без изменений. Все напрасно. Любое дело — сизифов труд, говорит Пайер. А кто он, этот Сизиф? — спрашивают матросы. С ним было так же, как с нами, отвечает Пайер.

Лед, который зима втиснула под корабль, местами достигает девятиметровой толщины, проруби у них глубокие, точно колодцы, и все попытки опустить барк до уровня моря в конце концов приводят к тому, что "Тегетхоф" приобретает большой крен и на палубе они передвигаются, как по горному склону, а штириец-кок Ораш бранится, ведь котлы не держатся на плите. "Тегетхоф" будто разбитый остов на ледяном стапеле; чтобы не перевернуться, они подпирают корпус балками. Марсовой сидит в "вороньем гнезде" и до рези в глазах всматривается в блистающую даль.

1 мая сука Земля приносит четырех щенков, из которых выживает только один — кобелек Торосы, первое существо на борту, не имеющее воспоминаний о зеленых ландшафтах, деревьях, полях, обо всем, что зовется *родиной*. Не горюй, утешает Халлер своего друга Клотца, отчаянно тоскующего по дому, не горюй, эва, глянь на собачонка, он никогда не видывал зеленого луга, а ведь почитай что самый развеселый из всех нас.

Торосы скачет вокруг проталин, окруженных обглоданными медвежьими скелетами, будто это и не проталины вовсе, а красивые, окаймленные камышником озерца в долине Пассайерталь, и, словно в поле, на лугу, в саду, роется в отбросах и золе, в кучах мусора окрест "Тегетхофа", которые под теплым солнцем мало-помалу проваливаются в глубь льда. Матросы балуют и оберегают щенка как этакое священное животное, и даже Юбинал, неукротимый вожак упряжки (когда-то некий си-

бирский еврей якобы привез его с Урала за необоримую силу и дикий нрав), позволяет щенку таскать жратву у него из зубов.

Детство Торосы — последующие месяцы ледового плена. Дневниковые записи делаются безысходнее и однообразнее, ведь и работа у них все время одна и та же. Любое пустячное событие вырастает теперь до масштабов сенсации. Они справляют и имперские праздники, и церковные, поднимают шелковые флажки, устраивают церемониалы и импровизированные банкеты, по случаю которых мичман Орел печет пирожные. Медвежьи охоты — это оргии. Небесные явления — оперы.



*26 мая в наших широтах должно было произойти неполное солнечное затмение; правда, по недоразумению мы ожидали его начала на 2 1/2 часа раньше. Все на борту, у кого был хоть какой-нибудь инструмент, приготовили оный и напряженно высматривали, когда же Луна надвинется на солнечный диск. Но поскольку ничего не происходило, мы смекнули, что ошиблись со временем, однако остались у подзорных труб, чтобы не умалять перед командою важность наблюдения. Юлиус Пайер*

Но так ли уж необходимо и важно строить трехмильную *аллею искусств*, к сооружению которой побуждает команду обер-лейтенант Пайер, сухопутный начальник и географ императора? Эта дорога ведет через виадуки и туннели, по берегам проталин, нареченных австрийскими именами, мимо ледяных почтовых станций, храмов, статуй, трактиров. Конечно, Пайеру нужна трасса, чтобы тренировать собачью упряжку. Но храмы, почтовые станции, трактиры и весь этот игрушечный ландшафт, напоминающий японские сады? Для матросов эта работа так же важна, как и любая другая. Храмы возводятся даже более пышные, а башни — более высокие, чем требует Пайер. Команда трудится не по приказу, а *участвует в игре*. Однажды июньским утром матрос Винченцо Пальмич, наряженный дамой, стоит на балконе одной из башен, а внизу, у опускной решетки снежной крепости, — Лоренцо Марола, на голове у него жестянка, украшенная пышным "плюмажем". Вместе с оруженосцем Пьетро Фаллезичем, на лице и руках у которого синеют пятна обморожений, он поет серенаду. Потом марсовой кричит из "вороньего гнезда": *Открытая вода!* — и из сказки они мгновенно возвращаются в реальность.

*23 июня 1873 г., понедельник. Ясная погода, северный ветер. Температура 0°. Мы все, и офицеры, и матросы, орудуем кирками и пилами, пробиваем канал, чтобы спустить корабль на воду. Но вся эта работа, все усилия вызволить корабль тщетны, нет никакой надежды выбраться отсюда. Лишь с самой высокой мачты виден в дальней дали проход с открытой водой. Наш корабль остается заперт во льдах.*

*24-е, вторник. Ясная погода, северный ветер. Температура +1°. Помогал доктору готовить спиртовые настойки. Поблизости от корабля появился белый медведь. Г-н обер-лейтенант заметил его и крикнул мне: "Медведь!" Мы потихоньку подкрались на расстояние ружейного выстрела и уложили зверя. Вечером появился второй медведь, но поодаль. Лейтенант Брош был на мачте, заметил его и крикнул: "Медведь!" Командир Вайпрехт сей же час устремился навстречу зверю, который был шагах в 500 от корабля. Мы с г-ном обер-лейтенантом, прячась за торосами, беглым шагом поспешили следом. Вот медведь уже шагах в десяти от командира Вайпрехта. Командир стреляет — мимо. А с собой у него был только один этот патрон. Медведь уже изготовился прыгнуть на Вайпрехта. Но тут пуля обер-лейтенанта пострелила зверю грудь, и командир Вайпрехт был спасен. Раненый медведь обратился в бегство. Я живо угостил его разрывною пулей, но он продолжал идти. Я вогнал в него еще две пули, он было упал, однако*

*поднялся и продолжал бегство, пока я с близкого расстояния не выстрелил ему в сердце, после чего он наконец рухнул мертвый.*

*25-е, среда. Ясная погода, северный ветер. Температура +2°. Очищал медвежью шкуру от сала.*

*26-е, четверг. Пасмурно, северный ветер. Температура −2°. Очищал медвежью шкуру от сала.*

*27-е, пятница. Пасмурно, северный ветер. Температура −1°. Весь день подавал на стол и убирал со стола.*

*28-е, суббота. Пасмурно, ветер восточный. Температура −1°. Рубил лед.*

*29-е, воскресенье. Петр и Павел. Мой день рождения. В полвторого ночи к кораблю подошел медведь. Вахтенный офицер и один из матросов уложили его. Потом разбудили меня, чтобы я снял с него шкуру. В ту минуту, когда мне исполняется тридцать лет, я снимаю шкуру с белого медведя. Прекрасный подарок на день рождения. Иоганн Халлер*

Что бы они сейчас ни делали — все это уже было. Они повторяют свои дни. Время идет по кругу. Даже то, что считалось давно утонувшим, возвращается. Однажды утром на снегу вновь лежит труп ньюфаундленда Бопа (а ведь его поглотили зимние льды!), окоченевший, твердый, не тронутый тленом, будто пес околел только вчера; они привязывают ему на шею камень из геологической коллекции Пайера, пробивают колодец до уровня моря и топят труп. Наверное, вот так — дважды, трижды, снова и снова — здесь придется хоронить все, в том числе и надежды. А поскольку все происходящее есть лишь повторение, лишь возврат одного и того же, в своих разговорах они погружаются все глубже в прошлое. Офицеры рассуждают о Лисском морском сражении, будто оно еще только предстоит, и спорят о давным-давно законченных политических баталиях. Июль — как один-единственный, бесконечный день; за ним приходит август, и они начинают осознавать, что эти льды никогда не выпустят их корабль и что они, отданные произволу ветров и течений, дрейфуют навстречу второй полярной ночи.

В середине августа их дрейфующая льдина оказывается в четырех морских милях от огромного, покрытого каменными обломками айсберга. Хоть это не более чем плавучий террикон, они все-таки нашли камни (!) — крошки и осколки какого-то побережья. Сухопутный начальник впереди всех, когда отряд из семи матросов спешит к горе.

*На широком гребне айсберга – две морены. Это первые камни и скальные глыбы, какие мы за долгое время увидели вновь, известковый и глинисто-слюдяной шифер, и мы до того обрадовались этим посланцам неведомой земли, что копались в них с таким азартом, будто нас окружали сокровища Индии. Люди нашли и мнимое золото (серный колчедан) и если в чем сомневались, так только в том, сумеют ли вернуться с ним в Далмацию. Юлиус Пайер*

Хотя Пайер объясняет матросам, что находка совершенно ничего не стоит, они все равно тащат колчедан на корабль, в подолах шуб. Возможно, они бы и оставили свою затею, подтверди им Вайпрехт, что это пустая порода, но Вайпрехт молчит. И они громоздят гальку в кубрике, опять спешат к горе и опять возвращаются с тяжелой ношей. А потом медленно, величественно, айсберг уходит из их поля зрения и через три туманных дня исчезает совсем. Они печалятся о нем, как о потерянном рае. Ни одно возвышение не нарушает более ровной линии горизонта, и снова их объемлет бессобытийное время.

Я долго размышлял о том головокружительном мгновении, которое позднее объявили величайшим и упоительнейшим во всем их ледовом походе, и пришел к заключению, что мне описывать его не пристало, —

я имею в виду то мгновение, когда кто-то на борту (кто именно, история не сохранила) вдруг кричит: *Земля!* ЗЕМЛЯ!

30 августа 1873 года, 79°43′ северной широты и 59°33′ восточной долготы; утро пасмурное, клочья тумана плывут над льдами; после полудня проясняется; поутру дует норд-норд-ост, потом стихает; максимальная дневная температура –0,8 °R, к вечеру понижается до –3 °Rы; полуденный замер глубин показывает 211 метров, дно илистое; в этот день боцман Пьетро Лузина пишет в вахтенном журнале: *Terra nuova scoperta* — Открыта новая земля, впервые отмечая тем, что Старый Свет избавился от одного из последних белых пятен.

*Около полудня мы стояли, облокотясь о борт, смотрели в редеющий туман, сквозь который временами проглядывало солнце, как вдруг ползущая мимо стена тумана расступилась и далеко на северо-западе открылись скалистые кряжи, а через считанные минуты нам во всем блеске предстала картина горной страны! В первый миг мы оцепенели, не веря себе, но затем, захваченные неистребимою реальностью своего счастия, восторженно грянули: "Земля, земля, наконец-то земля!" Хворых на корабле как не бывало, все высыпали на палубу, чтобы собственными глазами убедиться, что перед нами неоспоримый результат нашей экспедиции. Хоть и обретен сей результат без нашего содействия, просто благодаря счастливой причуде нашей льдины, будто во сне...*

*Много тысячелетий прошло, а люди даже не подозревали о существовании этой земли. И вот теперь маленькой горстке почти побежденных людей выпало ее открыть – в награду за стойкую надежду и мужество перед лицом страданий, – и эта горстка, которую на родине уже полагали без вести пропавшею, почла за счастие в знак глубокого уважения к далекому своему монарху дать вновь открытой земле имя императора Франца-Иосифа. Юлиус Пайер*

*Земля эта, до́лжно полагать, довольно велика, потому что берега ее тянутся далеко на север и на запад; когда мы нарекали ей имя, каждый с бокалом вина в руке трижды крикнул "ура", затем были произведены замеры высот определенных гор и вершин; какая радость – после 11 месяцев дрейфа снова увидеть землю, а для нас это радость вдвойне, ведь земля неизвестная, и, стало быть, наша экспедиция достигла цели. Отто Криш*

*Знания о земном шаре, конечно же, не могут не представлять огромного интереса для каждого образованного человека; однако в тех широтах, что в силу своих природных условий необитаемы и непригодны для жизни, а потому важны исключительно для чистой науки, – в тех широтах описательная география имеет ценность лишь постольку, поскольку почвенные условия воздействуют на метеорологический, физический и гидрографический облик Земли, то есть достаточно делать наброски самого общего характера. Детальная арктическая география в большинстве случаев совершенно второстепенна; а уж если она оттесняет на задний план и едва ли не душит истинную задачу экспедиций – научное исследование, – то решительно заслуживает порицания...*

*Чтобы получить научные результаты огромной значимости, не обязательно расширять область наших наблюдений до самых высоких широт...*

*Но если не порвать с теперешними принципами, если не вести арктические исследования систематически и на реально научной основе, если конечной целью всех трудов и усилий и впредь останется чисто географическое открытие, то будут высылать все новые экспедиции, чей успех будет по-прежнему невелик – клочок погребенной во льдах суши или несколько миль, тяжким трудом отвоеванных у льдов, а ведь это сущий пустяк по сравнению с теми громадными научными проблемами, решение которых от веку занимает человеческий дух. Карл Вайпрехт*

*27 августа 1873 г., среда. Дождь, снег, северный ветер. Температура −1°. Я опять заделался стюардом. Паршивая работенка – подавать на стол!*

*28-е, четверг. Дождь, снег, сильный северный ветер. Температура −2°. Весь день подавал на стол.*

*29-е, пятница. Дождь, снег, сильный северный ветер. Температура 0°. Весь день подавал на стол.*

*30-е, суббота. Ясная погода, температура +2°. Мы открыли новую землю. Пробовали подойти к ней поближе, но уперлись в разводье и дальше пройти не смогли. В часе с четвертью пешего пути от корабля наблюдали эту землю. Огромная радость для нас всех. Земле дано имя императора Франца-Иосифа.*

*31-е, воскресенье. Ясная погода. В 11 часов – чтение Библии. Весь день подавал на стол. Иоганн Халлер*

В первые сентябрьские дни они смиряются и прекращают все работы по вызволению "Тегетхофа". Теперь их внимание и заботы целиком сосредоточены на земле (их земле!), которая открывается глазу то в двадцати, то в тридцати километрах, порой исчезает в грядах тумана и вновь, еще краше прежнего, является из незримости, — их земле, что в медленном танце дрейфа поворачивается перед ними, будто могучая, величественная красавица, показывая все свои горные кряжи, скальные обрывы, кручи, мысы. Terra nuova. Не обман зрения, не мираж. Они вправду открыли новую землю. Раз за разом порываются достичь ее берегов. И раз за разом лабиринт разводьев, ледовые барьеры и страх, что натиск льда отрежет обратный путь к кораблю, заставляют их вернуться. С небывалой отчетливостью они осознают свое бессилие, злость и малодушие, когда земля тает в тумане и на целых семь дней пропадает из виду. Неужели это и всё — зрелище отдаленного побережья, мимолетная картина на трассе неумолимого дрейфа? В эти дни смятение то и дело гонит их прочь от корабля, беспорядочной толпой, неосторожно, и даже Вайпрехт не удерживает их и не успокаивает, когда, измученные и разочарованные, они возвращаются из белой стены тумана. Но на сей раз арктическая зима им благоволит. Льдина примерзает к ледовому поясу, окружающему архипелаг. Дрейф сводится теперь к медленным подвижкам у побережья — туда-сюда, туда-сюда. Сама эта земля служит им якорем. И даже когда опускаются осенние сумерки и вновь нарастает угроза зимних ледовых сжатий и всех ужасов мрака — земля остается рядом, меняет свои очертания лишь нерешительно, зачастую надолго замирает, тихая и ручная, делается знакомой.

*Утром 1 ноября на северо-западе перед нами лежала эта земля, залитая сумеречным светом; отчетливость скалистых ее кряжей впервые возвестила нам, что она безусловно в пределах досягаемости, можно добраться до нее, не опасаясь, что не сумеешь воротиться на корабль. Все сомнения исчезли; преисполненные энтузиазма и неукротимого возбуждения, мы, карабкаясь по нагромождениям льда, спешили на север... к земле, а когда одолели ледовое подножие и вправду ступили на нее, то вовсе не замечали, что вокруг лишь снег, скалы да мерзлые обломки и что на свете вряд ли найдется край более унылый, чем сей остров; для нас это был рай, и потому назвали мы его островом Вильчека. Столь велика была радость наконец-то достичь земли, что мы обращали внимание на такие здешние явления, какие в иной ситуации вовсе не привлекли бы нашего интереса. Мы заглядывали во всякую расщелину, трогали каждую глыбу, любая форма, любой контур, какие тысячи раз и повсюду являет глазу любая трещина, приводили нас в восторг...*

*Здешняя растительность отличалась крайнею скудостью, ограничивалась, судя по всему, немногими лишайниками; желанного плавника нигде не видно.*

*Мы рассчитывали обнаружить и следы северных оленей или песцов, однако ж все поиски остались бесплодны, живности на этой земле, дóлжно полагать, не водилóсь... Высокой торжественностью дышит уединенный край, где доселе не ступала нога человека, хотя ощущение это возникает лишь благодаря нашей фантазии и волшебству непривычного, а сама по себе снежная земля полюса никак не может быть поэтичнее Ютландии. Но мы стали очень восприимчивы к новым впечатлениям, и золотистая мгла, поднявшаяся на южном горизонте из невидимой полыньи и колышущейся пеленою затянувшая пламень полдневного неба, казалась нам такою же сказочной, как пейзаж Цейлона. Юлиус Пайер*

2 ноября они вновь стройной колонной, один за другим, шагают к берегам острова Вильчека, форпоста архипелага; Пайер и на сей раз впереди всех. Наконец-то (!) он руководит походом, а Вайпрехт идет вместе с командой, несет свернутый шелковый флаг. И вот от имени императора они торжественно вступают во владение новой землею, поднимают двуглавого орла меж темно-зеленых долеритовых столпов, воздвигают каменную пирамиду и прячут внутри документ, который объявляет Его Апостолическое Величество Франца Иосифа I, императора Австрии и короля Венгрии, первым государем этой обледенелой пустыни из кристаллических пород и заканчивается скупыми фразами об их будущем:

*Сейчас мы находимся в трех-четырех милях к юго-юго-востоку от пункта, где заложен сей документ. Дальнейшая наша судьба целиком зависит от ветров, по воле коих дрейфуют льды...*

*Пайер* (подпись), *Вайпрехт* (подпись)

*Окончание в следующем номере*

# Петер Хандке

# *Опыт познания природы jukebox*[1]

Эссе

*Вступление и перевод* Г. Косарик

**От переводчика**

Несколько лет назад журнал "Иностранная литература" опубликовал эссе Петера Хандке "Опыт познания усталости", который заканчивался обещанием автора написать эссе о музыкальных автоматах. Вместе с эссе "О счастливо сложившемся дне" эти три работы составили небольшой томик ассоциативной прозы Хандке под общим названием "Три опыта". Музыкальные автоматы — целый пласт культуры XX века. Появившись в самом его начале в Америке, они пережили бурный расцвет в 30-е годы, распространившись повсеместно и олицетворяя собой "музыку для миллионов". Вторая мировая война приостановила победное шествие музыкальных автоматов по миру, но с 50-х годов они снова обрели популярность, причем сам модельный ряд претерпел существенные изменения: вместо ограниченного числа "сорокапяток" сегодня в них можно заложить более двухсот песен на пластинках и компакт-дисках. Старые же модели стиля "ретро" стали предметом коллекционирования. Путешествуя по миру и разыскивая повсюду дорогие ему "неодушевленные предметы" его юности, Хандке создает в свойственной ему манере зарисовок мозаичные картины времени, места действия и характеры людей, поразительно откровенно раскрывает при этом собственную творческую лабораторию, историю возникновения замысла и планы его реализации.

Это эссе было переведено во многих странах мира, а несколько лет назад в Сории — главном месте действия — созвали даже международную конференцию переводчиков, работавших на разных языках над этим текстом. Американское слово "jukebox", принятое во всем мире для обозначения музыкального ав-

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1990
© Г. Косарик. Вступление, перевод, 2003
1. Музыкальный автомат jukebox (*англ.*).

томата, вошло в немецкий язык, согласно правилам грамматики, как существительное женского рода, чем и объясняется возможность использования в качестве эпиграфа строчки из популярной песни Леннона.



Dar tiempo al tiempo[1]

*Испанская поговорка*

And I saw her standig there[2]

Леннон/Маккартни

НАМЕРЕВАЯСЬ приступить наконец к написанию давно запланированного "Опыта познания природы jukebox", он купил на автобусном вокзале в Бургосе билет до Сории. Посадка производилась с крытой стоянки во внутреннем дворе; по утрам, при одновременном отправлении нескольких рейсов на Мадрид, Барселону и Бильбао, там скапливалось много народу; сейчас же, ближе к полудню, здесь стоял только один автобус на Сорию с редкими пассажирами и открытыми, зияющими пустотой багажными люками над выемками для колес. Когда он передавал свой чемодан стоящему рядом с ним водителю — а может, кондуктору? — тот сказал "Сория!" и легонько коснулся его плеча. Ему хотелось побольше узнать о конечной цели своего путешествия, и он принялся ходить взад-вперед вдоль автобуса, пока мотор еще не взревел. Продавщица "счастливых" билетиков, с самого утра шнырявшая в толпе, теперь, когда никого не было, больше не показывалась; он представил ее себе во время трапезы где-нибудь рядом с рыночным павильоном Бургоса: на столе — стакан темно-красного вина и пачка лотерейных билетиков в канун Рождества. На асфальтовом покрытии внутреннего двора автовокзала осталось жирное пятно от сгоревшего топливного масла; выхлопная труба одного из уже исчезнувших из виду автобусов отфыркивалась здесь, вероятно, довольно долго: на толстом черном слое гари отпечатались следы множества пар обуви и чемоданов на колесиках, изъездивших или истоптавших его вдоль и поперек; вот и он тоже пересек это черное пятно, а все, собственно, только ради того, чтобы добавить отпечаток своих ботинок к следам других, тайно надеясь, что удастся привлечь этим перед началом задуманного доброе предзнаменование на свою сторону. Самое же странное во всем том было, что, с одной стороны, он уговаривал себя, будто его задумка разобраться в природе jukebox — дело само по себе второстепенное и как бы не-
нужное, а, с другой стороны, он, как всегда перед тем, как начать писать, испытывал беспокойство и тоску и невольно искал для себя спасение в приметах и предзнаменованиях, хотя ни на минуту не верил в них и много раз запрещал себе это, пресекал в зародыше, вот как сейчас, одернув и приструнив себя всплывшей в памяти репликой о природе суеверности из "Характеров" Теофраста[3], которого как раз читал дорогой сюда: суеверие — это своего рода трусость перед лицом Божественного. И тем не менее отпечатки этих многоликих подошв вместе со всем разнообра-

1. Время не терпит суеты (*исп.*).
2. И я увидел — она стоит там (*англ.*).
3. Теофраст (ок. 372 до н. э. — ок. 287) — древнегреческий философ и естествоиспытатель, ученик Платона и Аристотеля, автор "Характеров" — сборника из 30 кратких характеристик человеческих типов (льстец, пустослов и т. д.), послужившего образцом для многих моралистов нового времени. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

зием их фирменных марок, напластованных тут одна на другую, словно роспись белым по черному, и делавшихся за чертой пятна сразу невидимыми, складывались в некий образ, который уже можно было взять с собой, отправляясь в дальний путь.

А то, что он хотел приступить к написанию этого "Опыта" именно в Сории, было запланировано им давно. Сейчас стояли первые числа декабря, а до того, еще весной, во время полета над Испанией он наткнулся в каком-то иллюстрированном журнальчике на рассказ об этом далеком городе на Кастильском плоскогорье: Сория, оказавшаяся вследствие своего географического положения вдали от больших международных трасс, пребывала почти целое тысячелетие за бортом истории, став самым тихим и забытым местом на Пиренейском полуострове; в центре города и на окраине, а также за городской чертой по совершенно пустынной местности разбросаны отдельные домики, а иногда даже и архитектурные сооружения с сохранившимися в них старинными скульптурными памятниками, отмеченными признаками романтики; однако, несмотря на свои малые размеры, Сория – столица, главный город одноименной провинции; в Сории жил в начале XX века (сперва в качестве учителя французского, потом – молодого супруга, еще позже – вдовца) воспевший в своих стихах эту местность во всем своеобразии ее проявлений поэт Антонио Мачадо; Сория, расположенная на высоте свыше 1000 м, омывается у подножия своих стен очень медленной в здешнем своем верхнем течении рекой Дуэро, по берегам которой мимо "поющих" тополей (álamos cantadores), названных так Мачадо в честь голосистых соловьев (ruiseñores) в их густой листве, и между сужающимися до каньонов скалистыми отвесными стенами – согласно все тому же описанию в иллюстрированном журнале – пролегали широкие дороги, уводя еще дальше в неизведанное...

С помощью "Опыта познания природы jukebox" он намеревался наконец-то разобраться со значением этого явления для него на разных фазах его уже немолодой жизни. При этом почти никто из его знакомых, кого он спрашивал об этом в последние месяцы – своего рода игровой тест на маркетинг в изучении проблемы, – не знал, с какой стороны подойти к этому волнующему его вопросу. Одни, среди них, кстати, и пастор, только пожимали плечами да качали предосудительно головой, как такой предмет вообще может вызывать интерес, другие принимали jukebox за игровой автомат, третьи просто никогда не слышали такого слова и начинали понимать, о чем идет речь, только лишь после разъяснений про "ящик с музыкой в кафе, куда бросают монетку". Но как раз именно такое невежество и полное равнодушие – опять же после первого разочарования, что не все пережили нечто подобное тому, что пережил он, – побуждали и провоцировали его еще больше заняться изучением этого явления или хотя бы отреагировать на брошенный ему упрек; к тому же складывалось впечатление, что время этих самых jukebox в большинстве стран и городов уже давно прошло (да и сам он, возможно, постепенно выходил из возраста, когда стоят перед автоматами и жмут на клавиши).

Конечно, до того он проштудировал так называемую специальную литературу о jukebox, намереваясь, правда, большую часть из всего прочитанного забыть тут же на месте – при написании стоило, должно быть, учитывать прежде всего только свидетельства очевидцев. К тому же из всей литературы нашлось мало что путного, и главным трудом оставался пока – во всяком случае, так было до сих пор – изданный в 1984

году в Де-Мойне, далеко на американском центральном Северо-Западе, "Complete Identification Guide to the Wurlitzer Jukeboxes"[1], автор Рик Боттс. Что мог вынести читатель путеводителя из истории этих самых jukeboes, состояло приблизительно в следующем: во времена "сухого закона" в Америке двадцатых годов в барах, где незаконно торговали спиртными напитками — в так называемых "speakeasy"[2], — впервые установили также и музыкальные автоматы. Происхождение слова "jukebox" — "джукбокс" — остается неясным: то ли от "джут", то ли от глагола "to jook", имеющего африканские корни и означающего не что иное, как "танцевать". Во всяком случае, дело было так: после работы на джутовых плантациях "черные" с Юга собирались в так называемых "jute-joints" или "juke-joints"[3] и слушали там, бросив в музыкальный автомат никелевую монетку в пять центов, Билли Холидей, Джелли Ролла Мортона и Луи Армстронга, которых никогда не исполняли по радио, находившемуся в руках белых. "Золотой век" для jukebox начался с отмены "сухого закона" в тридцатые годы, когда повсюду возникали, словно грибы, маленькие питейные заведения, даже в табачных лавках и парикмахерских стояли тогда автоматизированные музыкальные проигрыватели с набором пластинок — из-за их малых габаритов, размером с кассу, их и размещали рядом с ней прямо на стойке. Этому расцвету пришел потом конец, прежде всего, из-за начавшейся мировой войны, когда на материалы, из которых изготавливали jukebox — и прежде всего пластмассу и сталь, — было введено ограничение. Металл заменило тогда дерево, а с середины войны вся промышленность вообще стала работать только на вооружение. Так, ведущие фирмы-изготовители музыкальных инструментов "Вурлитцер" и "Зебург" производили теперь антиобледенители и электромеханические части для самолетов.

Самостоятельной главой истории стала форма музыкальных проигрывателей — именно этим они должны были выделяться из безрадостного "серого окружения". Важнейшей фигурой на фирме становится, соответственно, дизайнер: если у "Вурлитцера" основу конструкции составляло что-то вроде полуциркульной арки, то фирма "Зебург" прибегала, как правило, к прямоугольному корпусу с колпаком наверху, при этом, по-видимому, действовал неписаный закон, согласно которому каждая новая модель могла лишь настолько отличаться от предыдущей, чтобы та непременно просматривалась и узнавалась в ней; именно по этой причине с треском провалилась однажды особенно необычная модель музыкального автомата, напоминавшего внешне обелиск, где наверху вместо головы или языков пламени размещалась тарелка с динамиком и оттуда вырывалась музыка, устремляясь в потолок. Поэтому варьировались исключительно только формы игры света, исходящего от jukebox, и детали оформления корпуса: павлин в центре автомата, весь переливающийся красками; пластмассовые поверхности, прежде — просто цветные, ныне — с мраморными прожилками; декоративная панель, до сих пор — имитация бронзы, теперь — хромированная; скругленные углы тоже в совершенно новом качестве: из прозрачных люминесцентных трубок, по которым безостановочно спускались и поднима-

1. "Полный путеводитель по идентификации музыкальных автоматов фирмы 'Вурлитцер'" (*англ.*). "Вурлитцер" — немецкая фирма музыкальных инструментов, основанная в XVI в., затем, после эмиграции в США Ф. Р. Вурлитцера (1831—1914), — американская фирма музыкальных автоматов.
2. Подпольное питейное заведение во время действия "сухого закона".
3. Дешевый ресторанчик, бар, придорожное кафе, где установлен музыкальный автомат.

лись большие и маленькие водяные пузырьки — "живые картинки Пола Фуллера"; так читатель, он же зритель, прослеживавший эту эволюцию форм, узнал наконец и имя главного героя, осознавая, что подсознательно давно уже хотел знать его, с того самого первого момента, когда в изумлении застыл однажды перед такой сияющей всеми цветами радуги громадиной где-то в мрачной комнатенке на задах.

Путь автобуса от Бургоса до Сории шел на восток, пересекая почти безлюдную Месету. Казалось, что, несмотря на многие свободные места, в автобусе собралось гораздо больше народу, чем попадалось его там, за окном, на этом лысом плоскогорье. Небо было серым и пасмурным, редкие поля между скалами или сплошными пластами рыжей глины лежали невозделанными. Молоденькая девушка в автобусе щелкала семечки, как обычно это делают во всех испанских кинотеатрах или во время прогулки, с серьезным выражением лица и мечтательно распахнутыми глазами, не останавливаясь ни на минуту, шелуха сыпалась непрерывным дождем; группа молодых парней со спортивными сумками все время подносила водителю в кабину новые кассеты со своей музыкой, а тот охотно запускал их вместо послеполуденной радиопрограммы, в динамики, закрепленные над каждой парой кресел; единственная пожилая пара в автобусе сидела не произнося ни слова и не двигаясь, а мужчина, казалось, даже не замечал, когда кто-либо из парней каждый раз, проходя мимо, неумышленно толкал его; даже когда один из юношей вскочил, громко заговорив, вышел в проход и облокотился, что-то энергично объясняя, на спинку сиденья старика и принялся жестикулировать прямо у него под носом, тот терпел не шевелясь, даже не отвел в сторону газету, края которой заворачивались от сильного движения воздуха, создаваемого размахивающим руками парнем. Вышедшая из автобуса девушка уже шла в полном одиночестве по голой макушке холма, закутавшись в плащ, по бездорожью степи, где не было ни единого дома на горизонте; на полу под ее сиденьем осталась горстка шелухи от семечек, на удивление куда меньшая, чем можно было ожидать. Чуть позже на высокогорном плато замелькали светлые дубовые рощицы, деревья казались маленькими, ростом с кустарник, густая увядшая листва приняла серый цвет и дрожала на ветру, а после одного неприметного перевала — в испанском, как узнал путешественник из своего карманного словарика, то же слово означало еще и "гавань", — служившего границей между провинциями Бургос и Сория и защищенного с обеих сторон стволами поблескивающих рыжиной сосен, зацепившихся корнями за скалистую верхушку (многие из них стояли как после сильной бури, наполовину вывороченными из небольшой полоски земли и даже расщепленными надвое), пространство снова раздвинулось, ибо даже и эта "защита" дороги вскоре исчезла, уступив место повсюду доминирующей степной пустоши. Через какие-то промежутки пути дорогу перерезали рельсы, заметно заржавевшие — следы заброшенной ветки между двумя городами, местами уже залитой гудроном, шпалы заросли травой или вовсе скрылись под наслоением земли и песка. В одной из деревень, невидимой со стороны проселочной дороги из-за каменистых отрогов гор, которые автобус, петляя, все время объезжал, высаживая пассажиров и становясь все более пустым, и вынужденно возвращаясь назад, чтобы наконец-то попасть в нее, криво висевшая табличка с названием переулка непрестанно била на ветру в стену дома, на котором была укреплена; в окне деревенского бара он не увидел ничего, кроме жестикулирующих рук картежников.

В Сории было холодно — еще холоднее, чем в Бургосе; а по сравнению с морским курортом Сан-Себастьяном, где он накануне вступил на испанскую землю, здесь стоял просто собачий холод. Но снег, на который он рассчитывал здесь как на явление природы, сопровождающее задуманную им авантюру, с неба не падал, вместо него моросил холодный дождь. На продуваемой всеми ветрами автобусной станции он тут же списал себе расписание рейсов на Мадрид или по крайней мере на Сарагосу. Выйдя на транзитную дорогу на окраине города, он оказался между маленькими, приготовившимися завалиться домишками, возводимыми рядом с ними новостройками в лесах и заваленным щебнем и мусором пустырем (обычно импонировавшим ему), среди шума и рева вереницы груженых контейнеров, словно привязанных друг к другу одной веревочкой, из-под колес которых летели брызги и комья жирной дорожной грязи; у всех машин были сплошь испанские номера, когда же он вдруг увидел среди них английский номерной знак, а за ним и понятный с первого же взгляда, но абсолютно непереводимый сленг — рекламу на брезенте, на душе у него стало тепло, и он почувствовал себя на какой-то момент словно дома. Нечто подобное он уже однажды испытал еще раньше во время своего длительного пребывания в чужом испанском городке, где никто вокруг не понимал ни слова на другом языке и где не было ни одной иностранной газеты, тогда он искал для себя иногда убежище в китайском ресторанчике, где еще меньше понимал язык, но чувствовал себя там странным образом как бы защищенным от плотно обложившего его со всех сторон испанского.

Начало смеркаться, контуры предметов стали расплываться. На дорожных указателях можно было прочесть только обозначение направления на дальние крупные города, такие, как Барселона и Вальядолид. Так он и шел, теперь уже довольно долго, с тяжелым чемоданом вниз по улице, подумывая о том, что, пожалуй, останется в Сории до наступления Нового года; он уже не раз сталкивался с тем, что центры именно таких, на первый взгляд, можно сказать, испанских городов-невидимок находились где-то далеко внизу, скрывшись за безлюдными районами, почти без признаков жилья, запрятавшись в долины, расположенные вдоль берегов иссякших рек. Эту ночь, во всяком случае, он проведет здесь; и он тут же устыдился сам себя: получается, будто он хотел, находясь уже здесь, все же удостовериться, что город действительно существует, и вроде бы отдать ему должное (в этот момент, когда он, перекладывая через каждую пару шагов чемодан из одной руки в другую, старательно пытался увернуться от столкновения со спешащими навстречу местными жителями, уже начавшими свой вечерний марафон по исхоженной прямой, он потерпел неудачу), а кроме того, что касалось его "Опыта познания природы jukebox" и вообще отведенного им на то времени, он опять принялся внушать себе — как уже частенько раньше, — неоднократно повторяя одно и то же, а сейчас прибегая даже к греческому слову, почерпнутому при чтении из книги Теофраста, что все это "s-cho-lazo, s-cho-lazo"[1].

При этом он думал только о бегстве. То один, то другой его друг предлагали ему, уже несколько долгих лет скитавшемуся неприкаянным, для осуществления его намерения то двухкомнатную квартиру, то пустующий в преддверии зимы трехкомнатный загородный домик — кругом

1. Это греческое слово лежит в основе слов *схоластика, школа, школяр.*

полная тишина и в то же время привычная цивилизация, а прежде всего язык его детства, сулящий вдохновение (одновременно и утешение), пожалуйста, все доступно и в любой момент можно дойти пешком до любого видимого горизонта. Но его мысли о бегстве исключали всякое возвращение назад. О немецкоязычном окружении сейчас не могло быть для него и речи, и даже, к примеру, о Ла-Рошели, где он всего несколько дней назад при виде безбрежной Атлантики, низеньких беленьких домов, множества кинотеатров, безлюдных боковых улочек, башни с часами в старой гавани, напомнившей ему Жоржа Сименона и его интригующие книжки, почувствовал себя, несмотря на доступный ему французский, абсолютно чужим на площади, и даже о Сан-Себастьяне с его таким теплым воздухом и хорошо обозримой бухтой-подковой в Бискайском заливе, показывающем порой свой дикий норов, как он это увидел собственными глазами ночью, когда волны прилива шумели и пенились у берегов реки басков Урумеи, порываясь повернуть ее течение вспять, середина же реки, напротив, бурлила, устремляясь потоками к морю, а в это же время в неком баре, холодном и неосвещенном, словно бездействующем много лет подряд, стоял jukebox испанского производства — громоздкий и нескладный, почти без всякого декора... Может, это было все-таки своего рода насилием, когда он запрещал себе такие формы бегства, любое отступление назад, заставляя себя думать только о дальних маршрутах, наперерез через весь континент, — и насилие это, возможно, состояло еще и в том, что, оставаясь какое-то время ангажированным темой, не будучи связанным при этом по рукам и ногам узами договорных обязательств, он тем не менее полагал, что ради намерения начать писать, если тому вообще было оправдание, ему необходимо каждый раз регулярно подвергать себя такому испытанию и отправляться в дикие места, которые сначала еще предстояло обживать, ежедневно загоняя себя в жизненные обстоятельства, чреватые пограничными ситуациями, способными опасно обостриться, и к тому же, наряду с первой задачей — сесть и писать, дополнительно вырастала всегда еще и вторая — некое подобие рекогносцировки или промера незнакомого места, а также вхождение одному, без преподавателя, в язык, который, по возможности, должен был оставаться совершенно чужим.

Однако сейчас он хотел убежать подальше не только от этого города, но и от своей темы тоже. Чем неотступнее он приближался к Сории, месту, выбранному им для написания "Опыта", тем ничтожнее казался ему предмет его устремлений — jukebox. Заканчивался 1989 год, когда в Европе, казалось, день ото дня многое становилось проще и легче и в отношениях между странами тоже все так чудесно менялось, что он даже представил себе кого-то, кто некоторое время прожил без мировых новостей, ну например, добровольно укрылся от всех, уйдя с головой в исследовательскую работу, или находился после аварии в течение нескольких месяцев в коме, а потом взял в руки первую попавшуюся газету и тут же принял ее за специальный выпуск, в котором ему пытаются втереть очки, будто сокровенные мечты закабаленных и разделенных народов европейского континента за одну ночь стали реальностью. Этот год даже для него, с его происхождением из безвременья и детством, равно как и юностью, которых, можно сказать, не было, уж во всяком случае прожитых с большими лишениями, с точки зрения исторических событий (и празднования их с задранным вверх подбородком) был годом, что войдет в историю: вдруг случилось так, будто история — наряду со всеми другими формами ее выражения — может стать еще и сказкой, ко-

торую она сама про себя рассказывает и которая оказывается самой правдивой и самой реальной, самой неземной и одновременно самой-самой земной из всех существовавших сказок. Несколько недель назад в Германии один знакомый в сильном возбуждении от внезапного прорыва берлинской стены, торопясь оказаться на месте прорыва и стать "непременным очевидцем истории", наседал на него, чтобы он поехал с ним и "смог засвидетельствовать эти события лично как человек, компетентный в сфере образного мышления и литературного языка", а он? — он тут же выдвинул в качестве контраргумента свою "работу, изучение материала, предварительную подготовку и т. д.", и все это инстинктивно, прямо-таки страшась и обороняясь, не допуская даже самой такой мысли (правда, сразу представив себе, как на следующее утро в одной из известных своей незатейливостью газетенок государственной важности появится забранное в рамку первое заказное стихотворение поэтического очевидца случившегося, а еще через день после этого, как полагается, первый политический зонг в придачу). И вот именно теперь, когда история, подобно заветной сказке всего мира и человечества, судя по всему, день за днем продвигалась вперед и неустанно тянула за собой нить рассказа, разматывая волшебный клубок чудес (или это была всего лишь разновидность старой байки про призрак в Европе?), он хотел здесь, вдали от всех, в этом затерянном среди голых степей и скал городе, глухом к гулу истории, перед светящимися повсюду экранами телевизоров — только один раз полная тишина и то во время местных новостей с сообщениями о трагедии на строительных лесах и одном погибшем — попытаться одолеть далекую от жизни и никому не нужную тему, а именно: понять природу jukebox, заинтересовавшую только одного "отшельника мира сего", как он сейчас сам себя называл; заняться этой пустой игрушкой, по свидетельству литературы, пожалуй, "одной из самых любимых у американцев", правда, всего лишь на короткое время "субботней ночной лихорадки" сразу после окончания войны. Можно ли было найти в наше время, когда каждый новый день становился исторической датой, еще кого-нибудь, кто выглядел бы смешнее и даже более помешанным на этой глупой идее, чем он?

Однако по-настоящему серьезно он над этим все же не задумывался. Гораздо больше его занимали мысли о том, насколько этот его ничтожный по значимости замысел вступает в противоречие с тем, что вот уже в течение нескольких лет все сильнее и настойчивее дает о себе знать в самых глубинных его ночных сновидениях. Там, в бездне сковывающих сознание снов это обрушивалось на него с невероятной мощью, и, проснувшись, он продолжал думать об этом: мировой закон представал перед ним чередой картин — одна следовала за другой. Те сны рассказывали и рассказывали сюжетно — пусть фрагментарно, но монументально, переходя зачастую в обычные ночные кошмары, — повелительно навевая ему глобальный, всемирно-исторический эпос о войне и мире, небесах и земле, Западе и Востоке, массовых уничтожениях и убийствах, угнетении, бунтарстве и примирении, дворцах и притонах, дремучих лесах и дворцах спорта, уходе в безвестность и возвращении в родные пенаты, триумфальном единении чуждых друг другу людей и сакраментальной супружеской любви; и в этом эпосе действовали бесчисленные, однако четко обозначенные персонажи: хорошо знакомые незнакомцы, сменявшие друг друга за прошедшие десятилетия соседи, дальние родственники, кинозвезды и политики, святые угодники и марионетки, преобразившиеся в снах (приняв свой реальный облик) и продолжившие свою жизнь дале-

кие предки и все новые и новые дети — отпрыски их детей и еще одно дитя, становившееся центральной фигурой эпического повествования. Он сам, как правило, не появлялся среди них, оставаясь зрителем и слушателем. Такими же непреложными, как увиденные картины, были и его чувственные восприятия; просыпаясь, он никак не мог восстановить в памяти некоторые из них, например, благоговение перед чьим-то ясно увиденным лицом, или восторг при виде голубой горы неземной красоты, или даже что-то вроде легковесного обожествления (трансформировавшегося при этом в эмоциональное чувство), ничего иного, кроме как ощущения "вот-он-я"; другие чувства были хорошо ему знакомы, но в таком чистом виде и так образно они посещали его, только пройдя через горнило чувственности, прожигавшей спящего мечтателя, видевшего во сне картины эпических прозрений: как вместо конкретной благодарности он испытывает нечто вроде благодарности *вообще* или *глобальное* сострадание и наивность, ненависть и удивление, дружелюбие и печаль, одиночество и страх перед смертью. Проснувшись, проветренный в снах всеми ветрами до донышка, податливый, как хорошо выстоявшееся тесто, и готовый к новой жизни, он чувствовал окрыляющий полет новых фантазий и их ритмов, которым должен был следовать в своем творческом начинании. И тут вот он, значит, опять, как уже не в первый раз, отложил все в долгий ящик, идя на поводу у других — второстепенных? — тем. (Именно те сны заставляли его задумываться об этом — иных высших инстанций для него не существовало.) А его ухищрения, что до тех пор, пока он ведет кочевой образ жизни, он обречен только на опусы с темой по случаю — в конце концов и детективы Сименона, например, написанные чаще всего в номерах заграничных отелей, тоже как-то не отмечены налетом эпического, — не были ли они снова своего рода упреждением снов, одной из его отговорок, к которым он постоянно прибегал в последнее время? А почему бы ему не осесть наконец на одном месте, все равно где? Разве он не замечал, что его бесконечные скитания зачастую были не чем иным, как хаотическим блужданием? Тогда, когда "Опыт познания природы jukebox" был еще только зарождающейся идеей, в голове у него вертелось высказывание Пикассо, мерещившееся ему в виде подходящего эпиграфа: картины делают так же, как принцы делают детей, — с пастушками. Никогда не изображай Пантеон, не пиши кресло Людовика XV, а создавай пейзажи с лачугами на юге Франции, натюрморты с пачкой табака и ветхим стулом. Но чем ближе подходило время реализации этого кредо художника, тем менее возможным казалось ему воплощение его на бумаге применительно к предмету его собственного творчества. Чрезмерно властными, чрезмерно эксклюзивными, а потому сверхпритягательными (своим страстным желанием быть переведенными на язык искусства) казались ему всецело захватившие его эпические сны, да к тому же, как это было знакомо ему еще с юности, чем вызывало его постоянное удивление, именно сейчас, в период зимнего солнцестояния, притом из ночи в ночь, железно, так сказать, кондово и надежно, как всегда; стоило ему только впасть в полузабытье, как распахивались ворота для эпических видений, и всю ночь напролет они скандировали ему свои ритмы и навязывали свои образы. А кроме того, что вообще общего у jukebox, пластмассы, цветного стекла и хромированной жести с ветхим стулом или лачугой в поле? Да ничего. Или, может, их все же что-то объединяет?

Он не знал ни одного живописца, в творчестве которого присутствовал бы, пусть в качестве аксессуара, хоть один музыкальный автомат. Да-

же на картинах представителей поп-арта и то нет, и, несмотря на их повышенный интерес и пристрастие ко всему заурядному, серийному, не отличающемуся оригинальностью, ко всему второстепенному, они, по-видимому, не считали jukebox достойным их внимания. Стоя перед картинами Эдуарда Хоппера с разрозненными фигурами в ночных барах ничейного города, он испытал что-то вроде галлюцинации: ну есть же они тут, есть, только их замазала кисть художника — вот оно, пустое светящееся пятно. Правда, он вспомнил одного эстрадного американского певца, Джима Моррисона, которому "трубный глас jukebox вечным казался", но все это, прибегая к простонародным выражениям, уже "быльем поросло" и "давно испустило дух".

И еще одно: почему все, что можно сказать о предмете его творческих изысканий, он сразу представляет себе как книгу, пусть и очень маленькую? Разве в его представлении такая вещь, как книга, не предназначалась для отражения — фраза за фразой — естественного света, солнечного сияния прежде всего, отнюдь не для описания отблесков искусственного света, создаваемых скользящими лучами зеркальных шаров, вращающихся в полумраке дискотек. (Так это, во всяком случае, относилось с его старомодным, невытравимым из его души понятием о книге.) И не годился ли мелкий шрифт, согласно его понятиям о книге, скорее для газеты, а лучше всего для той, что выходит раз в неделю, на страницах которой вместе с ностальгией по прошлому можно встретить и цветные изображения всевозможных моделей jukebox во время оно и вплоть до наших дней?

Добравшись до этого пункта своих размышлений, готовый отказаться от всего, о чем за последние месяцы только и думал ("Молчи о том, что тебе любо и дорого, и пиши лишь о том, что тебя возмущает и бросает тебе вызов!"), решив жить в самое ближайшее время просто так, ничего не делая, чтобы хотя бы оглядеться на континенте вокруг себя и порадоваться отпущенному тебе времени, он вдруг ощутил удивительное наслаждение от допущенной мысли о бессмысленности своей затеи — свобода! — и одновременный прилив энергии, которую можно будет направить на ничегонеделание и желательно где-нибудь в другом месте, не в этой забытой Богом Сории.

Он снял на одну ночь комнату в отеле, носившем имя какого-то средневекового испанского короля. Почти каждое незнакомое местечко, казавшееся ему в его скитаниях на первый взгляд ничтожным и заброшенным, начинало потом во время блужданий по городу таинственным образом вытягиваться в длину и ширину и представляться кусочком земного шара; "какой большой город!" — удивлялся он каждый раз заново, а иногда даже и "какая большая деревня!" Но Сория, чьи переулки он покинул вечером под проливным дождем, даже и не подумала расширяться, когда он уже прошагал через весь город и стал нащупывать в полной тьме дорогу наверх, где в бывшем замке находился отель; никакой сверкающей авениды; так себе местечко, не показавшее ему в эту ночь ничего, кроме невыразительных стен нескольких жилых коробок в извилинах переулков, даже и после того, как он поблуждал среди баров, заходя в них по очереди, — все они были полупусты уже с раннего вечера, оживление вносили только повторяющиеся везде одни и те же зазывные мелодии игровых автоматов, вызывая в памяти до тошноты знакомый облик маленького провинциального среднеевропейского городка с той лишь разницей, что в черте города чернело большое пятно — опустевший на зиму овал арены для боя быков, да вокруг сгущался сплошной мрак и темень.

Ничего другого — таков был его приговор — здесь больше нельзя было открыть или сотворить заново. Но перво-наперво приятно было идти без багажа. На самом видном месте в витрине книжного магазина лежали только книги Гарольда Роббинса — а почему бы и нет? И где-то на боковой площади блестели около полуночи и бешено махали мокрыми зубчатыми листьями платаны. И окошки касс обоих кинотеатров — REX и AVENIDA, — похожие на лаз, едва различимый в темноте, размещались, как это принято только в Испании, по фронтону здания рядом с широким входом в кинотеатр, глядя прямо на улицу, и в них каждый раз показывалось наполовину срезанное полуспущенной створкой лицо как бы одной и той же старой женщины. И вино все же не имело привкуса провинциального городка. И рисунок на каменных плитах тротуара в Сории представлял собой переходящие друг в друга квадраты со скругленными углами, тогда как аналогичное покрытие в Бургосе имело форму остроконечных зубцов. И испанское слово "терпеливость" звучало как ecuanimidad. И он все тянул и тянул одну и ту же песню, бесконечно повторяя это слово, произнося его на разные лады вперемежку с греческим глаголом, означавшим "дать себе время".

Во сне являлись сотни лиц и образов: какой-то генерал, он же переводчик сонетов Шекспира, застрелился от тоски из-за несовершенства мира; зайчик перебегает поле; утка плывет вниз по течению; у всех на глазах вдруг исчез ребенок; деревенские жители, дошли слухи, умерли в одночасье, и пастору не осталось ничего другого, как заняться их погребением (собственно, роль слухов в сновидениях удивительна — никто ничего не говорит, никто ничего не слышит, они просто безмолвно разносятся по воздуху); дедушкина кровь из носу пахнет мокрой собачьей шерстью; а вот еще один ребенок со странным именем Дух; кто-то разглагольствует очень громко о том, как важно хорошо слышать в наше время.

На следующий день — по-прежнему лил дождь, и, судя по сообщению в газете Сория, опять оказалась самой холодной провинцией Испании, — он отправился в путь, чтобы попрощаться с городом. Без особого намерения он вдруг остановился перед фасадом, сразу дававшим почувствовать своими размерами и стенами из светлого пористого песчаника возраст сооружения — церковь Санто-Доминго. Какой импульс, какой знак надежности посылали ему эти романтические стены, пропорции которых он мгновенно ощутил — вобрал в себя плечами, бедрами, ступнями, словно это было его собственное, такое сокровенно-родное для него тело. Да, телесность, это было именно то ощущение, с которым он как можно медленнее, зигзагами стал приближаться к церкви, имевшей форму амбара для зерна. Уже с самого первого момента от воздушности сооружения и встроенных в него арок и скульптурных фигур ему передалось, говоря словами Борхеса, "братство прекрасного", но одновременно и охватила боязнь, что он, вот так сходу, готов, так сказать, безоговорочно санкционировать это великолепие, и тогда он решил отодвинуть свой отъезд — да и куда? — на вечер, а до того прийти сюда еще разок, когда дневной свет, перемещаясь, будет по очереди освещать скульптуры. Пока же он только принялся выискивать вариации среди так хорошо знакомых и привычных для него групповых комбинаций библейских сцен. И конечно нашел их (что не заняло у него слишком много времени); и снова, как и каждый раз при взгляде на романские скульптурные изображения, именно они показались ему тайными знаками незнакомого места. Они попадались ему на глаза здесь, в Сории, повсюду, куда бы он ни гля-

нул: знакомая поза заботливо склоненного Бога-Отца, когда Он помогает подняться на ноги свежеиспеченному Адаму; почти совершенно гладкое в одном месте — на других изображениях все сплошь волнистое — покрывало, под которым спят три священных волхва; акант — лист, имеющий форму раковины, — высотой с дерево, возвышающийся позади пустой могилы Воскресшего; в полукружии над порталом (в контурах каменной фигуры просматривается усмехающийся Отец с миндалевидным венчиком на голове и каменным Сыном на коленях, держащим на вытянутых руках толщенную и такую же каменную книгу) символические животные евангелистов — они не только не опустились на землю у их ног, а даже взобрались на колени к ангелам, и среди них только что созданный лев, и бык, и даже могучий орел...



Удаляясь быстрым шагом, он уже издали бросил взгляд через плечо, и ажурно-воздушное творение архитектуры предстало перед ним — особенно отчетливо в пустом пространстве, — выражаясь языком Карла Валентина[1], висящим "в воздухе": благодаря этому сооружение, одинаково широкое и низкое (все жилые дома вокруг были выше), с нависшим над ним небом, несмотря на проносившиеся мимо с ревом грузовики, смотрелось идеально; архитектурное творение, совсем иное, чем тяжеловесно застывшие безликие фасады окружавших его домов, производило впечатление изящной игрушки, к тому же еще и заводной, несмотря на абсолютный покой, она словно ожила и заиграла. И у него возникла мысль, что тогда, восемьсот лет назад, во всяком случае в Европе, на протяжении целой общественной формации история человечества как отдельных народов, так и всеобщая, чудесным образом познала просветительство. Или это было только свечение пропускающей сквозь себя божественный свет просвещенной формы (вовсе не архитектурного стиля)? Но как тогда случилось, что возникла такая королевская по совершенству и одновременно такая по-детски наивная форма, ставшая доступной и понятной всем?

Сория, это было очевидно сейчас, при свете дня, лежала меж двух холмов, один — лесистый, другой — лысый, во впадине, спускавшейся к Дуэро; река протекала мимо последних, разрозненно стоявших домов; тот берег занимал массив скалистых гор. Только один каменный мост вел на ту сторону, по нему шла дорога на Сарагосу. Глядя на подпружные арки моста, пришелец одновременно пересчитал их. Поднялся легкий ветерок, задвигались облака. Внизу между голыми прибрежными тополями разгорячившийся пес гонялся то тут, то там за кружащейся опавшей листвой. Камыш стоял, затопленный черной водой, торчало только несколько продолговатых бархатных головок. Чужестранец — чужой? — для здешней местности, как бы проникший сюда, повернул в обратном направлении к знакомой уже ему набережной поэта Мачадо и пошел вверх по течению, естественно — по земле, изрезанной корнями сосен. Тишина, свежее дыхание речной воды на висках (он вдруг вообразил, как какая-то компетентная в этих делах фирма предлагает специально для этой части лица особую ароматизированную эссенцию, чтобы кожа в этом месте тоже смогла ощутить легкое дуновение коснувшегося ее — как бы это поскладнее сказать? — быстротекущего момента, олицетворяющего собой насущный день). Выбравшись из пустоты безлюдия, он выпил в баре на берегу реки, называвшемся "Рио", где за стойкой сто-

1. Карл Валентин (1882–1948) — немецкий писатель, поэт-кабаретист, исполнитель собственных сатирических куплетов.

ял молодой цыган, чашку горячего кофе. Несколько пенсионеров, которые, согласно испанскому словарю, идентифицировались как "jubilados", были заняты тем, что, поражаясь и восторгаясь, неотрывно смотрели утреннюю программу телевидения. От интенсивного функционирования грузовых междугородних перевозок дрожали чашки и стаканы в руках. В углу стояла небольшая, цилиндрической формы, сужающаяся кверху железная печурка, испещренная по вертикали желобками, в центре с орнаментом, напоминавшим раковину морского гребешка, а в отверстии внизу полыхал огонь и светились раскаленные угли. От каменного пола исходил свежий запах с утра разбросанных древесных опилок.

Выйдя на улицу и поднимаясь вверх по холму, он прошел мимо черной бузины со стволом толщиной с хобот мамонта, короткие светлые ветки образовывали мириады переплетенных и перехлестывающих друг через друга арок. Никаких признаков суеверия — ни таинственных знаков, ни символов: он остался бы в Сории и, как было запланировано, начал бы работать над своим "Опытом". А в промежутках вбирал бы в себя столько, сколько можно, утренних и вечерних впечатлений от этого маленького, легко обозримого города. "Нет, отсюда я не уеду, пока не сделаю дело!" В Сории он будет наблюдать, как слетают, паря в воздухе, последние листья с платанов. И в пейзаже здесь сейчас царил, как и там внизу, у реки, исходящий от земли прозрачный темный свет, с давних пор настраивающий его на решительный лад и повелевающий ему, не мешкая, отойти в сторонку, сесть и писать, писать, писать — без поисков темы или предмета, и даже, если угодно, о природе jukebox. Выйдя на простор, который начинался тут же, стоило лишь покинуть город, — в какой из метрополий было такое возможно? — он мог бы каждый день перед тем, как сесть писать, вволю наглотаться тишины, ставшей теперь такой необходимой для его стареющей головы, и инспирированные ею фразы гармонично складывались бы и нанизывались одна на другую; а уж потом он отдавал бы себя всего на произвол краха на шоссе или тихим улочкам и переулкам, бродя по городу; никаких подземных переходов, никакого кладбища, никаких баров, никаких спортивных площадок — все это должно остаться со всем своим своеобразием вне поля его восприятия.

Правда, вдруг выяснилось, что именно на это время выпадали какие-то испанские праздники, — следовательно, наплыв туристов, — так что свободные номера в Сории появятся вновь только с начала следующей недели. Но это его вполне даже устраивало, так он сможет еще на немного привычно отодвинуть начало работы; и, кроме того, вынужденный перебраться на время в другой город, он получит возможность составить при отъезде и возвращении более полное представление о географическом положении Сории — такой одинокой и заброшенной на этом плато, — причем с разных направлений, не только с западного, то есть со стороны Бургоса, — он подумал, что для реализации его плана это будет даже полезно. В связи со сложившейся ситуацией у него появилось два свободных дня, и он решил провести один из них в местах к северу, а другой к востоку от города — сначала в Логроньо, районе виноградарства и виноделия Ла-Риоха, а затем, покинув Старую Кастилию, в Сарагосе, главном городе исторической области Арагон: это, во всяком случае, вытекало из диктовавшего ему маршруты автобусного расписания. Но первое, что он сделал — это сел в одной из задних каморок испанского ресторанчика, где всегда чувствовал себя надежно защищенным, по-

тому что там можно было остаться наедине с самим собой, притом что сквозь тонкие дощатые стены и зачастую открытую раздвижную дверь он мог наблюдать жизнь бара, где она почти всегда била ключом, конечно не без помощи телевизора и игровых автоматов.



Вместе с ним в автобусе на Логроньо ехала только одна монашка, до вечера было еще далеко. Шел дождь, и на перевале, соединяющем обе провинции, они ехали, по-видимому, сквозь главную дождевую тучу: на стеклах только серые бушующие потоки дождя, и ничего другого за окном видно не было. Из автобусного динамика неслась "Satisfaction", песня группы "Роллинг стоунз", как никакая другая подходившая для "трубного гласа jukebox", наверное поэтому она и была одной их тех немногих, которые десятилетиями имелись в наличии во всех jukebox всего земного шара (не заменялась на другие, более новые), "стандартный набор", подумал один пассажир, в то время как другой — в черном монашеском одеянии — беседовал с водителем под звучную гитару Билла Уаймена, требовавшую уважительного отношения к себе и заполнившую зычными звуками весь салон, о случившемся час назад, когда он, хранимый покоем и тишиной, безмятежно вкушал пищу в задней каморке ресторанчика, рядом с соседним переулком, где на стройке произошло несчастье: двое рабочих погибли под железными балками и лавиной свежего бетона. Из динамика зазвучала теперь "Ne me quitte pas" Жака Бреля, жалобное стенание, обращенное к любимой с мольбой "не покидать его" — опять одна из тех песен, которые составляли классический репертуар всех jukebox, по крайней мере, во всех изученных им на этот предмет франко- и испаноязычных странах, как правило, на шкале справа, где находился перечень неприкосновенных мелодий (в австрийских музыкальных автоматах там чаще всего можно было найти так называемые народные мелодии и любимые шлягеры, а в итальянских — иногда арии и хоры из опер, прежде всего из незабвенной "Аиды" или знаменитый хор пленных из "Набукко"). Странно только, размышлял путешественник дальше, что при этом молитва бельгийского певца, поднимавшаяся откуда-то из самых его глубин, где, казалось, не было ничего, кроме этого объемного низкого голоса, поющего, невзирая ни на что вокруг, очень интимно и лично — "это я говорю тебе и только тебе одной!" — которой вообще было не место в музыкальном автомате, стоящем в общественном месте и извергающем звуки за плату на потребу всех, вполне вписывалась в ситуацию сейчас, в этом пустом автобусе, петляющем по извилистым горным дорогам перевала на высоте двух тысяч метров, на ничейной туманной земле в потоках серого дождя.

Каменные плиты на тротуарах Логроньо радовали глаз узором виноградных гроздей и листьев, у города, как оказалось, был даже свой официальный летописец, которому газета "Ла-Риоха" ежедневно отводила целую полосу. Вместо Дуэро здесь текла — в своем верхнем течении — река Эбро, и не за чертой города или вокруг него, а прямо посредине, почти по центру; за рекой, как обычно, находился на другом берегу новый город. Высокие снежные сугробы окаймляли берега большой реки и при повторном взгляде на них казались промышленным пейзажем, словно клубящиеся облака белого пара, а на фасадах высоких домов как на одном, так и другом берегу хлопали в сумерках на ветру развевающиеся простыни огромных флагов. И хотя подобное он уже видел в Сории, Логроньо — внизу, в виноградной долине, с едва ощутимым ласковым ветерком — в этом праздничном вечернем освещении казался просторным элегантным городом с широкими авенидами и изящными

аркадами, он вдруг почувствовал при одном только воспоминании о зимних деревнях, оставшихся там наверху, на высокогорном плато Месета, где он провел всего лишь одну ночь и полдня, как у него защемило сердце, словно его охватила тоска по родному дому.

Сарагоса на следующий день, к юго-востоку и еще дальше вниз к широкой долине Эбро, встретила его каменными плитами на тротуарах с узорами в виде пузатых змеевидных извивов, которые, так он про себя решил, отображали "меандры", излучины реки, а город и в самом деле показался ему — после первых, ставших в Испании привычным для него делом, блужданий в поисках центра — поистине королевским, что и было засвидетельствовано в названии местного футбольного клуба. В Сарагосе он мог бы ежедневно читать иностранные газеты, увидеть, как и в любом другом городе мирового масштаба, все моднейшие фильмы, некоторые из них возможно даже на языке оригинала, а в уик-энд присутствовать на матче одной королевской футбольной команды против другой, приехавшей из Мадрида, и лицезреть с мячом — в его багаже имелся маленький театральный бинокль — живьем самого Эмилио Бутрагеньо (в его всегда остающихся незапятнанными майке и трусах, несмотря на мокрое поле и месиво под ногами), которому захотелось даже поверить, когда на вопрос репортера "Является ли футбол искусством?", он ответил: "В какие-то моменты — да". В городском театре давали Беккета, и люди покупали на него билеты в таких же кассах, как в кино, а в Музее изящных искусств можно было бы постоять перед картинами Гойи, проведшего здесь годы ученья, вдохновиться ими перед собственным начинанием, ощутив полную раскованность, распахнутость чувств, как, впрочем, и там, в безмолвной тишине, разлившейся в воздухе вокруг Сории, в дополнение к той благотворной безудержности и озорству, которыми заражал этот художник. Да, его позвало и уже влекло к себе другое место, где на откосах со свалкой строительного мусора вблизи новостроек уже оставили свои следы взбиравшиеся по ним стада овец и где, несмотря на высоту, вспугнутые ветром взъерошенные воробьи мгновенно взмывали по вертикали вверх — ему явно не хватало их здесь. (Кто-то однажды сделал такое наблюдение: что́ является подлинным и на что можно положиться в ежедневных телевизионных сообщениях о международных новостях, не важно, ведется ли так называемый репортаж с места событий из Токио или из Йоханнесбурга — на переднем плане, скажем, групповой портрет государственных деятелей или может, дымящиеся руины, а на заднем — все та же стайка воробьев с их гвалтом и чириканьем.)

Что он предпринял в обоих городах, так это, как бы между делом, поиски jukebox; ведь должны же они были остаться от прежних времен, по крайней мере хоть по одному, и в Логроньо, и в Сарагосе и, может, даже еще и использоваться (представить себе новый, только что установленный jukebox было невозможно: в испанских барах малейший свободный пятачок отдавался во власть исключительно только игровых автоматов, громоздящихся друг на друга). Он надеялся, что со временем у него выработается нюх на такие места, где все еще стоят jukebox. Мало было надежды встретить их в центре больших городов или в обновленных старых кварталах, вблизи памятников архитектуры, церквей, парков, променадов (не говоря уж о квартале вилл). Почти ни разу не наткнулся он на музыкальный автомат на лечебном или горнолыжном курорте (пожалуй, в этом скорее можно было заподозрить безвестные места отдыха, расположенные по соседству со знаменитыми, например

Самедан рядом с Санкт-Морицем), и никогда не видел он их в яхт-клубах или на модных купальных пляжах (зато — в рыбачьих портах, а еще чаще в портах с морской переправой: будь то Дувр, Остенде, Реджо-ди-Калабрия, Пирей, Кайл-оф-Лохалш с паромом на ту сторону Внутренних Гебридских островов или Аомори на севере самого большого японского острова Хонсю с паромом на Хоккайдо, переставшим уже тем временем туда ходить) и совсем редко, по сравнению с островами, в ночных заведениях на суше и в глубинке на континенте, а также вблизи государственных границ. По результатам его изысканий жгучий интерес к jukebox наблюдался вдоль транзитных шоссейных дорог в поселках, растянутых в отличие от деревень в длину и не имеющих городского центра, особенно находящихся в стороне от всех туристических маршрутов и расположенных в безликой равнинной местности без озер на ближайшем расстоянии (а если и была река, то как всегда далеко и большую часть года пересохшая, без капли воды), в этих поселках проживало необычно большое число чужестранцев, иностранных рабочих и/или солдат (в местах стоянки гарнизона), но даже и там музыкальные автоматы можно было встретить не на центральной площади — не отмеченной, как правило, ничем другим, кроме как огромной стоячей лужей, — и не на окраинах (там, а то и еще дальше, на обочине проселочных дорог, в лучшем случае имелась дискотека), а где-то в промежутке между тем и другим, скорее всего при казармах, на вокзале, в баре на заправочной станции или стоящем в сторонке неприметном заведеньице на берегу канала (естественно, в местах с дурной репутацией, скажем, "на задах за товарными путями", среди разношерстных по составу посетителей конгломераций). Одно из таких парадных по числу jukebox мест, не считая того, где он родился, он встретил однажды на фриульской равнине, оно называлось Казарса и славилось еще прозвищем "сладенькая" — по известному во всей округе сорту винограда. Он прибыл сюда однажды летним вечером из опрятной, богатой и очищенной от jukebox столицы провинции Удине, что "за рекой Тальяменто", причиной тому были шесть слов из стихотворения Пазолини, проведшего в этом маленьком городке часть своей юности: "в отчаянии среди отупения в Казарсе" и заклеймившего позднее позорное засилие jukebox в барах Рима вкупе с "флипперами" — автоматами для ручной игры в футбол — как продолжение ведения войны американцами только другими средствами.

После предпринятого хождения по кругу и топтания по окраинам, оставив попытки выйти за черту города из-за сильного движения на подъездах к автостраде, он развернулся и стал заходить наугад во все многочисленные бары — почти в каждом его встречал играющий светящимися красками, видимыми еще с улицы, jukebox (более респектабельные из них имели еще и videobox — экран, расположенный высоко наверху, откуда тоже несся звук). И все эти разноликие, старые и новые ящики исправно работали, причем играли не фоновую музыку, как принято, а наоборот, навязчивую и громкую — они орали и трубили. Это был воскресный вечер, и в ресторанчиках — чем ближе он подходил к вокзалу, тем чаще — люди весело отмечали, во-первых, расставания, отправляясь в дальний путь, а во-вторых, там сидело много рекрутов, которые в большинстве своем, судя по их виду, только что вернулись поездом из своего короткого отпуска и дожидались полуночи — предписанного часа возвращения к месту службы. Многие из них, чем позже становилось, уже не сбивались в кучки, а грустили поодиночке. Они блокирова-

ли одно из чудес музыкальной индустрии "Вурлитцера" — копию того классического, игравшего всеми цветами радуги образца, с поднимающимися и опускающимися по прозрачным дугам воздушными пузырями, и стояли так плотно друг к другу, что разноцветные светолучи с трудом пробивались промеж них наружу, а лица и шеи рекрутов, склонившихся к иглодержателю, вспыхивали поочередно то синим, то красным, то желтым светом. Улица напротив вокзала описывала позади них широкий круг и исчезала где-то в темноте. В самом привокзальном баре уже вытирали столы. Но несколько парней в серых и коричневых униформах все еще стояли, уже вскинув рюкзаки на плечо, рядом с jukebox — в данном случае, судя по неону, более современным, не отличающимся особыми тонкостями конструкции, из светлого металла, — и каждый из них был занят только собой, находился как бы в абсолютно пустом помещении с отодвинутыми к стенке столами и оставленными на время тут и там стульями, застыв перед строем гремевших еще мощнее над мокрым кафелем jukebox. Когда же один солдат отступил в сторону под напором половой тряпки, глаза его, широко открытые, немигающие, все так же неотрывно смотрели в одном направлении, а другой, словно в оцепенении, откинул голову назад и чуть вбок и уставился туда же, на пятачок перед порогом. Стояло полнолуние, стеклянная дверь сотрясалась, звенела, содрогалась, реагируя на долгое прохождение грохочущего в темноте товарного состава, загораживавшего собой кукурузные поля по ту сторону железной дороги; за стойкой — молодая женщина с правильными благородными чертами лица и дыркой во рту вместо зуба. Однако в испанских городах чутье подводило его уже не раз и не два. Даже в барах нищенских кварталов, на задворках мусорных свалок, в конце тупика с заманивающим плохим освещением, заставлявшим еще издали прибавлять шаг, он не мог найти следов былого присутствия — хотя бы светлого пятна на закопченной стене — столь желанного для него предмета поисков. Музыка, звучавшая здесь и вводившая его с улицы в заблуждение, громко рвалась из приемников и кассетников или доносилась с пластинок скромно притаившегося в уголке проигрывателя. Испанские уличные бары, которых, казалось, здесь в каждом городе гораздо больше, чем где-либо в другом месте на белом свете, были, возможно, все или слишком новыми заведениями для такого, ставшего уже почти допотопным явления (и потому не имели второго, обязательного в этих местах для этого помещения, задней каморки), или были слишком старыми и предназначались соответственно только для старых людей, молчаливо проводивших свой досуг за карточной игрой — jukebox в картежном баре? пожалуй! но не в таком солидном и уважаемом, как этот! — или они сидели, обхватив голову руками, в полном одиночестве, и тогда он представлял себе дело так, что этот играющий ящик в период самого расцвета jukebox был запрещен здесь диктаторским режимом, а уж потом на него просто не было больше спроса. Правда, он немало узнал во время этих поисков и блужданий, испытал даже некоторое удовольствие от ощущения полной бесплодности своей затеи, но зато познакомился со специфическими уголками и вариантами этих на первый взгляд таких похожих друг на друга маленьких городов.

Вернувшись из Сарагосы в Сорию, с восточного направления, ночью, и не увидев из поезда, шедшего в стороне от главных дорог, почти ничего, он почувствовал, что для осуществления его замысла ему нужен только подходящий номер; он хотел наконец начать писать прямо завтра. Наверху, на одном из двух холмов, или внизу в центре города? Навер-

ху, и к тому же за городом, не будет ли он опять чувствовать себя от всего оторванным, а между домами и улицами, словно зажатым ими в тиски? Номер с видом во внутренний дворик, пожалуй, настроит его на меланхолический лад, а с окнами на площадь станет сильно отвлекать от дела, в окна на север не заглядывает солнце, и за письменным столом будет темновато, в окне на юг солнце в таком избытке, что бумага начнет его слепить, на голой макушке холма ветер насквозь пронизывает стены, на лесистой — целыми днями толпятся гуляющие со своими беспрестанно лающими собаками, в пансионатах — он обследовал их все до одного — соседей селят слишком близко друг к другу, в дорогих отелях, он их тоже обошел, он может оказаться сейчас, в зимний сезон, в полном одиночестве, что нарушит его комфортное состояние, необходимое для творчества. На ночь он все же остановился в гостинице на голом холме. Дорога наверх заканчивалась перед каменным строением площадкой из раскисшей глины; пешая дорога в город — он немедленно проверил ее — вела через болото и пустырь, поросший чертополохом, затем мимо фасада церкви Санто-Доминго, которая, стоило только на нее взглянуть, тут же заиграла, выдавая свое присутствие, и сразу за ней выходила на крошечные площади, где огромные платаны-великаны раскачивали из стороны в сторону остатками шелестящих листьев, удивительным образом уцелевших почти полностью на концах самых верхних веток и смотревшихся сейчас словно звезды на черном ночном небе. Номер здесь, наверху, нравился ему: не тесная и не широкая комната — среди стен, где было слишком много места, он, как правило, никогда не находил места для себя. И город — не слишком близко и не слишком далеко, и не так чтобы очень уж внизу, вид на него открывался из окна, не то чтобы очень большого, состоящего из одного огромного стекла, но, слава богу, и не из сплошных клеточек с переплетами; продолжая изучать комнату, он сразу поставил к окну стол, отодвинув его от зеркала, — пусть крохотный, но места для листа бумаги, карандашей и ластика хватит. Внутренне он чувствовал себя здесь комфортно; на ближайшее время эти стены станут для него надежным местом. Но когда наступило следующее утро и он, весь охваченный серьезным намерением начать писать, стал пробовать, как ему поудобнее устроиться, и определять, в какой час лучше всего сесть за работу, чтобы температура воздуха в комнате тоже его устраивала, оказалось, что в помещении довольно много лишних шумов (а уж ему ли было не знать, что шумы проникают обыкновенно как раз в самые "тихие" уголки, так называемые "приюты тишины", и не ровным однотонным гулом, а врываясь внезапно, когда вдруг неожиданно заиграет радио, раздастся смех, громкий звук отодвигаемого стула, оглушительный скрип половиц, пронзительное жужжание или свист, к тому же все это откуда-то очень близко, изнутри дома, из коридоров, соседних комнат, с потолка, моментально разрушая внутреннюю сосредоточенность и концентрацию сил, — ну вот и все, образы уже покинули пишущего, а без них не приходят на ум и нужные слова; шумы эти куда опаснее для творческого человека и мешают ему гораздо больше, чем непрерывный гул снизу с шоссе или улицы). Странно одно: что следующий номер показался ему не только слишком холодным для его многочасового сидения, его, так сказать, сверхурочной работы за письменным столом (будто он не знал, что круглыми сутками топят только в дорогих отелях и что когда ему хорошо пишется, он непроизвольно дышит так интенсивно, что никогда не мерзнет?), но еще и слишком тихим, вызывая в нем ощущение могильного склепа, ему показалось, что он будет

здесь заперт, как в местах заключения, а свобода – там, за стенами, на природе, и как же впустить ее сейчас, в декабре, сюда в окно, а вместе с ней и живительную тишину? Третий номер был двуспальным, слишком много всего и на одну кровать больше, чем требовалось ему. В четвертом была всего лишь одна переборка – как-то слишком мало для него... Так он выучил испанское слово "слишком" – demasiado, уж *слишком* длинное слово по сравнению с коротеньким немецким "zu". Не был ли он одним из "характеров", или типов Теофраста, тем самым, кто "недоволен всем на свете", кто "не умеет довольствоваться тем, что есть", кто, обласканный любовницей, задается вопросом, а от всего ли сердца она его любит, кто сердится на Зевса не за то, что он ниспослал дождь, а за то, что сделал это слишком поздно, а найдя на дороге кошелек с деньгами, обязательно скажет: "Да, но вот клада-то я так и не нашел"? А еще на ум вдруг пришел детский стишок-считалка про того, кому везде все не так, и он тут же, немного видоизменив его, примерил на себя: "Жил-был на свете человек, и было все ему не так весь век. / Дома стало вдруг холодно слишком, пошел он тогда в лес по дровишки. / В лесу ему было мокро в ту пору, полез он тогда скорее в гору. / Гора ему вышла клином, двинул тогда в Берлин он. / Берлин ему был слишком велик, замок купил он к нему впритык. / Замок казался ему дырой, тогда он опять пошел домой. / Дома стало..." Не было ли это немым признанием того, что ему везде все не так? Нет, почему же, кое-где ему всегда все было так, – ну например? – например, в тех местах, где ему хорошо писалось, или там, где вот только что стоял jukebox (но не в частных домах!). Одним словом, он, что ли, только там чувствовал себя в своей тарелке, где с самого начала знал, что надолго здесь не задержится?

В конце концов он выбрал тот номер, с которым его свела судьба, и это было правильно; что бы ни стояло на его пути, какие бы препятствия ни возникали – он все равно здесь остановится. "Кто кого возьмет – шум нас или мы его?" Для угрозы он выставил на окно остро отточенные карандаши, накупленные им в течение долгих лет скитаний по разным странам, но даже и в чужих местах он все же чаще других покупал карандаши немецких фирм: каким маленьким стал вот этот, с того января в Эдинбурге, сколько же воды утекло с тех пор? Веер из карандашей молниеносно смахнул ветер, они смешались с клочьями пепла, закружившимися в клубах дыма, вырвавшегося из объятий пламени, а внизу перед домом, рядом с кухонной дверью, прямо от которой уходила дорога в чертополох, на свалку и на болото, сидел поваренок с ножом, размером во всю его руку, и чистил крупную рыбу, наваленную перед ним горой, от ножа летела во все стороны, серебрясь и сверкая, рыбья чешуя. "Добрый это знак или наоборот?" Ах, да все равно уже поздно, все равно невозможно начать писать в первый же день. Привыкший продлевать эту игру, он испытал, в который уже раз, облегчение, что отложил все на завтра, и, воспользовавшись поводом, отправился бродить по пустырю, отработать, так сказать, несколько прогулочных маршрутов для себя, отыскать протоптанные на открытом месте тропинки – не слишком каменистые, но и не болотистые, не слишком продуваемые резкими западными ветрами, но и не пролегающие в затхлых зонах полного безветрия.

При этом в нем что-то происходило. Тогда, как только зародилась сама идея, озарившая его написать "Опыт познания природы jukebox", он представлял себе все это в виде диалога на театральной сцене: в качестве реквизита сам jukebox, что бы он ни олицетворял собой для каждого

присутствующего в зале, для абсолютного большинства, вероятно, вообще что-то очень далекое от жизни и даже нереальное, и тогда один персонаж, как бы представитель от публики, выступает в роли вопрошающего, а второй, как лицо "сведущее" в этой области, компетентно отвечает на вопросы, в противоположность диалогам Платона, где вопрошающий Сократ знает о проблеме гораздо больше того, кто, во всяком случае поначалу, распираемый от предчувствия предвзятых суждений, провозглашает свои истины-ответы; скорее всего случится даже так, что знаток предмета только через вопросы спрашивающего уяснит для себя, какими "искомыми ценностями" обладает предмет-реквизит, участвовавший в той игре, из которой складывалась его жизнь. Но с течением времени он как-то позабыл про сценический диалог, и "Опыт" замаячил перед ним в виде несвязного хаоса разнообразных форм художественного письма — как бы это их назвать? — ну вроде бы, так ему казалось, в том числе и тех, что созвучны джазовым? аритмичным? мелодиям, со звуками которых слился для него jukebox и которые напоминали ему о нем: сиюминутные образы будут сменяться более пространственными и во временном отношении тоже, а потом внезапно обрываться новыми повествовательными приемами; за ключевым словом будет следовать развернутый репортаж об отдельных моделях jukebox вместе с описанием конкретного места его нахождения; от одного блока зарисовок без всякого перехода вдруг внезапный скачок к одной из цитат, а та в свою очередь и тоже без перехода, без всякой витиеватой вязи, вносящей в повествование гармонию, уступит место, возможно, всего лишь бесконечно нудному перечислению заглавных титров репертуара и имен певцов, обнаруженных во время углубленного поиска, — причем в роли основополагающей формы, образующей каркас повествования, выступит все та же игра в вопросы и ответы, но как бы между прочим, определенно уж фрагментарно, обрывочно, с синкопами вкраплений и обязательным их выходом из текста, в комбинации с похожими на отдельные кинокадры кусками прозы, в центре внимания которых каждый раз будет находиться другой музыкальный автомат, и, отталкиваясь от него, вновь будет разворачиваться живая многокрасочная картина или молчаливый натюрморт, расходясь широкими кругами вокруг предмета исследования — если получится, — выплескиваясь за пределы страны, а может, и всего лишь до ближайшего самшита в конце перрона. Он надеялся, что ему удастся перевести свой "Опыт" в другую тональность, заставить звучать его как "Балладу о jukebox" — распевный, так сказать, мелодичный и "гладкий" текст во славу музыкального автомата, при условии, конечно, что после всех задуманных экзерсисов он зазвучит сам по себе и будет исполняться как хорошая песня. Ему даже казалось при этом, что подобный эксперимент с литературными формами не только отвечает запросам самого специального объекта изображения, но и требованиям времени. Разве не производили на него ошеломляющего впечатления эпические формы прошлых эпох — их единство, их жесты заклинаний, желание повелевать (чужими судьбами), притязания на абсолютное знание происходящего и поразительная наивность суждений, что практикуется, кстати, в книгах и сегодня, но производит лишь жалкое впечатление жеманства и надутого чванства? Сведение воедино разнопланового материала — мелких отступлений и более пространного изложения темы — и притом не только в привычных рамках замкнутых форм, а также и как свободного сквозного повествования, могло бы стать, особенно теперь, благодаря его полноценному и всеобъемлюще-

му эмоциональному и глубокому опыту, стимулирующему полное единение с предметом, заманчивым для него приемом при написании книг: соблюдать дистанцию; окружать объект со всех сторон; обрисовывать контуры; обыгрывать детали — одним словом, сопроводить свое дело со всех сторон охранной грамотой. И тут во время его поисков хоженых и нехоженых путей, при бесцельном блуждании по безлюдной саванне в его сознании включился и властно заработал совсем другой ритм, не ведающий резких переходов и скачков, напротив, единый, ровный, тот, который вместо того, чтобы окружать и обыгрывать, прямолинейно и ответственно перешел in medias res[1] в повествовательный ритм. Сначала он ощутил это в себе: на ходу, постоянно в движении встречающиеся ему детали и эпизодические сцены звучали в нем, следуя одна за другой, как песня; все, что он эмоционально воспринимал, вбирал в себя, жило в нем уже в рассказанном виде, как отдельные звенья повествования; мгновения сегодняшнего дня тут же принимали форму случившегося в прошлом, притом иначе, чем это было в его снах, — без заходов издалека и длинных рассуждений, только ясные и четкие главные фразы, короткие и однозначные, как констатация факта или момента: "Ветер набросал в ограждение из сетки головки репейника. Старик с пластиковым пакетом в руке наклонился и сорвал на пустыре гриб. Собака пропрыгала мимо на трех лапах и чем-то напомнила мне серну; кожа старика была желтой, лицо белым; серо-сизый дым, застилавший пустырь, шел из его каменной лачуги. Треск и дребезжание сухих стручков на одиноко стоящем дереве походили на звуки встряхиваемого коробка спичек. В Дуэро из воды выскакивали рыбы, рябь на воде покрылась от ветра, дувшего против течения, мелкими белыми гребешками, а на другом берегу волны лизали подножье скал. В поезде из Сарагосы уже горел свет, и были видны редкие пассажиры, сидевшие у окна..." Но потом этот ритм спокойного повествования о происходящем перед глазами перекинулся на тот, еще только предстоящий, задуманный как многоплановый текст в духе арабесок, и "Опыт" тут же превратился, еще до того, как была написана первая фраза, в рассказ, причем так настойчиво и властно, что все другие формы мгновенно предстали как ничтожные. Это не испугало его, а показалось безмерно прекрасным; ведь в ритм повествования ворвался согревающий всех и вся полет фантазии, окрыляющего вымысла, слишком редко проникающего в тайники его души, но которому он все еще доверял, хотя бы по той причине, что, когда вдохновение и фантазия посещали его, вокруг царила тишина, даже среди оглушительного грохота и шума, — и тогда естественная тишина, далекая-далекая, где-то на лоне природы, не шла с ней ни в какое сравнение. А самым примечательным в творческой фантазии было то, что в ее образах и картинах место действия и сама местность, где он хотел писать свой рассказ, участвовали как бы на равных. Правда, интуиция подталкивала его к этому еще и раньше, да только он уже перенес однажды, к примеру, березу из-под Кёльна в Индианаполис, превратив ее в кипарис, а одну зальцбургскую тропу скота к водопою в Югославию и даже использовал целый населенный пункт, где он сидел и писал, в качестве второстепенной детали задника; однако на сей раз Сория должна появиться как Сория (возможно, вместе с Бургосом и даже Виторией, где один местный старик опередил его со своим приветствием) и стать одновременно предметом повествования, как и jukebox. Глубоко за полночь в

1. Прямо к делу, без обиняков (*лат.*).

нем все еще жило то физическое ощущение вновь обретенной повествовательной формы; правда, его все же кое-что мучило, и уже давно, — в буквальном смысле все какие-то мелочи (прохожий с зубочисткой во рту; на одном могильном камне имя "Бенита Сория Верде"; в честь Антонио Мачадо набитый камнями и залитый цементом вяз, исписанный его стихами; отсутствующие буквы в вывеске ОТЕЛЬ); все это скопилось в нем, распирало его мозг и требовало быть изложенным на бумаге. Правда, из этого уже ушла та вдохновляющая, несущая потоком картины и образы сила воображения, покинув его сердце и засев лишь у него в голове, трансформировавшись в холодное принуждение, — бесконечно пульсирующий бессмысленный бег, будто бьешься лбом в закрытые ворота; и тогда он спрашивал себя: а не было ли то, что первоначально казалось ему божественной прозой, обыкновенным обманом — выражением его страха перед распадом повествования на не имеющие смысла куски, превращением цельного текста в нечто бессвязное? Опять отговорка? Новая уловка? Уродливое порождение трусости? А было ли столкновение нос к носу с человеком с зубочисткой во рту зимой на Кастильской Месете, его кивок, означавший приветствие, действительно чем-то ничтожным, незначительным? — Это уж как всегда: первую фразу, с которой он начнет завтра писать, он не будет предугадывать заранее; после всех его до сих пор заранее продуманных начальных фраз он всегда вставал потом в тупик перед второй. Но с другой стороны: долой все так называемые правила и закономерности! И так далее...

Утро следующего дня. Стол у окна в гостиничном номере. По мусорной свалке на пустыре ветер гоняет пустые пластиковые пакеты, застревающие тут и там в зарослях чертополоха. На горизонте скалистая гора, напоминающая горнолыжный трамплин, над полосой разбега дождевая туча в форме гриба. Закрыть глаза. Заткнуть затычками из бумаги щель в окне, через которую свистит и дует ветер. Снова закрыть глаза. Выдвинуть ящик стола, у которого, как только сядешь писать, начнет звякать ручка. В третий раз закрыть глаза. Жалобный вой. Открыть окно: маленькая черная собачонка, как раз под самым окном привязанная у порога, мокрая от дождя, как только и может промокнуть пес; с жалобным подвыванием, замолкающим время от времени, с вырывающимися в промежутках между лаем теплыми облачками пара, толчками выдыхаемого в сторону пустыря. "Aullar" — испанское слово, означающее *выть, завывать* (о волках и т. д.). В четвертый раз закрыть глаза.

По дороге из Логроньо в Сарагосу он видел за окном среди безлюдных зимних виноградников в долине реки Эбро каменные кубики, похожие на игровые кости — хижины виноделов. И в той местности, откуда он родом, вдоль тропок меж полей зерновых стояли такие же хибарки-кубики, только из дерева, размером с будку. Эти домишки и изнутри не заслуживали другого названия — свет проникал только в щели между досками или дырки от сучков, земляной пол порос пучками травы, а в углу, где складывали инвентарь для полевых работ, буйно разрослась крапива. И каждую из таких хибарок, поставленных на арендуемых дедом полях, он считал своей собственной территорией. Рядом, как правило, рос куст черной бузины, верхушка которой давала тень поставленному среди открытого поля прибежищу, а ветки пролезали в щели с боков вовнутрь укрытия. Там было место только для небольшого стола и скамейки, их можно было выносить за дверь и ставить под бузиной. Увязанный в платок — от насекомых и чтоб меньше нагревался — кувшин с молодым вином и бутерброды на полдник. Под кровлей такой будки он чувство-

вал себя гораздо уютнее и надежнее, чем в добротных домах (в которых по спине пробегал иногда мерзкий холодок — а место ли ему там, где он находится; но стоило лишь заглянуть в темную кладовку без окон или устроиться на пороге этой пограничной линии между внутренностями дома и внешним миром, как он начинал думать, что, с одной стороны, здесь, конечно, все-таки безопасно, а с другой — в лицо бьет свежее дыхание дождя и снега). Однако при всем при том он расценивал полевые хибарки не столько как убежище для себя, а скорее как место отдыха и покоя. Позднее ему достаточно было только увидеть в своих родных краях одно из этих светло-серых, ветхих, покосившихся строений, далеко от дороги, среди полей, лежащих под паром, всего лишь краем глаза, и он сразу чувствовал, как у него буквально выпрыгивает из груди сердце — так ему хотелось оказаться в этой хижине и хоть на миг почувствовать себя дома, вместе с летними мухами, осенними осами и зимним холодом проржавевших цепей.

Родных полевых хибарок давно уж нет и в помине; только гораздо более вместительные, используемые для длительного хранения сена сараи на лугу. Но как раз в те времена, такие давние, их очарование как домашнего очага и любовь к тем местам перешли у него в увлечение "джукбоксами". Будучи подростком, он ходил с родителями не в харчевню и не затем, чтобы выпить лимонаду, а к "вурлитцеру" ("Wurlitzer Is Jukebox" — вот их девиз того времени), туда, где можно было послушать пластинки. То, что он рассказал об овладевавшем им каждый раз чувстве родного с детства и дорогого ему по воспоминаниям явления, стоило ему лишь мимоходом увидеть заветную хибарку среди полей, в полной мере относилось и к музыкальным автоматам, вошедшим повсюду в обиход под словом "джукбокс". При этом внешний вид тогдашних музыкальных автоматов и даже набор пластинок играли поначалу гораздо меньшую роль, чем особый звук, исходивший из нутра джукбокса. Он не шел, как дома, из стоящего в красном углу радиоприемника сверху, а откуда-то словно из подземелья, и еще, возможно, при той же громкости звука, не из самого привычно тянущего волынку говорящего ящика, а вибрировал где-то на таинственной глубине, заполняя собой все помещение. Казалось, что это вовсе не автомат, а скорее особый музыкальный инструмент, благодаря которому музыка — правда, как он узнал об этом позже, только определенная — приобретала некий доминирующий фон, сравнимый разве что со стуком колес и грохотом проходящего мимо товарного состава, вдруг превращающимися при прохождении его по железнодорожному мосту в буханье и скрежет железа. Однажды, намного позже, другой ребенок застыл возле такого джукбокса (где как раз играла выбранная им самим пластинка Мадонны "Like a Prayer"), еще совсем маленькое существо, так что вся гигантская мощь расположенных внизу динамиков была направлена на детское тельце. Ребенок слушал, весь обратившись в слух, став очень серьезным, полностью погрузившись в магию звуков, а родители, собравшиеся уходить, стояли уже в дверях и неоднократно звали свое дитя, в промежутках улыбаясь и как бы извиняясь перед другими гостями за своего неразумного отпрыска, и так длилось до тех пор, пока песня не отзвучала, и ребенок, все такой же серьезный и переполненный благоговейным восторгом, молча прошел мимо отца и матери и вышел в дверь на улицу. (Исходя из этого, не объяснялся ли провал той модели jukebox, походившей на обелиск, не столько ее необычным внешним видом, сколько, возможно, тем, что звук и сама музыка уходили в потолок?)

Кое-что с джукбоксами все же было иначе, чем с ветхими хибарками в поле, ему было недостаточно, чтобы они просто стояли: они должны были играть, тихо мурлыкать — еще лучше, если запускал их кто-то другой, — сиять как можно ярче, будто из самых затаенных своих глубин; нет ничего более печального и безотрадного, чем такой темный, холодный, отслуживший свое металлический ящик, чего доброго, еще стыдливо спрятанный от посторонних глаз под связанной крючком салфеточкой, столь знакомой по обычаям в альпийских краях. Таких уж абсолютно точных сведений об этом у него, правда, не было, сейчас он смог вспомнить только про один сломанный jukebox в японском местечке Никко, знаменитом своим храмом — на протяжении всего такого длинного путешествия и скитаний между югом и севером единственный в этой стране jukebox, заваленный горой иллюстрированных журналов; и первое, что он сделал, так это тут же освободил прорезь для монеток, заклеенную клейкой лентой, — ну вот, хотя бы так, наконец-то. В честь своей находки он заказал еще одно саке и пропустил в зимних вечерних сумерках поезд на Токио. До этого он уже побывал в одном забытом храме, чуть севернее городка, среди лесов, прошел мимо остывающего, но еще вспыхивающего языками пламени костра, рядом метла и кучка снега, а еще дальше, в горной части острова, посреди ручья горбился обломок скалы, огибая который пенилась и бурлила быстрая вода, и эти звуки напомнили ему другой знакомый утес среди другого горного ручья — так и слышалось тому, кто хотел это слышать, как разносилась во Вселенной трансляция наполовину протяжно-напевного, наполовину звучащего как барабанная дробь обращения к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций всей планеты. А потом ночью в Токио люди перешагивали через лежащих вдоль и поперек на ступеньках вокзала людей, а еще позднее, и опять вблизи храма, один пьяный остановился перед курившимся жертвенным дымом, помолился и исчез, пошатываясь, в темноте.

Важны были не одни только утробные звуки: так называемые "американские шлягеры", звучавшие из стоявших повсюду джукбоксов с такой по-свойски понятной маркой "Wurlitzer", воспринимались принципиально совершенно иначе, чем, скажем, дома из приемника. Он, правда, тут же крутил ручку настройки и ставил на полную громкость, стоило ему услышать Пола Анку с его "Дайаной", Диона со "Сладкой маленькой Шейлой" или Рикки Нельсона с его "Цыганочкой", испытывая одновременно угрызения совести, что его притягивает к себе эта "недомузыка" (даже и значительно позже, уже студентом, когда он наконец заимел в своей комнате приличный проигрыватель со стереоколонками, тот всегда предназначался в первые годы исключительно для того, что заслуживало по общему признанию называться "музыкой"). И лишь подходя к джукбоксу, он давал себе волю, сознательно запускал его на полную мощность, и тогда оттуда тремолировало, выло, ревело, визжало и бухало то, что переполняло его, переливаясь через край, и не только радостью, но и заставляло содрогаться от испытываемого блаженства, разливающегося по телу тепла и ощущения единения со всеми. В оглушительных стальных ритмах "Апачей", отбиваемых на струнах гитары, имитирующих ковбойские скачки верхом, воняющий спертым воздухом и громко рыгающий провинциальный кабачок "Espresso" на проходящей мимо сквозной трассе от "города народного плебисцита[1] 1920-го" к

1. Имеется в виду Клагенфурт (центр словенской Каринтии), включенный по результатам плебисцита в состав вновь созданной Австрийской республики.

"городу народного протеста[1] в 1938-м" подключался к качественно иной жизненной системе, энергообеспечение которой позволяло, если ты бросил монетку, выбрать на светящемся табло, находящемся на уровне бедер, сначала номер "Мемфис, Теннесси", а потом почувствовать, как ты вырастаешь в собственных глазах, превращаясь в таинственного "прекрасного незнакомца"[2], и грохот грузовиков на федеральной трассе и визг тормозов преображаются в твоем воспаленном мозгу в равномерное сонорное гудение движущейся колонны трейлеров по "Route Sixty-Six", будя в тебе одну только мысль: все равно куда — лишь бы уехать отсюда подальше!

И хотя в их краях музыкальные автоматы тоже были местом сборищ для ночных танцев по субботам — огромный полукруг вокруг пятачка всегда, как правило, оставался свободным, — принять в этом участие самому никогда не приходило ему в голову. Он, конечно, с любопытством смотрел на танцующих, принимавших в полумраке зала, на фоне массивного, словно из-под земли гремящего, сверкающего огнями ящика, неясные, призрачные очертания, однако джукбокс был для него тем же, чем раньше хибарка в поле: от него ему передавался покой, он приглашал его тихо посидеть, успокаивал своей внешней неподвижностью и бездыханностью, прерываемой лишь в моменты церемонии нажатия клавиши с номером, что заставляло нутро ящика вибрировать. Слушая исторгаемые джукбоксом звуки, он никогда не впадал, как не случалось с ним этого и при первых тактах музыки, которая трогала его — будь то строго классическая музыка или отрешенные мелодии далеких эпох, — тут же в экстаз, не делался безумным, притом мгновенно, и его не охватывала лихорадка, и он не уносился в мечтах в даль. Во время слушания музыки опасно как раз то, сказал ему однажды кто-то, что она дурманит тебя, лживо уверяя в чем-то, еще не совершенном тобой или уже содеянном, тогда как звуки jukebox того начального периода, напротив, заставляли собраться, сконцентрироваться, будили в нем или генерировали исключительно только картины реальной, возможной жизни и укрепляли его в этой вере.

Там, где стоял jukebox, можно было, как нигде в другом месте, прийти в себя, задуматься и поразмыслить; в университетские годы джукбоксы становились для него порой спасительным местом бегства, сравнимым разве что с кинотеатрами; но в киношные залы он пробирался чаще тайком ото всех, а в различные свои кафе, где стоял jukebox, он входил открыто и беззаботно, со спокойной совестью, уверяя себя, что это и есть те самые испытанные места, самые надежные и верные, где можно набраться жизненного опыта. Но и это оборачивалось обманом, потому что стоило ему только попытаться мысленно повторить собранный им в таком общественном месте материал и прочувствовать его в тиши, например, перед сном, как от него, как правило, уже ничего не оставалось, все куда-то улетучивалось. Однако кое-чем он все-таки был обязан своим тайным прибежищам души в холодные годы студенчества: то были пережитые им чувства и впечатления, для которых сейчас, в годы своего писательства, он находил только один эпитет "прекрасные". Однажды поздним зимним вечером он сидел в одном из своих любимых

1. Имеется в виду Вена, где народные массы подняли протест против ультиматума Гитлера австрийскому канцлеру о предоставлении австрийским гитлеровцам полной свободы деятельности и о включении их в правительство.
2. "Прекрасный незнакомец" — популярный шлягер, исполнявшийся датской певицей Дёрте Колло.

jukebox-кафе и отчеркивал в конспектах лекций жирным то, что никак не шло ему в голову. Кафе находилось как бы не в типичном для этих заведений месте — на краю городского парка, и в интерьер с мраморными столиками и витринами с пирожными плохо вписывался сам jukebox. Музыкальный ящик играл, а он сидел и как всегда нервно выжидал, когда же дойдет черед до выбранных им самим номеров — только тогда все встанет для него на свои места. Однажды после паузы, вызванной сменой пластинки, которая сама вместе со всеми другими звуками и шумами — щелканьем клавиши, жужжанием поиска, ползаньем взад и вперед по брюху автомата, захватом и щелчком при заскакивании в щель, шипением перед первым тактом, — была частью этого существа по имени jukebox, из глубины зазвучала такая музыка, при звуках которой он впервые в жизни и потом только в высшие моменты любви познал то, что на профессиональном языке называется "левитация"[1], и как ему теперь, более четверти века спустя, прикажете назвать это самому: "Вознесение"? "Раскрепощение"? "Сотворение мира"? Или, может, так: "Вот это — песня и эти звуки — это я сам; эти голоса, их гармония — они во мне, и теперь я стал таким, каким еще никогда в жизни не был, но какой я и есть на самом деле; иными словами, каково это пение, таков и я, целиком и полностью!"? (Как всегда в таких случаях тут же нашлось устойчивое выражение, и, как всегда, оно не отражало полностью того, что от него требовалось: "Он весь растворился в музыке".) Не проявив поначалу никакого интереса к тому, что это за группа и чьи голоса раздаются под аккомпанемент гитары то по одному, то вторя друг другу, а под конец и вовсе зазвучав вместе, в унисон, он просто оторопел от удивления, тем более что до этого предпочитал слушать исключительно только сольное исполнение, включая и jukebox. То же самое происходило с ним и в последующие недели — он ежедневно проводил по нескольку часов в этом баре, чтобы тихонько посидеть под лавиной обрушивающихся на него в таком изобилии оглушительных и лишенных особой глубины звуков, которыми одаривали его гости заведения, он продолжал находиться все в том же оцепенении, где не было места любопытству: узнать имена исполнителей. (Неожиданно музыкальный автомат стал для него центром притяжения в этом кафе в парке, где часто хлопали складываемые деревянные держатели подшивок газет, да еще то и дело сменяли друг друга пластинки одной и той же безымянной группы.) А когда он потом, теперь уже редко слушая радио, вдруг неожиданно узнал, как называется этот хор ангелочков с дерзкими язычками, взявшихся неизвестно откуда и ни с того ни с сего протрубивших на весь мир "I Want To Hold Your Hand", "Love Me Do", "Roll Over Beethoven", сбросив с него одним махом все тяготы жизни, он купил себе первые, так называемые "несерьезные" пластинки (впоследствии он почти всегда покупал только такие), и потом в кафе на бензоколонке именно он был тем, кто до тех пор жал на клавиши джукбокса с "I Saw Her Standing There" и "Things We Said Today" (ставшие с течением времени слепыми, но он знал эти цифры и буквы наизусть, лучше чем буквы и параграфы законов), пока в один прекрасный день не зазвучали другие песни и фальшивые, обманчивые голоса не засюсюкали и не зарыдали над какой-то чепухой: старую надпись оставили, но подсунули модный теперь хит уже на немецком языке... И даже сегодня ему все еще казалось, что в ушах у него звучит все та же мелодия и он слышит то самое первое, так поразившее его исполнение

1. Перемещение, "полеты" по воздуху во сне.

битлов, из того самого "вурлитцера" среди деревьев в парке: когда же миру вновь явится такая благодать?

В последовавшие за этим годы jukebox утратил для него свою магическую силу: пожалуй, в меньшей степени из-за того, что он чаще слушал музыку в квартире, и уж точно не оттого, что стал старше, а потому — так ему, во всяком случае, представлялось, и он хотел себя в этом убедить, приступая к работе над "Опытом", — что жил теперь за границей. Само собой разумеется, он всегда тут же бросал монетку, как только оказывался — в Дюссельдорфе, Амстердаме, Кокфостерсе, Санта-Тереза-Галлуре — перед одним из услужливо бормочущих и играющих там радужными цветами "духов дома", но скорее уже по привычке или устоявшейся традиции, и слушал их теперь всегда только вполуха. Однако смысл и значение jukebox мгновенно возвращались к нему во время всех его эпизодических остановок в тех местах, которые он, собственно, должен считать для себя родными. В таких, где для одних самый первый путь возвращения домой начинается с дороги "на кладбище", "к озеру" или в "заветный кабачок", а для него, зачастую прямо с автобусной остановки, нередко прямиком к джукбоксу, и только после того, как музыкальный автомат, основательно "прогромыхав" через его душу, можно сказать, отуплял его, он отправлялся (в надежде, что будет после этого меньше чувствовать себя здесь чужим и оттого ощущать неловкость) по остальным, привычным для него маршрутам.

И все же стоит рассказать о музыкальных автоматах за границей, которые не просто проигрывали пластинки, но и сыграли свою роль, оказавшись в центре немаловажных для него событий. И каждый раз это случалось, какая бы заграница то ни была, непосредственно на самой границе — там, где кончался привычный и знакомый мир. Пусть Америка является, так сказать, "родиной jukebox", однако там ему не запомнился ни один музыкальный автомат, который вызвал бы в нем ответные чувства, — это случалось, и притом не раз, только на Аляске. А тогда возникал вопрос: была ли для него Аляска "Соединенными Штатами"? Однажды в сочельник он прибыл в Анкоридж и после Рождественской мессы, где перед входом в маленькую деревянную церквушку среди незнакомых людей, включая его самого, царило редкостное и радостное веселье, пошел еще в бар. В сумеречности зала и хаотичном брожении подвыпивших людей он увидел неподвижно стоявшую перед сияющим jukebox одинокую женскую фигуру — индианка. Она повернулась к нему — крупное, гордое, чуть насмешливое лицо, — и это был единственный раз в его жизни, когда он танцевал с кем-то под буханье джукбокса. И даже те, кто привычно искал, с кем бы тут помериться силами, отступили, давая им место, словно эта женщина — молодая или скорее вообще не имеющая возраста, есть такой тип женщин, — была здесь главной персоной. Позднее они ушли вместе через заднюю дверь, где на заледенелом дворе стоял ее фургон, предназначенный для дальних передвижений по Аляске, на боковых окнах — контуры северных сосен на берегах пустынного озера; шел снег. Не прижимаясь и не прикасаясь к нему, за исключением легких мимолетных касаний в танце, она позвала его пойти за ней; вместе с родителями она занималась рыболовством в деревне, расположенной по ту сторону залива Кука. И в этот момент ему стало ясно, что в его жизни, возможно, наметилось наконец решение, принятое не только им одним, но и еще кем-то: он тут же представил, что отправится с этой чужой женщиной туда, на другую сторону границы, в снежную пургу, притом совершенно серьезно, на-

всегда, не помышляя о возвращении, и даже откажется от своего имени, от рода своих занятий, от всех своих индивидуальных привычек; вот эти глаза, то далекое место по ту сторону привычного мира, так часто мерещившееся ему, — это был момент, в какой Парсифаль стоял перед спасительным разрешением вопроса. А он? И он перед таким же ожидаемым от него "да". И как Парсифаль, и не потому что был не уверен — он все ясно представлял себе, — а потому что так уж он был устроен, и это вошло в его плоть и кровь, он медлил, и уже в следующий миг вся картина и сама женщина буквально исчезли в снежной ночи. Все последующие вечера он снова и снова заходил в бар, ждал ее, стоя возле jukebox, спрашивал и расспрашивал о ней, но, хотя многие помнили ее, никто не мог сказать, где ее найти. Целое десятилетие спустя это воспоминание, оно все еще жило в нем, толкнуло его на то, чтобы на обратном пути из Японии специально простоять полдня за американской визой и потом действительно выйти из самолета в снова по-зимнему темном Анкоридже и несколько дней бродить вдоль и поперек по занесенному снегом городу, к свежему и чистому воздуху и далеким горизонтам которого так прикипело его сердце. Но даже и на Аляску проникла за это время новая ресторанная мода, и тот "saloon" превратился уже в более респектабельное "бистро", с соответствующим меню конечно, и демонстрировал рост престижа — солидность, не терпящая, и так было не только в Анкоридже, рядом со светлой и облегченной меблировкой никаких громоздких и старомодных музыкальных автоматов. Однако доказательством былого присутствия jukebox стали вывалившиеся на тротуар из длинного, как кишка, барака и появившиеся там же из-за угла шатающиеся фигуры — всех рас, — а чуть дальше, промеж льдин, в окружении патруля полицейских лежал кто-то, пытавшийся отбиться от них — оказалось, белый, — ничком и на животе, плечи заведены назад, согнутые ноги стянуты ремнями, руки на спине и в наручниках, скрюченный на льду, став похожим на салазки, его и протащили потом по снегу, как салазки, до стоящей позади полицейской машины и увезли куда-то; а внутри барака степенно приветствовал входящего, сразу же у входа, возле стойки, на которой лежали головы пьяных и слюнявых, со следами блевотины на губах спящих людей (мужчин и женщин, в основном эскимосов), классический и, казалось, заполнявший собой всю кишку музыкальный автомат с соответствующим репертуаром допотопных пластинок — можно было с уверенностью рассчитывать, что здесь найдутся все singles[1] рок-группы "Creedence Clearwater Revival" и непременно раздастся, пробиваясь сквозь клубы дыма и чада, неистовое и мрачное завывание Джона Фогерти, сетующего на то, как на запутанных тропах певца-бродяги он уже давно "утратил где-то смысл", да еще его жалоба: "Если б я имел хоть по доллару с каждой песни, что спел!" — и все под раздавшийся со стороны вокзала, пропускающегo в зимнюю стужу только товарные составы, будоражащий город, протяжный и звучный, как трубный глас, гудок локомотива со странной для Крайнего Севера надписью на боку "Южная тихоокеанская железная дорога", а на тросе перед мостом, ведущим к доступному только летом лодочному причалу, болталась замерзшая ворона.

Так были ли музыкальные автоматы чем-то вроде забавы для бездельников горожан или, скажем, более современных сегодняшних гу-

1. Сингл (*англ.*) — зд.: маленькая пластинка, на которой записана только одна песня.

ляк, фланеров? Нет. Он, во всяком случае, реже посещал их в периоды ничегонеделанья, чем когда вынашивал свой замысел и потом начал регулярно писать, а особенно часто по возвращении из всяческих заграниц в те места, откуда был родом. Как перед тем, прежде чем на много часов засесть за письменный стол, необходимо уйти с головой в тишину, так потом никак невозможно не наведаться туда, где стоит jukebox. Чтобы как-то отвлечься? Нет. Он хотел, раз уж взялся за изучение природы этого явления, чтобы ничто на свете не отвлекало его. Даже его дом и тот со временем остался без музыки — без проигрывателя или чего-то тому подобного; как только после новостей привычно вступал первый музыкальный такт, он тут же выключал радио; и даже тогда, когда время тянулось бесконечно в часы полной пустоты в голове и притупления чувств, ему достаточно было лишь представить, что вот сейчас он сидит не просто так, наедине с собой, а перед телевизором, и он тут же отдавал предпочтение сиюминутному состоянию. Даже киношки, которые служили раньше своего рода отдушиной после долгих часов работы, и их он теперь избегал и сторонился все больше и больше: слишком часто именно там настигало его полное одиночество, отчужденность от всего мира, и он опасался, что так никогда и не сумеет вырваться оттуда и снова заняться своим делом; тогда он вставал посреди сеанса и выходил, что, по сути, было обыкновенным бегством от дневных наваждений. Так что, он отправлялся к музыкальным автоматам, чтобы — как там было сказано в начале? — ну да, чтобы сосредоточиться. Да только и это уже было не совсем так. Может, конечно, он мог бы объяснить свое "сидячее хождение" к предмету своих изысканий тем, что пытался тогда в Сории, просиживая в течение долгих недель часами без движения за письменным столом, разобрать по складам писания св. Тересы из Авилы, прибегнув теперь к несколько нахальному для себя сравнению: святая Тереса испытала на себе влияние религиозного спора тех времен, начала XVI века, возникшего между двумя сторонами верующих относительно того, как можно приблизиться к Богу; одни утверждали, что для этого надо "собраться" — так называемые recogidos[1], — сжав мышцы и все остальное прочее, а другие — dejados[2], исповедовавшие девиз "оставь все как есть", — бездействовали, отдав себя на волю Божью и веря, что Бог настроит их душу — alma — так, как пожелает; и святая Тереса склонялась скорее к бездействующим, чем к концентрирующимся, поскольку чем больше человек стремится к тому, чтобы всего себя отдать Богу, тем больше опасность угодить в сети дьявола; и он сидел, так сказать, при своих jukebox не для того, чтобы сконцентрироваться на дальнейших деяниях, а полностью отдаваясь им и оставляя все как есть. Конечно, при этом он не отказывал себе в том, чтобы прилежно внимать особым аккордам jukebox — "особым" потому, что никогда не становился в общественном месте жертвой того, что слушали другие, а выбирал себе мелодии сам, как бы заставляя автомат "играть" для него лично, — в душе его, отдававшего себя на волю звуков, рождалось их продолжение: давно мертвые образы и картины оживали, приходили в движение, витали в воздухе и настойчиво просились на бумагу, а он сидел рядом (по-испански junto) и, уйдя в себя, слушал, как Боб Марли пел об искуплении в "Redemption Song"; и с повторяющейся изо дня в день в исполнении

1. Сосредоточенные, сконцентрированные (*исп.*).
2. Бездеятельные, апатичные, вялые (*исп.*).

Алисы "Una notte speciale"[1] в рассказ, над которым он работал, входила среди прочего, все больше утверждаясь в нем, одна незапланированная им женская фигура; и не так чтобы, когда пишешь бог весть что в угаре звуков, потому что много пьешь, а потом все вычеркиваешь, нет, она не исчезала из текста и на утро следующего дня. Значит, не ради только одного того, чтобы уехать как можно дальше, снялся он с насиженного места в период раздумий и внутренней подготовки (что вообще нельзя сделать по заказу, преднамеренно, сидя дома за письменным столом и заставляя себя насильно мыслить, — такое могло оказаться результативным только при сравнивании одного с другим и распознавании отличий), а чтобы еще и посетить те кабачки и бары, где стоял jukebox. И когда потом он сидел в баре одного сутенера, где в jukebox всадили однажды пулю, или в кафе, где собирались безработные, но где всегда оставляли свободный столик для сбежавших из соседней психушки — тупые, неподвижные и бескровные физиономии, приходившие в движение, только чтобы проглотить таблетку, запив ее пивом, — ему никто не хотел верить, что он пришел сюда не ради этого сборища, а чтобы в какой уже раз послушать "Hey Joe" и "Me and Bobby McGee". Но разве он приходил туда, где стоял jukebox, не для того, чтобы, так сказать, удрать от современной действительности? Очень может быть. Но в противоположность такому утверждению случалось, как правило, вот что: рядом с "его" jukebox все, что находилось вокруг, приобретало черты явного присутствия действительности. Если удавалось, он усаживался в этих заведениях на такое место, откуда ему было видно все помещение и хотя бы краем глаза еще маленький кусочек внешнего мира. И это приводило иногда — в симбиозе джукбоксы и полета фантазии, без ненавистного ему принудительного наблюдения — к усилению ощущения присутствия действительности, а может, еще и некоторых других моментов. И то, что в них при этом конкретно материализировалось, были не столько бросающиеся в глаза внешние детали или раздражители, сколько обычные неприметные вещи, их формы и краски, и такая, более насыщенная внутренне действительность казалась ему чем-то очень ценным — не было для него более драгоценного и достойного увековечивания материала, чем она; это как своего рода трепетное ожидание чего-то, возникающего при чтении пробудившей к себе интерес книги. Ведь *говорило же* это о чем-то, когда человек просто шел, куст шелестел на ветру, желтый автобус поворачивал к вокзалу, уличный перекресток имел форму треугольника, в дверях стояла официантка, на бортике бильярдного стола лежал мел, шел дождь и и... и... и... Да, так оно было — реальная действительность обретала прочный скелет! И тогда внимания удостаивались даже мелкие привычки, свойственные "нам, любителям jukebox", пусть вариаций было и не так много. Один, например, нажимая на клавиши, чаще упирался рукой в бок и чуть наклонялся вперед, почти касаясь автомата, другой выбирал пластинку двумя руками — широко расставив ноги и соблюдая дистанцию, вытягивал при этом руки вперед, словно техник-оператор, у третьего пальцы взлетали над клавишами, словно у пианиста, и он тут же отходил от автомата, уверенный в своих действиях, или оставался стоять, дожидаясь результата эксперимента, пока не раздавались первые такты (и после этого исчезал, возможно, даже не дослушав мелодию и покинув бар), а кто-то принципиально вынуж-

1. "Удивительная ночь" (*итал.*).

дал других ставить все его мелодии, выкрикивая от стола заученные наизусть номера хитов; причем общим для всех них было, что они видели в джукбоксе некое подобие живого существа, вроде домашнего животного: "он что-то капризничает со вчерашнего дня", "уж право не знаю, что это с ним сегодня, ровно как спятил". Казались ли ему все эти автоматы действительно на одно лицо? Нет. Были явные различия — от четкого неприятия до удивительной нежности и даже почтительного уважения. К продукту серийного производства? К следам человеческих рук на нем. Даже сама форма автомата со временем значила для него все меньше и меньше. Если спросить его, jukebox мог быть продуктом военных лет, даже из дерева, или называться вместо "Вурлитцера" просто "музыкальным ящиком", "Симфонией" или "Фанфарой", а сам корпус оказаться порождением немецкого экономического чуда, лишенным всякой подсветки, из темного непрозрачного стекла, бесшумным и по виду как бы вовсе непригодным к употреблению, но как только в него попадала монетка, тут же вспыхивало табло, оповещая о богатстве выбора, а стоило нажать клавишу, нутро его оживало и слышалось жужжание поиска, сопровождаемое блужданием светового луча по темному переднему стеклу. Теперь для него не так уж и важен был тот особый звук, шедший откуда-то из глубины, словно из-под множества наслоенных друг на друга пластов, некое своеобразное трубное завывание, которое порой и можно-то было услышать, только если специально вслушиваться, подобно тому — так это ему представилось однажды, — как слышится в романе Уильяма Фолкнера "Дикие пальмы" рев реки, затопившей своими водами землю до горизонта: откуда-то из глубины, из-под тихих стоячих вод бескрайней стихии, "the roaring of the Missisipi"[1]; при необходимости он довольствовался теперь репродуктором на стене, откуда выходил еще более плоский или гремящий, как жесть, звук, хуже, чем из транзистора, а уж в крайнем случае, когда в общем гуле бара тонул любой звук, ему достаточно было знакомого ритмичного вибрирования воздуха, в котором он мог различить припев или хотя бы один такт выбранной им — единственное условие — музыки, из чего потом внутри него самого узнаваемо звучал весь хит, от вибрации к вибрации. Некую неприязнь, наоборот, он испытывал теперь к тем музыкальным автоматам, репертуар которых не отличался индивидуальностью, не давал возможности сделать непосредственно "личный" выбор, будучи частью стандартного набора пластинок, кочующих из одного бара в другой, через всю страну — одинаковые, без вариантов и поставленные во все заведения, как бы навязанные каким-то безымянным центром, — и он представлял его себе чем-то вроде мафии в музыкальном мире. Такие серийные блоки — а во всех странах теперь, кроме них, ничего другого и не было — без разнообразия, выбрать можно было только то, что модно в данный момент, и которые сразу можно было вычислить, даже если они были запущены в досточтимый "Вурлитцер", не по отпечатанным на пишущей машинке разноликим буковкам, а по набранной типографским способом программке — ровные строчки с именами певцов и названиями исполняемых ими хитов занимали теперь все табло. Но странным образом он избегал и те музыкальные автоматы, где программа заложенного в них комплекта пластинок, как меню некоторых ресторанов,

1. Рев Миссисипи (*англ.*).

сверху донизу и слева направо была написана от руки одним и тем же почерком, хотя, как правило, именно в этих случаях каждая пластинка словно специально предназначалась для него одного. Ему не нужно было, чтобы такой набор олицетворял собой какие-то продуманные действия, свидетельствовал, например, о благородстве порывов, подлинном знании дела, посвященности в тайны, стремлении к гармонии, — нет, он должен был демонстрировать полную случайность, частично включая в себя незнакомые мелодии (с годами их становилось все больше и больше), многие из которых обращали его в бегство, но среди них попадались иногда, как жемчужинки, и такие (достаточно было, если среди бесчисленного множества отпечатанных названий отыскивалось несколько), которые отвечали в тот момент его душевному настрою. И такие музыкальные автоматы тоже можно было определить по внешнему виду их табло: по разношерстности напечатанных и написанных от руки названий и прежде всего по количеству много раз заменявшихся строчек, и все разными почерками — то выведенные по-печатному буквы, чернилами, а то небрежно написанные, чуть ли не в стенографической манере, свойственной секретаршам, однако в большинстве своем, несмотря на разницу в завитках и наклоне букв, начертанные все же с особой тщательностью и ответственностью, а некоторые, похожие на детские каракули, смотрелись словно нарисованные, и среди слов с множеством ошибок то и дело попадались совершенно правильно написанные (со всеми диакритическими знаками и дефисами), и если это делала официантка, то для нее это были сплошь иностранные фамилии и слова; бумага местами уже пожелтела, буквы выцвели, стали слепыми, их было трудно разобрать, возможно, полоски наклеивались одна на другую, новые свеженаписанные названия поверх, но старые просвечивали сквозь них, становились уже нечитабельными, однако догадаться еще было можно. Со временем он все чаще бросал сначала взгляд на табло с предлагаемым выбором пластинок, а потом выискивал “свои”, обозначенные разными почерками, даже если там оказывалась всего одна-единственная из них. И случалось иногда так, что именно ее — будь она для него прежде чужой и абсолютно неизвестной — он потом сидел и слушал. Так, однажды в алжирском баре в предместье Парижа, стоя перед jukebox (на табло сплошь французские названия, тотчас же говорящие о засилии мафии в шоу-бизнесе), он вдруг увидел с краешку наклеенную полосочку, написанную от руки, очень большими неровными буквами, каждая четко выписана, словно восклицательный знак, и выбрал этот контрабандой прошмыгнувший сюда арабский шлягер, а потом поставил его еще раз, и даже сейчас в ушах у него сразу зазвучала та звонкая арабская мелодия “SIDI MANSUR”, что означало, как сказал очнувшийся на мгновение из своего оцепенения бармен, название “особого, не совсем обычного места” (“просто так туда не ходят!”).

Означает ли это, что он сожалел об исчезновении своих джукбоксов, этих атрибутов вчерашнего дня, лишенных скорее всего перспективы второго рождения?

Нет. Он только хотел, прежде чем и сам окончательно потеряет их из виду, запечатлеть это явление и тем самым показать, что мог значить такой неодушевленный предмет и, прежде всего, что за звук он рождал.

Небольшое кафе-столовая при спортивном комплексе на окраине Зальцбурга. На открытом воздухе. Светлый летний вечер. Джукбокс выставлен наружу, рядом с открытой дверью. На террасе от стола к столу

снуют различные посетители — голландцы, англичане, испанцы, — беседуя на своих языках, это заведение обслуживает одновременно и кемпинг, раскинувшийся по соседству перед лётным полем. Начало 80-х годов, аэродром далеко еще не "Salzburg Airport", последний самолет совершает посадку с заходом солнца. Деревья между террасой и спортивной площадкой — березы и тополя, в теплом воздухе непрерывное трепетание листвы на фоне оранжевого от заката неба. За одним из столиков сидят местные, члены спортивного рабочего клуба "Maxglan" и их жены. Футбольная команда, пока еще во второй лиге, снова проиграла сегодня после обеда свой очередной матч и, по-видимому, сойдет с дистанции. Но сейчас, этим вечером, опечаленные и расстроенные игроки говорят, пока у стойки происходит постоянное хождение туда-сюда — от палаток и назад, — в том числе и о деревьях. Они внимательно разглядывают их: какие они стали большие и какими прямыми выросли с тех пор, когда они, члены клуба, тогда, в те далекие времена, собственноручно и все вместе выкопали эти молодые деревца из черной болотистой топи и посадили их здесь рядками в жирную глинистую почву! Песню, вырывающуюся из джукбокса, стоящего возле дверей, в паузах которой слышно, как шелестит и шумит листва и доносится размеренный гул голосов, тающий в медленно меркнущем дне и наступающей вечерней темноте, поет бодреньким голосом Хелен Шнайдер, а называется она "Hot Summer Nites". Внутри кафе пусто, и ветерок задувает в открытые окна белые занавески. Вдруг он замечает, что в углу все же кто-то сидит — молодая женщина, она беззвучно плачет.

Многие годы спустя. Гостиница — gostilna — на самой макушке югославского Карста, недалеко от магистрали со стороны Штаньел (или Сан-Даниеле-дель-Карсо). Внутри гостиницы. Мощный старомодный джукбокс рядом со шкафом, на пути в клозет. За прозрачным пластиковым стеклом виден круг с комплектом пластинок и играющая тарелка. Чтобы привести автомат в действие, бросают не монеты, а жетоны, и потом нужно не нажать на клавишу — здесь она всего одна, — а покрутить сначала колесико, пока на шкале не совместятся желанный номер и бегающая черточка. Автоматический тонарм положит затем не без элегантности пластинку на диск, напоминая своими движениями согнутую в локте руку, когда безупречный в своем фирменном облачении официант сервирует для вас стол и ставит заказанное блюдо. Gostilna весьма просторная, со многими залами, в которых в этот ранний осенний вечер — за окном на плато свирепствует, не зная устали, пришедшая с северных гор burja, или bora — полно людей, в основном только молодых: прощальный бал по окончанию школы — выпускники старших классов со всех республик Югославии; они встретились здесь впервые и пробудут несколько дней. Неожиданно сквозь ветер доносится с гор типичный гудок местного поезда, глухой низкий звук средства передвижения по Карсту. Напротив привычного портрета Тито на стене висит такой же цветной, но еще больших размеров портрет не столь известной личности — бывший владелец, покончивший жизнь самоубийством; его жена говорит, он был родом не отсюда (по-ихнему так, если он даже родился в соседней деревне в ближайшей долине). Песню, которую в этот вечер вызывает нажатием клавиши один ученик за другим и она разносится по всем залам, поют как патриотическую, при этом по-детски задорно и весело, дружно и хором, можно сказать, от имени всего народа, ритм танцевальный, а в припеве только одно-единственное слово — Югославия!

И еще раз несколько лет спустя. Снова летний вечер, сумерки еще не сгустились, на сей раз на итальянской стороне Карста, точнее на границе между поднявшимся однажды из моря известняковым плато и низменной долиной, прорезанной здесь железнодорожными путями станции Монфальконе; по другую сторону от нее сразу начинается крутой подъем на плато, каменная пустыня прикрыта на этом участке путей небольшим сосновым леском, а по эту сторону — железнодорожный вокзал, окруженный совершенно другой растительностью: кедры, пальмы, платаны, рододендрон, непременный фонтан и щедро вытекающая из питьевого источника вода при беспечно открытом на перроне кране. Jukebox стоит в баре, под настежь распахнутым окном при послеполуденной жаре, дверь, тоже нараспашку, выходит прямо на железнодорожное полотно. В баре практически нет никакой мебели, а та, что есть, сдвинута в сторону, там сейчас моют полы. На мокрых каменных плитах террасы играют блики, отражаясь от jukebox, — блеск, который постепенно исчезает по мере просыхания плит. В окне появляется очень бледное лицо барменши, особенно по сравнению с загорелыми лицами ожидающих на перроне пассажиров. После отправления скорого поезда Триест — Венеция здание вокзала кажется опустевшим; только на скамейке борются друг с другом двое подростков и громко вопят при этом, вокзал для них в данный момент — игровая площадка. Из темноты между соснами Карста по ту сторону дороги с шумом вылетают ночные бабочки. Длинный запломбированный товарный состав ползет, погромыхивая, мимо, единственные светлые пятнышки на темных вагонах — покачивающиеся на тоненьких проволочках маленькие пломбы. В наступившей после этого тишине — промежутке между свистящими полетами последних ласточек и бесшумным появлением летучих мышей — разносятся далеко вокруг звуки играющего jukebox. Подростки еще какое-то время продолжают возиться. Не для того чтобы послушать музыку, а скорее случайно, из своих контор выходят на набережную двое чиновников, а на пороге зала ожидания появляется уборщица. И вдруг повсюду обнаруживаются незамеченные до той поры фигуры. На скамейке под самшитом — спящий. На траве позади туалета расположилась группка солдат — без малейших признаков багажа при себе. На перроне в сторону Удине стоит, прислонившись к столбу, огромный негр, тоже без багажа, в одной рубашке и брюках, впившихся ему в живот. Из глубины соснового леска вылетает, делая крутые виражи вокруг друг друга, парочка голубей. Такое впечатление, что все эти люди никуда не собираются уезжать, что все они — местные жители или служащие при вокзале и железнодорожных путях. Центром этого места является фонтан с пенящейся, разбрызгиваемой и разносимой легким бризом пресной водой и мокрыми следами от множества подошв вокруг на асфальте, опять подошвы, к которым припечатывает свои следы и последний из только что утоливших свою жажду. Чуть дальше, вдоль путей, туда можно дойти пешком, выходит из-под земли на поверхность карстовая подземная река Тимаво, с тремя рукавами, которых во времена Вергилия, если верить "Энеиде", было девять, она быстро становится широкой и впадает затем в Средиземное море. В песне, что играет jukebox, рассказывается о письме молодой женщины, судьба забросила ее далеко от родных мест, а заодно и от всего привычного и того, о чем она мечтала, — сама она олицетворяет собой теперь мужество, а может, и удивительную тоску и печаль; песня разносится в вечерней тишине окрест Монфальконе и называется "Анкоридж, Аляска", а поет ее от имени той далекой подруги голос Мишель Шокед.

В течение тех нескольких недель в Сории он рассуждал иногда так: "Я делаю свою работу. Она отвечает моему духу". Одновременно тайком закрадывалось и другое соображение: "У меня есть время" — без всякой задней мысли, как абстрактная идея. Шел дождь, и за окном каждый день бушевала буря, гуляя по открытому кастильскому плоскогорью, и он использовал свои карандаши, затыкая шторы в щели в оконных рамах. Но еще больше ему досаждали шумы. Покончив с рыбьей чешуей, внизу ежедневно принимались за разделку рыбы, причем топором, помимо непривычно огромных рыбин еще и разных туш домашнего скота; милые его сердцу извилистые тропинки за пустырем неожиданно превратились в трассы для мотокросса. (Сория, как он узнал позже, принимала даже участие в чемпионате Европы.) По телевизору можно было наблюдать этот вид спорта: летящие по воздуху игрушечные фигуры героев-участников завораживающей видеоигры, а на деле жужжание шмеля вокруг его головы во время работы за письменным столом казалось ему в сравнении с тем сплошным раем. Каждый раз он возвращался с прогулки полный сил — согласно его пониманию — назад к своей работе и тут же терял их в этом гвалте. Грохот и треск разрушали не только что-то важное в данный момент, они крушили все и навсегда. Самое печальное было то, что ему грозила опасность начать пренебрегать таким процессом работы, как прочувствование образов и их полноценное фиксирование на бумаге, что требовало от него абсолютной отрешенности от мира. С другой стороны, в полной тишине он действительно как-то выбивался из колеи, поддавался слабости и впадал в сомнение, хуже того — в безнадежность, а выбравшись из этого и возвратясь назло всем бедам к своему ремеслу, тут же чувствовал себя окрепшим. Ежедневно он делал крюк, огибая фасад Санто-Доминго, — нет, в противоположность новостройкам за ней, он шел вдоль низко расположенного фронтона. От него исходил покой — требовалось только вобрать его в себя. Удивительна все-таки сама манера повествования, запечатленная в камне божественных скульптур: Ева, приданная Господом Адаму, уже с первого момента стоит спиной к спине со своим мужем, когда он в следующей за этим сцене смотрит на древо познания, а весть о воскрешении, переданная одной из тех женщин первому в длинном ряду апостолов, мгновенно распространяется дальше, это видно по их говорящим позам; и только последний застыл в неподвижности, похоже, еще не знает ничего. До работы он ходил маленькими шажками, после работы — большими, но не от ощущения триумфа, а потому что кружилась голова. Подъем в гору заставлял его глубже дышать и яснее думать, только дорога не должна была быть слишком крутой, иначе мысли в его голове скакали, как бешеные. Точно так же маршруту вдоль течения реки он предпочитал другой — против течения, так ему казалось, что когда идешь навстречу мощному потоку воды, получаешь часть ее энергии движения. Если ему хотелось уклониться от мучительных копаний в себе и раздумий, он выбирал маршрут по шпалам отслуживших свое железнодорожных путей Сория — Бургос или шел еще дальше, за город, где царила полная темень, и он должен был следить за каждым своим шагом. Возвращаясь из мрака назад на освещенные улицы города, он был в таком напряжении от ходьбы на ощупь, что стремился скорее расслабиться, глядя на вереницу скульптур Санто-Доминго, и освободиться от застывшей маски на лице со сведенными скулами. Он повторял свои маршруты, только немного варьировал их ежедневно; при этом у него было такое ощущение, что остальные пути-дороги ждут не дождутся, когда придет и их черед.

На променаде Антонио Мачадо лежали годами выбрасываемые носовые платки и презервативы. Днем на пустоши гуляли кроме него, как правило, только старики, в стоптанных башмаках и обычно в одиночку; прежде чем высморкаться, они обстоятельно вытаскивали тщательно сложенный носовой платок, разворачивали его и встряхивали. Он взял себе за правило приветствовать, до того как сесть работать, хотя бы одного из них, намереваясь услышать ответное приветствие; не испытав этого мига улыбки, он не хотел возвращаться в номер; иногда он даже специально останавливался, давая себя обогнать, чтобы иметь возможность сказать "hola!" и кивнуть головой. А еще раньше он сидел в центральном кафе Сории у большого окна и читал ежедневно с помощью словаря газету. Llavero означало "кольцо для ключей": подняв над головой связку ключей, женщина участвовала в уличной демонстрации в Праге; dedo pulgar – большой палец: американский президент поднял свой большой палец в знак успешного турне по Панаме с впрыскиванием крови; puerte giratoria значило "вращающаяся дверь" (через такую дверь вошел когда-то Сэмюэл Беккет в знаменитое парижское кафе "Клозери-де-Лила"). Весть о казни супружеской четы Чаушеску он прочел не то чтобы с удовлетворением, а скорее со знакомым и вновь пробудившимся сейчас ужасом перед содеянным. Когда бы это ни случалось, он каждый раз находил разгадку в характерах Теофраста и испытывал ко многим из них, во всяком случае к некоторым их чертам – в которых, возможно, узнавал свои – известную нежность; ему казалось, что слабость и глупость суть признаки одиноких людей, которые не нашли общего языка с обществом, в данном случае с древнегреческим городом-государством, и чтобы каким-то образом все-таки вписаться в него, вели с храбростью и отчаянием эту свою комичную игру; и если они слишком усердствовали в том, вели себя, как юнцы, много хвастались или, что особенно бросается в глаза, не были "нужными людьми в нужный час", то чаще всего это происходило от того, что они не смогли найти своего места среди других, в том числе своих детей или своих рабов. Отрываясь от чтения, он то и дело смотрел в окно на платан с остатками редкой листвы или на голый клен рядом с ним, где на ветках сидели воробьи, чувствуя себя под надежной защитой, если, конечно, не было ураганного ветра, причем сидели так тихо, что смотрелись как весенние почки, а вздрагивающие от малейшего дуновения ветерка и трепещущие зубчатые листья платана, напротив, казались вспархивающими птицами. Самое сильное впечатление от Сории он испытал внизу у моста, перекинутого через реку, меньше – при виде его каменных арок и позимнему темных, медленно текущих масс воды, чем от таблички в центре моста – RIO DUERO. На одном из баров поблизости он заметил вывеску "Alegria del Puente" – "Радость (праздник) моста" – и, прочитав, тут же, не задумываясь, сошел с моста и сделал крюк – rodeo, чтобы попасть туда. На береговых откосах, там, где это не были голые скалы, обнажились от векового ветра и непогоды круглые и гладко отшлифованные валуны, на руинах городских стен, оставшихся далеко за городом, ветры столетий испещрили желтый песчаник, промыли лунки и желобки, нанесли рисунок, и он уже видел, что некоторые старинные дворцы на Plasa Mayor[1] стоят на природном фундаменте из намертво схваченных галечных пород, опустившихся в далекие времена на дно ледниko-

1. Главная площадь (*исп.*).

вых озер. Уметь хотя бы немного читать природную карту ландшафта, проходя мимо, было бы очень по-земному, но он уже знал, что география в Испании всегда была служанкой госпожи истории, ведавшей завоеваниями и расширением границ, и только сейчас стали больше обращать внимания на послания "гения места". Иногда краски оживали именно зимой. Как только небо становилось серым, начинали зеленеть оставленные под паром поля, а тропинки через захламленный пустырь напоминать цветом мшаник. И в тот момент, когда вокруг все замирало в зимних сумерках, гибкие ветки шиповника казались ярко-красными арками. Со свистом разрезая воздух, поднялась пара сорок, их крылья мелькали, как быстро крутящиеся белые колеса. В те дни, когда не было дождя, по городу носились маленькие пылевые вихри, навевая воспоминание о лете. Тени облаков скользили по голому плато, словно вырвались из подземелья, и хотя тени от облаков есть везде, здесь, в Кастилии, их родина. В утренние часы ни ветерка, и северную, и восточную сьерру можно увидеть при ясном солнечном свете в снегу, и хотя обе горные гряды находятся на расстоянии короткого воздушного перелета, он видел оба сияющих склона в часы безветрия пятнистыми от неподвижно лежащих на них теней облаков. Мысли его настолько были заняты снегом, что однажды он невольно стряхнул снег с подошв перед входом в дом. Несколько раз ночное небо ненадолго прояснялось, как раз когда он ощупью пробирался по пустырю (он сам себя загонял туда нарочно), и тем удивительнее казалось, как Кастор и Поллукс "железно" соблюдают дистанцию братьев-близнецов, Венера привычно слепит своим ярким сиянием, гигант Альдебаран по-арабски таинственно сверкает красным светом, а пять ярких звезд Кассиопеи, образуя фигуру W, широко раздвигают ноги, Большая Медведица ломает под углом ручку ковша, Заяц пытается удрать от охотника Ориона и стремительно несется по горизонтальной прямой через весь небосвод, а Млечный Путь с его бесчисленными дельтовидными скоплениями являет собой бледное отражение изначальной вспышки универсума. Странное это чувство "длинного времени" в период его декабрьского пребывания в Сории. Уже после первого дня работы за письменным столом он увидел внизу реку, и тут же мелькнула мысль: "Вот она, старая Дуэро!"; когда же в первый уик-энд он пропустил прогулку и не прошел мимо Рио-бара, то сидя потом внутри перед круглой железной печуркой, он подумал: "Я целую вечность не видел этот серый цилиндр"; а едва пробыв здесь неделю и огибая автобусную станцию, вспомнил: "Вот здесь я вышел с чемоданом в руке прямо в дождь!" Среди завывания бури в траве под ногами барахталась, неуклюже передвигаясь, черепаха. У листьев платана, прежде чем они опали, переломились черенки, размочалились до ниток и не смогли удержать лист. В раскисшем от дождей огороде копался петух, там валялись на земле невызревшие помидоры, его огненно-красные перья трепыхались, словно знамя, — то ли сами по себе, то ли на ветру? Его геральдическим животным могла бы, собственно, стать собака, которую он видел вечером ковыляющей на трех лапах и возвращающейся домой: он в конце длинного, как день, пути, тоже, как правило, прихрамывал на одну ногу. Однажды, когда Сория, если верить газетам, не была самым холодным городом Испании, он испытал разочарование: по главной улице несли цветочный горшок, а в нем растение с красными верхними листьями — "рождественская звезда", и это при зеленых, еще не опавших и всегда мокрых листьях платана, за все недели ни на день не исчезали лужицы в ямках вокруг корней. В темно-сером тумане еще более уг-

рожающий вид приняли обсыпавшие горные сосны белые коконы, из которых вылезали полчища личинок, пожиравших хвою. На Рождество лил такой сильный дождь, что во время его дневной прогулки по городу кроме него на улице появился только один-единственный воробей. А затем из местной тюрьмы вышла без зонтика очень маленькая женщина и ее большой сын, и они пошли по превратившемуся в месиво полю к небольшому бараку, и он представил себе, что они навещали за высокими стенами своего родственника, одного из басков, объявившего голодовку, и жили в том бараке, дожидаясь, когда его выпустят. Вечером вдруг блеснула среди беспросветного дождя яркая молния, и ее свет с силой ударил ему в лицо, а когда он поднял голову, то увидел приближающуюся машину с побелевшим верхом, а в черной ночной вышине взметнулись вдруг несколько падавших снежинок и поплыли по воздуху. "Nieve!"[1] — подумал он от радости по-испански, и это было с ним впервые. В баре зазвучало, неожиданно без извечной цыганской тоски и обреченности, радостно и уверенно, подобно доброй вести, фламенко, и у него опять разыгралось воображение, и он подумал, что это и есть самый адекватный способ воспеть — не то чтобы "Рождество", а скорее "navidad", само рождение; именно так рассказывал один из тех пастухов, что́ он пережил в ту святую ночь, и его рассказ был, конечно, одновременно и танцем. Как и повсюду в мире он видел в эту ночь на улицах людей, раскрывших при первых каплях дождя всегда имеющийся при себе зонт, вот и в Месету пришла эта мода, когда девушка, входя в кафе, сдувает падающие на лоб волосы. Раскатистый гром и шквал ветра, как во время стартового урагана при взлете самолета (ни разу не услышанного им здесь, над этим городом), пронесшийся по тополям вдоль Дуэро. Огромная хохлатка старательно чистит клювом гребешок маленькому петушку, стоящему на одной ноге в грязи. На ветках голого миндального дерева уже набухли белые почки, готовясь к цветению. Большинство неприятностей, составлявших его прежнюю жизнь и прочно угнездившихся в нем самом, остались далеко отсюда, где он обжился и начал наконец работать, и тем не менее именно в Сории он понял, что нельзя надолго вырваться из той жизни, которой здесь сейчас не было. На древесных корнях, прорезавших тропинку, лежал иней. Один раз громыхнуло где-то далеко за городом, но он в тот момент уже сидел за письменным столом, и ему представилось, что это удар колокола.

Под конец ему казалось, что он сумел заглянуть в самые сокровенные уголки города (он удерживал их в своей памяти, все эти "rincones", как удерживал слова). Он посетил не меньше сотни заведений, заходил в них во время своего добросовестного прочесывания города, и тут выяснилось, что в маленькой Сории больше сотни баров, в боковых улочках и переулках, часто без всякой вывески над дверями, — укрытые, как и многое другое в Испании, от посторонних глаз и известные только местным жителям — как бы и предназначенные только для них. То и дело он находил там на стенах рядом с объявлениями о разрешении сезонной охоты и портретами знаменитых тореро стихи Антонио Мачадо, а также настенные календари, некоторые из них были исчерканы вдоль и поперек, а на одном даже красовалась свастика, но, как ему показалось, не из политических убеждений, а потому что истоки ее возникновения как древнего символа плодородия коренились, как и остальных полу-

1. Снег (*исп.*).

чивших предпочтение настенных украшений, в самой природе. На удивление во многих заведениях сидели только молодые мужчины, а еще больше заведений были исключительно, даже категорично, без права входа для других посетителей, барами для стариков (с одним столиком в углу для старых женщин): судя по всему, гораздо более строгое разделение, чем любое другое по политическим мотивам. Большинство пенсионеров перебирались из провинции в столицу и проводили здесь свои "юбилейные" годы, и если не играли в своих барах в карты, то тихонько сидели в одиночестве за столиком или бродили и непрерывно искали что-то в других помещениях. Старые и молодые и он в придачу, к тому же иностранец: такие же, как и у него, лежали на стойке их белые в зимний сезон руки, а в свете уличного фонаря, к примеру, все та же бетонная стена за окном показывала свои шрамы, оставшиеся после рухнувшего стального каркаса, убившего тогда, по его прибытии, двух рабочих.

Помимо любопытства: увидеть вариации таких похожих друг на друга маленьких городов, его подстегивало желание найти именно в Сории jukebox, первоначально опять как бы по обязанности, а позднее все больше потому, что сейчас для него было самое подходящее время: зима, работа, вечера после утомительного пути под проливным дождем. Однажды довольно далеко за городом на дороге для гужевого транспорта в сторону Вальядолида он услышал доносившиеся из придорожного бара типичные басовые звуки, которые могли исходить только из флиппера с набором "ужасов"; в баре при бензоколонке он увидел надпись ВУРЛИТЦЕР — на автомате для сигарет; в ветхом рухнувшем здании в casco[1] Сории — кругом только груды мусора, — он обнаружил в бывшем баре, выложенном по-андалусски кафелем, табло древнего-предревнего автомата марки "Marconi", предшественника jukebox, служившее обыкновенным настенным украшением; единственный раз, когда ему удалось увидеть в Сории предмет своих вожделений, это было в кино "Рекс", в каком-то английском фильме, действие которого разворачивалось в начале 60-х годов — вот там он и стоял, в задней комнатке, ради того момента, когда герой фильма по дороге в уборную пройдет мимо него. Единственным jukebox в Испании, так сказать, живьем остался для него тот, что он увидел в Линаресе, в Андалусии. И тогда, той весной, ему тоже было крайне необходимо найти jukebox: работа и шумное веселье Пасхальной недели. Тот музыкальный автомат, на который он случайно наткнулся перед самым своим отъездом, давно отказавшись от поисков оного, радостно приветствовал его в подвальчике на одной из боковых улочек. Все заведение было размером с каморку для хранения разного барахла — без окон, только дверь. Открывалось оно по воле хозяина и то только по вечерам, при этом вывеска оставалась неосвещенной — надо было подергать дверь, чтобы понять, не открыто ли сейчас случайно. Владелец — старый человек, включавший верхний свет, только если появлялся посетитель — все время находился с музыкальным автоматом наедине. А у того была такая особенность, что все ячейки для названий были пустыми, как если бы на табличке со звонками внизу многоквартирного дома не было фамилий; казалось, автомат не функционировал, как и само заведение, — только комбинации из букв и цифр в самом начале пустых полосок. Зато стены повсюду вкривь и вкось, до самого по-

1. Центр города (*исп.*).

толка, были увешаны обложками от пластинок, а на них вручную помечены коды названий, и таким путем, включив автомат, можно было услышать по желанию выбранную пластинку — чрево как бы выпотрошенного автомата оказалось набитым битком. И как только внутри стального ящика раздалось монотонное ворчание, так сразу стало казаться, что здесь очень много места, и в заброшенном подземелье разлилось вокруг столько покоя — среди всей испанской и своей собственной суеты. Это было на calle[1] Сервантеса в Линаресе, напротив закрытого кинотеатра с обрывками анонса "Estreno", что значит премьера, с ворохом разлохмаченных старых газет и крысами в зарешеченном фойе, в то время, когда за городом цвели сухие полевые ромашки с жесткими головками, больше тридцати лет после того, как на арене Линареса был убит быком Мануэль Родригес, более известный как Манолете. Несколько шагов вниз от кафе, носившего название "El Escudo" — герб, — разместился в Линаресе китайский ресторан, для чужестранца иногда такой же приют тишины и покоя, как и jukebox. И в Сории тоже представилась возможность встретить такой же китайский ресторанчик, совершенно неожиданно: тот словно прятался от чужих глаз и казался закрытым, но дверь поддалась, и как только он вошел, тут же зажглись большие бумажные фонарики. В тот вечер он был единственным посетителем. Он никогда еще не видел в этом городе азиатскую семью, обедавшую за длинным столом в углу и потом бесшумно исчезнувшую на кухне. Осталась только девушка, она молча обслуживала его. На стенах — изображения Великой Китайской стены, давшей название заведению. Странно, но из пиалы с темным супом при погружении в него фарфоровой ложки выглядывали светлые головки цветков сои, здесь, на кастильском плато, они смотрелись как картинки мультфильма, а за окном в ночной буре хлестали в это время по стеклу голые ветки тополя. Молоденькая девушка, освободившись, стала за соседним столиком выводить тушью в тетрадке китайские иероглифы, прижимая их плотно-плотно друг к другу, причем так ровненько и с такой аккуратностью, чего никак нельзя было сказать про его почерк на протяжении всех этих недель (и не только порывы ветра, дождь или сумерки, когда он работал на природе, были тому причиной), и глядя сейчас на нее, ту, которая здесь, в этой местности, в Испании, была несравнимо более чужой, чем он, он с удивлением вдруг почувствовал, что вот теперь, вот только сейчас он действительно оторвался от тех мест, откуда был родом.

1. Улица (*исп.*).

# Фридерика Майрёкер

## *Стихи и эссе*

Фридерика Майрёкер (р. 1924) — австрийская поэтесса, прозаик, эссеист, спутница жизни Эрнста Яндля (1925—2000), одного из самых популярных авторов в странах немецкого языка. В 2001 году она получила самую высокую литературную награду в Германии — премию Бюхнера.

Майрёкер родилась в Вене, где живет и работает по сей день. Она филолог по образованию, и ее поэзия может быть определена отчасти как "филологическая", но не в том экстремальном проявлении (на грани языка), как у Янделя: она более сдержанная, более традиционная, образно говоря, Майрёкер — это "человек-словарь".

Майрёкер — член Берлинской академии искусств.

В. Куприянов

## *Из книги "Спокойной ночи, с добрым утром"*

### *Ночной кошмар*

из номера отеля
в горах по внутреннему
телефону сообщаю,
нет штопора —
регистраторше жаль:
*видно, его прихватил*
*ваш предшественник!*

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1982
© В. Куприянов. Вступление, 2003
© Е. Соколова. Перевод, 2003

И вот уже я ощущаю вину
за кого-то, кого не знаю,
взгляд уныло блуждает
по льду озера за окном:
густой шелест у берега —
пожелтевший тростник.
Слишком шумно лениво
лыжные палки скрестив за плечами
бредут молодые — чужие,
похожие на астронавтов,
возле церкви скрипит мостовая —
с крыш покатых
нацелены страшные стрелы
прямо в мозг

## *Черный как знамя анархии*

откажитесь же
наконец от этого
цвета, милочка,
говорила мне врач,
лечившая
от крапивницы,
смерив меня
строгим взглядом
снизу вверх
до самых почерневших
глаз

## *двойная сцена*

Эрнсту Яндлю

Нервы... ни к черту...
сказал он когда я спросила
как им объяснить
почему он со мной не пришел

в памяти тут же
вспышка: сидит
отбивает
сложный ритм
под пластинку
головой и руками, взад-
вперед, взад-
вперед, как когда-то давно,
на лошадке
качаясь, счастливый
ребенок.

*Перевод* Е. Соколовой

# *Из книги "Реквием по Эрнесту Яндлю"*

## *"в кухне стало холодней"*



ЗИМНИЕ стихи / стихи конца времен / стихи чтоб слезы проливать / их хотелось бы обнять, потому что в них воплощены все сомненья, вся печаль, весь этот покинутый Богом мир.

Реальная подоплека: это зима, зима 88-го. Я стою в нетопленой, неотапливаемой северной кухне в квартире Эрнста Яндля. Мы выскребли все рукописи (макулатура) из доверху забитых ящиков его письменного стола и рассортировали все, что могло бы пригодиться для его нового сборника "Идиллии" / собирательная библиография /; здесь в этих ящиках целая куча заметок, от руки написанные тексты, фрагменты, полуфабрикаты, иногда лишь несколько строк, порой только одно слово, записанное ночью или поздно вечером, неразборчивое даже для самого автора, обрывки, которые уже невозможно привести в соответствие с другими работами. Беззаботно, беспечно скопились здесь кипы листов, покинутые в самоуничижении, самораспаде, безразличии. Лист за листом, ящики запирают сами себя изнутри от новых вторжений, раньше, еще пару лет назад каждое завершенное стихотворение было бы вложено в отдельную папочку, ныне же все кажется автору мусором, который лучше всего где-нибудь закопать.

Я вытаскиваю лист за листом на свет все, написанное от руки, часто это набросанные карандашом строки, начала стихотворений, затем снова завершенные стихи, в нескольких вариантах, отпечатанные на машинке. Мы занимались этим долгие дни, собственно всю зиму 88-го, чтобы только разобрать написанное, оценить и законсервировать. И однажды я вдруг натолкнулась на эти карандашом набросанные строки:

в кухне стало холодней
от суровых зимних дней
мать не теплит очажок
и как лошадь я продрог

Смутное воспоминание: последняя строка должна была бы звучать несколько иначе, это скорее всего одна из прежних версий.

Эта последняя строка, которая говорит о последней степени покинутости, заброшенности, обреченности, о попытке самоутешительной идентификации с бессловесной тварью — упряжной клячей на зимнем холоде, которая часами стоит, опустив голову, на одном и том же месте, без призора, без внимания, в ожидании человека, который приведет ее в движение, — хватает за сердце.

Как звучала прежде эта последняя строка, вылетело у меня из головы, и сам Эрнст Яндль не мог вспомнить, видимо этого уже не восстановить.

Мы садимся с этой страницей к низенькому столику друг напротив друга и размышляем, как можно было бы точнее сформулировать эту последнюю строчку, наконец Эрнст Яндль находит окончательный вариант.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main. 2001
© В. Куприянов. Перевод, 2003

*Первое совместное фото Фридерики Майрёкер и Эрнста Яндля. 1955 г.*

Моя восьмидесятипятилетняя мать ежедневно стряпает обед в холодной кухне для себя и для меня, своей шестидесятишестилетней дочери. Я вижу, когда я прихожу к ней к двум часам дня, как она старается удержаться на ногах, она опирается на печку. Каждый день, когда я вижу ее так снова, я вспоминаю эту строчку: мать не теплит очажок... и что однажды наступит этот день и, возможно, уже довольно скоро. Она уже не будет стоять у очажка, ее уже больше там не будет, она будет, вытянувшись, скрестив на груди свои бледные руки, лежать там, где я ее больше уже не буду видеть, где она меня уже не будет видеть, — там, куда мне уже не проникнуть, откуда ей уже больше не вернуться.

Эта строка — мать не теплит очажок — выражает достойную проклятия и лишающую всякого достоинства преходящесть и конечность нашей жизни; мать не теплит очажок — куда же она ушла?.. До самого конца она выполняла свою задачу, она делала свое дело.

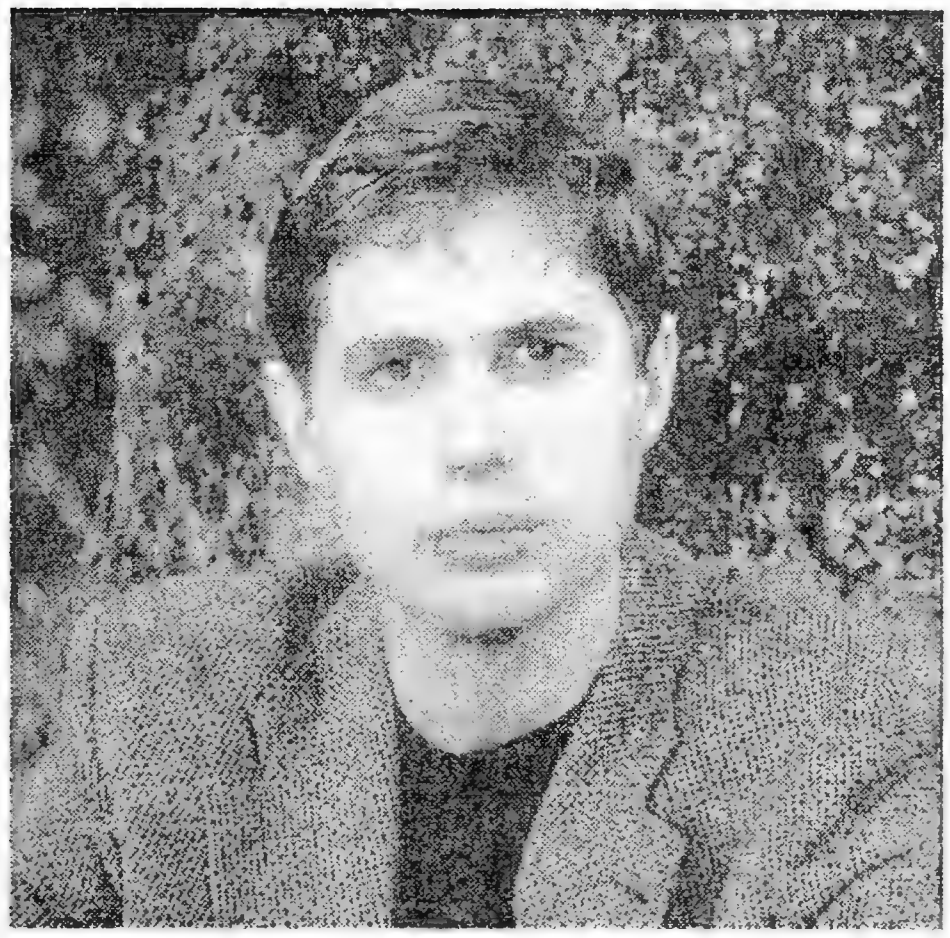
Очажок: да, это крошечная печка-времянка, с которой мать спасала нас в горькие военные зимы, которая давала тепло только несколько жалких часов, мать готовила на ней, наверное, хлебный суп и выменянную картошку.

Это стихотворение — маленький шедевр близкого мне поэта, появившийся в период нелегкой депрессии, — я отношу к моим любимым стихам.

*Декабрь, 1990*

*Перевод* В. Куприянова

# Даниэль Кельман



# *Под солнцем*

Рассказ

*Перевод* А. Кацуры

ПАРОВОЗ пронзительно засвистел, и Крамер проснулся. За окном мелькали темные столбы устремленных к небу тополей, вдали виднелись пальмы, а за ними поблескивала полоска моря. Крамер сидел спиной по ходу поезда: деревья, попадая в его поле зрения, с бешеной скоростью проносились мимо и после этого, замедляя движение, постепенно растворялись в ярком свете. На темно-синем небе ни облачка, огромное солнце карабкалось к зениту; сочными волнами поднимались луга на горизонте; виноградники надежно скрывались за дымкой испарений.

Теперь вагон был почти пуст. Крамер, перед тем, как заснуть, все сетовал на то, что ему не досталось места в тени. Но сейчас совсем другое дело; он поднялся и пересел напротив. Кроме него, в купе был старик — прислонившись головой к стеклу, он храпел. Еще полная женщина, виднелись только ее затылок, волосы и мясистая рука, покоившаяся на подлокотнике кресла, а наискосок — юная блондинка лет одиннадцати-двенадцати в летнем платьице без рукавов. Крамер снова посмотрел в окно. Проезжали деревню: красные крыши, каменные дома, люди на проселочной дороге, старый грузовик перед шлагбаумом. Слегка покосившийся замок, снова тополя и пинии. Вот он, мир Бонвара.

Наконец-то. Свет Бонвара, деревья Бонвара, море Бонвара. Все это Крамер уже давным-давно знал, но только сейчас впервые видел своими глазами. Его переполняли необыкновенные и волнующие чувства, словно сам Бонвар создал мир за окном, и в определенном смысле так оно и

© 1998 Franz Deuticke Verlagsgesellschaft m. b. H., Wien—München
© А. Кацура. Перевод, 2003

было, ведь откуда бы взяться этому великолепию, как не от соприкосновения с его поэтическим гением! Закрываясь от ослепительного солнца, Крамер вытянул руку, но тут же снова опустил — он чуть не закричал от боли. Толстуха завертела головой, девочка укоризненно на него посмотрела. Крамер почувствовал, как лицо заливается краской. От стыда и обиды. Прострел мучил его со вчерашнего дня, с того самого момента, когда, распаковывая в гостинице чемодан, он нагнулся, чтобы достать носки... Проклятье, разве этим страдают не только старики? Крамер осторожно погрузил спину в мягкое кресло.



Почувствовав неприятный запах пота, он поднял голову, увидел форменную фуражку, под ней усы: "Billet, s'il vous plaît!"[1]. Крамер стал искать кошелек, где же он... Ах вот. Протянул человеку в синем билет, тот впился в него глазами на одну, две, три секунды... Крамера охватило беспокойство. Неужели что-то не в порядке?

Да, случилось самое страшное. Контролер покачал головой и что-то сказал по-французски, но Крамер ничего не понял. Теперь даже старик проснулся и таращился на него. Кондуктор сделал недвусмысленное движение рукой: встать! Крамер повиновался и почувствовал слабость в коленях. Кондуктор показал на цифру — нарисованную на стене красную единицу, — потом на билет. Крамер понял и покраснел больше прежнего. Достал портфель из багажной сетки и направился во второй класс. Дверь вагона закрылась за ним, но он все же услышал, как кондуктор что-то сказал и как девочка засмеялась. В следующем вагоне толпились люди и стояла нестерпимая духота — кондиционер не работал. Крамер, скрючившись, пробрался к свободному месту и осторожно опустился на скамейку. Рядом обливался потом мужчина в майке, напротив, не обращая внимания на запретительный значок на стекле, курила пожилая женщина. Скамейка была жесткая, солнце нещадно палило. Крамер закрыл глаза.

По шуршанию бумаги и резкому запаху колбасы он понял — сосед распаковывал обед. От колбасы и сигаретного дыма, от покачивания поезда, жары и общего шума его подташнивало. Крамер снова открыл глаза, стало немного легче. В надежде, что поможет чтение, вытащил из портфеля книгу.

Бонвар. *Жизнь и творчество, описанные Хансом Барингом.* На титульном листе — знаменитый портрет Бонвара, сделанный в 1960 году: белый пиджак, коротко подстриженная окладистая бородка и развевающиеся на ветру волосы. На заднем плане в дымке — группа деревьев и что-то синее вроде реки. Фотограф или кто-то рядом с ним, похоже, привлекли внимание Бонвара: в глазах играли веселые искорки и угадывался неподдельный интерес. На обороте, над самой рекламой, — маленький снимок Баринга: очки и надменная улыбка. Крамер раскрыл книгу; страницы были загнуты, смяты и испещрены тонкими карандашными линиями, восклицательными и вопросительными знаками, разного рода подчеркиваниями.

Глава I. Детство. 1908 год, в семье крупного промышленника, к тому же из гугенотов, рождается сын, Анри Бонвар. Окружающая среда соответствующая. Все, как в романах с пыльных книжных полок: гувернантки, модные курорты, застывшие на фото позы — в матросском костюмчике и с плеткой, позже — домашний учитель.

Глава II. Отрочество. Одинокие лесные прогулки, дружба с деревенскими детьми и с большой собакой. Новые, более дорогие учителя; обу-

1. Билет, пожалуйста (*франц.*).

чение на четырех языках. Смерть матери, первая трещина в безоблачной жизни и первые сомнения относительно незыблемости радужного мира. Затем пансион: длинные коридоры, темные углы, учителя в накрахмаленных воротничках, их морщинистые губы. Преследования одноклассников и насмешки у него за спиной. Кому-то так достается от Бонвара, что тот попадает в больницу. С этого момента Генри начинают уважать. Каникулы: он взрослеет, к нему обращаются на "вы". Отец женится вторично и стесняется сына. Умирает собака. Бонвар начинает дневник.

Глава III. Юность (ох, уж этот Баринг и его претенциозные перекличи с Толстым!). Мировая война в несколько раз умножает семейный капитал. Война заканчивается, а еще через восемь лет заканчивается учеба в школе. Увлечение горничной, и решение отца положить конец истории — бедняжку отправляют далеко-далеко. Фотография: на бледном лице Генри выражение легкого недоумения. Теперь вместо матроски сшитый на заказ костюм. Годы учения в Париже: семестр на юридическом, потом шесть семестров на философском и еще три на математическом. Бонвару двадцать три, он объявляет о помолвке, два месяца спустя помолвка расторгается. Выходит в свет томик рассказов, но остается незамеченным. Потом умирает отец. После продажи фирмы к сыну приходят богатство и независимость. Неожиданно он уезжает из Парижа и поселяется в шведской деревушке. Проводит там почти год, прервав все контакты с миром. В морозную новогоднюю ночь 1932 года, в полном одиночестве и кромешной темноте пытается покончить с собой. Полчаса держит пистолет у виска, нажимает курок, раздается жалкий щелчок — осечка. В эту ночь Бонвар сжигает свои дневники и начинает писать. Конец 1933-го: возвращается в Париж, в его чемодане — первая часть рукописи "Под солнцем".

Глава IV. "Excusez-moi!"[1] Что такое? Крамер поднял голову, перед ним стоял сосед и хотел пройти. Стиснув зубы, Крамер стал медленно поворачиваться боком, чтобы освободить проход. Вдруг поезд резко затормозил, мужчина потерял равновесие и ударил его локтем по голове. "Pardon". Переваливаясь с боку на бок, добрался до двери и вышел. На перроне в последний раз мелькнула его майка, потом он скрылся. Крамер, стараясь держать голову прямо, уставился на жирную от колбасы бумагу, валяющуюся у его ног. Толчок, поезд тронулся, и бумагу отбросило под сиденье. Глава IV.

Трехлетнее путешествие по Африке. Москиты, мухи цеце, зеленые в крапинку змеи. Безумие и смерть среди духоты и влажности. Зловонные трупы животных по краям дороги, разлагающиеся трупы людей на полях, многоголосие джунглей по ночам. Темные волосатые пауки на коричневых стволах; великая искрящаяся преисподняя. Бонвар возвращается в Европу, первая часть "Под солнцем" завершена.

Его по-прежнему не балуют вниманием. Похвалы Томаса Манна, негативные отзывы Дёблина, письмо Джойса с выражением признательности. Знаменитый ответ Бонвара, одно из его самых примечательных теоретических высказываний: "I do not think, Sir, that we can create life out of words; we can only try to reshape its senseless and cruel beauty"[2]. Он женится на секретарше, переезжает в Лозанну и приступает ко второй

1. Простите (*франц.*).
2. Не думаю, сэр, что возможна полноценная жизнь за пределами слова; единственное, что нам дано, — это попытка придать ее бессмысленной и безжалостной красоте новую форму (*англ.*).

части. Фотографии: Бонвар за огромным письменным столом, Бонвар в тропическом шлеме. Потом война.

Работа над главным произведением приостанавливается, выходят романы "Кафедральные соборы Рима" и "Распад". В 1943-м едет в Париж, чтобы, по его собственным словам, осмотреться. За этот поступок его будут попрекать даже много лет спустя. На первых цветных фото: атлетически сложенный, элегантный и жизнерадостный человек. В 1945 году Бонвар переезжает в Нью-Йорк, брак распадается. 1950-й, появляется вторая часть "Под солнцем".

Год рождения Крамера. К Бонвару неожиданно приходит мировая слава, но ни Крамер, сын банковского служащего, ни его родители, ни все то, что составляло крамеровское окружение в уцелевшем от бомбежек немецком городе, об этом не знали. Та же участь постигла и первые интервью Бонвара, оказавшиеся вместе с теми последними, в которых он жестоко высмеивал беспомощных журналистов. И конечно же, сообщения прессы о втором браке, вскоре распавшемся, о его годичной поездке по Китаю и о крупном скандале, вызванном отказом от Нобелевской премии. ("Я не нуждаюсь ни в творческой, ни в финансовой поддержке тех, кто чествует посредственность".) Примерно в десять лет Крамер впервые прочитал о Бонваре; он до сих пор помнил ту газетную заметку, где говорилось о переезде писателя на побережье в Ури. Под ней — плохого качества черно-белая фотография просторной виллы, окруженной пальмами, и каменной террассы, выступающей далеко в темно-серое море.

Поезд затормозил, и тень вокзала неожиданно ворвалась в вагон. Мимо медленно и величаво проплыли закусочная, киоск и синяя вывеска с белой надписью: "Oury-sur-Mer". Крамер захлопнул книгу и положил в портфель. Хватился фотоаппарата. Тот был здесь. Все в порядке. Он взялся за спинку сиденья, и началась настоящая пытка — вставáние.

Было жарко уже в поезде, но на улице оказалось и того хуже. Некоторое время Крамер, чтобы немного привыкнуть, просто стоял. Тихо стоял перед стендом. Знаменитое место, знаменитое по одной-единственной причине. Пожилой носильщик толкал металлическую тележку. А вдруг он?.. Разумеется, большинство местных должны знать Бонвара, по меньшей мере видели его. Вот бы спросить! Но Крамер не говорил по-французски. Носильщик скрылся, унеся с собой все сведения.

Крамеру было пятнадцать, когда он в первый раз прочитал "Под солнцем". Впечатление от книги было ошеломляющим и таким продолжало оставаться до сих пор. Мир вокруг сразу преобразился. Луга, деревья и небо, а вместе с ними машины, улицы и грубые бетонные постройки вдоль обочины — все засветилось новыми красками. Людей, даже самых скучных и бледных, вдруг окутала таинственность. А в избитых словах совсем неожиданно заиграли свет и музыка. В восемнадцать лет Крамер перечитал всего Бонвара. Через год началась учеба в университете, и вышла третья и последняя часть "Под солнцем".

Ее воздействие было грандиозным. Здесь мастерство Бонвара достигло высшего совершенства. Фразы, казалось, разбрасывают вокруг невидимые молнии и искры света. Дочитав до конца, Крамер начал сначала. Однажды телевизионщики застали Бонвара во время прогулки с актрисой, исполнявшей главную роль в экранизированном "Распаде". Вскоре после этого сыграли свадьбу.

Привокзальную стоянку заполонили шикарные лимузины. В центре возвышался щит с планом города и красной стрелкой: Vous êtes ici[1]. Наискосок от стрелки — квадрат, покрытый маленькими крестиками. Крамер посмотрел вокруг и попробовал настроить внутренний компас (если у него, да и вообще у кого-нибудь, таковой имелся) на тот, что был указан на карте. Море там, здесь вокзал, значит, мне... все верно — туда.

Через перекресток (теперь внимательно, по этой стороне), мимо двух новостроек, по каменному проходу, и вот он — берег. Сверкающая голубая поверхность, переходящая где-то далеко в небо. Запах водорослей. Крики чаек, людские голоса и хлюпанье моря. Гигантский отель в стиле Belle Époque, и желтые жалюзи вдоль фасада, за отелем особняки, балконы, террасы и мраморные колонны. По асфальту неуклюже, мотая шеями, расхаживали птицы, на воде красовались два лебедя. Крамер застыл на месте, и на мгновение действительность обрела такую легкость, которая бывает только во сне. Именно это самое место описывалось в знаменитом пассаже из книги "Под солнцем". Крамер знал его наизусть. В каком-то оцепенении он шагнул вперед и почувствовал, что наступил на что-то мягкое. Собачья какашка, черная и мерзкая, прилипла к ботинку, и в ту же секунду Крамер вышел на самое пекло, под палящее солнце, на слишком многолюдную дорожку, ведущую к морю. И как назло ни одного бордюра, чтобы соскоблить вонючую гадость.

Первое письмо Бонвару он написал в семнадцать лет. Желая выразить признательность и благодарность человеку, которому столь многим обязан. Так Крамер объяснял свой порыв. На самом же деле тут скрывалось кое-что еще: он жил в убогом городе, и такой же убогой была его семья и все люди, которых он знал. Они ходили на работу, возвращались домой, говорили об автомобилях, политике и еде. Его школьные приятели разбирали мотоциклы, курили, сначала тайком, потом открыто, и интересовались футболом. Выбирай любое занятие и становись кем угодно, но Крамеру хотелось чего-то совсем иного.

Правда, этим все не ограничивалось. Где-то существовал мир, преисполненный богатства и красоты, в котором жил и создавал свои творения Бонвар. Между этим миром и тем, что окружал Крамера, не было ничего общего; никакой связующей нити. Или? На короткое время письмо могло бы установить эту связь. Крамер таял от восторга, воображая, как Бонвар держит в руках письмо и как его, Крамера, слова перетекают в мысли автора "Под солнцем". Но ответ не приходил. Тем не менее Крамер постоянно о нем думал и даже по прошествии многих месяцев все еще ждал. Ответное письмо так никогда и не пришло. Уже потом из биографии Баринга выяснилось, что у Бонвара работал секретарь, он-то и просматривал приходящую почту, откладывая все второстепенное. Конечно же, письмо, над которым Крамер корпел в течение месяца почти каждую ночь, было отнесено в разряд второстепенных. Бонвар даже его не видел.

Сейчас сворачивать или подальше? Мощеная дорога между стенами домов круто поднималась в гору. Крамер попробовал припомнить схему, но та расплывалась мутным пятном перед его глазами. Лучше всего спросить. Крамер собрался с духом и кинулся прохожему наперерез:

— Excusez-moi!

Это был пожилой господин в белой шляпе и с тростью. Он вскинул брови и посмотрел на Крамера.

1. Вы находитесь здесь (*франц.*).

— Je... Je cherche le cimetière...[1]

— Le cimetière![2] — человек, не скрывая удивления, рассмеялся, потом увидел портфель Крамера и что-то сказал — по всей вероятности, что-то смешное. Крамер вежливо улыбнулся.

Подняв трость, мужчина принялся описывать в воздухе кривую, которая, как ему казалось, указывала путь, но на самом деле плела сложную паутину во все стороны: "налево", "направо" и "прямо". Через несколько фраз Крамер сдался и только молча кивал головой в ожидании, когда же мужчина закончит.

— Avez-vous compris?[3]

— Oui, oui, merci beaucoup![4] — Почему именно во французском у него всегда были большие пробелы? И почему он так и не удосужился их устранить?

— Bien. Bonne journée, monsieur![5]

Довольный собой мужчина бодро зашагал восвояси. Крамер грустно смотрел ему вслед, потом решил свернуть направо. Дорога круто шла в гору, и каждый шаг болью отзывался в спине. Но по крайней мере теперь он находился в тени.

Через четыре года Крамер написал второе письмо, на этот раз тон его был натянуто-деловой и сдержанный. Правда, снова пришлось просидеть три недели, дважды Крамер вскрывал уже запечатанный конверт, чтобы что-то поправить. Речь шла о его дипломной работе: *Символизм и интертекстуальность в творчестве Анри Бонвара.* Ведь мог же он в конце концов обратиться к самому Анри Бонвару за разъяснением некоторых...

Затея казалась нелепой. Всем было известно, что думал Бонвар относительно таких, как Крамер, и всей подобной братии. Он еще давал письменные ответы журналистам, но на вопросы литературоведов не отвечал никогда. Однажды он использовал имя Ильзы Тронкхенфус, всеми уважаемого ученого, посвятившей ему объемистые исследования. В свою единственную пьесу "Седьмой путь" ввел второстепенную героиню под следующей ремаркой: "Тронкхенфус, паразитствующая профессорша". Но обиднее всего стала авторская характеристика: "Небольшого роста, носит слишком широкий вязаный свитер, шепелявит". Так оно и было на самом деле, хотя Бонвар, что достоверно известно, в глаза не видел госпожу Тронкхенфус. Разразился маленький скандал, Тронкхенфус собиралась подать жалобу в суд, но в конце концов передумала.

Крамер тем не менее продолжал надеяться на чудо.

Но чуда не произошло. В университете писали все кому не лень: степенные старики и злорадствующие юнцы в корявых выражениях и на полном серьезе предъявляли *литературе* немыслимые требования, ждали от нее нового слова, которое в их устах имело пресный привкус вроде песочного кекса или хрустящих хлебцев. Вокруг сгущалась гнетущая атмосфера; Крамер поймал себя на том, что сам стал высказываться о *литературе* и разглагольствовать об интертекстуальности и полемических отношениях в том же духе. Одного слова Бонвара, одного знака с другой, светлой стороны оказалось бы достаточно, чтобы развеять весь туман. Но знака никто не подавал. Закончилась учеба, и Крамеру предло-

1. Я... я ищу кладбище... (*франц.*)
2. Кладбище! (*франц.*)
3. Вы поняли? (*франц.*)
4. Да-да, большое спасибо! (*франц.*)
5. Удачи вам, месье! (*франц.*)

жили место ассистента. На это все-таки можно было жить, а что еще оставалось? И он согласился.

Почувствовав, что задыхается, Крамер остановился. Подъем давался намного труднее. Когда пульс успокоился, он побрел дальше. Наконец забрался наверх, откуда открылся грандиозный вид на крыши и море за ними. Где-то внизу находилась вилла Бонвара. Но ее было не видно: для защиты от посторонних еще несколько лет назад вокруг возвели стену с колючей проволокой. Искать не имело смысла. Куда же теперь? Прямо?.. Скорее всего. Чем дальше он удалялся от моря, тем нестерпимее становилась жара. По лицу Крамера бежали маленькие капли пота; рубашка насквозь промокла, брюки прилипли к ногам. Он достал платок и вытер лицо. Ладно, прямо так прямо.

Крамер посмотрел на часы. Прошло почти двадцать минут, а он все брел по той же улице, и ничего не менялось. Те же роскошные дома, те же темно-зеленые заостренные кверху деревья и то же солнце. Ни одной машины, ни одного встречного. Кругом звенящая тишина и покой.

Наконец-то! Человек! Скрюченная фигура посреди улицы спокойно, словно маятник, размахивала метлой. Когда Крамер подошел ближе, человек прервал свое занятие и безучастно посмотрел на него.

— Je cherche le cimetière.

— Le cimetiere? Mais il est là![1] Тощая загорелая рука с траурными ногтями поднялась и показала в ту сторону, откуда он пришел.

— Là? Mais c'est impossible, quelqu'un... Do you speak English? A man told me that it must be this direction![2]

— Cette direction![2] — Рука безжизненно повисла.

Крамер попытался возразить, но потом понял, что это бесполезно. В конце концов дворнику же лучше знать. Значит, в другую сторону. Назад.

Свою дипломную работу он тоже послал Бонвару, даже не надеясь, что ее прочитают. В то время именем Бонвара пестрели все газетные заголовки. Из-за истории с женой-актрисой, которую он вытолкнул из окна третьего этажа. К счастью, прямо под окном находился бассейн, и женщина осталась цела и невредима, но сразу же подала на развод. Бонвар предоставил вести дело своему адвокату, а сам скрылся в неизвестном направлении. Этим во многом и объяснялся небывалый успех "Седьмого пути", лишь через несколько месяцев снятого с репертуара театров. Когда через год Бонвар вернулся из Манчжурии, его сопровождала молодая китаянка, ставшая его четвертой супругой. Появился новый роман — "Гиперболы".

И вызвал недоумение. Это было запутанное и слишком надуманное произведение, напичканное загадками, намеками и странными математическими вычислениями. Книга расходилась плохо; злые критики видели в этом доказательство того, что Бонвар исписался; настроенные более благожелательно говорили о сложности поздних творений мастера. Крамер решил досконально исследовать творчество Бонвара в диссертации. Вскоре ему пришлось сопровождать своего шефа, профессора Эбельвега, на симпозиум в Лондон. Раскрыв "Таймс", Крамер увидел заметку, из которой следовало, что писатель тоже был здесь. После обе-

1. Кладбище? Но оно там! (*франц.*)
2. Там? Но этого не может быть, мне ска... (*франц.*). Вы говорите по-английски? Мне сказали, что нужно в эту сторону! (*англ.*)
3. В ту сторону! (*франц.*)

да Крамер отправился прогуляться, он бродил по улицам мимо красных двухэтажных автобусов и полицейских в шлемах и неожиданно вышел к дому с полукруглой надписью над входом: "The Ritz". Здесь жил Бонвар! Крамер до вечера просидел в кафе на противоположной стороне улицы в ожидании, когда появится Бонвар на пути в отель или из него. Солнце постепенно окрашивало фасад здания в красный цвет. В конце концов Крамер ушел, его ждала работа. Бонвар так и не появился.

Позже он отдал диссертацию в университетскую типографию. Получилась книга с тонким, детальным и точным анализом. Вскоре после этого увидела свет солидная, переведенная на все языки мира биография Бонвара, написанная Хансом Барингом. Еще в магазине, стоя между двумя красочными стопками бестселлеров, Крамер раскрыл приложение и заглянул в библиографию. Семь страниц мелко напечатанного текста. Но его книги — или все же?.. Нет, он не пропустил — его книги там не было. В этот день он отменил семинар и набросал Барингу угрожающее письмо, которое так никогда и не отправил.

Ханс Баринг был в определенном смысле коллегой Крамера, но не совсем. Он учился на кого-то другого, потом работал в газете и написал книжку про Гёте, совсем ненаучную, но встреченную с энтузиазмом. Однажды Крамер видел Баринга на конгрессе, где тот выступал с докладом о Бонваре. С центральным докладом. Ведь что ни говори, а в мире он слыл главным знатоком Бонвара.

Никто толком не знал, как же ему удалось этого добиться, ходили только слухи. По одной из догадок, Баринг отправился вслед за Бонваром в швейцарские горы. Некоторое время как тень ходил за ним, а потом подкупил рабочего, присматривавшего за канатной дорогой, по которой Бонвар каждый день поднимался на ледник. Как-то утром они оказались в одной кабине, вскоре рабочий остановил подъемник. Целых полчаса Баринг, запертый вместе с Бонваром, провисел в воздухе на морозе. Ему стало плохо, и, едва поднявшись наверх, он поехал к врачу. В тот же вечер Бонвар позвонил ему и пригласил на ужин. Не прошло и недели, а Баринг уже считался официальным биографом Бонвара.

С позволения Бонвара он несколько месяцев прожил на его вилле, просматривая документы, письма и неопубликованные заметки. Но ценнее всего были конечно же беседы, записанные и позднее опубликованные. Когда биография уже вышла, он сопровождал чету Бонваров во время их путешествия по Египту и северной Африке. Неприятный человек: коренастый брюнет с усами и навязчивой привычкой постоянно поправлять очки. Чем же он так покорил Бонвара? На конгрессе Крамер внимательно слушал, как Баринг с надменным видом шаг за шагом продвигался по конспекту, читая почти шепотом. Доклад был посредственный, Баринг — несимпатичный.

Шли годы, однообразные и пустые как ноябрьские дни. Библиотека, семинары, дискуссии по теории метрики, полные ошибок контрольные работы, которые надо было править и править. Иногда стаканчик вина с друзьями по работе. С одной из сотрудниц, специалисткой по Адальберту Штифтеру, старше его на пять лет, он даже жил некоторое время. Потом она предпочла ему социолога, и Крамер опять стал холостяком. Профессора уходили на пенсию, их сменяли новые, а в курсе лекций все оставалось по-прежнему. Тем временем Крамеру стукнуло сорок.

А Бонвару восемьдесят. Его показали по телевизору, засняв издалека, тайком. Бонвар медленно прогуливается вдоль берега в Ури: прямая

осанка, одна рука заложена за спину, в другой — толстая коричневая трость. Выходит его последняя книга — сборник коротких зарисовок — простое и незамысловатое описание повседневных вещей.



Бонвар беседует со своим врачом, тот во всех подробностях описывает ему развитие болезни, которая после нескольких обострений быстро и необратимо переходит в тяжелейшую стадию, сопровождаемую адскими болями и приступами тошноты. Вскоре после этого разговора Бонвар отправляет жену на какой-то далекий курорт. Теперь он уже умеет обращаться с оружием, и на этот раз осечки быть не могло. Вечером следующего дня он отпускает прислугу, а потом на террасе под высоким черным небом стреляет себе в голову. Следуют длинные и благоговейные некрологи.

Крамер тоже написал один для журнала гуманитарного факультета. Он упомянул о заслугах Бонвара, о том, что это была незаурядная и сложная личность. В конце обмолвился о решении вдовы, вполне объяснимом, но все же не вызывающем одобрения, — не делать достоянием общественности прощальное письмо мужа. Большая часть статьи состояла из кусков, вырванных из докторской диссертации, над которой он в то время работал.

Крамер довел ее до конца и стал доцентом. Через неделю она должна была выйти небольшим тиражом в одном маленьком, но серьезном журнале. Эта объемная работа охватывала все творчество писателя. Крамер заново перечитал Бонвара, прочувствовал старинную магию, неизменную красоту и силу. Снова ощутил непререкаемый авторитет человека, повлиявшего на всю его жизнь.

А потом возник вопрос о названии. Была ли это его идея или редактора? Теперь уж без разницы — оно понравилось им обоим: "Могила Бонвара". Звучало как дань памяти и одновременно подразумевалось, что Бонвар и его творения принадлежат прошлому. Конечно желательно, чтобы в названии содержалась какая-нибудь полемическая колкость, но и такое вполне подходило. Потом выяснилось нечто совсем уж странное: нигде, ни в одной книге, ни в одном архиве не удавалось раздобыть фотографию надгробия Бонвара. Они почти были готовы оставить эту затею, но на помощь пришел случай. Профессора Эбельвега пригласили на конгресс в Париж, и он взял с собой Крамера. Всего каких-нибудь пара часов от Ури, почему бы не съездить и не сфотографировать самому?

Одна только мысль о том, что он окажется у могилы Бонвара, приводила Крамера в сильное возбуждение. В конце концов он согласился. Бонвар, сам Бонвар лежал там, и уж на этот раз ему не удастся держаться на расстоянии. Да, в определенном смысле это означало победу. Он поедет туда и сделает фотографии, и уже никто не сможет ему помешать. Там, где жизнь Бонвара пришла к своему завершению. Да. Чёрт возьми, да.

Неожиданно блеснул металлический шпиль колокольни. Несмотря на коварную боль в спине, постепенно подбиравшуюся к шее и вискам, Крамер ускорил шаг. Пот стекал по лицу, веки слипались, и Крамер снова и снова вытирал глаза и лоб. Несколько раз он присаживался для отдыха: два раза на скамейку, а однажды прямо на асфальт. Скоро жажда станет невыносимой. Неужели здесь негде попить? Его окружали только виллы, деревья, чистота и недоступная прохлада неба. Один лишь раз навстречу попались люди: мужчина и женщина — оба молоды, прекрасно одеты и не тронуты жарой. Из садов за изгородью доносились голо-

са и плеск воды. И никакой тени вокруг. Но теперь-то он уже был у цели. При церкви обязательно есть кладбище.

И оно действительно там было. Высокий металлический забор с наконечниками копий наверху. За ним — выстроенные, словно к молчаливому параду, плиты и кресты. Надо надеяться, открыто... Да, дверца легко подалась, даже не скрипнув.

На скамейке неподвижно сидела пожилая дама, рядом стоял мужчина с граблями и, что-то насвистывая, рыхлил землю на свежей могиле. На мгновение мелодия показалась Крамеру знакомой, но потом память ему изменила, и мелодия снова зазвучала отстраненно. Только этот свист нарушал тишину. Крамер двигался между рядами надгробий, гравий скрипел под ногами, и ящерица, гревшаяся на теплом камне, в испуге ушмыгнула. Вдали блестело море.

Могила должна быть в этом месте. Картонная табличка с датами: 1985—1990. Теперь главное — не торопиться. Смотреть внимательно! Надгробия из сверкающего мрамора и матового гранита, кресты из дерева и белого камня, более старые покрыты мхом и серым лишайником. И надписи. Имена, имена, когда-то кому-то принадлежавшие и наполненные жизнью; а теперь только звуки, случайные сочетания букв, неразборчивые и бессмысленные. Может, здесь? Нет. Тогда, наверное... Тоже ничего. Или там?.. Ряды могил впереди него редели, и вот уже оставалось только четыре надгробия, три, два... Тогда наверняка последняя... Он с трудом разобрал имя.

Это был не Бонвар.

Но возможно ли? Он точно ничего не пропустил.

Крамер вздохнул. Мужчина с граблями стоял теперь всего лишь в нескольких метрах от него.

— Excusez-moi!

Мужчина с граблями обернулся. Его костлявое лицо было наполовину скрыто козырьком кепки.

— Exucusez-moi! Je... Je cherche... Où est Henri Bonvard?[1]

Глаза мужчины округлились, он в недоумении смотрел на Крамера, прошла секунда, и вдруг он прищурился, улыбка пробежала по его лицу, он резко выпрямился и снял кепку.

— L'écrivain?[2]

Крамер в изумлении затряс головой.

— Mais oui, Monsieur Bonvard, je l'ai très bien connu, il était un homme très gentil et poli, et il causait souvent avec moi... Mais il n'est pas ici. Vous le trouvrez à Ville Bleue[3].

Виль-Блё?.. Ах да, это предместье Ури, поезд там даже не остановился, всего лишь несколько домов.

— C'est un beau cimetière, et le tombeau de monsieur Bonvard, c'est très grand et chèr, un pierre avec une petite statue d'or...[4]

Служитель с жаром тараторил, он был счастлив хоть с кем-то поделиться сведениями. Крамер почти ничего не понимал, но суть уловил: Бонвар был в Виль-Блё. Не здесь.

1. Простите! Я... Я ищу... Где мне найти Анри Бонвара? (*франц.*)
2. Писателя? (*франц.*)
3. Да, конечно, месье Бонвар. Я очень хорошо знал его, это был очень милый и вежливый человек, мы часто болтали друг с другом... Но здесь его нет. Он в Виль-Блё (*франц.*).
4. Чудесное кладбище, у месье Бонвара большая и роскошная могила с маленькой золотой статуей на надгробии... (*франц.*)

Крамер пробормотал "спасибо", повернулся и пошел прочь. За его спиной служитель все еще продолжал говорить; его голос сопровождал Крамера до самых ворот. Значит, даже служитель знал Бонвара, *на редкость очаровательного и порядочного человека.* Крамер зевнул, он чувствовал сильную слабость. Тем временем день перевалил за половину, а ведь еще предстояло проделать пятичасовой обратный путь, сегодня вечером доклад Эбельвега, и опаздывать нельзя ни в коем случае. Завтра до обеда будет открытая дисскуссия, а вечером они уезжают домой. Могилу Бонвара нужно найти сегодня, и как можно быстрее.

Обратный путь казался бесконечным. С каждой минутой жара становилась все нестерпимее, к прострелу добавилась пульсирующая головная боль. Солнце светило невыносимо ярко, а солнцезащитные очки он забыл. Один раз земля покачнулась, Крамер прислонился к забору, закрыл глаза и подождал, пока все пройдет. Попробовал глубоко дышать, но воздух напоминал раскаленную вязкую массу. Через некоторое время он почувствовал себя лучше. Ласточка приземлилась перед ним и растерянно подняла головку, потом увидела море, обрадовалась и упорхнула.

Неужели! Магазин, а перед ним реклама кока-колы. Крамер купил банку, неумело взялся за колечко, в конце концов справился и стал пить. На мгновение он ощутил совершенную пустоту и блаженство.

Вот уже и вокзал. *Отправление:* пригородный поезд через пятнадцать минут, прибывает в Виль-Блё еще через десять. Крамер озабоченно посмотрел на часы; да, он вполне успевал к вечеру в Париж. С перрона, если смотреть поверх пальмовых макушек, открывался вид на воду. Там с визгом купались ребятишки, за ними с безопасного расстояния наблюдала водоплавающая птица с экзотическим переливающимся оперением. На противоположной платформе женщина читала арабскую газету, где узелками завязывались черные значки.

Подошел поезд. Не успел Крамер занять место, как поезд тронулся, словно предназначался только для него. И в самом деле купе было пусто. Свет приветливо разливался по голубой обивке кресел. Даже кондиционер работал.

Высокий худощавый проводник любезно приветствовал его. Крамер улыбнулся в ответ.

— Un billet pour Ville Bleue, aller et retour, s'il vous plaît[1].

Проводник озабоченно посмотрел на него сверху вниз и покачал головой.

— Ville Bleue? Mais ce train ne s'arrête pas à Ville Bleue[2].

— Pardon?[3]

— C'est le train pour Paris. Pas le train régional[4].

Париж? До Парижа? Ужас охватил Крамера, словно от сильного электрического разряда. Поезд вез его обратно. Это был не тот поезд!

И что теперь? Сойти на первой же станции и поехать в Ури? Невозможно, он не мог ждать целый час, на это уже не было времени. Вдруг ему на глаза попался аварийный тормоз, маленькая коробочка с красным рычагом, просто потянуть и... Нет, это исключено. Он посмотрел на кондуктора, он знал, что никогда не отважится на подобное.

1. Один билет до Виль-Блё и обратно, пожалуйста (*франц.*).
2. Виль-Блё? Но там нет остановки (*франц.*).
3. Простите? (*франц.*)
4. Это поезд на Париж. Это не пригородный (*франц.*).

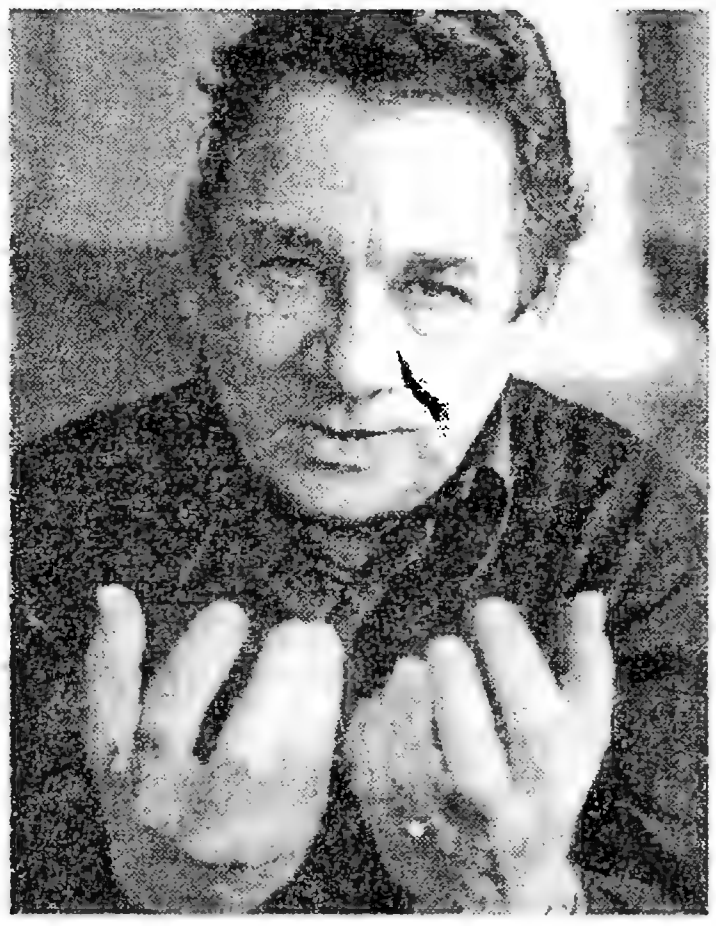
Мимо пролетела группа домов, вокзал, мелькнула надпись *Ville Bl...* и снова дома, маленькая церковь, и потом больше ничего. Пальмы, пинии, море.

Вдруг Крамер почувствовал, как сильно устал. Все было кончено. Бонвар победил. В который раз. Крамер стал думать о том, что проходит жизнь, о двух написанных им книжках, которые никого не интересовали, и о времени, проведенном в аудиториях. Одни жили на виллах, создавали шедевры и были всеми любимы. Теперь он знал: им, а не ему уготовано место под солнцем. Собачьи какашки на берегу, жара, боль в спине. Красота предназначалась другим. И нет иного пути.

Проводник озадаченно чесал затылок. Следовало бы потребовать билет, но он не решался. Вместо этого он тихо и тактично удалился, делая маленькие шаги, словно боялся споткнуться. Ему еще не доводилось попадать в подобную ситуацию, здесь даже инструкция была бессильна. Разве там говорится, как вести себя с плачущими пассажирами? Проводник осторожно закрыл дверь купе.

Солнце расплывалось, превращаясь в облако из колючего света; ослепленный Крамер закрыл глаза. Через некоторое время он уже справился с рыданиями. Где-то внизу отбивали такт колеса, а наверху разносился высокий, печальный свисток локомотива. За окном во всей своей красе вспыхивал пейзаж. И серебрилось море.

# Карл Любомирский



## *Стихи*

*Вступление и перевод* Е. Соколовой

**Лирическая карта мира**

Карл Любомирский, австрийский поэт польского происхождения, много лет живущий в Италии и пишущий по-немецки, известен российскому читателю. Его краткие, емкие, сгущенные до состояния квинтэссенции стихотворения, похожие то ли на афоризмы, то ли на философские постулаты, не претендующие, правда, на объективность, публиковались уже в журнале "Иностранная литература" (1995, № 8), выходили отдельной книгой.

Весной 2001 года Карл впервые приехал в Россию. Он побывал в Петербурге, в Новгороде Великом и в Москве, где посетил редакцию "Иностранной литературы" и поделился своими представлениями о литературе, о современном мире, о месте в нем человека ("ИЛ", 2002, № 2). Поэт признался, что любит путешествовать, очень ценит жанр путевых заметок, в котором работает и сам, — пока, правда, что называется, "в стол".

Путевые заметки нередко принимают форму поэтических зарисовок, так или иначе связанных с "географией мира": Польша, Италия, Греция, Соединенные Штаты.

В последнее время "география мира" стала стремительно меняться. Тот Манхэттен, о котором писал Карл Любомирский, больше не существует, — Нью-Йорк стал иным. И во всем мире географические границы постепенно отступают перед совсем другими границами — между Добром и Злом, между жизнью и смертью.

Что ж, нечто похожее поэт предчувствовал всегда...

© 2000 Connect Edizioni SRL
© Е. Соколова. Вступление, перевод, 2003

# *Из книги "Пропилеи ночи"*

## *Польша*

Не знаю, что ты такое, моя земля,
но в тебе, быть может, покоятся те,
кто боится расти.
Что станется с королями,
скакавшими по тебе верхом,
и с носившими их
жеребцами

## *Гонконг*

Лето чрезмерно
осень —
уязвимость...
напрасно все: птичья трель
куст сирени
закрылся подсолнух

## *Китайцы*

С улыбкой проживают свою беду
до конца
с улыбкой

## *Украина*

Я видел твое лицо, Украина,
оно все в рубцах
тебе было больно, очень больно
только краски твои
улыбаются гостю, который не знает,
из каких они темных глубин прорастают
как из почвы
не удастся утешить тебя, Украина,
можно только петь твои песни
и помнить
хороших людей

# *Из неопубликованного*

## *Дом Анны Ахматовой*

Я был в твоем доме, Анна Ахматова,
в доме,
где лучи солнца в оконном стекле преломлялись,
в доме,
где птица — ты, —
пролетев над морем страданий
набиралась сил, чтобы
поставить точку

## *НьюЙорк*
## *11.09.01*

Все разбилось
что могло быть разбито
башни предстали алтарями
Ифигенией Статуя свободы
в море под слоем пепла

Трудно
в плащанице печали
не прийти в ярость
труднее только
лик человеческий
сохранить

# Ингеборг Бахман
## *Что истинно. Слова*

Переводить — важнейшая человеческая обязанность, даже если об этом ничего не говорится в Хартии о правах человека.

Ингеборг Бахман

Австрийскую писательницу Ингеборг Бахман (1926—1973), которая училась в Австрии, писала в Германии, любила в Швейцарии, а жила и умерла в Италии, в России знают незаслуженно мало. Особенно это касается стихов: оба ее прижизненных поэтических сборника переведены лишь частично.

Первая заметная подборка ее стихотворений с предисловием А. Карельского появилась в России вскоре после смерти писательницы, в марте 1974 г., за ней последовала книга прозы "Три дороги к озеру" (М., 1976), а еще через пять лет — томик "Избранное" (М., 1981), явившийся, по сути, несколько расширенным пере-

© Е. Соколова. Вступление, 2003

изданием предыдущей книги. В том же году в антологии "Австрийская новелла XX века" (М., 1981) был опубликован программный рассказ "Все" из сборника "Тридцатый год".

Во второй половине 1990-х годов сперва в странах немецкого языка, а потом

и у нас возникла новая волна интереса к этой писательнице. В Германии вышло четырехтомное академическое издание[1], породившее целый шквал литературно-критических публикаций и научных работ, посвященных ее творчеству, появились "Последние, неопубликованные стихотворения", оказавшиеся, правда, вариантами известных ранее четырех поздних стихотворений Бахман, а в 2000 году вышла книга незаконченных стихотворений, черновиков и набросков из наследия писательницы "Я не знаю лучшего мира", ставшая настоящим откровением. Ниже, в тексте вступления, мы приводим четыре стихотворения из этой книги в русском переводе.

В России тем временем были опубликованы не переводившиеся ранее рассказы из сборника "Тридцатый год" и ранний рассказ "Паром", через два года в блестящем переводе С. Шлапоберской вышел наконец роман "Малина" (М., 1998) — важнейшее завершенное произведение писательницы, еще через два года увидел свет сборник стихотворений И. Бахман "Воистину" (М., 2000). Ни ее многочисленные эссе о литературе и философии, об известных предшественниках и современниках, ни радиопьесы, имевшие в свое время огромный успех, на русский язык до сих пор не переведены.

Если верно, как утверждают некоторые поэты, что стихотворению прежде всего присуще стремление быть красивым, то у читателя, желающего разобраться, о чем, собственно, идет в нем речь, возникают почти непреодолимые трудности. Ведь красота не поддается определению и смысл, скрытый за нею, не более, чем фантом. Красота субъективна и ситуативна, к ней не применимы рациональные критерии. Красота даже несколько подозрительна — особенно для тех, кто ожидает от художественного текста глубины и аутентичности.

Правдивость стихотворения и его возможная "красивость" в XX веке вступают друг с другом в открытое противоречие. Собственно говоря, поэты ощущали этот конфликт давно — начиная еще с Бодлера. Однако в современной поэзии отказ от красоты так явно намерен, даже демонстративен, что невольно возникает подозрение: не стоит ли за ним по-прежнему стремление стихотворения быть красивым?

Очень насыщенная в философском плане лирика Ингеборг Бахман чрезвычайно интересна и с точки зрения соотношения в ней правдивости и красоты. Вопрос о том, что есть истина, какова связь сути вещей с языком, для этой писательницы всегда стоял чрезвычайно остро — с юности и до последних дней жизни. При этом в поэзии ей всегда была свойственна глубокая искренность и предельная откровенность. Как, например, вот в этом, до недавнего времени неизвестном, очень интимном стихотворении:

Я всегда любила запахи: запах пота,
утренних испарений, экскрементов даже,
тела после долгой тряски в поезде, в постели.

Только мой запах проклят, я насквозь
проспиртована в прочном доме с достатком.
Ванна три раза в день, как обычно. Но в конце
месяца от меня шарахаются, как от трупа.



1. "Todesarten"-Projekt. Krit. Ausg. 4 Bd. München, Zürich, 1995.

Сожалею о многом, но жальче всего мне — запах.
Жальче всего, что мой запах стал противен.
Так рождается ненависть; месть, проклятье рождаются так.

*Запахи*



Этому стихотворению Бахман совершенно сознательно запретила быть красивым. Ведь излишняя красивость просто-напросто перечеркнула бы его смысл.

Ингеборг Бахман "не разрешала" быть красивыми многим другим своим стихотворениям. Среди них и программное стихотворение "Слова" (1961), представленное ниже в зеркале русских переводов. В одном из интервью писательница как-то призналась: "Я написала "Слова" после того, как в течение пяти лет не позволяла себе писать стихи, не хотела больше этого делать, запретила себе создавать такие конструкции, которые принято считать стихами. Я ничего не имею против стихов, но представьте себе, что человека охватывает вдруг протест против каждой метафоры, каждого созвучия, каждого ограничения, необходимого при соединении разных слов, против этого абсолютно счастливого истечения слов и образов. Хочется их схватить, удержать, еще раз перепроверить, что за ними стоит, что они есть и чем должны быть на самом деле"[1].

Что же получается? Признанная критиками одной из основательниц немецкоязычной поэзии послевоенного времени, Ингеборг Бахман, автор двух очень высоко оцененных стихотворных сборников — молодая, перспективная, любимая слушателями и читателями поэтесса, — несколько лет "не позволяла себе писать стихи"? Несмотря на то, что по-прежнему чувствовала себя прежде всего поэтом? Почему? Что происходило в ее жизни и творчестве в этот период, как менялось мировосприятие? И что было дальше?

В 1955 году началась ее совместная жизнь с австрийским композитором Хансом Вернером Хенце. "Семейная идиллия" продолжалась около пяти лет: он писал музыку к ее радиопьесам ("Цикады", 1955), она — стихи к его балету-пантомиме ("Идиот", 1960). А в 1961 году Бахман встретила Макса Фриша. Завязались очень бурные и очень непростые отношения, осложненные постоянными метаниями из Рима в Цюрих и обратно, соперничеством двух литературных талантов. Обо всем этом Фриш потом рассказал в своей широко известной повести "Монток".

В 1955 году она написала значительную часть стихотворений, составивших второй сборник "Призыв к Большой Медведице" (1956). Бахман верила еще, что язык — не всякий, конечно, но хотя бы "идеальный" — способен отражать духовное, чувственное адекватно, ведь Слово имеет божественную природу... А в 1961 году вышел сборник ее рассказов "Тридцатый год". И в каждом рассказе безжалостно развенчивался тот или иной "идеальный" язык — "язык природы" (в рассказе "Все"), "язык любви" (в рассказе "Шаг к Гоморре"), "иноприродный" язык "вечной женственности" (в рассказе "Ундина уходит"). Раз и навсегда выявлялась несостоятельность их всех в противостоянии языку реальному, отныне безоговорочно отождествляемому писательницей с "языком насилия". Период "языкового утопизма" у Ингеборг Бахман прошел безвозвратно.

В 1955 году было написано стихотворение "Что истинно" (или "Истина", как оно называется в переводе И. Грицковой). Очень красивое стихотворение. Настолько, что переводчикам пришлось бороться с соблазном пойти у красивости на поводу... Но красота в нем не главное: на самом деле это глубокое, трагическое и типичное для Ингеборг Бахман стихотворение. Просто стремление к красоте, к гармонии не окончательно чуждо мировосприятию писательницы, которой не исполнилось и тридцати, — ей еще так хочется во что-то верить.

1. Bachmann, Ingeborg. Wir müssen wahre Sätze finden: Gespräche und Interviews. München, Zürich, Piper, 1983. S. 25.

В центре стихотворения отчаянные поиски духовной опоры в мире, полном насилия. Жизнь человеческая предстает непрерывными поисками истины, смысла. И каждая из шести строф стихотворения может быть прочитана как очередное испытание на этом пути. Осознание человеком смерти — в первой строфе и вытекающее из него противоборство со временем — во второй; мирная жизнь, повседневность в контрасте со славой земной — в третьей строфе и война, битва (возможно, за эти самые земные блага), которая неизбежно оборачивается самоуничтожением, — в четвертой; всепоглощающая человеческая любовь, которая порождает лишь страдание, — в пятой и, наконец, духовный рост, требующий невероятного напряжения сил, — в шестой. Путь этот долог и труден; испытания неумолимо сменяют друг друга. И все же здесь слышны еще отзвуки "языковых надежд", близких писательнице, ведь слово (и только слово) имеет шанс воздействовать на "неправильный" человеческий мир:

Суть в том лишь, что взрастет травой, пробьется
былинкою сквозь горы слов пустых,
и через год ли, век ли — отзовется...

В стремлении уловить подлинные чувства Бахман предпринимала попытки одновременно называть их крайние проявления, друг другу противоположные. Отказавшись от намерения "выразить истину" впрямую, она пыталась при помощи слов пробиться сквозь дебри смыслов к границе истины. Противоположные по смыслу образы (смерть и жизнь, время и вечность в первых двух строфах стихотворения; мир и война, слава и обыденность в двух последующих; любовь и смерть в последних) как бы "тянут за собой" все возможные промежуточные состояния, вовлекая их в сложные контекстуальные взаимоотношения (смерть — сон — надгробный камень — росток) и формируя тем самым что-то похожее на натянутую струну: непрерывный спектр промежуточных значений. Струна колеблется, ибо нюансы значений заставляют ее отклоняться в разные стороны, "задевая" область невыразимого, иррационального, где, по убеждению автора, только и может находиться "истина". Похоже, вопреки глубокой трагичности тона в этом стихотворении Ингеборг Бахман еще надеялась, что "слово поэта" в лучших своих проявлениях способно нести человеку истину.

А в 1961 году с "надеждами" было покончено. Родилось стихотворение "Слова", в котором Бахман, по сути, объявила: стихи отныне не для нее. Ее нынешнее отношение к языку несовместимо с поэзией.

На самом деле главная тема этого стихотворения — взаимоотношения поэта со словом и слова с миром — совсем не нова. Хотя, разумеется, писательница выражала особенности своих личных, весьма противоречивых и драматичных взаимоотношений со словом. Она ведь всегда верила, что каждый раз, когда слова произносятся, они участвуют в формировании некоей данности, реальности, мира. Слово отождествлялось ею с Творцом.

Слово
непременно
потянет за собой слова другие,
а фраза — фразу.
Это хочет мир
сказаться,
раз и навсегда
остаться здесь.

На первый взгляд ничего не изменилось: в приведенных строчках писательница по-прежнему констатирует это отождествление. Однако уже следующая

строка, обращенная к словам, вступает в резкое противоречие с такой интерпретацией. "Его не говорите" — звучит страстный призыв к словам "не произносить" этот мир. "Ибо он так плох, что не заслуживает права на существование, — читаем мы между строк. — А слова изменить его, к сожалению, не в силах..." И вот поэтический вывод:



Не давать показаний, молчать, жить,
предписанной жизнью жить,
солнце, не несущее дням ничего,
даже солнце не беспокоить, никого
не беспокоить.
Тяжкий труд — ни на что не надеяться и ничего не бояться.

*Не давать показаний*

Самое невыносимое в мире — смерть. И значит, слово, называющее смерть, впускающее ее тем самым в мир, нужно от творения отстранить. Тогда в мире не будет и самой смерти. Однако Бахман осознает, что невозможно реализовать подобное требование, — оттого слово как категория Сотворения мира ставится ею под сомнение. Разочарование в языке у нее принимает форму разочарования в жизни:

Мертво все. Все мертво.
А в моей серебряной корзинке для хлеба
яблоко блестит отравленной своей кожурой,
которую уже не срезать.

У меня на тарелках — кто из них ест? —
должно быть, остался обрывок
веревки, меня скрутившей.
У меня в постели — кто в ней спит? —
по ночам шелестят еще, верно, строчки,
взращенные мною.

Мало осталось! Только
вдали от себя все еще умираю в предметах —
скажем, в лампе, включая
свет, словно хочу сказать:

кровь, все кровь, много крови
вытекло. Кровь повсюду. Убийцы.

*Тихыо и нежно*

Ничего удивительного, что в начале 1960-х годов Бахман-поэт умолкает. До самой своей смерти, последовавшей через двенадцать лет, она опубликовала лишь шесть стихотворений. И написала немногим больше.

Лишь в 1971 году Бахман возвращается в литературу. Возвращается зрелым прозаиком, но, к сожалению, ненадолго. Касаясь своего романа "Малина", задуманного как часть цикла под общим названием "Виды смерти", Бахман писала своему издателю, Карлу Пиперу, что готовит нечто подобное "Человеческой комедии" Бальзака, несколько романов о жизни современного австрийского общества, которое представляется ей "величайшей ареной убийств": люди не умирают своей смертью — их медленно, планомерно умерщвляют. Однако грандиозный замысел

не был реализован: второй роман цикла, "Случай Франсы", остался незавершенным, третий, "Реквием по Фанни Гольдман", дошел до нас лишь в набросках.

В 1972 году вышел второй сборник ее рассказов — "Синхронно", а в октябре 1973 года Бахман умерла в больнице от ожогов, полученных во время пожара в ее римской квартире.

Возник ли пожар случайно? Неизвестно. Известно лишь, что пройдя все круги своего собственного ада, Ингеборг Бахман не очень-то верила, что возрождение возможно:

Новая жизнь — у кого, только не у меня,
у кого она будет? Монотонный
повтор детективного сериала —
многие смотрят его, но тому,
кто в центре событий, в самом центре,
новая жизнь не светит, это уж точно.

*Новая жизнь*

Елизавета Соколова

## *Was wahr ist*

Was wahr ist, streut nicht Sand in deine Augen,
was wahr ist, bitten Schlaf und Tod dir ab
als eingefleischt, von jedem Schmerz beraten,
was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab.

Was wahr ist, so entsunken, so verwaschen
in Keim und Blatt, im faulen Zungenbett
ein Jahr und noch ein Jahr und alle Jahre –
was wahr ist, schafft nicht Zeit, es macht sie wett.

Was wahr ist, zieht der Erde einen Scheitel,
kämmt Traum und Kranz und die Bestellung aus,
es schwillt sein Kamm und voll gerauften Früchten
schlägt es in dich und trinkt dich gänzlich aus.

Was wahr ist, unterbleibt nicht bis zum Raubzug,
bei dem es dir vielleicht ums Ganze geht.
Du bist sein Raub beim Aufbruch deiner Wunden;
nichts überfällt dich, was dich nicht verrät.

Es kommt der Mond mit den vergällten Krügen.
So trink dein Maß. Es sinkt die bittre Nacht.
Der Abschaum flockt den Tauben ins Gefieder,
wird nicht ein Zweig in Sicherheit gebracht.

Du haftest in der Welt, beschwert von Ketten,
doch treibt, was wahr ist, Sprünge in die Wand.
Du wachst und siehst im Dunkeln nach dem Rechten,
dem unbekannten Ausgang zugewandt.

*1955*

## *Истина*[1]

Не три глаза! Пусть истина незрима —
Держи ответ, коль перед ней предстал.
Она восстанет из огня и дыма
И в пыль сотрет гранитный пьедестал.

Так постепенно прорастает семя,
в палящий зной сухой асфальт пробив.
Она придет и оправдает время,
Собой твои утраты искупив.

Ей нипочем пустая позолота,
Венки из лести, мишура хвальбы.
Она пройдет сквозь крепкие ворота,
Переиначит ход твоей судьбы.

И, словно рана, изведет, изгложет,
Иссушит, изопьет тебя до дна.
И все твои сомненья уничтожит,
Одним своим значением сильна.

Неверный свет реклам. Холодный город.
На площадях широких — ни души.
В дыму и гари задохнулся голубь.
Остановись, подумай! Не спеши!

Не сосчитать багровых кровоточин.
Они давно горят в твоей груди.
Пусть этот мир обманчив и порочен,
Постигни правду, истину найди!

*Перевод* Ирины Грицковой

## *Что истинно*

Что истинно, то глаз не застит пылью,
того не унесут ни сон, ни смерть,
то не уйдет и, пробуждаясь с болью,
разверзнет над тобой земную твердь.

Что истинно, то, плотью став и кровью,
устам умершим смолкнуть не дает
и в песне год за годом, род за родом
не знает времени, но временем живет.

Что истинно, грядет, подобно плугу,
взрыхляя землю, сея и любя,
и зреющие в ней плоды и злаки,
тобой питаясь, чествуют тебя.

1. Опубликовано в "ИЛ", 1974, № 3.

© Е. Колесов. Перевод, 2003

Что истинно, не терпит грубой силы —
Отдай! Ах так! Ну что ж, твоя взяла.
Не раскрывай же раненую душу:
кто верный друг, тот бьет из-за угла.

Взошла луна с кувшином черной желчи.
Испей свое. На мир упала ночь.
Идет гроза. У птиц трепещут перья.
Дрожит листва, стремясь умчаться прочь.

Пока ты здесь, ты скована печалью,
Но то, что истинно, то даст тебе найти
дорогу к свету, новые надежды
неведомому богу посвятив.

*Перевод* Евгения Колесова

## В *чем суть*

Суть в том лишь, что тебя не ослепляет,
суть в том лишь, что простят и смерть, и ночь,
твоим сочтя, что болью закаляет,
суть в том лишь, что надгробье сбросит прочь.

Суть в том лишь, что травой взрастет, пробьется
былинкою сквозь горы слов пустых,
и через год ли, век ли — отзовется:
суть в том лишь, что со временем на "ты".

Суть в том лишь, что, возделывая пашню,
все соберет — мечту, судьбу, венец —
и с гордостью тебе предложит жатву —
швырнет, опустошив тебя вконец.

Суть только в том, что выстоит в сраженьи,
в котором сам, возможно, ты падешь,
разбередив полученные раны;
не то тебя сразит, чего ты ждешь.

Взойдет луна, наполнит ядом кубки.
Свое испей. Идет лихая ночь.
О птичьи перья клочья пены рвутся,
и никому уже нельзя помочь.

Ты в этом мире, скованный цепями,
но то, в чем суть, толкает в стену лбом.
Растешь и ищешь проблеск там, над нами,
к неведомому выходу лицом.

*Перевод* Елизаветы Соколовой

© Е. Соколова. Перевод, 2003

# I*hr worte*

Für Nelly Sachs, die Freundin, die Dichterin,
in Verehrung



Ihr Worte, auf, mir nach!,
und sind wir auch schon weiter,
zu weit gegangen, geht's noch einmal
weiter, zu keinem Ende geht's.

Es hellt nicht auf.

Das Wort
wird doch nur
andre Worte nach sich ziehn,
Satz den Satz.
So möchte Welt,
endgültig,
sich aufdrängen,
schon gesagt sein.
Sagt sie nicht.

Worte, mir nach,
daß nicht endgültig wird –
nicht diese Wortbegier
und Spruch auf Widerspruch!

Laßt eine Weile jetzt
keins der Gefühle sprechen,
den Muskel Herz
sich anders üben.

Laßt, sag ich, la?t.

Ins höchste Ohr nicht,
nichts, sag ich, geflöstert,
zum Tod fall dir nichts ein,
laß, und mir nach, nicht mild
noch bitterlich,
nicht trostreich,
ohne Trost
bezeichnend nicht,
so auch nicht zeichenlos –

Und nur nicht dies: das Bild
im Staubgespinst, leeres Geroll
von Silben, Sterbenswörter.

Kein Sterbenswort,
Ihr Worte!

*1961*

# *Слова мои*[1]

Слова мои, за мной!
И если даже с вами
зашла я далеко — еще шажок,
еще, еще шажок, ведь бесконечен
наш путь.

Ничто не прояснилось.

Ведь слово каждое
лишь повлечет
слова другие за собой,
а фраза — фразу.
Вот так наш мир,
навязываясь нам,
прикинуться стремится
завершенным
и высказанным до конца.
Но вы не поддавайтесь, вы молчите!

За мной, слова!
Ничто не завершилось.
Есть жажда слова, одержимость словом
и речь — ответом на противоречье.

И пусть — хотя б на миг —
умолкнут чувства,
и пусть на лад иной сожмется мускул,
который сердцем мы зовем.

Пусть, говорю я, пусть.

Да не найдется у тебя ни слова,
чтобы сказать о смерти —
до и после,
ни нежностей, ни горестей,
ни утешений.
Ты, слово, утешительным не будь,
но и не будь бесстрастным.

И главное — не эта паучья пряжа вымысла, раскат
слогов опустошенных, рокот
слов мертвенных, увядших слов.

Тогда уж лучше —
ни слова,
слова мои!

*Перевод* Александра Голембы

1. Опубликовано в "ИЛ", 1974, № 3.

# *Слова*[1]

Слова, за мной!
И даже если мы с вами слишком далеко зашли,
все же вперед, за мной, об остановке не может быть речи.



Светлее не стало.

Слово
за словом,
фраза
за фразой –
мир
хочет сказаться,
хочет быть выражен
до конца.
И этому нет конца.

За мной, слова, чтобы вы не иссякли
– но только не жадным взахлеб потоком,
и не формулой краткой,
скрывающей противоречие.

Пусть какое-то время
не выражаются чувства,
пусть душевная мышца
набирается сил.

Только чтобы ни слова,
говорю вам, до горнего слуха ни слова,
шепчу вам, о смерти ни слова
не донеслось, слова, – и за мной!

Чтобы не слишком сладко,
чтобы не слишком горько,
не утешительно,
но и не без утешения, чтобы печатью отмечено,
но чтоб не узор из знаков;

и чтоб ни за что на свете –
запаутиненный образ, грохот
пустых словес, смертельные фразы.

Ни одного смертельного слова,
Слова!

*Перевод* Ольги Татариновой

1. Опубликовано в кн.: "Золотое сечение". М., "Радуга", 1988.

# *Слова*[1]

Нелли Закс, другу, поэту, с уважением[2]

Слова, подъем, за мной,
ведь мы гораздо дальше,
мы слишком далеко зашли, и дальше
еще идет все это, нет конца.

Нет просветленья.

Слово
непременно
потянет за собой слова другие,
а фраза — фразу.
Это хочет мир
Сказаться,
раз и навсегда
остаться здесь.
Его не говорите.

За мной, слова,
и пусть не насовсем,
не эта жажда слов,
не дух противоречия!

Пусть чувства замолчат
хотя бы ненадолго,
а сердце
тренируется иначе.

Пусть, говорю я, пусть.

Но только высший слух
пускай ни слог, ни слово не тревожат,
о смерти слово, слышишь, не тревожат,
за мной, я требую, не сладостно —
с горчинкой,
не жалостливо —
жалости не надо,
без ярлыков,
однако же со смыслом,

еще не все: опутана картина
пустым потоком слов,
словами смерти.

Нет слову смерти —
слышите, слова!

*Перевод* Елизаветы Соколовой

1. Опубликовано в кн.: Ингеборг Бахман "Воистину". Стихи. М., Издательство Независимая газета, 2000.
2. Нелли Закс (1891–1970) — немецкая поэтесса, лауреат Нобелевской премии (1966).

# *Слова*

С уважением — Нелли Закс, другу, поэту



О слово, будь со мной!
Хоть мы в пути давно,
и даже слишком — нам пора, пора! —
Нет у пути конца.

И нет рассвета.

За словом
первым
уж спешит второе,
за фразой — фраза:
мир
невыразимый
торопится в них выразить
себя.
Напрасно.

О слово, будь собой —
дай миру этому остаться
невыразимым
противоречьем речи.

Дай
чувствам замереть, а сердцу —
забиться по-иному,
по-новому.

Дай слово мне,
что боги не услышат
ни слова, даже шепотом, и все же
не вздумай умереть,
но будь, как я, не добрым
и не злым,
не утешай, не плачь
и, ничего не знача,
все обозначь намеком,

а главное — не будь
грохочущей телегой
слов мертвых и пустых.

Ни слова больше, слово!

*Перевод* Евгения Колесова

© Е. Колесов. Перевод, 2003

# Томас Бернхард
# *Племянник Витгенштейна*

## История одной дружбы

*Перевод и послесловие* Т. Баскаковой

Сотни две друзей
соберутся на мои похороны,
и ты должен будешь произнести речь
на моей могиле.

В тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году на Баумгартнерхёэ[1] одна из сестер милосердия, неутомимо работавших в тамошнем корпусе "Герман", положила мне на постель мой только что вышедший роман "Поме-

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1982
© Т. Баскакова. Перевод, послесловие, 2003

1. Букв.: Садовый холм (*нем.*) — часть Вильгельминовой горы на окраине Вены, а также обиходное название расположенной там больницы. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

шательство", который я написал годом раньше в Брюсселе, на Rue de la Croix, 60, но у меня даже не было сил взять эту книжку в руки, потому что всего за пару минут перед тем я проснулся после многочасового наркотического сна, в который погрузили меня врачи, разрезавшие мне горло, дабы извлечь из моей грудной клетки огромный, с кулак величиной, тумор. Как я вспоминаю, тогда шла Шестидневная война, и у меня, в результате радикального курса лечения кортизоном, лицо расплылось, как полная луна, чего и добивались врачи; во время обходов они на свой лад потешались над этим моим "лунным ликом", так что даже я, которому, по их собственным словам, оставалось жить *какие-то недели, в лучшем случае месяцы*, не мог не смеяться вместе с ними. В корпусе "Герман" на первом этаже было всего семь палат, и тринадцать или четырнадцать лежавших там пациентов дожидались смерти — больше им ждать было нечего. Они слонялись в своих домашних халатах по коридору, пока в один прекрасный день не исчезали навсегда. Раз в неделю в корпусе "Герман" появлялся — неизменно в белых перчатках — знаменитый профессор Зальцер, лучший специалист по легочной хирургии, внушавший всем необыкновенное уважение даже своей манерой ходить, а вокруг него почти бесшумно роились сестры, которые потом сопровождали этого очень рослого и очень элегантного человека в операционную. У профессора Зальцера оперировались пациенты из высших слоев общества, делавшие ставку на его знаменитость (сам я попросил, чтобы меня прооперировал заведующий отделением, коренастый сын крестьянина из Вальдфиртеля[1]); он был дядей моего друга Пауля, племянника того самого философа, чей "Логико-философский трактат" сегодня известен всему научному и в еще большей степени псевдонаучному миру; и как раз когда я лежал в корпусе "Герман", мой друг Пауль лежал в каких-нибудь двухстах метрах от меня, в корпусе "Людвиг", который, однако, не относится, как корпус "Герман", к легочному отделению и, следовательно, к больнице "Баумгартнерхёэ", а принадлежит к психиатрической лечебнице "Ам Штайнхоф"[2]. На Вильгельминовой горе с ее обширным подножием, находящейся в одном из западных округов Вены и вот уже несколько десятилетий разделенной на две части — часть для легочных больных, которую для краткости именуют "Баумгартнерхёэ" и которая была моей зоной, и часть для душевнобольных, которую все знают как "Ам Штайнхоф" (на меньшую часть — "Баумгартнерхёэ" и большую часть — "Ам Штайнхоф"), — все корпуса обозначены мужскими именами. Мне представлялась гротескной сама мысль, что моего друга Пауля поместили не куда-нибудь еще, а именно в корпус "Людвиг"[3]. Наблюдая, как профессор Зальцер, не глядя по сторонам, устремляется в операционную, я каждый раз вспоминал о том, что мой друг Пауль называл своего дядю иногда "гением", а иногда "убийцей"; и вот я думал, завидев профессора, когда он входил в операционную или выходил из нее: интересно, кто сейчас заходит туда — гений или убийца; или: кто выходит оттуда — убийца или гений? Эта медицинская знаменитость весьма сильно притягивала к себе мое внимание. Дело в том, что я — до того как попал в корпус "Герман", который и сегодня отведен исключительно для легочной, и прежде всего так называемой *легочно-раковой* хирургии — успел перевидать многих врачей и всех их, поскольку это в конце концов вошло у меня в привычку, *изучал*, однако профессор Зальцер уже с первой мину-

1. Вальдфиртель — область на северо-западе Нижней Австрии.
2. Букв.: на каменном дворе (*нем.*).
3. Имя философа Витгенштейна.

ты, когда я его увидел, этих врачей затмил. Его во всех отношениях великолепная личность оставалась для меня абсолютно непроницаемой, для меня его образ состоял только из того, что меня восхищало непосредственно в то мгновение, когда я за ним наблюдал, — и из ходивших о нем слухов. Профессор Зальцер, как рассказывал мой друг Пауль, уже многие годы *творил чудеса*, пациенты без малейшего шанса на выживание жили после зальцеровских операций *десятилетиями*, однако другие пациенты, опять-таки по словам моего друга Пауля, умирали у него *под ножом* — вследствие, скажем, *внезапных непредвиденных перемен погоды, заставлявших профессора нервничать*. Так всегда и бывает. Я не захотел, чтобы меня оперировал профессор Зальцер, который действительно был мировой знаменитостью и к тому же дядей моего друга Пауля, *именно потому*, что он так сильно меня интересовал, и еще потому, что его абсолютная мировая слава внушала мне лишь неодолимый ужас, из-за которого — а также из-за того, что я *услышал* от моего друга Пауля о его дяде Зальцере — я в конце концов и предпочел скромного заведующего отделением, уроженца Вальдфиртеля, мировой знаменитости из Первого округа[1]. Кроме того, в первые недели моего пребывания в корпусе "Герман" я постоянно замечал, что умирали во время операции именно те пациенты, которых оперировал профессор Зальцер; возможно, это был неудачный период для мировой знаменитости, но я, естественно, испугался и сделал выбор в пользу заведующего отделением из Вальдфиртеля, что, как я теперь понимаю, определенно пошло мне на пользу. Впрочем, гадать об этом бессмысленно. Как бы то ни было, если сам я видел профессора Зальцера по меньшей мере раз в неделю, пусть даже сначала только через приоткрытую дверь, мой друг Пауль, которому профессор Зальцер, в конце концов, приходился дядей, за много месяцев, проведенных в корпусе "Людвиг", не видел его ни разу, хотя, скорее всего, профессор Зальцер знал, что его племянника положили в корпус "Людвиг", и, как я тогда думал, профессору Зальцеру не стоило бы никакого труда пройти пару шагов от корпуса "Герман" до корпуса "Людвиг". Причины, которые мешали профессору Зальцеру навестить своего племянника Пауля, мне неизвестны; может быть, это были веские причины, а может, только соображения личного удобства не позволили ему зайти к племяннику, ведь тот, в отличие от меня, попавшего в корпус "Герман" впервые, лечился в корпусе "Людвиг" уже много раз. Дело в том, что моего друга (в последние двадцать лет его жизни) как минимум дважды в год — всегда по срочному вызову и всегда *при самых ужасных обстоятельствах* — помещали в психиатрическую больницу "Ам Штайнхоф", и еще, по мере прогрессирования его болезни все чаще, — в так называемую *лечебницу Вагнера-Яурегга*[2] под Линцем, если приступ заставал его в Верхней Австрии, в окрестностях Траунзе[3], где он родился и вырос и где, вплоть до своей смерти, владел старым, всегда принадлежавшим семейству Витгенштейнов крестьянским домом. Душевная болезнь Пауля, которую можно обозначить лишь как *так называемую* душевную болезнь, обнаружилась очень рано, когда ему еще не исполнилось тридцати пяти. Он сам почти ничего об этом не рассказывал, однако из того, что я знаю о

1. Имеется в виду центральный округ Вены.
2. Юлиус Вагнер-Яурегг (1857—1940) — психиатр, один из наиболее значительных представителей Венской медицинской школы.
3. Траунзе — самое глубокое и второе по величине озеро Зальцкаммергута (исторической области на территории Верхней Австрии, Зальцбурга и Штирии) с замком, расположенным на острове.

моем друге, нетрудно составить себе представление и о возникновении его так называемой душевной болезни. Уже в ребенке Пауле была заложена эта так называемая душевная болезнь, но ее точный характер никто никогда не определил. Пауль и родился *как душевнобольной*, с этой так называемой *душевной болезнью*, которая потом владела им на протяжении всей жизни. С этой так называемой душевной болезнью он вплоть до своей смерти жил совершенно спокойно и уверенно — как другие живут *без* душевной болезни. Однако по мере развития этой его так называемой душевной болезни самым удручающим образом обнаруживалась беспомощность врачей и медицинских наук вообще. Медицинская беспомощность врачей и их наук проявлялась в том, что так называемой душевной болезни Пауля вновь и вновь давали самые интригующие определения, но, разумеется, никогда не определяли болезнь правильно, ведь врачи с их безголовостью на это просто не способны, и все их определения, касавшиеся так называемой душевной болезни моего друга, вновь и вновь оказывались неправильными, прямо-таки абсурдными, и вновь и вновь одни определения самым постыдным, самым удручающим образом исключали другие. Так называемые врачи-психиатры определяли болезнь моего друга каждый раз по-разному, не имея мужества признать, что для *этой* болезни (да и для всех других) нет правильного определения, те же, что имеются, — *всегда* только ложные, только вводят в заблуждение; в конечном счете эти врачи, как и все другие, старались *с помощью новых и новых неправильных диагнозов* в какой-то мере облегчить себе жизнь, в идеале же — пусть и во вред пациенту — сделать ее для себя удобной. Они чуть ли не каждую минуту произносили слово "маниакальный", чуть ли не каждую минуту произносили слово "депрессивный", а это в любом случае не соответствовало действительности. Чуть ли не каждую минуту они (как и все другие врачи!) прибегали к научным словечкам, чтобы защитить и обезопасить себя (но не пациента!). Подобно всем другим врачам, те врачи, что лечили Пауля, прятались за латынью, которую постепенно воздвигали между собой и своим пациентом словно непреодолимую и непробиваемую стену, как делали и их предшественники на протяжении многих столетий, — с единственной целью затушевать собственную некомпетентность и, напустив туману, скрыть свое шарлатанство. Словно стеной — незримой, однако более, чем все другие, непроницаемой — отгораживаются они латынью от своих жертв уже с самого начала лечения, методы которого, как мы знаем, могут быть только бесчеловечными, и преступными, и смертоносными. Врач-психиатр — самый некомпетентный из всех врачей и всегда больше похож на убийцу-садиста, чем на ученого-медика. Всю жизнь я панически боялся попасть в руки врачей-психиатров, в сравнении с которыми любые другие врачи, в конечном счете всегда приносящие только вред, гораздо менее опасны: потому что психиатры в нашем сегодняшнем обществе образуют совершенно замкнутую, отгороженную от мира касту; и после того как я в течение стольких лет имел возможность изучать их бессовестные методы на примере моего друга Пауля, мой страх только усилился. Врачи-психиатры — это поистине бесы нашего времени. Они занимаются своим делом вдали от посторонних глаз, в самом прямом смысле — внаглую — бесконтрольно, то есть не отчитываясь ни перед законом, ни перед собственной совестью. Когда мне уже можно было вставать и подходить к окну, потом даже выходить из палаты и со всеми другими ходячими смертниками прогуливаться туда-сюда по коридору, я наконец однажды вышел из корпуса "Герман" и попытался до-

браться до корпуса “Людвиг”. Однако я переоценил свои силы и вынужден был остановиться уже у корпуса “Эрнст”. Мне пришлось присесть там на привинченную к стене скамью и для начала успокоиться, иначе я вообще не смог бы самостоятельно вернуться к корпусу “Герман”. Если пациенты лежат в постели несколько недель или даже месяцев, то они, когда снова начинают вставать, чудовищно переоценивают свои силы, берут на себя слишком большие нагрузки и, случается, из-за собственной глупости оказываются отброшенными на недели назад; многие такими внезапными вылазками сами приближают смерть, которой избежали во время операции. Хотя я болею с детства и мне всю жизнь приходилось жить со своими более или менее тяжелыми и тяжелейшими, а в итоге и с так называемыми *неизлечимыми болезнями*, я очень часто вел себя как больной-дилетант и совершал непростительные глупости. Сперва позволить себе пару шагов, потом четыре или пять, потом десять или одиннадцать, потом тринадцать или четырнадцать и только потом двадцать или тридцать — *так* должен действовать больной, а не вставать и сразу выходить на воздух, что в большинстве случаев смертельно опасно. Однако больной, которого несколько месяцев продержали взаперти, все эти месяцы стремился на волю; под конец он уже не в силах дождаться, когда ему действительно можно будет надолго оставить палату, и, естественно, не удовлетворяется парой шагов по коридору — нет, он сразу спешит на улицу и сам себя гробит. Очень многие умирают, потому что после болезни слишком рано вышли, а вовсе не из-за бессилия врачебного искусства. Врачей можно упрекать в чем угодно, однако по сути они (даже самые равнодушные, безответственные или глупые) хотят, конечно, лишь одного — улучшить состояние своих пациентов; но ведь и пациент должен внести посильную лепту, а не пускать насмарку усилия врачей, встав с постели слишком рано (или слишком поздно!) или слишком рано отправившись на первую прогулку — и сразу слишком далекую. Я в тот раз определенно ушел слишком далеко, даже корпус “Эрнст” — это было слишком. Мне следовало повернуть назад уже у корпуса “Франц”. Но я хотел непременно увидеть моего друга. В полном изнеможении, задыхаясь, сидел я на скамейке перед корпусом “Эрнст” и сквозь просветы между стволами деревьев смотрел на корпус “Людвиг”. Может быть, поскольку я легочник, а не душевнобольной, меня бы даже и не пустили в корпус “Людвиг”, думал я. Легочным больным было строжайше запрещено покидать свою зону и пытаться проникнуть в зону душевнобольных, как и наоборот, душевнобольным — в зону легочников. Две эти зоны разделяла высокая решетка, однако она местами сильно проржавела, повсюду образовались большие дыры, через которые нетрудно было пробраться из одной зоны в другую, *по крайней мере ползком*, и я хорошо помню, что каждый день душевнобольные бродили по зоне легочных больных, и наоборот, в зоне душевнобольных всегда было полно легочников, однако тогда, когда я впервые попытался дойти от корпуса “Герман” до корпуса “Людвиг”, я еще ничего не знал об этом каждодневном сообщении между зонами. Зато потом я сплошь и рядом сталкивался с душевнобольными в так называемой легочной зоне, по вечерам санитары приходили отлавливать их, засовывали в смирительные рубашки и резиновыми дубинками — я своими глазами видел — гнали из легочной зоны обратно в зону душевнобольных; жалобные крики жертв этой процедуры преследовали меня даже по ночам, во сне. Легочные же больные покидали свою зону и проникали в зону душевнобольных только из любопытства, потому что каждый день

мечтали пережить нечто сенсационное, что помогло бы им скоротать ужасные дни, заполненные томительной скукой и всегда одинаковыми мыслями о смерти. И действительно, я не обманывался, у меня был свой расчет, когда я покинул легочную зону и отправился к зоне душевнобольных, которые бродили по всей территории больницы и, чтобы не привлекать к себе внимания, срывали пришитые к их одежде номера. Возможно, позже, в другой книге, я еще рискну описать порядки, царившие в этом психиатрическом отделении, и безобразия, свидетелем коих мне довелось быть. Но тогда я сидел на скамейке перед корпусом "Эрнст" и думал, что *вторую* попытку добраться до корпуса "Людвиг" смогу предпринять не раньше чем через неделю; ибо для меня было очевидно: сейчас сил хватит только на то, чтобы вернуться в корпус "Герман". Со своей скамьи я наблюдал за белками, которые повсюду в этом громадном, а с моего места казавшемся бесконечным парке прыгали с деревьев на землю и обратно и, казалось, имели лишь одну заботу – подбирать валявшиеся повсюду выброшенные легочными больными бумажные носовые платки и потом шебуршить ими на деревьях. Повсюду бегали белки с этими бумажными платками, во всех направлениях, и даже в сумерках можно было видеть мелькающие белые пятнышки – платки, которые они держали в зубах. Я сидел и наслаждался этим зрелищем, естественно связывая с ним мои как бы самопроизвольно рождавшиеся мысли. Был июнь, и окна корпусов оставались открытыми, а из окон – в поистине гениально задуманном и выстроенном полифоническом ритме – пациенты выхаркивали свою слизь в вечерние сумерки. Я не хотел злоупотреблять терпением сестер, а потому встал и побрел обратно к корпусу "Герман". После операции, думалось мне, я действительно дышу лучше, даже, по правде говоря, вполне сносно, и сердце освободилось от лишней нагрузки, – но перспектива у меня была не очень обнадеживающая, слово "кортизон" и связанная с ним терапия омрачали мои мысли. Однако это не значит, что я проводил все дни с ощущением безнадежности. Я просыпался с ощущением безнадежности, и пытался от этой безнадежности избавиться, и избавлялся от нее к середине дня. После обеда ощущение безнадежности возвращалось, ближе к вечеру снова исчезало, ночью, когда я просыпался, оно, естественно, опять было тут как тут и мучило меня еще беспощаднее, чем прежде. Поскольку врачи обращались с пациентами, смерть которых мне потом довелось наблюдать, точно так же, как со мной, и обменивались с ними теми же словами, и вели такие же разговоры, и даже шутили так же, как со мной, я думал, мой путь будет более или менее таким же, как путь этих уже умерших людей. В корпусе "Герман" умирали незаметно, без крика, без призывов о помощи, по большей части совершенно беззвучно. Просто рано утром ты видел в коридоре очередную пустую койку, уже застеленную свежим бельем для следующего пациента. Сестры улыбались, когда мы проходили мимо, не желая нас волновать. Я иногда спрашивал себя: почему же *я* хочу свернуть с предназначенного мне пути, почему не вписываюсь в колею, по которой следуют все другие? К чему это желание в момент пробуждения – не дать себе захотеть умереть, – к чему? Конечно, я и сегодня часто спрашиваю себя, не лучше ли было бы – в тех обстоятельствах – сдаться; тогда я точно прошел бы *мой* путь в кратчайший срок, загнулся бы за пару недель, в этом я совершенно уверен. Но я не умер, а продолжал тянуть свою лямку и вот живу до сих пор. Я воспринял как доброе предзнаменование тот факт, что мой друг Пауль оказался в корпусе "Людвиг" тогда же, когда я – в корпусе "Герман" (хотя сам

Пауль в первое время моего пребывания в корпусе "Герман" не подозревал, что я там лежу, а узнал об этом только позднее, из болтовни нашей общей приятельницы Ирины, навещавшей поочередно нас обоих). Я думал, что если мой друг уже много лет проводит по нескольку недель или месяцев в году — все более удлиняя эти сроки — в "Штайнхофе", но *каждый раз* выходит оттуда, значит, и я тоже выйду, хотя его нельзя сравнивать со мной, ни в каких смыслах; но я все равно мечтал: вот пробуду здесь еще несколько недель или месяцев, а потом выпишусь, как выписывался он. Так и получилось. Через четыре месяца я смог наконец покинуть "Баумгартнерхёэ", я не умер, как другие, а Пауль к тому времени уже давно был на воле. Однако в тот день, о котором идет речь, по пути от корпуса "Эрнст" к корпусу "Герман" я еще вполне серьезно думал о смерти. Я не верил, что смогу живым выбраться из корпуса "Герман": слишком многого я там насмотрелся и наслушался, да и в себе самом не ощущал ни малейшего проблеска надежды. Вопреки расхожему мнению, сумерки не приносили облегчения, а, наоборот, еще более отягощали мое состояние, делая его почти непереносимым. После того как дежурная сестра прочитала мне выговор и высказала все, что думала по поводу моего безответственного поведения, моего глупейшего проступка, я рухнул на постель и тотчас заснул. Однако в "Баумгартнерхёэ" мне не удавалось проспать от начала до конца ни одной ночи, в корпусе "Герман" я обычно просыпался уже через час: либо испуганный сном, который, как все мои сны, приводил меня на край пропасти, где мое существование обрывалось; либо разбуженный возней в коридоре, если больной из ближайшей палаты нуждался в срочной помощи или умирал; либо когда мой сосед пользовался уткой, чего он никогда не делал без шума: хотя я многократно объяснял ему, как этого избежать, он неизменно (и не один раз) задевал своей уткой о мою железную тумбочку, за что столь же неизменно выслушивал выговоры (я снова и снова учил его, *как* он должен обращаться со своей уткой, чтобы меня не будить, но мои усилия пропадали впустую); и соседа с другой стороны, со стороны двери (сам я лежал у окна), он тоже будил — господина Иммерфоля, полицейского, страстного игрока в "двадцать одно", который и меня пристрастил к этой игре, так что я до сего дня не могу от нее отвыкнуть и часто, играя, дохожу чуть ли не до грани безумия, настоящего сумасшествия; а как известно, пациент, который вообще не засыпает без сновидений, — да к тому же лежит в такой больнице, как "Баумгартнерхёэ", куда помещают только тяжелых и тяжелейших больных, — если его разбудить, больше заснуть не может. На соседней с моей койке лежал студент факультета теологии, сын судьи из Гринцинга[1], точнее, с улицы Шрайбервег — то есть его дом находился в одном из самых аристократических и дорогих районов Вены, и он был весьма и весьма избалованным молодым человеком. Он еще никогда не жил в одной комнате с другими людьми, и я наверняка был первым, кто обратил его внимание на то, что человек, если находится в одном помещении с другими, само собой, должен относиться к этим другим с абсолютным уважением — *тем более если он изучает теологию*. Однако его вряд ли можно было чему-то научить, по крайней мере в первое время; он попал в палату после меня, и тоже в безнадежном состоянии: ему — точно так же, как мне и всем другим, — сделали разрез на горле и удалили тумор; во время операции бедняга был, как говорится, *на волосок* от смерти, а оперировал его тот самый профессор

1. Гринцинг — часть XIX района Вены.

Зальцер. Но это, конечно, не означает, что, если бы его оперировал другой хирург, он не оказался бы *так близко* к смерти. Наверное, он студент-теолог, подумал я, когда парень попал в нашу палату: сестры милосердия баловали его бесстыднейшим образом; и если ему они старались угодить всеми возможными способами, то мною и полицейским Иммерфолем столь же явно пренебрегали. Например, рано утром очередная дежурная сестра клала или ставила на тумбочку студента-теолога все то, что ей подарили ночью другие пациенты: шоколад, бутылки с вином, всякие сладости из города (естественно, всегда из первоклассных кондитерских — из "Демеля"[1], из "Лемана", из не менее знаменитой "Слуки", что расположена рядом с ратушей); и ему всегда приносили не одну, как положено и как получали мы, а целых две порции шадо[2] — того самого шадо, которое я и сегодня люблю больше всего на свете и которое пациентам корпуса "Герман" давали регулярно, потому что в корпусе "Герман" лежали только смертельно больные люди, а обычай подавать в постель шадо характерен именно для обращения со смертельно больными. Но я очень быстро отучил студента от многих нехороших привычек, за что полицейский Иммерфоль, которого, как и меня, невыносимо раздражал эгоизм нашего нового соседа по палате, был мне весьма признателен. Мы с Иммерфолем, как опытные больные, уже давно вжились в подобающую нам роль людей незаметных, чутких к другим, скромных, потому что только эта роль позволяет долго жить в состоянии болезни, тогда как строптивость, невоспитанность, упрямство со временем ослабляют организм буквально смертельно, и, следовательно, хронический больной не может позволить себе долго сохранять эти качества. Зная, что наш студент на самом деле вполне способен встать и дойти до туалета, я в один прекрасный день запретил ему пользоваться уткой. И тем сразу же настроил против себя сестер, которые, разумеется, утку студента-теолога опорожняли *с удовольствием*; но я все равно настоял на том, чтобы он вставал и выходил в туалет, ибо не понимал, почему я и Иммерфоль должны вставать и выходить, чтобы помочиться, тогда как студент-теолог может оставаться в постели и пользоваться уткой, отравляя воздух в палате, и без того нестерпимо удушливый. И я добился своего: студент-теолог, чье имя я забыл (кажется, его звали Вальтер, но я уже точно не помню), стал ходить в уборную, а сестры в течение многих дней не удостаивали меня даже взглядом. Но мне было наплевать. Я упорно копил силы, чтобы навестить моего Пауля, устроить ему сюрприз; однако после первой неудачной попытки, когда мне пришлось уже у корпуса "Эрнст" отказаться от своего намерения и вернуться назад, я сознавал, что до этого еще очень далеко. Я лежал в постели, и смотрел в окно, и видел один и тот же световой блик в гигантской сосновой кроне. Там, во дворе, солнце всходило и вновь спускалось за горизонт, а я целую неделю не мог набраться мужества, чтобы выйти из палаты. Наконец меня посетила, посетив предварительно моего друга Пауля, наша общая приятельница Ирина, в квартире которой на Блуменштокгассе я и познакомился с Паулем Витгенштейном: я тогда ввязался в спор о том, как Шурихт дирижировал Хаффнеровской симфонией[3] в исполнении Лондонского филармонического ор-

1. "Демель" — изысканное кафе-кондитерская в центре Вены. По преданию, ее завсегдатаем был император Франц Иосиф I.
2. Теплый крем из вина и яиц.
3. Карл Шурихт (1880—1967) — один из самых выдающихся немецких дирижеров, в 1946 г. открывал в Австрии первый после войны Зальцбургский фестиваль. С 1944 г. жил в Швейцарии. Хаффнеровская симфония — Тридцать пятая симфония Моцарта, написанная в 1782 г. и посвященная зальцбургскому бургомистру Иоганну Ульриху Хаффнеру.

кестра, — спор, который пришелся очень кстати, потому что я, как и мои собеседники, только накануне слышал, как Шурихт дирижировал этой симфонией в Обществе друзей музыки[1], и у меня создалось впечатление, что я еще никогда за всю мою музыкальную жизнь не присутствовал на столь безупречном концерте. Мы трое — я, Пауль и его приятельница Ирина, в высшей степени музыкальная особа и вообще, в чем я абсолютно уверен, одна из самых выдающихся ценительниц искусства, — получили одинаковое наслаждение от концерта. В ходе нашего спора, в котором, естественно, речь шла не о самых принципиальных, но все же о достаточно значимых моментах (произведших на нас троих неодинаковое впечатление и воспринятых нами с разной степенью интенсивности), за несколько часов как бы сама собой завязалась моя дружба с Паулем. Прежде я в течение многих лет постоянно *видел* его в разных местах, но мы ни разу не разговаривали; именно на Блюменштокгассе, высоко — на четвертом этаже дома без лифта, построенного на рубеже веков, — завязались наши дружеские отношения. Там была огромная комната с простой, но удобной мебелью, где мы трое несколько часов — до полного изнеможения — говорили о Шурихте, моем любимом дирижере, и о Хаффнеровской симфонии, моей любимой симфонии, и об этом решающем для нашей дружбы концерте. Всепоглощающая страсть Пауля Витгенштейна к музыке (эта страсть была свойственна и нашей приятельнице Ирине) сразу расположила меня к нему; а его фантастические познания относительно больших оркестровых произведений Моцарта и Шумана, его — очень скоро начавшее тревожить меня — фанатичное пристрастие к опере (о котором знала вся Вена и которое не просто внушало опасения, но, как потом выяснилось, обладало всеми признаками смертельной болезни), наконец, его превосходное художественное образование, не только специально музыкальное, но и общее (Пауль, например, чуть ли не непрерывно сравнивал музыкальные произведения, которые слушал, концерты, которые посещал, игру виртуозов и оркестры, им изученные, причем суждения его, как я вскоре убедился, всегда бывали в высшей степени справедливыми), — все это позволило мне легко сойтись с Паулем Витгенштейном и принять его как моего нового совершенно необычного друга. Наша приятельница Ирина, чья судьба была не менее удивительна и авантюрна, чем судьба Пауля Витгенштейна, — она, например, имела так много любовных связей и так часто меняла мужей, что ее партнеров нельзя было пересчитать по пальцам, — в те тяжелые дни на Вильгельминовой горе часто навещала нас, приходила в своем красном жакете на Вильгельминову гору, совершенно не заботясь о расписании посещений. К сожалению, она, как я уже говорил, проболталась Паулю о том, что я лежу в корпусе "Герман", после чего я, даже если бы внезапно появился в корпусе "Людвиг", уже не мог рассчитывать на эффект неожиданности. Этой-то Ирине, недавно вышедшей замуж за так называемого *музыковеда* и вступившей в полосу бургенландской[2] идиллии, я в конечном счете и обязан своей дружбой с Паулем. Я подружился с ним за два или три года до того, как попал в корпус "Герман", и тот факт, что на Вильгельминовой горе мы оба в очередной раз — одновременно — оказались, так ска-





1. Общество друзей музыки — музыкальная организация в Вене, основанная в 1812 г. Регулярно организует серии концертов симфонической, вокально-хоровой и камерной музыки.
2. Бургенланд — федеральная земля на востоке Австрии.

зать, *на грани завершения жизненного пути*, представлялся мне неслучайным. Не то чтобы я придавал этому обстоятельству мистическое значение. Просто, находясь в корпусе "Герман", я часто думал о том, что в корпусе "Людвиг" у меня есть друг и, значит, я не одинок. Однако, по правде говоря, в те дни, и недели, и месяцы, которые мне пришлось провести в "Баумгартнерхёэ", я и без Пауля не был бы одинок, потому что со мной оставался *самый близкий человек*, самый важный для меня (после смерти моего деда) человек в Вене, моя подруга жизни, которой я обязан — с той самой минуты, более тридцати лет назад, когда она вдруг появилась рядом, — не только очень многим, но, по сути, почти всем. Без нее я бы вообще уже не жил; или, в любом случае, не был бы таким, каков я сегодня: таким сумасшедшим и таким несчастным, но и таким счастливым. Посвященные в мою жизнь знают, что́ скрывается за этим убеждением — *самый близкий человек*, — оно (и ничто другое, такова правда) вот уже тридцать лет снова и снова дает мне силы, чтобы жить дальше. Эта женщина, которая во всех отношениях была для меня примером, умная, ни разу не оставившая меня в беде ни на один значимый миг; женщина, от которой в последние тридцать лет я научился почти всему или по крайней мере научился понимать почти все, — она тогда навещала меня чуть ли не ежедневно и подолгу сидела у моей постели. С целыми ворохами книг и газет она, несмотря на нестерпимую жару, все-таки взбиралась на Баумгартнерхёэ — и попадала в ту тяжкую атмосферу, характер которой можно не объяснять. А ведь этому *самому близкому мне человеку* тогда уже было больше семидесяти. Но и сегодня, когда ей восемьдесят семь, думаю, она вела бы себя точно так же. Однако не ей, не *самому близкому мне человеку* посвящены настоящие заметки, а Паулю; и хотя в тот период, когда я лежал на Вильгельминовой горе, она тоже была одинока, отвергнута, списана со всех счетов (и все-таки продолжала играть важнейшую роль в моей жизни, в моем существовании), настоящие заметки относятся в первую очередь к моему одинокому, отвергнутому и списанному со всех счетов другу Паулю, который одновременно со мной лечился на Вильгельминовой горе и которого я хочу еще раз попытаться понять, собирая для этих заметок клочки воспоминаний: они, оживив прошлое, помогут прояснить не только безысходную ситуацию моего друга, но и мою собственную тогдашнюю безысходность, потому что точно так же, как Пауль тогда попал в один из своих жизненных тупиков, так же и я попал (или, лучше сказать, был загнан) в один из моих жизненных тупиков. Должен сознаться, я, как и Пауль, тогда в очередной раз предъявил слишком большие требования к своему существованию, и переоценил свои силы, и исчерпал их до дна. Как и Пауль, я в очередной раз исчерпал все мои возможности, исчерпал и все дополнительные ресурсы сверх всяких возможностей, с болезненной беспощадностью к себе самому и ко всему остальному — беспощадностью, которая уже угробила Пауля и которая однажды, точно так же как Пауля, угробит и меня; ибо как Пауль погиб от губительной переоценки себя самого и окружавшего его мира, так же и я рано или поздно погибну от губительной переоценки меня самого и окружающего меня мира. Так же как Пауль, и я сам просыпался тогда на Вильгельминовой горе — на больничной койке, — представляя собой уже почти разложившийся продукт этой переоценки себя и мира; и вполне логично, что Пауль оказался в психиатрической лечебнице, а я — в легочном отделении, то есть Пауль — в корпусе "Людвиг", а я — в корпусе "Герман". Как Пауль на протяжении многих лет более или менее интенсивно гнал себя к смерти в *своем* безумии, так же и я более

или менее интенсивно годами гнал себя к смерти — в *моем.* Как путь Пауля вновь и вновь должен был заканчиваться, обрываться в психиатрической лечебнице, так же и мой путь вновь и вновь должен был заканчиваться, обрываться в легочном отделении. Как Пауль вновь и вновь проявлял величайшее упрямство по отношению к себе самому и к своему окружению, и потому его периодически сдавали в психиатрическую лечебницу, так же и я вновь и вновь проявлял величайшее упрямство по отношению к себе самому и к моему окружению, и потому меня периодически сдавали в легочное отделение. Как Пауль вновь и вновь — и, надо думать, со все более короткими промежутками — внезапно начинал испытывать отвращение к себе самому и к миру, так же и я — со все более короткими промежутками — внезапно начинал испытывать отвращение к себе самому и к миру; и тогда я, можно сказать, в очередной раз *возвращался к себе* в легочное отделение, точно так же, как Пауль — в психиатрическую лечебницу. И как Паулю врачи-психиатры по большому счету всегда причиняли вред и он каждый раз поднимался на ноги только благодаря собственной энергии, так же и мне врачи-пульмонологи всегда причиняли вред и я поднимался на ноги только благодаря собственной энергии; должен сказать, что как на его личность оказали глубокое воздействие психиатрические лечебницы, так же, думаю, и на мою личность оказали глубокое воздействие отделения легочной терапии; и как его на протяжении больших отрезков жизненного пути воспитывали психи, так же и меня воспитывали легочные больные; и как он окончательно сформировался, стал личностью в обществе психов, так же и я окончательно сформировался в обществе легочных больных — а формирование личности среди психов не многим отличается от формирования личности среди легочных больных. Психи самым решительным образом обучали его жизни и существованию — а меня с той же решительностью, с какой его учили быть психом, легочные больные учили быть легочным больным; и Пауль, можно сказать, стал психом, потому что в один прекрасный день, если воспользоваться расхожим выражением, потерял контроль над собой, — точно так же, как я стал легочным больным, потому что тоже в один прекрасный день потерял контроль над собой. Пауль стал психом, потому что однажды восстал против всего, и, естественно, это его погубило — как и меня в один прекрасный день погубило то, что я, как и он, восстал против всего; именно по той причине, по какой я стал *легочным больным,* он стал *психом.* Но Пауль был психом не в большей мере, чем я, ибо я был (в лучшем случае) таким же психованным, как Пауль, таким же психом, каким, говорят, был Пауль, — но только я вдобавок к психованности, то есть безумию, подцепил еще и легочное заболевание. Разница между Паулем и мной заключается только в том, что Пауль позволил своему безумию *полностью* им овладеть, тогда как я никогда не позволял моему — столь же глубокому, как у него, — безумию полностью овладеть мною; он, так сказать, растворился в своем безумии, тогда как я на протяжении всей жизни пользовался своим безумием, подчинял его себе; если Пауль никогда не подчинял себе свое безумие, то я свое безумие всегда себе подчинял, и, может быть, именно поэтому мое безумие стало гораздо более безумным, чем безумие Пауля. Пауль имел только свое безумие — и существовал за счет своего безумия; я же вдобавок к моему безумию имел еще и легочную болезнь и использовал то и другое, и безумие и легочную болезнь: я *их* сделал *источником своего существования* — однажды и на всю жизнь. Как Пауль десятилетиями *жил* жизнью безумца, так и я десятиле-

тиями *жил* жизнью легочного больного; и как Пауль десятилетиями *играл роль* безумца, так и я десятилетиями *играл роль* легочного больного; и как он *использовал* роль безумца в своих целях, так и я *использовал* роль легочного больного в моих целях. Подобно тому, как другие на протяжении долгого времени или всей жизни пытаются приобрести и сохранить какую-нибудь более или менее большую собственность или какое-нибудь более или менее высокое (или действительно высокое) профессиональное мастерство и, пока живут, всеми средствами и при всех обстоятельствах стараются использовать эту собственность и это профессиональное мастерство и делают их единственным содержанием своей жизни, так же и Пауль на протяжении всей жизни защищал, и поддерживал, и использовал свое безумие — и при всех обстоятельствах и всеми средствами делал его содержанием своей жизни; как и я использовал и делал содержанием моей жизни мое безумие, а в конечном счете и мое профессиональное мастерство, проистекавшее, так сказать, из этой легочной болезни и из этого безумия. Но как Пауль обращался со своим безумием все более беспощадно, так же и я все более беспощадно обращался с моей легочной болезнью и с моим безумием; а поскольку мы, так сказать, все более беспощадно обращались с нашими болезнями, мы и с окружавшим нас миром обращались все более беспощадно; и потому, естественно, наше окружение, в свою очередь, все более беспощадно обращалось с нами, и мы все чаще попадали в соответствующие нам заведения: Пауль — в психиатрические лечебницы, я — в отделения легочной терапии. Но если обычно эти соответствовавшие нам заведения находились далеко друг от друга, то в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году мы с Паулем вдруг одновременно попали на Вильгельминову гору и на Вильгельминовой горе *углубили* нашу дружбу. Если бы в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году мы с ним не попали на Вильгельминову гору, возможно, такого *углубления* дружбы не произошло бы. Однако мне повезло: после многих лет вынужденного воздержания от дружбы я вновь обрел настоящего друга, понимавшего даже самые безумные затеи, которые изобретала моя очень сложно устроенная — то есть совсем не простая — голова, и безоглядно пускавшегося вместе со мной в эти безумнейшие интеллектуальные авантюры — тогда как все другие люди из моего окружения никогда не были на такое способны, да и не стремились к этому. Стоило мне, как говорится, затронуть какую-нибудь тему, и она уже начинала развиваться в наших с Паулем головах, причем именно в том направлении, в каком должна была развиваться, — и это касалось не только музыки, первого и главного увлечения в его и в моей жизни, но и всех других сфер. Я никогда не встречал человека с более обостренным, чем у него, даром восприятия, с бóльшим интеллектуальным богатством. Только Пауль, так сказать, выбрасывал это свое интеллектуальное богатство в окно — с таким же постоянством, с каким выбрасывал в окно свои деньги; но если деньги, которые он выбрасывал в окно, очень скоро иссякли, то его интеллектуальное богатство оказалось практически неисчерпаемым; он непрерывно выбрасывал его в окно, и (одновременно) оно непрерывно умножалось, чем больше он выбрасывал в окно (своей головы) свое интеллектуальное богатство, тем больше оно умножалось: характерная особенность подобных людей, которые сперва бывают слегка безумными, а потом, по мнению окружающих, окончательно сходят с ума, как раз и состоит в том, что они всё в больших количествах и всегда непрерывно выбрасывают свое духовное богатство в окно (своей головы) и одновременно в этой голове накапли-

вают свое духовное богатство с такой же быстротой, с какой выбрасывают его. Они выбрасывают всё бóльшие порции духовного богатства в окно (своей головы), и одновременно оно все больше умножается в их головах и, естественно, становится для них все более опасным; в конце концов они перестают справляться с выбрасыванием своего духовного богатства (из своей головы), и голова, которая уже не способна удерживать постоянно накапливающееся в ней — и образующее заторы — духовное богатство, взрывается. Так вот и голова Пауля просто-напросто взорвалась, потому что он уже не справлялся с выбрасыванием духовного богатства (из своей головы). Так же взорвалась и голова Ницше. Так же, по сути, взрывались все безумные философские головы — из-за того, что переставали справляться с выбрасыванием своего духовного богатства. В этих головах на последней стадии духовное богатство формируется уже постоянно и фактически непрерывно — с гораздо большей (и более страшной) скоростью, чем та, с какой они могут его выбрасывать в окно (своей головы); в один прекрасный день их головы взрываются — и они умирают. Так однажды взорвалась и голова Пауля — и он умер. Мы с ним были похожими и все же совершенно разными. Например, Пауля нищие занимали *и* могли растрогать, меня же они занимали, но растрогать не могли, потому что мой мыслительный механизм устроен так, что, размышляя на эту старую как мир тему, я никогда не был способен — да и сегодня не способен — испытать чувство умиления в том виде, в каком его испытывал Пауль. Пауль однажды не смог сдержать слез, увидев сидевшего на берегу Траунзе ребенка, которого на самом деле, как я понял с первого взгляда, посадила на берег Траунзе его пройдоха-мать — лишь с той неприглядной целью, чтобы растрогать прохожих, и пробудить их нечистую совесть, и заставить их раскошелиться. Я, в отличие от Пауля, видел не только эксплуатируемого ребенка и его жалкое состояние, но сверх того алчную мать этого подло эксплуатируемого ребенка, которая притаилась сзади, в кустах, и с отвратительной деловитостью пересчитывала бумажные деньги; Пауль же увидел только ребенка и его жалкое состояние, но не сидевшую сзади мать, которая считала деньги, а потому сразу размяк и дал этому ребенку — так сказать, стыдясь собственного благополучия — стошиллинговую купюру; в то время как я видел насквозь *всю сцену*, Пауль видел только ее поверхностную часть, страдание невинного ребенка, но не подлую мать на заднем плане, не противоестественную, мерзкую эксплуатацию человеческой доброты (если можно так выразиться) — все это для него осталось сокрытым, я же этого не видеть не мог. Для моего друга характерно, что он видел только поверхностную часть — страдающего ребенка (которому и дал стошиллинговую купюру); тогда как я волей-неволей видел всю отвратительную беспардонность этой сцены и, естественно, ничего ребенку не дал. И что характерно для наших отношений, я оставил свои наблюдения при себе, дабы не травмировать моего друга; не сказал ему, что за кустом отталкивающе алчная мать считает деньги, в то время как ребенок разыгрывает по ее указке спектакль страдания. Я не попытался разрушить его поверхностное восприятие этой сцены, не вмешался, когда он давал ребенку стошиллинговую купюру и плакал; я и позже не разъяснил ему смысл этой сцены. Он потом очень часто упоминал о ребенке на берегу Траунзе, говорил, что в моем присутствии дал бедному одинокому ребенку стошиллинговую купюру, и я ни разу не разъяснил ему эту сцену *в ее действительной целостности*. Пауль — в том, что касается страданий вообще и так называемых страданий людей (и человечества) в частности, — всегда видел только по-

верхностную часть, как было на берегу Траунзе, и никогда, в отличие от меня, не видел целого; и я думаю, что, возможно, он просто всю жизнь уклонялся от того, чтобы видеть такие сцены в их целостности, что, сталкиваясь с подобными сценами, он довольствовался ви́дением поверхностного — из чувства самосохранения. Я же никогда не довольствовался поверхностным (в подобных сценах) — тоже из чувства самосохранения. В этом вся разница. Пауль в первой половине жизни, так сказать, бросал в окно миллионы, полагая, что помогает обездоленным людям (и тем самым — себе самому!), тогда как в действительности он бросал эти миллионы людям недостойным и низким (но, конечно, тем самым действительно в каком-то смысле помогал себе самому). Он до тех пор бросал свои деньги тем, кого считал страдающими и достойными сострадания людьми, пока не вышло так, что у него самого ничего больше не осталось. Пока однажды он не попал в полную зависимость от милости своих родственников, которые оказывали ему эту милость лишь самое короткое время и очень быстро перестали оказывать, потому что особым милосердием никогда не отличались. Дело в том, что Пауль по своему происхождению был связан — и уже одно это считал предосудительным — с одним из трех-четырех богатейших семейств Австрии, с семейством, миллионы которого в период монархии год от году умножались как бы сами собой, до тех пор пока провозглашение республики не привело Витгенштейнов к экономической стагнации. Свою долю семейного имущества Пауль так рано выбросил в окно, более или менее искренне веря, будто тем самым борется против нищеты, что бо́льшую часть жизни, можно сказать, вообще ничего не имел: ведь он, подобно своему дяде Людвигу, всерьез полагал, что обязан отдать свои так называемые *грязные* миллионы *непорочному* народу ради спасения этого *непорочного* народа и себя самого. Пауль бродил по улицам с целыми пачками стошиллинговых купюр — с той только целью, чтобы распределить эти грязные стошиллинговые купюры среди *непорочного* народа. Но получалось, что его деньги по тем или иным причинам всегда доставались только такого рода *траунзейским попрошайкам*, каких я только что описал. Все люди, которых он пытался облагодетельствовать, оказывались такого рода *траунзейскими попрошайками*, в каком бы месте он ни навязывал им свои деньги, *чтобы помочь им* и *чтобы принести успокоение себе самому*. Потом, когда он сам уже ничего не имел, его родственники в течение какого-то короткого времени поддерживали его, движимые неким извращенным чувством порядочности — но отнюдь не великодушием, — и, по сути, поддерживали вовсе не потому, что считали подобную помощь чем-то само собой разумеющимся. Просто они, о чем необходимо сказать, видели в его положении не только поверхностную часть, но и *все ужасное*, что было этому положению присуще. Почти столетие Витгенштейны производили оружие и машины, пока в конце концов не произвели на свет Людвига и Пауля — знаменитого, повлиявшего на свою эпоху философа и не менее знаменитого, по крайней мере в Вене (а может, как раз там еще более знаменитого), безумца, который по сути был ничуть не меньшим философом, чем его дядя Людвиг, как, впрочем, и философ Людвиг, в свою очередь, был ничуть не менее безумным, чем его племянник Пауль; но одного, Людвига, прославила его философия, а другого, Пауля, — безумие. Из них двоих Людвиг, *возможно*, и вправду был *философичнее*, а Пауль, *возможно*, — безумнее; но ведь вполне может быть и так, что мы лишь потому считаем одного, *философичного*, Витгенштейна философом, что он перенес на бумагу именно свою философию, а не свое безумие; другого же, Пауля, считаем

безумцем потому, что он скрывал свою философию и выставлял напоказ только безумие. Оба они были совершенно необычными людьми и совершенно необычными мыслителями, но только один из них делал свой ум достоянием общественности, а другой — нет. Я бы даже сказал, что

один из них *публиковал* свой ум, другой же свой ум *практиковал*. А знаем ли мы вообще, в чем состоит разница между тем умом, что уже стал достоянием общественности и постоянно делает себя достоянием общественности, и другим, который уже использовался практически и постоянно использует себя практически? Естественно, Пауль, если бы он их вообще публиковал, публиковал бы совсем другие сочинения, чем Людвиг, как и Людвиг, само собой разумеется, практиковал бы совсем другое безумие, чем Пауль. Но фамилия Витгенштейн в любом случае гарантирует высокий, даже высочайший уровень. Уровня философа Людвига безумец Пауль, вне всякого сомнения, достиг; один олицетворяет собой абсолютную вершину философии и истории Духа, другой же — абсолютную вершину в истории безумия, если мы договоримся понимать "философию" как философию, и "Дух" — как Дух, и "безумие" — в соответствии с тем определением, которое ему обычно дают, — как извращенные представления об истории. В павильоне "Герман", хотя меня и отделяли от моего друга всего какие-нибудь двести метров, я был совершенно отрезан от него и ни о чем не мечтал с таким нетерпением, как о нашей с ним первой встрече после стольких месяцев разлуки, когда мне не хватало головы Пауля и когда я почти задыхался среди сотен других, в общем и целом совершенно никчемных голов; потому что не будем обманывать себя: головы, которые доступны для нас почти в любое время, неинтересны, мы получаем от общения с ними не намного больше, чем если бы проводили время в обществе картофелин-переростков, увенчивающих убогие туловища в безвкусных одежках и влачащих жалкое, но при этом, увы, даже не достойное сострадания существование. Придет день, когда я действительно навещу Пауля, думал я; и даже уже набросал для себя пару заметок о том, что я предполагал с ним обсудить, обо всем том, о чем я столько месяцев ни с кем не мог говорить. Без Пауля для меня в это время был просто невозможен никакой разговор о музыке — как, впрочем, и о философии, и о политике, и о математике. Даже когда все во мне почти омертвевало, мне достаточно было просто повидать Пауля, чтобы, например, вновь оживить мое музыкальное мышление. Бедный Пауль, думал я, заперт в павильоне "Людвиг", возможно, его даже запихнули в смирительную рубашку, а ведь ему так хочется попасть на оперный спектакль. Он был самым страстным из всех поклонников оперы, какими когда-либо располагала Вена, и люди посвященные это знали. Он был фанатиком оперы и даже после своего обнищания, в конечном счете неизбежно порождающего чувство горечи, ежедневно покупал себе билет в оперный театр, пусть даже на стоячее место, уже смертельно больным выстаивал на ногах все шестичасовое представление "Тристана"[1], а после еще находил в себе силы, чтобы так громко выкрикивать "браво" или освистывать певцов этого театра на Ринге[2], как ни один человек до него и ни один после. Его особенно боялись на премьерах. Своим воодушевлением — поскольку Пауль начинал проявлять его на пару секунд раньше, чем другие, — он заражал всех зрителей. И напротив, уже первые его свистки —

1. "Тристан и Изольда" (1859) — опера Рихарда Вагнера.
2. Театр на Ринге — Венская государственная опера. Ринг, или Рингштрассе, — кольцевая улица, опоясывающая Старый город, центральную часть Вены.

потому что *он* этого хотел, потому что *он* именно на это и рассчитывал — означали провал даже самой грандиозной и дорогостоящей постановки. "Я могу обеспечить успех спектакля, если я этого хочу и если для этого имеются определенные основания, а такие основания имеются всегда, — говорил он, — и точно так же я могу обеспечить полный неуспех, если для этого имеются основания, а они имеются всегда: мне достаточно лишь первым крикнуть "браво" или первым засвистеть". Жители Вены десятилетиями не замечали того, что своими оперными триумфами они в конечном счете были обязаны Паулю, и он же был виновником провалов в театре на Ринге — провалов, которые, ежели *он* того хотел, превосходили своей скандальностью все другие. Однако такие выступления Пауля "за" или "против" того или иного спектакля никак нельзя было назвать объективными, они обуславливались лишь его личными причудами, его неуравновешенностью, его безумием. Многие дирижеры из тех, кого он терпеть не мог, приезжая в Вену, попадались в эту ловушку: он их освистывал и поносил прямо-таки с пеной у рта. Только с Караяном[1], которого он ненавидел, у него получился облом. Гениальный Караян был слишком велик, чтобы выходки Пауля могли его хоть как-то задеть. За Караяном я наблюдал десятилетиями, изучал его и считаю самым значительным дирижером нашего столетия, наряду с Шурихтом, которого я *любил*; Караяном же я с детства *восхищался* — и должен отметить, на основании собственного опыта; я всегда ценил его по крайней мере столь же высоко, как все музыканты, с которыми Караян когда-либо работал. Пауль ненавидел Караяна, проявляя это всеми доступными ему способами, и называл, из ненависти, превратившейся чуть ли не в привычку, не иначе как шарлатаном; я же видел в этом дирижере, исходя из собственных, копившихся десятилетиями наблюдений, влиятельнейшего музыкального деятеля, и чем более возрастала слава Караяна, тем лучше он становился, чего мой друг — как, впрочем, и вся остальная музыкальная общественность — не желал замечать. Я с детства следил за развитием и совершенствованием мастерства гениального Караяна, присутствовал почти на всех генеральных репетициях концертов и опер, которые он проводил в Зальцбурге и Вене. Первым концертом, который я услышал в своей жизни, дирижировал Караян, первой оперой, которую я слушал, — тоже Караян. И в результате, не могу этого не отметить, я с самого начала получил мощный импульс для моего музыкального развития. Слава Караяна с самого начала предопределила неизбежность яростных споров между мною и Паулем, и действительно, пока Пауль был жив, мы с ним постоянно спорили по поводу Караяна. Однако ни я своими доводами не мог убедить Пауля в караяновской гениальности, ни Пауль своими доводами — меня в том, что Караяна следует считать шарлатаном. Для Пауля — и это нисколько не нарушало его философского мировидения — опера оставалась, вплоть до его смерти, так сказать, безусловной вершиной мира, тогда как для меня она была лишь некоей страстью, очень рано во мне проснувшейся, но ко времени нашего с Паулем знакомства уже в значительной мере оттесненной на задний план, я и сейчас люблю ее как прежде, но от непосредственных контактов с ней уже много лет могу воздерживаться. Долгие годы, пока у него еще были

1. Герберт фон Караян (1908—1989) — крупнейший австрийский симфонический и оперный дирижер. В 1955 г. был назначен пожизненно руководителем Берлинского филармонического оркестра. Был дирижером Венской государственной оперы, Венского симфонического оркестра, Зальцбургских фестивалей, Лондонского филармонического оркестра.

деньги и время, Пауль путешествовал по всему земному шару, перемещаясь от одного оперного театра к другому, чтобы в конечном итоге вновь и вновь превозносить Венский оперный театр как наилучший из всех. "Мет — это ничто. Ковент-Гарден[1] — ничто. Ла Скала — ничто". Все они были в его представлении "ничто" по сравнению с Венской оперой. "Но разумеется, — говорил он, — Венская опера тоже бывает по-настоящему хороша только раз в году". Только раз в году — и тем не менее... Он мог себе это позволить — в ходе *безумного* трехгодичного путешествия посетить один за другим все так называемые *оперные театры мирового класса.* Тогда же он перезнакомился чуть ли не со всеми более или менее крупными, и великими, и действительно гениальными дирижерами, с певцами и певицами, которых они выпестовали и к которым благоволили. По сути, голова Пауля была оперной головой, а его жизнь, которая для него все в большей и большей мере, в последние же годы еще и с нарастающей скоростью, превращалась в кошмар, — оперой, великой, разумеется, оперой; и, соответственно, с трагической развязкой. В тот период, о котором идет речь, действие этой его оперы опять переместилось в "Штайнхоф" — в корпус "Людвиг", один из самых запущенных во всем "Штайнхофе", в чем мне вскоре предстояло убедиться. *Господин барон,* как все величали моего друга, тогда в очередной раз сменил белый фрак — который, насколько я знаю, он заказал у Книзе и в последние годы жизни (так сказать, за моей спиной) очень часто надевал по вечерам, преимущественно когда посещал так называемый "бар 'Эдем'", — на смирительную рубашку. Ужины в "Захере" или "Империале", куда его время от времени все еще приглашали по-прежнему многочисленные состоятельные, а то и чрезвычайно богатые, аристократические и не аристократические друзья, — на жестяную миску и мраморный столик в корпусе "Людвиг"; элегантные английские носки и туфли от "Мальи", или "Росселли", или "Янко" — на предписанные в корпусе "Людвиг" грубошерстные белые гольфы и нелепые войлочные шлепанцы. И к тому времени он уже прошел курс лечения электрошоком, о чем потом, когда его отпустили из "Штайнхофа", рассказывал мне с едкой иронией, не упуская ни одной жестокой, и подлой, и низкой, и бесчеловечной детали. В "Штайнхоф" Пауля обычно "сдавали" тогда, когда его близкие уже не чувствовали себя в безопасности рядом с ним: когда, например, он ни с того ни с сего начинал угрожать всем вокруг убийством и предрекал смерть от огнестрельной раны или удушения даже собственным братьям; отпускали же Пауля из лечебницы лишь после того, как врачи в своем самодовольном безумии полностью изничтожали его, истребляли в нем все желания и порывы — так что он едва мог поднять голову, не говоря уж о том, чтобы пытаться чего-то требовать или протестовать. И после выписки он, как правило, сразу отправлялся в окрестности Траунзе, где его семья еще и сегодня владеет многообразными разбросанными среди лесов, у разных замечательных озерных бухточек, и в маленьких долинах, и на холмах, и на вершинах гор виллами, и крестьянскими усадьбами, и так называемыми "охотничьими домиками", в которых Витгенштейны стараются проводить короткое время отдыха, с трудом выкраиваемое в суете довольно неприятных дел, связанных с их богатством. Но в тот момент, о котором я рассказываю, *резиденцией* Пауля был павильон "Людвиг". И я вдруг за-

1. Мет — Метрополитен-опера, ведущий и единственный в США постоянный оперный театр (Нью-Йорк); Ковент-Гарден — оперный театр в Лондоне, один из лучших оперных театров в Европе.

сомневался, разумно ли — с моей стороны, то есть из корпуса "Герман", — устанавливать связь с корпусом "Людвиг", не принесет ли это нам обоим скорее вред, чем пользу. Потому что кто знает, в каком состоянии на самом деле находится сейчас Пауль — возможно, в таком, которое окажется губительным для меня, и тогда лучше, чтобы я вообще не подавал о себе преждевременных вестей, чтобы я не устанавливал никакой связи между корпусом "Герман" и корпусом "Людвиг". А с другой стороны, подумал я, мое появление в корпусе "Людвиг", к тому же еще и неожиданное, может губительно повлиять на Пауля. Я действительно вдруг испугался нашей возможной встречи и подумал: пусть наша общая приятельница Ирина решит, стоит устанавливать контакт между корпусом "Герман" и корпусом "Людвиг" или нет. Но и от этой мысли я тотчас отказался, так как не хотел, чтобы у нашей приятельницы возникли какие-то затруднения, если она — как всегда любезно — согласится принять решение за нас. Пока что у меня все равно нет сил, чтобы добраться до корпуса "Людвиг", подумал я — и вообще отказался от мысли посетить корпус "Людвиг", ибо эта мысль внезапно показалась мне *слишком абсурдной*. В конце концов, легко допустить, что сам Пауль однажды, совершенно неожиданно, заявится *сюда*; это вполне возможно, подумал я, потому что наша не в меру болтливая приятельница сказала ему, что я нахожусь здесь, в корпусе "Герман". И я на самом деле боялся такого поворота событий. А если он внезапно появится здесь, в корпусе "Герман" — в этом месте, как никакое другое содержащемся в строгости и действительно *посвященном смерти*, подумал я; появится в своей униформе психа: в шлепанцах психа, в рубашке психа, в куртке психа и в штанах психа... Я этого боялся. Я не знал, как его встретить, как принять, как с ним справиться. И еще я размышлял о том, что ему легче добраться до меня, чем мне — до него. Если он способен хоть как-то двигаться, то из нас двоих именно он объявится первым, придет сюда. Но такого рода визит, подумал я, при любых обстоятельствах может закончиться только катастрофой. Я отгонял от себя тревожное предчувствие и пытался переключить свои мысли на другое, но, естественно, это не получалось. Опасение, что Пауль действительно нанесет мне визит, в конце концов превратилось в навязчивый кошмар. У меня было ощущение, что с минуты на минуту откроется дверь и войдет Пауль. В своей униформе сумасшедшего. И я уже мысленно видел, как санитары ищут его здесь, как они запихивают его в смирительную рубашку и дубинками гонят назад, к "Штайнхофу"; эта ужасающая картина прочно засела в моем сознании. Он достаточно неосторожен, говорил я себе, и наверняка совершит эту ошибку: пролезет через дыру в ограждении, и доберется до корпуса "Герман", и бросится к моей кровати, и обнимет меня. В периоды своих так называемых *критических состояний* Пауль нередко подбегал к какому-нибудь человеку и обнимал его так крепко, что тому казалось, будто он сейчас задохнется в этих объятиях, а потом начинал рыдать у него на груди. Я в самом деле боялся, что Пауль может *внезапно* ворваться ко мне, и обнять меня, и разрыдаться на моей груди. Я любил его, но не хотел, чтобы он меня обнимал, я терпеть не мог, когда он, в свои пятьдесят девять или шестьдесят лет, разражался рыданиями в моем присутствии. В таких случаях он обычно дрожал всем телом, бормотал что-то нечленораздельное. На его губах выступала пена, и он до тех пор цеплялся за тебя, пока это не становилось почти невыносимым, — и приходилось освобождаться силой. Я не раз отталкивал его, естественно, против воли, но иначе было нельзя — он чуть ли не расплющивал меня в своих объятиях. В последние годы эти

"приступы обнимания" стали еще более душераздирающими, и требовалось огромное самообладание, не говоря уже о недюжинной силе, чтобы освободиться из его объятий. Все давно понимали, что Пауль насквозь и смертельно болен. И было только вопросом времени, когда именно его доконает внезапный приступ. "Ты — мой единственный друг, моя единственная надежда, последний, кто у меня остался", — бормотал Пауль человеку, которого сжимал в объятиях, а тот не знал, как наиболее безболезненным образом утихомирить несчастного. Я боялся таких обниманий, боялся, что Пауль может в любой, самый неожиданный момент ворваться в мою дверь. Но он не пришел. Я со страхом ждал, когда он ворвется ко мне, но он не ворвался. От Ирины я узнал, что он пластом лежит на своей койке в корпусе "Людвиг" и даже отказывается принимать пищу. В результате применения здешних терапевтических методов Пауль обычно совершенно лишался сил, и врачи, добившись своей цели, оставляли его в покое. Когда он превращался в скелет и терял способность самостоятельно подниматься с кровати, они его отпускали. И он ехал на машине одного из своих братьев — или не на машине одного из своих братьев, а просто на такси — к Траунзе, чтобы на пару дней или даже недель укрыться в том витгенштейновском доме, в котором, согласно специальному договору, мог жить до своей смерти: это была лет двести назад построенная в высокогорной долине между Альтмюнстером и Траункирхеном крестьянская усадьба, где старая преданная Витгенштейнам и всю жизнь прослужившая им кухарка вела небольшое подсобное хозяйство для нужд выезжавших "на природу" господ. Жена Пауля Эдит никогда не сопровождала его в Траункирхен, а ждала в Вене. Эдит знала, что Пауль поправится, только если рядом с ним *никого* не будет — даже ее, самого близкого человека, женщины, которую он действительно любил до самой смерти. Приезжая на Траунзе, он всегда навещал меня — но не в первые дни, а позже, когда набирался смелости, чтобы появиться на людях, когда уже не опасался, что привлечет к себе бесцеремонные любопытные взгляды, когда его опять тянуло к разговорам и даже к философствованию. Если погода к тому располагала, он усаживался у стены моего дома в Натале и, прикрыв глаза, слушал какую-нибудь пластинку, которую я запускал в комнате второго этажа и которую при широко распахнутых окнах было превосходнейшим образом слышно также и снизу, со двора. "Что-нибудь Моцарта, пожалуйста", "Штрауса, пожалуйста", "Бетховена, пожалуйста", говорил он. Я знал, какую пластинку лучше поставить, чтобы привести его в хорошее настроение. Мы с ним часами, не произнося ни слова, слушали Моцарта или Бетховена. Мы оба это любили. Приготовленный мною скромный ужин завершал день, и потом, в сумерках, я на своей машине отвозил Пауля домой. Те безмолвные музыкальные вечера, проведенные вместе с ним, я никогда не забуду. Ему требовалось около двух недель, чтобы, как он сам выражался, *привести себя в норму*. Он оставался в Траункирхене до тех пор, пока сельская жизнь не начинала действовать ему на нервы, пока не наступал момент, когда он хотел только одного — вернуться в Вену. Там, в Вене, проходило четыре или пять месяцев, прежде чем обнаруживались первые признаки нового обострения, ну и так далее. В первые годы нашей дружбы Пауль почти безостановочно пил, что, естественно, ускоряло развитие болезни. Когда он бросил пить — в общем, без особого труда, — его состояние сперва пугающе ухудшилось, но потом быстро пошло на поправку. С тех пор Пауль в рот не брал спиртного. А ведь раньше никто не мог с ним сравниться по этой части; с утра заглянуть в "Захер" и разговеться там парой бутылок шам-

панского было для него делом самым обычным, даже не заслуживающим упоминания. В "Обенаусе", маленьком ресторанчике на Вайбурггассе, он однажды за вечер вылакал несколько литров белого вина. Такое, конечно, и для него не проходило бесследно. Если не ошибаюсь, он бросил пить за пять или шесть лет до смерти. Не решись он на это, возможно, умер бы тремя или четырьмя годами раньше, и этих лет было бы очень жаль. Потому что только в последние годы Пауль стал настоящим философом, тогда как раньше был лишь философствующим ловцом наслаждений; правда — и именно это делало его столь достойным любви, — он и наслаждаться умел так, как ни один другой человек из тех, кого я встречал в своей жизни. В корпусе "Герман", находясь, по сути, в состоянии *смертного страха*, я впервые ясно осознал, что значила для меня дружба с Паулем; осознал, что́ она была самой ценной из всех моих связей с людьми — единственной, которую я мог выдерживать достаточно долго и от которой ни при каких обстоятельствах не желал отказаться. Тогда же я внезапно испугался за этого человека, вдруг ставшего для меня самым близким, испугался, что могу его потерять, причем по двум причинам: *по причине моей* или *по причине его смерти*; ведь ровно настолько же, насколько я сам в те недели и месяцы был — в корпусе "Герман" — близок к смерти (по крайней мере, по моим собственным ощущениям), настолько же близок к смерти был он — в корпусе "Людвиг". Я вдруг затосковал по этому человеку — единственному мужчине, с которым я мог по-настоящему общаться, вести разговор на любую, даже наитруднейшую тему. Мне давно не хватает таких разговоров, не хватает способности Пауля слушать другого, объяснять свое мнение и одновременно *воспринимать чужое*, думал я. Как же давно это было — наши с ним разговоры о Веберне и Шёнберге, о Сати[1], о "Тристане" и "Волшебной флейте", "Дон Жуане" и "Похищении из сераля"! Сколько времени утекло с тех пор, как мы во дворе моего дома в Натале слушали "Рейнскую симфонию", которой дирижировал Шурихт[2]! Тогда, в павильоне "Герман", я впервые понял, чего мне не хватает, чего я лишился из-за нового обострения болезни, без чего не могу обойтись, если хочу выкарабкаться и жить дальше. Я, конечно, имею друзей, превосходнейших друзей, но среди них нет ни одного, кто по богатству своих творческих способностей и по тонкости восприятия мог бы сравниться с Паулем, подумал я — и с этого мгновения стал делать все, чтобы как можно скорее восстановить контакт с моим несчастным товарищем по духу. Когда мы оба снова окажемся на воле и будем *здоровыми*, говорил я себе, я наверстаю все, что упустил из-за пребывания в "Баумгартнерхёэ"; я, как говорится, ощущал чудовищную потребность наверстать упущенное. Бесконечное множество тем роилось в моей голове в ожидании дорогого мне собеседника. Но он, возможно, все еще лежал в смирительной рубашке на больничной койке, как рассказывала мне некоторое время назад наша с ним приятельница Ирина, и, неотрывно глядя в потолок своей палаты, которую он делил с двадцатью четырьмя другими пациентами, отказывался принимать какую бы то ни было пищу. Я должен попасть к нему как можно скорее, повторял я себе. В те недели нас мучила страшная жара, от которой больше всех страдал Иммерфоль. Ему пришлось распрощаться с любимой игрой "двадцать одно", он уже не

1. Эрик Сати (1866–1925) — французский композитор-минималист, автор фортепьянных пьес, балета "Парад" (1916), симфонической драмы "Сократ" (1918).
2. "Рейнская симфония" — третья симфония Роберта Шумана (1850). Карл Шурихт включил эту симфонию в репертуар симфонического оркестра Штутгартского радио, которым дирижировал, в 1960 г.

поднимался даже по утрам. Его лицо как-то вдруг осунулось, нос сделался громадным, гротескно обозначились скулы. Кожа стала прозрачно-серой, и он теперь лежал в постели совершенно раскрытый, никого не стесняясь, под конец — с широко раздвинутыми ногами, уже почти лишенными плоти. Сам доставать утку он не мог, а потребность помочиться испытывал чуть ли не каждую минуту, и поскольку сестры, естественно, не сидели в нашей палате все время, утку ему подавал я. Но он успел растерять даже самые простейшие навыки и, как правило, делал мимо. Из его открытого рта стекала зеленовато-желтая жидкость, к полудню пачкавшая всю наволочку. И от него вдруг начал исходить тот особый запах, который был мне так хорошо знаком — запах умирающего. Наш студент-теолог в те дни чаще обращался ко мне, чем к Иммерфолю, и целыми днями перелистывал какую-нибудь теологическую книжку — других, по моему впечатлению, он вообще не читал. Приехали его родители из Гринцинга, присели к нему на постель и долго рассуждали о том, что кроме него у них в целом свете никого нет и что он не должен их покидать. Но относительно студента *у меня* не было ощущения, будто его дела совсем плохи. А вот Иммерфоля однажды среди ночи таки выкатили — прямо в койке — в коридор; я проспал его смерть, но когда рано утром отправился со своей температурной таблицей в процедурную на контроль веса, в коридоре стояла его кровать, уже застеленная свежим бельем. Я сам исхудал до костей, если не считать моей лунной физиономии и живота, превратившегося в отвратительный бесчувственный шар, который, как мне казалось, в любое мгновение мог лопнуть и на котором высыпало множество мелких нарывчиков. Когда я услышал по радиоприемнику, который принадлежал студенту, передачу об автогонках в Монце, мне подумалось, что мой друг Пауль, если отвлечься от его страсти к музыке, ничем не увлекался столь самозабвенно, как автогонками. Он сам в молодости участвовал в автогонках, и к числу его лучших друзей принадлежал целый ряд мировых знаменитостей в этой области, которая меня лично всегда отталкивала, поскольку я думаю, что ничего более тупоумного и быть не может. Однако таков был мой друг: он обладал почти всеми мыслимыми дарованиями. Невозможно представить себе, что тот самый человек, который, на мой взгляд, дал самую тонкую оценку струнным квартетам Бетховена, который, единственный из всех, правильно расшифровал для меня (и тем самым превратил в математическое чудо) Хаффнеровскую симфонию, — что тот же человек был фанатиком автогонок, и в его ушах, насколько я знаю, шум мчащихся своим гибельным путем автомобилей звучал не менее прекрасно, чем самая волшебная музыка. Много раз — летом — Витгенштейны, которые все были фанатиками автогонок и остаются ими до сих пор, приглашали в свои владения на Траунзе лучших автогонщиков мира, и я помню, как по настоянию Пауля сам проводил в его доме на Траунзейском холме целый вечер и добрую часть ночи в компании, например, Джеки Стюарта и Грэма Хилла, очень забавных парней, или Йохена Риндта, вскоре погибшего в Монце[1]. Теперь, говорил Пауль, когда ему перевалило за шестьдесят, он, естественно, смотрит на эти вещи иначе, действительно видит в них "тупоумие"

1. Джеки Стюарт (р. 1939) – английский автогонщик, 27 раз получал Гран-при, трижды чемпион мира в автогонках "Формула-1": в 1965, 1969 и 1973 годах; Грэм Хилл (1929–1975) – английский автогонщик, двукратный чемпион мира в автогонках "Формула-1": в 1962 и 1968 годах; погиб, разбившись на своем самолете; Йохен Риндт (1942–1970) – австрийский автогонщик, участник соревнований "Формула-I". Разбился на чемпионате мира в Монце (под Миланом), получив посмертно свой первый и единственный чемпионский титул.

(как в наших с ним разговорах называл автогонки я). Тем не менее "Формула-1" сохраняла для него настолько очевидное значение, что он чуть ли не при каждой встрече рано или поздно вспоминал об этом своем коньке и внезапно переводил любой разговор на автогонки, а раз начав, уже не мог перестать, и приходилось судорожно искать способ отвлечь Пауля от его навязчивой идеи (фактически давно превратившейся в психический "сдвиг"). Пауль имел две страсти, которые можно назвать двумя его главными болезнями: музыку и автогонки. В первой половине жизни для него всем были автогонки, во второй — музыка. И парусный спорт. Но где то время, когда он действительно занимался любимыми видами спорта? К моменту нашего с ним знакомства его автогоночно-спортивные увлечения приобрели, так сказать, теоретический характер: сам он давно не участвовал в гонках и не плавал под парусом. У него уже не было собственных средств, и родственники держали его "на коротком поводке", а еще раньше — после того как он несколько лет практически не выходил из состояния депрессии — они засунули его в страховую контору на Шоттенринге, в так называемую *башню*, где ему пришлось, поскольку ничего другого не оставалось, собственным трудом зарабатывать на жизнь (как можно предположить, разнося документы и составляя какие-то списки) — причем деньги ему платили небольшие. Но что поделаешь — он, в конце концов, имел жену и должен был оплачивать квартиру на Штальбурггассе, наискосок от Испанской школы верховой езды. А квартплата в Первом округе — выше некуда. И потому прежде свободный *господин барон* теперь точно к полвосьмого утра являлся в контору, где ему не делали никаких поблажек. Однако данное обстоятельство его не сломило. Пауль даже подшучивал по этому поводу, и его фантазия расцветала буйным цветом всякий раз, когда у него возникало желание понагляднее описать порядки, царившие в так называемой *государственной страховой конторе.* Пауль целыми вечерами развлекал друзей подобными историями, искренне радуясь, что, начав работать, наконец-то оказался в гуще народа, увидел, каков этот народ в действительности и чем он, собственно, занимается. Мне кажется, родственники только потому сунули Пауля в эту страховую контору, что имели связи с ее дирекцией: без связей страховая контора его бы не взяла, тем более в столь преклонном возрасте — ни одна фирма в наши дни не возьмет на такую должность шестидесятилетнего человека. Работать в силу необходимости, чтобы зарабатывать деньги, чтобы, так сказать, обеспечивать собственное существование, — это было для Пауля делом совершенно новым, и все знакомые предрекали ему крах. Но они ошиблись: Пауль почти до конца своей жизни (за исключением того короткого последнего периода, когда он просто уже физически делать этого не мог) ходил в страховую контору — вовремя приходил и вовремя уходил, как там полагалось. *"Я образцовый служащий"*, — часто говорил Пауль, и я никогда не сомневался в его словах. С Эдит, своей второй женой, он, если не ошибаюсь, познакомился в Берлине — как я думаю, до, после или во время посещения оперного театра. Она была племянницей композитора Джордано, создателя оперы "Андре Шенье"[1], и имела родственников в Италии, куда и ездила каждый год — с Паулем или без него, но чаще без Пауля, своего третьего мужа, — чтобы отдохнуть и восстановить силы. Мне она оп-

1. Умберто Джордано (1867—1948) — итальянский оперный композитор, работавший в стиле веризма; "Андре Шенье" (1896) — его самая известная опера.

ределенно нравилась, и я радовался каждый раз, когда видел ее за чашечкой кофе в "Бройнерхофе". Я вел с ней приятнейшие беседы: она не только в силу своих семейных связей принадлежала к *лучшим кругам*, но и по своему умственному развитию намного превосходила тот уровень, который принято определять как "выше среднего", — и к тому же обладала большим обаянием. То, что она была еще и весьма элегантной женщиной, для жены Пауля Витгенштейна разумелось как бы само собой. Даже в те без сомнения самые горькие для нее годы, когда болезнь мужа быстро и неотвратимо прогрессировала и уже можно было предвидеть его скорую смерть, когда приступы у него случались все чаще и он проводил больше времени в "Штайнхофе" и лечебнице Вагнера-Яурегга в Линце, нежели в Вене или на Траунзе, она — хотя я хорошо знал, в каких чудовищно трудных обстоятельствах им тогда приходилось жить, — никогда не позволяла себе жаловаться. Она любила Пауля и ни на минуту не оставляла одного, хотя большую часть времени жила от него отдельно, не покидая их маленькой квартирки на Штальбурггассе, в доме, построенном на рубеже веков, тогда как ее муж часто влачил, так сказать, растительное существование в "Штайнхофе" или в линцской лечебнице Вагнера-Яурегга, которую прежде называли "Нидернхартом", — облаченный в смирительную рубашку, в какой-нибудь ужасной палате, в компании себе подобных. Его приступы не были внезапными, они всегда возвещали о себе заранее, за несколько недель: например, у него вдруг начинали дрожать руки и он не мог довести до конца ни одной фразы, хотя говорил непрестанно, часами, и его речь невозможно было прервать; или его походка становилась неровной, то есть, идя рядом с кем-то, он делал десять или одиннадцать очень быстрых шагов, а потом — три, четыре или пять совсем медленных; или он без достаточного повода заговаривал на улице с людьми, которых не знал; или заказывал себе в "Захере" часов в десять утра бутылку шампанского, но не выпивал ее, а позволял ей оттаять и в конце концов оставлял непочатой на столе. Однако все это — безобидные пустяки. Хуже было, когда однажды он схватил только что им заказанный и принесенный кельнером поднос с завтраком и швырнул в обитую шелком стену. А на Петерсплац, мне рассказывали, он как-то сел в такси и произнес только одно слово: "Париж"; водитель, зная, с кем имеет дело, повез его туда, и жившей в Париже тетке Пауля пришлось оплатить поездку. Ко мне в Наталь Пауль тоже несколько раз приезжал на такси, всего на полчаса — "только чтобы увидеть тебя", как он говорил, — и потом возвращался в Вену, а ведь это все-таки двести десять километров в один конец, значит, туда и обратно — четыреста двадцать. Когда Пауль *дозревал до больницы*, как он сам выражался, он не мог удержать в руке стакан, то и дело терял контроль над собой и начинал плакать. Его всегда видели только в самых элегантных костюмах, завещанных ему умершими друзьями или подаренных друзьями еще живыми; около десяти утра, к примеру, он сидел в белом костюме у "Захера", около половины двенадцатого — в серо-полосатом в "Бройнерхофе", около половины второго — в "Амбассадоре" в черном, а около половины четвертого пополудни — опять же у "Захера" в кремовом. Куда бы он ни отправлялся и где бы ни находился, он на ходу напевал не только целые вагнеровские арии, но очень часто — чуть ли не половину "Зигфрида" или "Валькирий"; напевал своим ломким голосом, не обращая внимания на окружающих. На улице он мог спросить совершенно посторонних людей, не придерживаются ли они, как и он, того мнения, что после Клемпе-

рера[1] слушать музыку в интерпретации других дирижеров стало невыносимо. Большинство из тех, к кому он обращался, никогда ничего не слыхали о Клемперере и вообще не имели представления о музыке, однако его это не смущало. Когда у него возникало такое желание, он прямо посреди улицы начинал рассуждать о *Стравинском* или о *"Женщине без тени"*[2] и во всеуслышанье заявлял о том, что *скоро* поставит "Женщину без тени" на Траунзе – с лучшими исполнителями мира. "Женщина без тени" была его самой любимой оперой после вагнеровских. И он действительно постоянно спрашивал у прославленнейших певиц и певцов, за какие гонорары они согласились бы принять участие в одноразовой постановке "Женщины без тени" на Траунзе. "Я построю плавающую сцену, – часто говорил он, – а оркестранты будут играть на второй плавающей сцене, под Траунской скалой". "'Женщина без тени' создана для Траунзе, ее следует играть между Траунской церковью и Траунской скалой", – так он говорил. "Смерть Клемперера сорвала мои планы, – говорил он позже, – с Бёмом[3] 'Женщина без тени' превратится для меня в кошачий концерт". Однажды он заказал у Книзе, лучшего и самого дорогого портного в Вене, сразу два белых фрака. Когда заказ выполнили, Пауль написал служащим ателье, что они поступили странно, прислав ему целых два белых фрака, тогда как он не заказывал даже *одного, черного*, – и в конце вежливо осведомился, уж не принимают ли его за сумасшедшего. На самом же деле он много недель ходил в ателье Книзе, постоянно требуя каких-то изменений в покрое обоих заказанных им фраков. Даже не неделями, а месяцами терзал он фирму Книзе своими капризами, а когда оба белых фрака наконец были готовы, Пауль вообще отказался признать, что заказывал в ателье Книзе два фрака – "два белых фрака – что они там себе думают! – я ведь не сумасшедший, чтобы заказывать два белых фрака, да к тому же в ателье Книзе". В итоге владелец ателье, вооружившись кипой свидетельских показаний, потребовал от Пауля причитающийся ему *гонорар*, который, естественно, – поскольку у Пауля своих денег не было – пришлось выплачивать семейству Витгенштейнов. Само собой, после этого Пауль опять угодил в "Штайнхоф". Его родственников больше устраивало, чтобы он находился там, а не на свободе, которой – как они, разумеется, думали – он всегда только злоупотреблял, причем самым возмутительным образом. Они ненавидели Пауля – несмотря на то и именно потому, что он был их же собственным порождением (на мой взгляд – наилучшим). Что-то гротескное мерещилось мне уже в том, что мы с ним одновременно оказались на судьбоносной для нас Вильгельминовой горе. Я – в подобающем мне отделении легочной терапии, он – в подобающем ему психиатрическом отделении. Пауль вновь и вновь пытался объяснить мне на пальцах, сколько раз он уже побывал в "Штайнхофе" и в "Нидернхарте" (то есть в лечебнице Вагнера-Яурегга), но пальцев не хватало, и он никогда не мог установить точное число. Если в первой половине его жизни деньги вообще не играли никакой роли, потому что он, как и его дя-

1. Отто Клемперер (1885–1973) – выдающийся немецкий дирижер и композитор; в 1927–1933 гг. – директор оперного театра "Кролл" в Берлине, пропагандировавшего новые оперные произведения; в 1933–1939 – главный дирижер филармонического оркестра в Лос-Анджелесе; в 1947–1950 гг. – директор оперного театра в Будапеште; с 1955 г. – главный дирижер Лондонского филармонического оркестра.
2. Опера-сказка Рихарда Штрауса на либретто Гуго фон Гофмансталя, впервые поставленная в 1919 г.
3. Карл Бём (1894–1981) – австрийский дирижер; руководил дрезденским, а затем венским оперным театром. В 1964 г. стал первым генеральным музыкальным директором Австрии.

дя Людвиг, располагал ими в чудовищных и — так им обоим казалось — неисчерпаемых количествах, то во второй половине жизни, когда он их вообще не имел, они, напротив, играли величайшую роль. Дело в том, что и во второй половине своей жизни Пауль много лет вел себя точно так же, как в первой, а это, естественно, приводило к серьезнейшим столкновениям с родственниками, которым он — по крайней мере юридически — больше не мог предъявлять никаких претензий. Оставшись буквально за одну ночь без гроша, он просто-напросто стал снимать со стен помещений, которыми владел, картины и продавать их за бесценок бессовестным перекупщикам из Вены и Гмундена[1]. Бóльшая часть его драгоценной мебели тоже исчезла в недрах автофургонов, принадлежавших так называемым торговцам антиквариатом, продувным бестиям, которые давали Паулю за эти сокровища какую-то ерунду. Так за комод эпохи Иосифа II ему заплатили не больше, чем стоит бутылка шампанского, и эту бутылку он тут же распил с торговцем, который *купил* у него комод. В конце жизни Пауль часто высказывал желание съездить (по крайней мере) в Венецию, чтобы *один раз выспаться в "Гритти"*[2], но для подобных желаний было уже слишком поздно. О своих пребываниях в "Штайнхофе" и лечебнице Вагнера-Яурегга он рассказывал мне невероятные вещи, которые надо бы пересказать, но для этого здесь нет места. "Я был в дружеских отношениях с врачами, пока у меня водились деньги, — часто говорил он, — но потом, когда денег у тебя уже нет, с тобой начинают обращаться как со свиньей". *Господина барона* санитары запирали в одну из "клеток", то есть в одну из сотен кроватей, затянутых металлической сеткой, не только с боков, но и сверху, и держали его там, в лежачем положении, до тех пор, пока он — сломленный — не становился покорным. Что достигалось лишь после многонедельной шоковой терапии и побоев. Я боялся снова увидеть Пауля. Но однажды случилось следующее. Между обедом и официальным временем посещений, когда в корпусе "Герман" царит совершенный покой, меня разбудила рука Пауля, которую он положил мне на лоб. Он стоял рядом и спрашивал, можно ли ему сесть. Потом присел на мою кровать, и на него сразу же напал *смех* — ему тоже вдруг показалось комичным, что мы с ним одновременно попали на Вильгельминову гору. "Ты туда, куда тебе подобает, — сказал он, — а я туда, куда подобает мне". Он пробыл у меня совсем недолго, и мы с ним договорились почаще друг друга навещать, так, чтобы попеременно то я приходил в "Штайнхоф", то он из "Штайнхофа" — в "Баумгартенхёэ", ко мне; я — из корпуса "Герман" в корпус "Людвиг", он — из корпуса "Людвиг" ко мне в корпус "Герман". Но на деле мы осуществили наше намерение только один-единственный раз. Тогда мы встретились на полпути между корпусом "Герман" и корпусом "Людвиг" и уселись на скамейку, которая еще принадлежала ареалу легочных больных. "Гротескно, гротескно!" — сказал он, после чего начал плакать и никак не мог успокоиться. Все его тело долго сотрясалось от плача. Я проводил его до корпуса "Людвиг", у входа в который его уже ждали два санитара. И в самом мрачном настроении вернулся назад, в корпус "Герман". Это свидание на скамейке, во время которого мы оба были обряжены в предписанные нам униформы (я — в униформу легочных больных, он — в униформу психов из "Штайнхофа"), произвело на меня

1. Гмунден — курорт на берегу Траунзе.
2. "Гритти" — отель, размещающийся в палаццо XVI в. на площади Св. Марка. В нем останавливаются коронованные особы, главы государств, премьер-министры и т. д.

глубочайшее впечатление. После того свидания мы могли бы встретиться снова, но не встретились, потому что больше не хотели подвергать себя такому почти непосильному испытанию; мы оба чувствовали, единственное то свидание исключило возможность любой другой нашей встречи на Вильгельминовой горе, тут даже не о чем было говорить. Когда же в конце концов меня отпустили из корпуса "Герман" и я не умер, как мне предсказывали, а вернулся в Наталь, я долго ничего более не слышал о моем друге. Мне требовались неимоверные усилия, чтобы *нормализовать* свое состояние, о новой работе пока нечего было и думать, но я заранее позаботился, чтобы за время моего отсутствия дом, прежде действительно сильно запущенный, привели в порядок; не торопясь, говорил я себе, главное — не торопясь, понемногу воссоздавать те условия, которые однажды позволят мне вновь приняться за какую-нибудь работу. Любой больной, несколько месяцев проведший вне дома, всегда возвращается назад как человек, для которого все стало чужим и которому приходится постепенно, ценой величайших усилий заново привыкать ко всему и заново всем овладевать; о чем бы ни шла речь, за истекшее время он потерял фактически все и теперь должен найти вновь. А поскольку такого вернувшегося больного по сути всегда предоставляют самому себе — все, кто утверждает, будто это не так, нагло лгут, — он должен затратить нечеловеческие усилия, если хочет продолжить свою жизнедеятельность с того самого пункта, на котором месяцы назад (или, как в моем случае, много месяцев, а то и лет назад) прервал ее. Здоровый человек этого не понимает, он сразу делается нетерпелив и своим нетерпением только осложняет для вернувшегося больного все то, что должен был бы ему облегчить. Люди здоровые еще никогда не проявляли терпения по отношению к больным, как, естественно, и больные — по отношению к здоровым, о чем тоже не следует забывать. Ведь больной, естественно, предъявляет ко всему гораздо более высокие требования, чем здоровый, который обычно не предъявляет таких высоких требований именно потому, что здоров. Больные не понимают здоровых, как и здоровые, в свою очередь, не понимают больных, и этот конфликт очень часто становится смертельным, в конечном счете непосильным для больного человека — как, естественно, и для здорового, который в результате такого конфликта сам может заболеть, что уже нередко случалось. Нелегко иметь дело с больным, когда он внезапно вернулся туда, откуда болезнь вырвала его месяцы или даже годы назад, причем вырвала радикально; а здоровые, как правило, даже не имеют желания помочь больному — если по правде, они лишь постоянно и лицемерно изображают сочувствие, которого не испытывают, не хотят испытывать и которое, в силу своего лицемерно-показного характера, только вредит больному, не принося ему ни малейшей пользы. Больной на самом деле всегда одинок, а помощь, приходящая к нему извне, почти всегда, как мы знаем, оказывается только помехой или источником беспокойства. Больной нуждается в помощи самого незаметного свойства, которую люди здоровые оказать не способны. Своей (в конечном счете эгоистической) лицемерно-показной помощью они только вредят больному и все для него осложняют — вместо того чтобы упрощать. "Помогающие", как правило, не помогают больному, а только обременяют его. Вернувшийся домой больной не может позволить себе никакой лишней нагрузки. Но если больной попытается пожаловаться, что ему, мол, вместо того чтобы помочь, на самом деле лишь докучают, то те люди, которые только притворяются, будто помогают, безапелляционно

опровергнут его жалобы. Его тотчас обвинят в высокомерии, в безграничном эгоизме, тогда как речь тут может идти лишь о необходимейших мерах самозащиты. Мир здоровых встречает вернувшегося домой больного показным дружелюбием, показной готовностью прийти на помощь, показным духом самопожертвования; если же больной и в самом деле попытается подвергнуть проверке это дружелюбие, и эту готовность прийти на помощь, и это самопожертвование, то сразу выяснится, что все это — лишь кажущиеся и, следовательно, показные качества, и больному лучше на них не рассчитывать. И все же, конечно, ничто так не угнетает больного, как действительное дружелюбие, и действительная готовность прийти на помощь, и действительное самопожертвование — не говоря уж о том, что и в этом случае границу между *действительным* и *кажущимся* провести очень трудно. Мы можем долго принимать что-то за действительное, тогда как по правде имели дело лишь с кажущимся и просто привыкли закрывать на это глаза. Лицемерие здоровых по отношению к больному — обычнейшее явление. По сути, здоровый человек не желает иметь с больным ничего общего, и ему не особенно нравится, когда больной — я сейчас говорю о действительно тяжелобольном — вновь начинает в каком-то смысле посягать на его здоровье. Здоровые всегда стараются подстроить все так, чтобы больному было как можно труднее выздороветь, или по крайней мере вновь *нормализовать* свое состояние, или же, на худой конец, оставаясь больным, хоть немного улучшить свое самочувствие. Здоровый, ежели он порядочный человек, не желает иметь ничего общего с больным, не хочет, чтобы ему напоминали о болезни и тем самым (по логике вещей) — о смерти. Здоровый желает находиться среди себе подобных, он в принципе не терпит больных. Мне самому всегда было очень тяжело возвращаться из мира больных в мир здоровых. Во время болезни — то есть задолго до пресловутого момента возвращения — здоровые уже полностью отвернулись от больного, отказались от него и, значит, решились следовать только собственному инстинкту самосохранения. Теперь вдруг тот человек, которого они уже сочли отработанным материалом и, говоря начистоту, не принимали в расчет, опять появляется и требует восстановления в правах. Естественно, ему тотчас дают понять, что он, собственно, никаких прав не имеет. Вообще, больные — с точки зрения здоровых — больше никаких прав не имеют. Я по-прежнему говорю только о тяжелобольных — о тех, кто страдает от какой-то пожизненной болезни, как я и как в свое время Пауль Витгенштейн. Больные по причине своей болезни делаются неправоспособными и впредь могут рассчитывать лишь на тот кусок хлеба, который люди здоровые подают им из милости. Больной уже в силу своей болезни занял какое-то определенное место, а теперь вдруг опять претендует на то место, которое занимал прежде. Здоровые не могут не расценивать это как акт вопиющей, неслыханной несправедливости. Поэтому вернувшийся больной всегда испытывает такое чувство, будто он внезапно вторгается в некую сферу, в которой ему уже нечего искать. Данный феномен известен по всему миру: больной пропадает, исчезает, и здоровые тотчас занимают его место, в буквальном смысле этим местом завладевают; потом вдруг больной — который, вопреки ожиданиям, не умер — возвращается назад и хочет снова занять свое прежнее место, завладеть им; это, естественно, возмущает здоровых, ведь им, из-за внезапного появления уже списанного со счетов человека, приходится вновь ограничивать себя, что идет совершенно вразрез с их желаниями, а от больного требует сверхчеловеческого

напряжения сил — если, конечно, он действительно хочет вновь занять свое место и завладеть им. Но, с другой стороны, мы знаем также, что тяжелобольные, когда они возвращаются домой, способны проявить величайшую беспощадность в ходе *повторного овладения своими правами.* Иногда им даже хватает сил, чтобы оттеснить здоровых, а то и совершенно их вытеснить или даже убить. Однако подобные случаи все-таки крайне редки, а в повседневной жизни самым распространенным является тот вариант, о котором я говорил раньше: больной, возвращаясь домой, не ждет ничего, кроме бережного отношения к себе, а встречает в конечном счете лишь грубое лицемерие и, поскольку больным вообще свойственна особая прозорливость, он его тотчас распознает. К вернувшемуся домой больному — я имею в виду тяжелобольного — следует относиться бережно. Однако практически осуществить это настолько трудно, что мы едва ли припомним случай, когда к вернувшемуся домой тяжелобольному относились по-настоящему бережно. Здоровые тотчас дают ему понять, что он, собственно, больше не имеет никакого касательства к этому месту и, следовательно, к их кругу, и они всеми средствами пытаются, хотя и утверждают обратное, вернувшегося домой больного оттолкнуть. Правда, мне самому — в то время, о котором идет речь, — не пришлось испытать ничего подобного, потому что я вернулся в совершенно безлюдный дом. А Пауль, которого (чуть раньше) тоже отпустили из больницы, вернулся — по счастью — к своей жене Эдит. Я вряд ли когда-нибудь встречал человека, более щедрого на помощь, нежели жена моего друга Пауля: она с любовью ухаживала за ним до тех пор, пока у нее самой однажды — примерно за полгода до его смерти — не случился инсульт, повлекший за собой частичный паралич. Она, правда, и после своего долгого пребывания в больнице еще несколько месяцев появлялась на улицах Старого города[1] — но, конечно, уже не была той Эдит, какой я ее помнил. Став еще более застенчивой, чем до инсульта, она теперь выходила на улицу лишь для того, чтобы сделать в ближайших окрестностях необходимые покупки, да еще — поскольку готовка требовала от нее слишком больших усилий — пообедать в отеле "Грабен", расположенном на Доротеергассе, где всегда можно было поесть дешево, а в те времена, в отличие от нынешних, еще и очень вкусно. После того как оба владельца отеля "Грабен", которым принадлежали также "Регина" и "Ройал", ушли из жизни — а оба они умерли от так называемой *болезни Паркинсона,* — обедать во всех этих трех отелях, то есть в их ресторанах, стало невозможно, и я уже давно туда не хожу, о чем очень жалею, потому что именно в "Грабене" чувствовал себя уютнее всего. Эдит тоже в свой черед умерла, и мой друг Пауль оказался, если можно так выразиться, брошенным на произвол судьбы. Состояние его стремительно ухудшалось. Иногда, судя по внешнему виду, еще можно было подумать, будто он остался прежним, но все равно *смерть уже наложила отпечаток на его черты,* как принято говорить, и он сам это знал — знал, что ничто уже не связывает его с нашим миром. Правда, несколько раз он пытался поправить свое здоровье в Зальцкаммергуте, но дело в том, что ему самому это уже не было нужно. Если при жизни Эдит он часто оставлял ее одну в квартире над "Бройнерхофом", то теперь, после смерти жены, вдруг осознал, что вообще более не способен существовать без нее. У него был *потерянный* вид, и помочь ему уже не пред-





1. Старый город — центральная, старинная часть Вены, ограниченная кольцевой улицей Рингштрассе.

ставлялось возможным. Когда собиралась наша дружеская компания, мы часто брали его с собой в какой-нибудь ресторанчик, чтобы, как говорят в таких случаях, подбодрить, – однако все наши усилия пропадали впустую. Он после смерти жены тоже пару раз приглашал меня и моих приятелей в "Захер", заказывал, как и прежде, шампанское, но в результате лишь усугублял свою депрессию. В Траункирхен, куда он в последние годы часто ездил со своей Эдит, если только не находился в "Штайнхофе" или лечебнице Вагнера-Яурегга (Вагнер-Яурегг, именем которого назвали эту психиатрическую лечебницу, тоже, кстати, был его родственником), он теперь ездил один, но такие поездки явно оказывали на него разрушительное воздействие. В отчаянии (что было заметно даже издали) он безостановочно бродил по округе, не находя для себя никакой зацепки или опоры. В собственном жилище Пауля на вершине *холма* между Альтмюнстером и Траункирхеном – в доме, который наполовину принадлежал одному из его братьев, проводившему бóльшую часть года в Швейцарии, – было всегда, то есть в любое время года, так холодно, что, уже переступая порог, человек чувствовал: скоро он совсем окоченеет. К этому следует прибавить, что на высоких отсыревших стенах гостиной висели четыре большие, уже пораженные грибком картины работы живописцев круга Климта[1], а рядом – картина самого Климта, которому военные промышленники Витгенштейны охотно заказывали свои портреты, как, впрочем, и другим знаменитым художникам того времени, потому что в среде так называемых *нуворишей* на рубеже веков стало очень модно заказывать, прикрываясь меценатством, собственные портреты. По сути, Витгенштейны, как и все им подобные, вообще ни черта не смыслили в искусстве, но им хотелось быть меценатами. В одном углу комнаты стоял концертный "Бозендорфер", на котором, надо думать, играли все прославленные пианисты. Холод объяснялся в основном тем, что в этой большой комнате на первом этаже стояла гигантская кафельная печь, но – поскольку несколько десятилетий назад она вышла из строя и десятилетиями не топилась – функционировала уже не как печка, а как ледник. Всякий раз, когда я видел Пауля и Эдит сидящими у этой печки, они неизменно кутались в меховые куртки. В пресловутом Зальцкаммергуте приходится топить вплоть до начала июня и потом снова – с середины августа. Это холодный и неприветливый край, который люди лишь в силу своей извращенности любовно называют *привилегированным местом летнего отдыха.* На самом же деле Зальцкаммергут всегда холоден, неприветлив, а для чувствительных натур это вообще гиблое место. В Зальцкаммергуте все жители без исключения болеют ревматизмом и к старости все как один делаются калеками. Только очень сильные люди способны продержаться здесь долго. Зальцкаммергут и вправду великолепен, если пробыть в нем пару дней, но он губителен для каждого, кто остается на более длительный срок. Пауль любил Зальцкаммергут как землю своего детства, но эта земля все больше угнетала его. Он приезжал сюда из Вены в надежде поправить здоровье, однако в Зальцкаммергуте его состояние только ухудшалось. Зальцкаммергут с каждым разом все более беспощадно давил на его душу и тело. Прогулки, которые мы с Паулем в то время совершали в окрестностях Альтмюнстера, помочь не могли; правда, у нас с Паулем тогда еще завязывались, и очень часто, *идеальные* беседы, но после смер-

28. Густав Климт (1862–1918) – австрийский живописец, декоратор интерьеров, мастер книжной иллюстрации.

ти Эдит все в нем вдруг обрело налет безысходности, стало, во всяком случае, иным, чем прежде, *как бы надломленным.* Когда он смеялся, смех его производил тягостное впечатление. Даже если оставить в стороне смерть жены — его любимой женщины, — Пауль и сам теперь вступил в тот возраст, когда все вдруг начинает даваться вдвое тяжелее, чем раньше. В комнате, где мы с ним сидели, воздух был настолько влажным и затхлым, что мне казалось, я вот-вот задохнусь, хотя за окнами сиял летний день. В тот раз я понял, почему они с женой почти никогда не останавливались в этом доме надолго, а, как правило, жили внизу, у подножия холма, в маленьком пансионе на Хауптштрассе. Там им, между прочим, не приходилось все по хозяйству делать самим, а после шестидесяти ни один человек не рвется все делать сам — Эдит же, когда она умерла, было почти восемьдесят. Мне сейчас вспомнилось, что Пауль, как это ни абсурдно звучит, под конец еще покатался со мной и моим братом на яхте по Траунзе. Пауль, хотя и был уже смертельно болен, очень воодушевился: он снова почувствовал себя в родной стихии; я же от души проклинал эту прогулку под парусом по разбушевавшемуся озеру. Мой брат и после подбивал Пауля на вылазки такого рода, но до этого дело не дошло. Пауль, в сущности, тогда уже слишком ослаб для подобных авантюр. Да и та первая прогулка со мной и моим братом радовала Пауля, только *пока мы были на озере;* едва мы сошли на берег, его настроение испортилось: он понимал, что прокатился на яхте в последний раз. В то время он вновь и вновь, при каждом удобном случае, повторял: "Это в последний раз..."; такие сентенции вошли у него в привычку. Когда ко мне приезжали друзья, он совершал вместе с нами пешие прогулки — против воли, но совершал. Я тоже не любитель пеших прогулок, тоже всю жизнь совершал такие прогулки только против воли, всегда ходил гулять против воли, но с друзьями я все-таки гуляю и веду себя так, что мои друзья уверены, будто я — страстный любитель прогулок, ибо я обставляю свои прогулки настолько *театрально,* что они только диву даются. Я совсем не любитель прогулок, и никакой не *друг природы,* и не *знаток природы.* Но когда приезжают друзья, я всегда веду себя так, чтобы они поверили, будто я — любитель прогулок, и *друг природы,* и *знаток природы.* Я вообще не знаю природу и ненавижу ее, потому что она меня убивает. Я живу на природе только потому, что врачи мне однозначно сказали: если я не хочу в самом скором времени умереть, то должен жить *на природе,* — только по этой единственной причине. По правде говоря, я люблю все что угодно, но не природу, потому что природа тревожит меня, я познал ее вероломство и ее безжалостность на собственной шкуре и на собственной душе, и поскольку я всегда вижу ее красоты одновременно с ее вероломством и с ее безжалостностью, я боюсь ее и стараюсь — как могу — избегать. Я — городской человек, я лишь вынужденно мирюсь с существованием природы, вот в чем правда. Я лишь вопреки собственной воле живу в сельской местности, которая по большому счету всегда мне враждебна. И, естественно, Пауль — так же, как и я, — был насквозь городским человеком, которого — так же, как и меня, — природа всегда очень быстро доводила до полного изнеможения. Однажды мне позарез нужно было достать "Новую Цюрихскую газету", я хотел прочитать статью о Моцартовой "Заиде"[1], предстоящая премьера которой обсуждалась в "Новой Цюрихской газете"; и поскольку, как я



1. "Заида" — незавершенный зингшпиль Моцарта (1780), впервые поставленный в 1866 г.

думал, достать "Новую Цюрихскую газету" можно только в Зальцбурге, за восемьдесят километров отсюда, я сел в машину одной своей приятельницы и вместе с ней и с Паулем отправился за "Новой Цюрихской газетой" в Зальцбург, в так называемый *всемирно прославленный* центр музыкальных фестивалей. Однако в Зальцбурге я не достал "Новую Цюрихскую газету". Тогда у меня возникла идея, что я смогу раздобыть "Новую Цюрихскую газету" в Бад-Райхенхалле, и мы поехали в Бад-Райхенхалль, *всемирно прославленный* курортный город. Но и в Бад-Райхенхалле я не достал "Новую Цюрихскую газету", после чего мы трое, обманутые в своих ожиданиях, поехали обратно в Наталь. Однако, когда мы уже почти добрались до Наталя, Пауль вдруг сказал, что нам стоило бы прокатиться еще и до Бад-Халля, тоже *всемирно прославленного* курорта, что там мы наверняка достанем "Новую Цюрихскую газету" и, следовательно, статью о "Заиде", — и мы в самом деле преодолели восемьдесят километров, отделяющих Наталь от Бад-Халля. Но и в Бад-Халле мы не достали "Новую Цюрихскую газету". Поскольку же от Бад-Халля до Штайра *было уже рукой подать*, каких-нибудь двадцать километров, мы поехали еще и в Штайр, но и в Штайре не раздобыли "Новую Цюрихскую газету". Что ж, мы попытали счастья еще и в Вельсе, но и в Вельсе "Новой Цюрихской газеты" не было. Мы в общей сложности отмотали триста пятьдесят километров, исключительно ради "Новой Цюрихской газеты", и в результате наши усилия так и не увенчались успехом. В конце концов, совершенно измотанные, как легко себе представить, мы зашли в один вельсский ресторанчик, чтобы перекусить и успокоиться, ибо охота за "Новой Цюрихской газетой" довела нас до грани наших физических возможностей. Во многих отношениях, как я думаю теперь, когда вспоминаю ту историю с "Новой Цюрихской газетой", мы с Паулем были очень похожи. Не будь мы тогда совершенно измотаны, мы бы наверняка поехали еще и в Линц, и в Пассау, возможно даже в Регенсбург и Мюнхен; в конце концов совсем не исключено, что мы просто-напросто купили бы "Новую Цюрихскую газету" в Цюрихе — уж в Цюрихе-то, думаю я, мы бы ее точно достали. А поскольку во всех тех местах, где мы в тот день побывали и которые прочесали насквозь, мы так и не нашли "Новую Цюрихскую газету" — потому что ее там нет, даже в летние месяцы, — я могу охарактеризовать все эти прочесанные нами места только как жалкие дрянные местечки, вполне заслуживающие столь неделикатного наименования. Если не худшего. И для меня еще тогда стало очевидно, что человек духа не может существовать в таком месте, где для него недоступна "Новая Цюрихская газета". Чтобы осознать это, достаточно вспомнить, что даже в Испании, и в Португалии, и в Марокко — в малюсеньких курортных местечках с одним-единственным плохоньким отелем — я в любое время года могу без всяких хлопот достать "Новую Цюрихскую газету". А у себя дома — нет! И вот на том основании, что в столь многих, якобы столь значимых местах — даже в Зальцбурге — нам не удалось раздобыть "Новую Цюрихскую газету", мы все воспылали гневом против нашей отсталой, духовно ограниченной, захолустной и при этом до отвращения самодовольной страны. Нам всегда следовало бы жить только там, где мы по крайности можем получать "Новую Цюрихскую газету", сказал я, и Пауль полностью со мной согласился. А если так, то реально из всей Австрии нам подходит только Вена, сказал я, потому что в других городах, которые претендуют на то, что в них якобы можно достать "Новую Цюрихскую газету", на самом деле ее достать нельзя. Во всяком случае, она не каждодневно доступна, и ее не достанешь именно в тот день,

когда хочешь достать, когда она тебе позарез нужна. Я, кстати, — мне это только что пришло в голову — до сегодняшнего дня так и не раздобыл статью о "Заиде". Я давно забыл об этой статье и, естественно, продолжал спокойно существовать и без этой статьи. Однако в тот момент, о котором идет речь, я полагал, что должен раздобыть ее непременно. И Пауль поддержал меня в моем твердом намерении раздобыть эту статью, более того, он-то фактически и подвиг меня на то, чтобы в поисках этой статьи — и, следовательно, "Новой Цюрихской газеты" — объездить половину Австрии и часть Баварии. Причем, и это нужно специально подчеркнуть, мы ездили в открытом автомобиле, что неизбежно привело к простуде, от которой все трое потом неделями не могли излечиться. И которая, что хуже всего, на самый длительный срок приковала к постели, как принято говорить, именно Пауля. Я совершал вместе с ним многочасовые прогулки по берегу реки Траун: начиная от так называемой *Капустной запруды* — она находится выше штайрской мельницы, в двух километрах от моего дома — берег Трауна пока еще (но, как мне известно, ненадолго — из-за бессовестной алчности землевладельца, уже приступившего к дроблению своего имения на мелкие участки) представляет собой уникальный парк, который тянется тринадцать километров, до самого Траунзе, вдоль этой "лучшей из всех имеющихся в мире форелевых рек", как выразился знаменитый господин Ритц[1]. Благодаря приятной так называемой *полутени* и чудной прохладе, которую навевала река, мы с Паулем вновь обрели возможность вести такие же беседы, как раньше; однако теперь — что было естественно и обусловливалось развитием его личности — Пауля занимала уже не великая опера, а так называемая камерная музыка. Он не только физически, но и в духовном смысле отдалился от великих оперных театров. И говорил уже не о Шаляпине или Гобби, Ди Стефано или Симионато[2], но о Тибо, Касальсе, и об их искусстве. О квартетах "Жийар" и "Амадеус" и о любимом им "Триестском трио"[3]. О том, чем Артуро Бенедетти Микеланджели отличается от Поллини, Рубинштейн — от Аррау и Горовица[4], и так далее. В тот период, как я уже говорил, Пауль был отмечен печатью смерти. Я знал его больше десяти лет, и все это время он уже был смертельно болен, отмечен печатью смерти. С трудом верилось, что еще тринадцать или четырнадцать лет назад он, следуя за своей возлюбленной, американской певицей-сопрано, которая почти во всех великих оперных театрах мира исполняла партии Царицы ночи и Зербинетты[5], объездил буквально весь мир — чтобы



1. Чарльз Ритц — очень популярный в 50-е годы автор книг по технике любительской рыбной ловли, которого высоко ценил Э. Хемингуэй.
2. Тито Гобби (1913—1984) — итальянский оперный певец (баритон); Джузеппе Ди Стефано (р. 1921) — итальянский оперный певец (тенор); Джульетта Симионато (р. 1910) — итальянская оперная певица (меццо-сопрано); Жак Тибо (1880—1973) — выдающийся французский скрипач, играл в трио с виолончелистом Пабло Касальсом (1876—1957) и пианистом Альфредом Корто (1877—1962).
3. "Жийар" — струнный квартет, был основан в 1946 г. в Нью-Йорке по инициативе Уильяма Шумана, руководителя музыкальной школы им. Жийара в Нью-Йорке.
"Амадеус" — лондонский квартет, основанный в 1947 г. "Триестское трио" — имеется в виду Международная школа камерных ансамблей-трио в Триесте.
4. Артуро Бенедетти Микеланджели (1920—1995) — выдающийся итальянский пианист; Маурицио Поллини (р. 1942) — итальянский пианист; Артур Рубинштейн (1887—1982) — выдающийся польский пианист, с 1937 г. жил в США, с 1954-го — во Франции; Клаудио Аррау (р. 1903) — выдающийся пианист, уроженец Чили. Обучался музыке в Берлине, с 1941 г. живет в США. Прославился как интерпретатор Бетховена, Моцарта, Брамса и др. композиторов; Владимир Горовиц (1903—1989) — выдающийся пианист, уроженец Украины, в 1925 г. эмигрировал в Германию, с 1939 г. жил в США.
5. Царица ночи — героиня "Волшебной флейты" Моцарта; Зербинетта — героиня комической оперы Рихарда Штрауса "Ариадна на Наксосе" (1912).

в конце концов все-таки сдаться, отречься от этой женщины и потом только издали мечтать о ней. Не верилось, что в тот же (не столь давний) период Пауль побывал на самых прославленных автогонках Европы и сам участвовал в некоторых из них; что он, помимо прочего, был превосходным яхтсменом. Когда я познакомился с ним, я уже при всем желании не мог представить, что Пауль годами не ложился спать раньше трех-четырех часов утра, потому что бóльшую часть ночи проводил то в одном, то в другом из самых прославленных европейских баров (однажды он даже выступил в роли жиголо — вопреки всем правилам и принципам семейства Витгенштейнов). И что он — тот самый человек, который чувствовал себя как дома в лучших отелях старой, да и новой Европы. И еще я не мог представить, что именно он на протяжении целых десятилетий своими выкриками и свистом обеспечивал Венской опере ее высочайшие триумфы и жесточайшие провалы. Да и вообще все, что он пережил прежде, в то печальное время — в последние годы его жизни — уже казалось нереальным, немыслимым. Помню, как Пауль сидел рядом со мной в Натале у огораживающей мой двор кирпичной стены и, греясь в лучах заходящего солнца, пытался подсчитать, сколько раз он бывал в Париже, Лондоне и Риме, сколько тысяч бутылок шампанского выпил на своем веку, скольких женщин соблазнил, сколько книг с удовольствием прочитал. И ведь такое, как может показаться, поверхностное существование вел совсем не поверхностный человек; отнюдь нет. Едва ли находилась тема, которую он не мог бы — без малейших затруднений — подхватить и развить, продумать дальше; больше того, часто именно он приводил меня в замешательство, когда речь заходила о таких сферах, которые, собственно, были моими и в которых, по моему убеждению, я чувствовал себя как дома, — оказывалось, что и здесь мне есть чему у него поучиться. Очень часто у меня мелькала мысль: это *он* философ, а не я, *он*, а не я — математик, *он*, а не я — знаток в такой-то и такой-то конкретной области. Не говоря уж о том, что любое высказывание о музыке тотчас находило отклик в его сознании, становясь поводом для — как минимум — интересной музыкальной дискуссии. И сверх прочего, он был совершенно необыкновенным, выдающимся координатором всего, что имело отношение к музыке как духовной дисциплине или искусству. С другой стороны, его никак нельзя было назвать болтуном и уж тем более краснобаем, хотя он и жил в мире, который, кажется, сплошь состоит из краснобаев и болтунов. Однажды — вероятно, находясь под впечатлением от одного из его совершенно необыкновенных рассказов — я предложил ему записывать все те истории, столь богатые, если можно так выразиться, философским подтекстом, которыми он со мной делится: чтобы они не пропали с течением времени. Однако понадобилось несколько лет, прежде чем мне удалось убедить его приступить к такому записыванию своих жизненных впечатлений и переживаний, которые, несомненно, могут представлять интерес для кого угодно. Купив пачку бумаги, Пауль перво-наперво заявил, что ради осуществления указанной мною цели ему надо освободиться от своего окружения, то есть от хватки тупоумных, враждебных искусству и духовности родственничков, и, естественно, от всех витгенштейновских жилищ, воздвигнутых как форпосты против духовности и искусства, и снять себе комнатку в таком месте, где никто не сможет его отыскать. И он действительно снял себе комнатку в маленькой гостинице в ближайших окрестностях Траункирхена. Но несмотря на это уже после первой попытки отказался от нашей с ним затеи. Позже, пример-

но за полтора года до смерти, он вдруг нанял секретаршу, чтобы, так сказать, диктовать ей мемуары о своем курьезном существовании. Однако — среди прочих причин и потому, что Пауль в последние годы жил в чрезвычайно стесненных обстоятельствах, — эта вторая попытка также, вполне естественно, окончилась почти полным провалом. Этой секретарше, как я знаю от нее самой и со слов Пауля, Пауль пообещал *целое состояние*, если она будет записывать под его диктовку пресловутые курьезные мемуары; посулил золотые горы — потому что убедил себя в том, что его, как он выражался, *дурацкие мемуары* будут иметь колоссальный успех во всем мире. Как бы то ни было, он таки написал десять или пятнадцать страниц. В принципе Пауль, вероятно, не сильно ошибся, уверовав в возможность *колоссального*, по его выражению, успеха; такая книга действительно могла бы иметь колоссальный успех, ибо вне всякого сомнения получилась бы, как теперь говорят, *уникальной*; но, к сожалению, сам Пауль не был человеком, который способен ради подобной цели обречь себя на строго изолированную жизнь по крайней мере в течение года. Жаль все-таки, что он не оставил хотя бы побольше фрагментов. Витгенштейны всегда мыслили только миллионами, когда речь шла о доходах от их деловых предприятий; поэтому совершенно естественно, что и Пауль, черная овца в их стаде, мыслил в миллионных масштабах, когда думал о доходах от издания конечного продукта своей диктовки. Я напишу страниц триста, говорил он, и без труда найду какого-нибудь издателя. Он думал, что я сумею отдать его рукопись в надежные руки. И собирался написать поистине философский отчет о собственной жизни, а не *какой-нибудь вздор*, как он выражался. Я действительно очень часто видел его за бумагами, что-то пишущим; и, возможно, на самом деле он написал гораздо больше того, что мы имеем сейчас, но во время одного из своих многочисленных припадков, впав в крайне самокритичное состояние духа, уничтожил бóльшую часть рукописи — предположить нечто подобное, судя по тому, что я о нем знаю, было бы естественнее всего. А может, все им написанное пропало — или было погублено — каким-то другим, так сказать, *неблагоприятным* для искусства и философии образом. Во всяком случае, трудно себе представить, что на протяжении по крайней мере двух лет он все время занимался одними и теми же десятью или одиннадцатью страничками, не расставаясь с ними ни в Вене, ни на берегу Траунзе. Но кто теперь докопается до правды? В *дружеском кругу* Пауль однажды, когда в очередной раз на время привел себя *в норму*, сказал, что он гораздо лучший писатель, чем я, и что, хотя он и восхищается мною, я до его уровня не дотягиваю; я, правда, по-прежнему остаюсь для него литературным и *философским образцом*, но сам он уже давно перерос меня и мои мысли, *уже давно* стал самостоятельным и меня обогнал. Когда он опубликует свою книгу, литературный мир — так он говорил — долго не сможет опомниться от удивления. Уже под конец жизни, то есть в крайне неблагоприятной для сочинительства ситуации, Пауль — поскольку ему, без сомнения, это давалось легче, чем писать прозу, — накарябал, так сказать, левой рукой множество рифмованных стихотворений — настолько сумасшедших и вместе с тем остроумных, что они были в буквальном смысле смехотворны. Сам он, перед тем как в очередной раз отправиться в одну из *своих* психиатрических лечебниц, обычно декламировал наиболее пространное из этих гротескно-комичных произведений — все равно кому. Сохранилась магнитофонная запись этого стихотворения, в котором все вертится вокруг самого Пауля и гётевского Фауста; каждый, кто ее слышал, испытал

огромное удовольствие и одновременно глубочайшее потрясение. Я мог бы сейчас пересказать какие-нибудь анекдоты о Пауле, ведь имеются даже не сотни, а тысячи анекдотов, где речь идет именно о нем, и все они пользуются популярностью в *избранном* венском обществе, которое когда-то было и его обществом и которое, как известно, уже несколько столетий живет только анекдотами и ничем иным, — однако такой пересказ не входит в мои намерения. Пауль всегда и неизменно отличался беспокойным характером, нервозностью, необузданностью. Он непрерывно мечтал, непрерывно философствовал и непрерывно сыпал обвинениями. Поскольку же он был исключительно тонким наблюдателем и в этих своих наблюдениях, которые со временем развились до уровня подлинного искусства, проявлял величайшую беспощадность, поводов для обвинений ему хватало всегда. Не было вообще ничего, что не подвергалось бы с его стороны обвинениям. Людей, которые попадались ему на глаза, он если и оставлял в покое, то лишь на самое короткое время, потом они навлекали на себя его *подозрение*, он обвинял их в каком-нибудь *преступлении* или, по крайней мере, в *проступке* и бичевал теми же словами, какими обычно пользуюсь я — когда возмущаюсь, или обороняюсь, или когда сам должен что-то предпринять против бесстыдства мира, так как не хочу, чтобы оно меня доконало. Летом нашим с ним постоянным прибежищем становилась терраса кафе "Захер", и бóльшую часть времени мы занимались именно тем, что обвиняли всех и вся. Все, что попадало в поле нашего зрения, немедленно подвéргалось обвинению. Мы потихоньку прихлебывали кофе и обвиняли весь мир — честили его в хвост и в гриву. Едва угнездившись на террасе "Захера", мы тут же пускали в ход наши хорошо согласованные обвинительные механизмы; и происходило все это за *оперной задницей*, как выражался Пауль, потому что, если вы сядете за столик на террасе "Захера" и посмотрите прямо перед собой, то как раз и увидите заднюю стену оперного театра. Пауль любил выражения типа "оперная задница", хотя прекрасно понимал, что обозначает так не что иное, как заднюю стену любимого им больше всего на свете театра на Ринге — того самого, который на протяжении стольких десятилетий дарил ему чуть ли не все, в чем он нуждался для поддержания своей жизни. Мы с Паулем часами сидели на террасе "Захера" и наблюдали за людьми, проходившими мимо. Если по правде, то для меня и сегодня не существует большего (венского) удовольствия, чем посидеть летом на террасе "Захера" и понаблюдать за людьми, проходящими мимо. Да и вообще, я не знаю большего удовольствия, чем наблюдать за людьми, а наблюдать за ними с террасы "Захера" — это, можно сказать, особое лакомство, которым мы с Паулем часто наслаждались вместе. *Господин барон* и я приискали на террасе "Захера" особенно благоприятный для наших целей уголок: оттуда нам было видно все, что мы хотели увидеть, нас же, напротив, никто не видел. Когда я прогуливался с ним по так называемому *Старому городу*, меня удивляло, как много людей он знал и со сколь многими из этих знакомых состоял в действительном родстве. О своей семье он говорил редко, а если и заговаривал, то только в той связи, что в принципе не желает иметь с ней ничего общего, — впрочем, и его семья тоже, со своей стороны, не желала иметь с ним ничего общего. Иногда он упоминал свою *еврейскую* бабушку, которая, пожелав покончить с собой, выбросилась из окна своего дома на Новом рынке, и тетю Ирмину, которая во времена нацизма была так называемой *имперской руководительницей крестьянства* и которую я тоже знал, так как неоднократно заходил в принадлежавший ей крестьянский дом на *холме*, над

Траунзе. Когда Пауль произносил слова "мой брат", то всегда имел в виду "мой мучитель"; с любовью он говорил только об одной из своих сестер, жившей в Зальцбурге. Он всегда чувствовал себя брошенным семьей, чувствовал исходившую от нее угрозу и всегда характеризовал родичей как людей, враждебных искусству и духу, закосневших в своем миллионном богатстве. Но ведь в конечном счете именно эта семья произвела на свет Людвига и Пауля. Да, а потом оттолкнула тех же Людвига и Пауля — в удобный для нее момент. Сидя вместе со своим другом у ограды моего дома в Натале, я думал о том своеобразном пути, по которому Пауль шел более семидесяти лет. О том, что первые свои годы он рос в довольстве и холе, о каких обычный человек и мечтать не может, в "неисчерпаемой", как тогда полагали, Австрии[1]; что он, само собой, учился в знаменитом Терезианауме[2], но потом вполне осознанно выбрал собственный путь, противоречивший укладу его семьи, и отбросил все то, что на поверхностный взгляд как раз и составляло главные ценности Витгенштейнов: жить богато, в довольстве *и* холе — по сути, только для того, чтобы вести так называемое духовное существование ради собственного спасения. Пауль, если уместно так выразиться, очень рано *сделал ноги*, как несколькими десятилетиями раньше поступил и его дядя Людвиг; отказался ото всего, без чего, в конечном итоге, ни он, ни его дядя вообще не могли бы стать теми, кем они стали, и в результате приобрел в глазах своей семьи (как раньше его дядя Людвиг) репутацию *бесстыдного наглеца*. Как Людвиг сделал из себя бесстыдного философа, так Пауль сделал из себя бесстыдного безумца; но ведь нигде не сказано, что философ лишь тогда может считаться таковым, когда он, подобно Людвигу, записывает и публикует свои философские идеи: философ остается философом, даже если не публикует ничего из того, что нафилософствовал, — а значит, и в том случае, если он не только ничего не публикует, но и ничего не записывает. Публикация просто делает очевидным — и, сделав очевидным, превращает в сенсацию — то, что без публикации не могло бы сделаться очевидным и превратиться в сенсацию. Людвиг был публикатором (своей философии), Пауль был непубликатором (своей философии), и подобно тому, как Людвиг в конечном счете был прирожденным публикатором (своей философии), Пауль был прирожденным непубликатором (своей философии). Но они оба, каждый на свой лад, были великими, и своевольными, и ниспровергающими все авторитеты мыслителями, которыми по праву может гордиться их — и не только их — время. Конечно, очень жаль, что Пауль, в отличие от Людвига, не оставил нам реально написанных, и напечатанных, и, следовательно, опубликованных образцов своей философской мысли, тогда как такого рода образцы, дошедшие от его дяди Людвига, мы держим в голове и можем подержать в руках. Однако сравнивать Людвига и Пауля бессмысленно. Я никогда не говорил с Паулем ни о Людвиге, ни тем паче о философии Людвига. Лишь иногда, для меня совершенно неожиданно, Пауль вдруг бросал как бы невзначай: "Ты же знаешь моего дядю Людвига..." И умолкал. Никогда никто из нас не упоминал "Трактата". И только однажды, единственный раз, Пауль сказал, что его дядя Людвиг был *бе-*

1. "Неисчерпаемой" Австрию впервые назвал Фридрих II Прусский, которому принадлежит следующее высказывание: "Какими же подпитывающими источниками обладает эта неисчерпаемая Австрия? Уже многие годы ее министры готовят ей погибель и тем не менее все еще не достигли своей цели".
2. Терезианум — дипломатическая академия и гимназия при ней, специализирующиеся на изучении иностранных языков, расположены в здании "Фавориты" — бывшей летней резиденции императорской семьи.

*зумнейшим из всех представителей семейства.* "Мультимиллионер в роли сельского учителя — в этом есть некое извращение, тебе не кажется?" — сказал Пауль. Я до сегодняшнего дня ничего не знаю о том, как, собственно, относился Пауль к своему дяде Людвигу. Я никогда и не спрашивал его об этом. Я даже не знаю, встречались ли они лично. Я знаю только, что Пауль всегда заступался за своего дядю Людвига, когда другие представители семейства Витгенштейнов нападали на него или когда они насмехались над философом Людвигом Витгенштейном, к которому, насколько мне известно, на протяжении всей его жизни относились с неприязнью. Людвиг Витгенштейн всегда — точно так же, как и Пауль Витгенштейн, — оставался в их представлении чудаком, которого "эта заграница, всегда охотно внимавшая всяким заумным бредням, возвела в ранг великого человека". Качая головой, они подтрунивали над тем, что "мир поверил их семейному дурачку", что "в Англии этот ни на что не годный чудак вдруг ни с того ни с сего прославился" и был признан *гением.* В своем высокомерии Витгенштейны просто-напросто не признавали вышедшего из их семьи философа и нисколько его не уважали, а, напротив, вплоть до сегодняшнего дня обливали презрением. В Людвиге, как и в Пауле, они вплоть до сегодняшнего дня видят лишь предателя. Людвига, как и Пауля, они *исключили из лона семьи.* И точно так же, как они стыдились своего Пауля, пока тот был жив, они до сегодняшнего дня стыдятся своего Людвига, вот в чем правда; и даже значительно возросшая в последнее время слава Людвига не смогла поколебать их уже привычного презрения к этому философу — тем более что они живут в стране, в которой, по большому счету, Людвиг Витгенштейн и сегодня почти ничего не значит и в которой его и по сей день почти не знают. Правда в том, что жители Вены даже Зигмунда Фрейда по сей день не признали, да фактически и не узнали как следует — им для этого не хватает широты натуры. С Витгенштейном получилось в точности так же. "Мой дядя Людвиг..." — в устах Пауля это всегда звучало как самая уважительная оценка, но продолжить фразу он никогда не решался, и она (может, по воле того, к кому относилась) повисала в воздухе, замкнувшись сама в себе. Отношение Пауля к своему прославившемуся в Англии дяде для меня, если честно, так и осталось непроясненным. Мои же отношения с Паулем, которые начались в квартире нашей приятельницы Ирины на Блуменштокгассе, естественно, складывались непросто, потому что не бывает дружбы, которую не приходилось бы каждодневно вновь завоевывать и обновлять; с течением времени выяснилось, что наша с Паулем дружба требует напряженнейших усилий; она держалась на чередовании взлетов и спадов, а также на особых *доказательствах дружеских чувств.* В этой связи мне вспоминается, например, какую роль сыграл Пауль в так называемом "эпизоде вручения Грильпарцеровской премии"[1]. Как он — единственный, если не считать *самого близкого мне человека,* — увидел всю вероломную бессмысленность церемонии вручения премии и обозначил эту гротескную ситуацию как то, чем она и была на самом деле: как *типично австрийскую подлость.* Помнится, специально для этой церемонии, которая должна была проходить в Академии наук, я купил себе новый костюм, полагая, что только в новом костюме прилично переступить порог Академии: вместе с самым близким мне человеком я отправился в магазин готового платья на Кольмаркте, выбрал

1. Франц Гильпарцер (1791—1872) — австрийский писатель.

себе подходящий костюм, примерил его — и не стал снимать. Новый костюм был серо-черным, и я подумал, что в этом новом серо-черном костюме лучше смогу сыграть свою роль в Академии наук, нежели в моем старом костюме. Еще утром в день вручения премии это вручение премии представлялось мне очень важным событием. Тогда как раз отмечалась столетняя годовщина со дня смерти Грильпарцера, и то обстоятельство, что именно в столетнюю годовщину со дня смерти Грильпарцера мне вручат премию имени Грильпарцера, я расценивал как нечто необыкновенное. Теперь, наконец, австрийцы, мои соотечественники, которые до сих пор только пинали меня ногами, собрались отметить мои заслуги, причем не иначе, как премией Грильпарцера, думал я — и действительно верил, что достиг вершины успеха. Вполне возможно, в то утро у меня даже дрожали руки, горела голова... Тот факт, что австрийцы, которые прежде всегда только игнорировали или высмеивали меня, теперь вдруг вручают мне свою самую престижную премию, я рассматривал как окончательное исправление всех прежде совершенных по отношению ко мне несправедливостей. Не без гордости вышел я, в моем новом костюме, из дверей магазина на Кольмаркте, чтобы отправиться прямиком в Академию наук; еще никогда в жизни не доводилось мне с таким чувством энтузиазма пересекать Кольмаркт, идти по Грабену, обходить памятник Гутенбергу. Я и вправду испытывал *чувство энтузиазма* — но не могу сказать, что хорошо чувствовал себя в новом костюме. Это всегда ошибка — покупать себе что-нибудь из одежды, так сказать, под присмотром кого-то из знакомых, когда ты не один; я же, увы, *опять* совершил эту ошибку, и в результате новый костюм оказался тесноват. Ну и пусть; зато я, наверное, хорошо выгляжу в этом новом костюме, думал я, подходя — с самым близким мне человеком и с Паулем — к Академии наук. Процедура вручения премий представляет собой, если отвлечься от денег, которые они тебе приносят, самое невыносимое, что только может быть в мире, — это я узнал на собственном опыте еще в Германии; такие церемонии не возвышают тебя, как я верил, пока не получил свою первую премию, а, наоборот, унижают, причем самым постыдным образом. Только потому, что я всегда думал о деньгах, которые воспоследуют, я выдерживал эти церемонии, только по этой единственной причине посещал разнообразнейшие старинные ратуши и безвкусные парадные залы. До сорока лет. Подвергал себя унижению в ходе такого рода церемоний. До сорока. Позволял, чтобы мне гадили на голову в этих ратушах и парадных залах — говорю так, ибо всякое вручение премии есть не что иное, как попытка нагадить на голову награждаемому. Принять любую премию означает не что иное, как позволить, чтобы тебе нагадили на голову, будучи уверенным — за это заплатят. Я всегда воспринимал вручение премий как величайшее унижение, какое только можно измыслить, а вовсе не как повышение в ранге. Потому что премии всегда вручаются некомпетентными людьми, которые хотят нагадить на голову награждаемому и действительно гадят ему на голову, раз он принимает их премию. И они, между прочим, *с полным правом* гадят ему на голову, раз он настолько вульгарен и низок, что принимает их премию. Только в случае крайней нужды, при наличии непосредственной угрозы для жизни и существования и только до сорока лет человек имеет право принять связанную с денежным вознаграждением премию, или вообще какую бы то ни было премию, или любой знак отличия. Что касается меня, то я принимал премии без крайней нужды, когда ничто не угрожало моей жизни и существованию, и потому поступал вульгарно, и низко, и в са-

мом прямом смысле слова отвратительно. Но в тот день, направляясь к месту вручения Грильпарцеровской премии, я думал, что как раз с ней все обстоит по-другому. Эта премия не предполагает никакого денежного вознаграждения. Академия наук что-то да значит, соответственно и ее премия что-то значит, — так думал я по пути к Академии наук. И вот я думал, когда мы трое (самый близкий мне человек, Пауль и я) подходили к Академии наук, что эта премия — поскольку она называется Грильпарцеровской премией и поскольку ее вручает Академия наук — представляет собой исключение. По пути к Академии наук я, по правде говоря, думал, что меня скорее всего встретят *перед* Академией, как принято поступать в таких случаях; это будет, думалось мне, *необходимым знаком уважения*. Однако меня никто не встретил. После того как я с моими друзьями добрую четверть часа напрасно прождал в вестибюле Академии наук, и за это время ни один человек не узнал меня, не говоря уж о том, чтобы ко мне подойти (хотя я и мои друзья постоянно оглядывались вокруг), я подумал — видя, что никто не обращает на меня внимания, а собравшиеся на торжество люди уже заняли места в переполненном парадном зале, — что сейчас просто зайду со своими друзьями в зал, как сделали все другие, уже занявшие там места. У меня мелькнула мысль, что неплохо бы сесть в середине зала, где еще оставалось несколько свободных мест, и мы с друзьями пробрались туда и сели. К тому моменту, как мы уселись, зал уже был полон, и даже госпожа министр заняла свое место в первом ряду, у сцены. Музыканты из филармонического оркестра нервно дотрагивались до своих инструментов, а президент Академии наук по фамилии *Хунгер* в возбуждении бегал туда-сюда по сцене, и никто — кроме меня и моих друзей — не мог понять, почему церемония никак не начинается. Несколько академиков тоже забегали по сцене, высматривая виновника торжества. Даже госпожа министр вертела головой во все стороны. Вдруг один из господ на сцене заметил меня, сидевшего в центре зала; тотчас этот господин шепнул что-то на ухо президенту Хунгеру, спустился со сцены и направился ко мне. Ему было непросто пробираться по полностью занятому ряду — в середине зала — к моему месту. Всем сидевшим в этом ряду приходилось по очереди вставать, что они делали с неохотой и, как я заметил, бросая на меня неприязненные взгляды. Я еще подумал, что моя идея сесть в середине зала оказалась весьма каверзной, ведь протискивавшийся ко мне господин — академик, естественно, — сталкивался на своем пути с величайшими трудностями. Очевидно — так мне вдруг подумалось, — кроме этого господина меня здесь никто не узнал. Теперь, когда господин наконец приблизился, все взгляды устремились на меня; но *какие* взгляды — негодующие, сверлящие... Академия, которая вручает мне свою премию, но даже не знает меня в лицо, и которая только за то, что я сам не представился, карает меня негодующими, сверлящими взглядами, явно заслуживает еще гораздо более каверзных фокусов, подумал я. В конечном итоге вышеупомянутый господин, так сказать, обратил мое внимание на то, что мое место — не здесь, где я сижу, а рядом с госпожой министром в первом ряду и что я должен незамедлительно пройти в первый ряд и занять место рядом с госпожой министром. Я не послушался этого господина, потому что он высказал свое требование таким неприятным, высокомерным тоном и, хуже того, в такой отталкивающе-самоуверенной манере, что я, дабы сохранить чувство собственного достоинства, просто *обязан* был отказаться выйти из своего ряда и проследовать вместе с ним к сцене. *Господин Хунгер* мог бы *сам* подойти ко мне, сказал я. Не каждый вправе просить меня пересесть по-

ближе к сцене, а только *сам президент Академии наук.* По сути, мне тогда больше всего хотелось подняться и вместе с моими друзьями покинуть зал Академии наук, не дожидаясь никакой премии. Но я остался сидеть. Я ведь сам запер себя в клетку. Сам допустил, чтобы Академия наук превратилась в мою клетку. Никакого выхода не было. Дело кончилось тем, что президент Академии все-таки подошел ко мне, и я, сопровождаемый президентом Академии, приблизился к сцене и сел рядом с госпожой министром. В то мгновение, когда я усаживался рядом с госпожой министром, мой друг Пауль не смог сдержать себя и разразился потрясшим весь зал смехом, который длился до тех самых пор, пока не начал играть камерный филармонический оркестр. После выступили двое докладчиков с речами о Грильпарцере, затем кое-что сказали и обо мне, мероприятие в целом заняло не больше часа, и, как всегда бывает в таких случаях, говорилось слишком много лишнего, в том числе, естественно, масса ерунды. Пока произносились эти речи, госпожа министр мирно спала, даже — я явственно слышал — храпела, и разбудил ее лишь вновь заигравший в финале камерный филармонический оркестр. Когда торжественная церемония подошла к концу, все, кто только мог, столпились у сцены, окружив госпожу министра и президента Хунгера. На меня вообще никто не обращал внимания. Поскольку я замешкался и не сразу покинул вместе со своими друзьями зал, я услышал, как госпожа министр вдруг выкрикнула: "А где же наш писателишка?" Это переполнило чашу моего терпения, и я бежал из Академии наук с величайшей скоростью, на какую только был способен. Не получить никаких денег *и* позволить, чтобы тебе нагадили на голову, — в тот момент сама мысль об этом казалась мне нестерпимой. Итак, я выбежал — сопровождаемый моими друзьями, которые в меру сил пытались угнаться за мной, — на улицу и на ходу услышал брошенную Паулем фразу: "Ты позволил им тебя оскорбить! Они нагадили тебе на голову!" Точно, подумал я, они нагадили мне на голову. Сегодня они опять нагадили мне на голову, как, собственно, гадили всегда. Но ты ведь сам позволил, чтобы тебе нагадили на голову, думал я, — причем не где-нибудь, а в венской Академии наук. Перед тем как завернуть с моими друзьями в "Захер", чтобы, перекусив говяжьей вырезкой, вместе с мясом переварить и всю подлую процедуру вручения премии, я еще зашел в тот магазинчик готового платья на Кольмаркте, в котором купил себе перед сегодняшней церемонией новый костюм. Костюм мне слишком тесен, и я хотел бы обменять его на другой, сказал я в магазине — причем сказал с такой беспардонной уверенностью, что продавцы тотчас без всяких возражений позволили выбрать новый костюм. Я примерил два или три костюма, собственноручно снятых мною с плечиков, и остановил свой выбор на самом удобном. Я не стал переодеваться, доплатил небольшую разницу в цене и подумал, когда уже вышел на улицу, что ведь наверняка скоро кто-нибудь другой наденет на себя тот самый костюм, который был на мне, когда мне вручали в Академии наук так называемую Грильпарцеровскую премию, — наденет и будет мотаться в нем по всей Вене; эта мысль меня почему-то развеселила. Другой, не менее показательный пример, доказывающий силу характера Пауля, — вручение мне государственной премии по литературе (задолго до эпизода с Грильпарцеровской премией), которое, как тогда писали в газетах, закончилось *скандалом.* Министр, который в аудиенц-зале министерства произносил так называемое *Laudatio*[1] в мою честь, не говорил в этом *Laudatio*

1. Laudatio (*лат.*) — приветственная речь с перечислением заслуг чествуемого.

ничего, кроме всякой чепухи, потому что только зачитывал по бумажке текст, подготовленный одним из его референтов: там, например, значилось, что я написал роман о *южных морях*, чего, разумеется, я никогда не делал. Хотя я всегда, сколько себя помню, был австрийцем, министр утверждал, будто я — голландец[1]. Хотя сам я ни сном ни духом не подозревал ни о чем подобном, министр заявил далее, что я — *мастер приключенческого романа*. Много раз в своей речи он упоминал о том, что я — иностранец и *нахожусь в Австрии на правах гостя*. Однако меня совсем не раздражали те глупости, которые министр зачитывал по бумажке, потому что я точно знал: этот идиот из Штирии, который, прежде чем стать министром, был у себя в Граце секретарем сельскохозяйственной палаты и занимался главным образом скотоводством, вести себя иначе просто не мог. У этого министра — как и у всех без исключения других министров — глупость просто впечаталась в черты лица; это было противно, но не вызывало чувства протеста, и потому я спокойно пропускал мимо ушей его *Laudatio*. Но потом, когда я — так сказать, в порядке благодарности за премию — произнес пару фраз, которые набросал на листке бумаги буквально перед самой церемонией, в величайшей спешке и с величайшей неохотой, когда я, если можно так выразиться, позволил себе сделать маленькое философское отступление, в котором и говорил-то только о том, что человек — жалкое, обреченное на смерть существо (в общем и целом мое выступление заняло не более трех минут), министр, хотя он совсем ничего не уразумел, вдруг, возмущенный, вскочил со своего места и даже погрозил мне кулаком. Не помня себя от бешенства, он еще обозвал меня при всех *собакой*, после чего выскочил из зала, так сильно хлопнув стеклянной дверью, что она разлетелась на тысячи осколков. Все, кто присутствовал в аудиенц-зале, тут же вскочили на ноги и ошеломленно наблюдали эту сцену. На мгновение воцарилась, как говорится, *мертвая тишина*. А потом случилось нечто совсем удивительное: все общество, которое я лично могу охарактеризовать только как свору оппортунистов, устремилось вслед за министром, не забыв прежде выразить свое отношение ко мне — не только посредством бранных слов, но и размахивая кулаками; я хорошо помню, например, как мне грозил кулаком господин Хенц, президент Сената искусств[2], помню и другие *знаки уважения*, которые достались на мою долю в тот миг. Все общество — пара сотен чиновников от искусства, но преимущественно все-таки писатели, то есть, как говорится, мои коллеги, и сопровождавшие их лица — побежало за министром, и я не стану перечислять фамилии тех, кто выскочил вслед за ним в им же разбитую стеклянную дверь, так как не хочу, чтобы из-за таких смехотворных нелепостей меня потом привлекли к суду; скажу лишь, что то были самые известные, и самые почтенные, и самые уважаемые люди — те, что устремились прочь из аудиенц-зала и далее вниз по лестнице вслед за министром, а меня с самым близким мне человеком бросили посреди аудиенц-зала. Как прокаженного. Ни один не остался рядом со мной и с самым близким мне человеком, все они устремились мимо (для них же приготовленного) буфета и далее вниз по лестнице за министром — все, кроме Пауля. Он был единственным, кто остался рядом со мной и с моей верной подругой, *самым*

1. Между прочим, Томас Бернхард действительно родился в Голландии.
2. Kunstsenat — коллегия при австрийском министерстве просвещения, куда входят лауреаты государственной премии (учрежденной в 1950 г.), 21 человек. Членство в Сенате искусств является пожизненным.

*близким мне человеком*, — и стоял рядом с нами, одновременно возмущаясь и наслаждаясь происходящим. Позже, когда непосредственная опасность миновала, в аудиенц-зал крадучись вернулись еще несколько человек из тех, что прежде покинули его, — жалкая горстка; под конец они начали совещаться о том, куда бы им пойти, чтобы *заморить червячка* (а заодно и неприятные впечатления от нелепого происшествия). Мы же с Паулем еще годы спустя перечисляли друг другу имена всех, кто в тот день, не зная удержу в своем бессовестном низкопоклонстве перед государством и министерскими чиновниками, бросился вслед за этим тупоумным министром из Штирии, — и о каждом могли сказать, почему он так поступил. На следующий день во всех австрийских газетах только и было речи, что о *злопыхателе Бернхарде*, якобы оскорбившем министра; тогда как на самом деле произошло нечто прямо противоположное: министр Пифль-Перчевич оскорбил писателя Бернхарда. Однако за границей, где люди толком не представляют себе, что такое австрийские министерства и какова их роль в запутанной системе дотаций, пресловутое происшествие комментировали именно так, как оно того заслуживало. "Принять какую бы то ни было премию — это уже извращение, — сказал мне тогда мой друг Пауль, — а уж государственную премию — тем более". Поскольку визиты к нашей *музыкальной* приятельнице Ирине, жившей на Блуменштокгассе, превратились для нас с Паулем в приятнейшую привычку, мы оба восприняли как катастрофу тот факт, что наша приятельница Ирина вдруг ни с того ни с сего перебралась на жительство в сельскую местность, да к тому же еще в нижнеавстрийское захолустье, докуда было два часа езды на автомобиле, потому что железнодорожное сообщение с тем местом отсутствовало. Мы не могли даже представить себе, почему такого типично столичного человека, как Ирина, вдруг потянуло на сельскую жизнь. Женщина, которая из года в год каждый вечер ходила то на концерт, то в оперу, то в драматический театр, внезапно арендовала одноэтажный крестьянский дом, половина которого использовалась как свинарник (в чем мы с Паулем, к своему ужасу, убедились сами), а в жилой половине не только прохудилась крыша, но и все стены отсырели, потому что дом не имел подвала. Там оба они — Ирина и ее музыкальный критик, который много лет писал статьи для венских газет и журналов, — сидели, одетые в какое-то старое тряпье, прислонившись спинами к американской чугунной печке, жевали собственноручно испеченный Ириной так называемый *крестьянский хлеб*, нахваливали — пока я зажимал нос, спасаясь от вездесущих ароматов свинарника, — прелести сельской жизни и ругмя ругали город. Музыкальный критик с тех пор уже не писал никаких статей о Веберне или Берге, Хауэре или Штокхаузене[1], а колол под окнами дрова или вычерпывал мерзкую жижу из засорившегося сортира. Ирина тоже говорила теперь не о чьей-то шестой или седьмой симфонии, а об окороке, который она собственноручно подвесила для копчения в дымоход, не о Клемперере или Шварцкопф[2], а о принадлежавшем их соседу тракторе, который, соревнуясь со щебетанием птиц, будил ее в пять утра. Сперва



1. Альбан Берг (1885—1935) — австрийский композитор, представитель Новой венской школы; Йозеф Маттиас Хауэр (1883—1959) — австрийский композитор и теоретик 12-тоновой системы композиции, считал музыку вспомогательным средством для духовной медитации; Карлхайнц Штокхаузен (р. 1928) — немецкий композитор, один из лидеров авангардизма.
2. Элизабет Шварцкопф (р. 1915) — немецкая оперная певица (сопрано); солистка Венской оперы (1946—1950).

мы с Паулем надеялись, что Ирина и ее музыкальный муж очень быстро очнутся от сельских чар и вернутся к своей музыке, но мы ошиблись. О музыке больше не было речи, как будто ее и вовсе не существовало. Мы приезжали к Ирине, она угощала нас собственноручно выпеченным хлебом, и собственноручно сваренным супом, и собственноручно выращенными редькой и помидорами, и мы чувствовали себя незаслуженно обманутыми — чувствовали, что нас обвели вокруг пальца. Всего за несколько месяцев Ирина из рафинированной столичной дамы и страстной патриотки Вены превратилась в по-деревенски ограниченную, коптящую окорока и вечно копающуюся в своем огороде нижнеавстрийскую провинциалочку, что с нашей точки зрения было полной деградацией и не могло нас не оттолкнуть. Поэтому очень скоро мы перестали к ней ездить и практически потеряли ее из виду. Пришлось искать новое место для наших бесед и споров, но никакого подходящего места мы так и не нашли — второго Блуменштокгассе не было, да и не могло быть. Предоставленные — без Ирины — самим себе, мы чувствовали себя покинутыми всеми добрыми музыкальными ду́хами: когда сидели в "Захере", или в "Бройнерхофе", или в "Амбассадоре", где тоже имелся идеальный уголок для нам подобных, откуда мы фактически могли видеть все, тогда как нас самих никто не видел, и где разговоры не умирали сразу, едва успев завязаться. Поскольку прогулки нас не привлекали, мы, встретившись, тотчас же направлялись в "Захер" или в какое-нибудь другое — как нам казалось, пригодное для наших целей — кафе. Усевшись в "Захере" в *нашем* уголке, мы сразу выбирали жертву для своих умствований. Какой-нибудь австриец или иностранец — который, видимо не без смущения, поедал свой торт (или свой пражский "ветчинный" рулет со взбитыми сливками) и попивал кофе, но был совершенно измотан тяготами осмотра достопримечательностей, а потому слишком поспешно поедал торт и слишком жадно заглатывал кофе, — давал нам, к примеру, повод для того, чтобы заклеймить повсеместно распространяющееся в последние десятилетия глупое обжорство. Или, скажем, отталкиваясь от образа некоего немца — засунутого, словно насильно, в безвкусную меховую куртку и за обе щеки уплетавшего взбитые сливки, — мы могли сложным обходным путем прийти к выводу о нашей антипатии ко всему немецкому в Вене; или же сидевший перед окном голландец в ядовито-желтом пуловере, который, не подозревая, что за ним наблюдают, указательным пальцем выковыривал из носа жирные козюли, невольно внушал нам желание проклясть одним махом все нидерландское, ибо оно было ненавистно нам — как в тот момент казалось — с самого детства. Незнакомые люди волей-неволей играли роль козлов отпущения, пока на глаза нам не попадался кто-нибудь из знакомых; но стоило появиться такому знакомому, и мы цепляли за него наши — точно подогнанные к данному объекту наблюдения — мысли, которые затем высказывались вслух и могли развлекать нас часами, потому что мы их использовали для некой, как нам казалось, более возвышенной цели, нежели просто борьба со скукой: а именно в качестве базиса для развития какой-нибудь совсем иной темы — как нам хотелось думать, действительно философской. Так, нередко случалось, что совсем простой, абсолютно заурядный человек, который мирно прихлебывал свой кофе, наводил нас на разговор о Шопенгауэре; или, например, пожилая дама с внуком, поглощавшие под картиной времен австро-венгерской монархии большие куски штруделя, давали нам повод для многочасовой беседы, которая вертелась вокруг портретов придворных шутов работы Веласкеса из музея

Прадо. Упавший на землю зонтик вызывал у нас ассоциации не только, как можно было бы подумать, с Чемберленом, но и, скажем, с президентом Рузвельтом; мелькнувший на улице человек с маленьким пекинесом напоминал о роскошном образе жизни индийских магарадж, ну и так далее. Когда я нахожусь в сельской местности, где не получаю никаких будоражащих импульсов, моя мысль хиреет, потому что хиреет сама моя голова, — в большом городе такие катастрофы невозможны. Люди, которые уезжают из большого города и хотят поддерживать уже достигнутый ими уровень духовного развития в сельской местности, должны, как однажды сказал Пауль, еще до переезда накопить колоссальный творческий потенциал и невероятный запас пищи для ума; но в любом случае эти люди там рано или поздно впадают в состояние стагнации, начинают хиреть — и, как правило, даже если осознают свою деградацию, исправить уже ничего не могут: их гибель неминуема, что бы они ни предпринимали, все будет напрасно. Потому-то и я на протяжении всех этих лет, пока длилась моя дружба с Паулем, придерживался особого, жизненно необходимого для меня ритма чередований города и сельской местности и надеюсь сохранить этот ритм до конца моих дней: через каждые две недели как минимум — в Вену; через каждые две недели как минимум — в сельскую местность. Потому что с той же скоростью, с какой в Вене голова целиком наполняется, в сельской местности она опустошается; а если по правде, то в сельской местности она опустошается скорее, чем в городе наполняется; ведь в любом случае сельская местность всегда гораздо сильнее воздействует на голову и на ее интересы, чем может воздействовать город — то есть, я имею в виду, большой город. У человека духа сельская местность отнимает все, а взамен не дает ему (почти) ничего, тогда как большой город непрерывно что-то дает, надо только уметь это видеть и, естественно, чувствовать; лишь очень немногие видят это, но, даже видя, не чувствуют — и потому тоже подвержены отвратительной, сентиментальной тяге к сельской местности, где они так или иначе в самом скором времени будут духовно опустошены, выжаты как лимон и в конечном счете обречены на гибель. В сельской местности дух никогда не может развиваться — только в городе; но сегодня все бегут из больших городов *на землю*, потому что, по сути, слишком ленивы, чтобы пользоваться своей — в больших городах, естественно, подвергающейся чудовищным перегрузкам — головой; правда в том, что все они скорее предпочтут отправиться на природу и в своей тупоумной слепоте сентиментально восторгаться ею, совсем ее не зная, нежели будут пытаться обращать себе на пользу огромные (а со временем и по ходу истории поразительным образом еще более увеличивающиеся и умножающиеся) преимущества большого города, в особенности сегодняшнего, пользоваться которыми они, скорее всего, вообще не способны. Уж я-то знаю *эту губительную сельскую местность* и стараюсь убежать из нее при каждом удобном случае, любой ценой, лишь бы только пожить в каком-нибудь большом городе: как бы он ни назывался, сколь уродливым бы ни был, все равно для меня он во сто крат лучше сельской местности. Я всегда проклинал свои больные легкие, из-за которых лишен возможности постоянно жить в большом городе, что соответствовало бы моей натуре. Однако бессмысленно ломать себе голову над тем, чего действительно нельзя изменить, что давно перестало быть — и не должно становиться вновь — темой для моих размышлений. Как же повезло, думаю я, моему другу Паулю, который всегда имел превосходные легкие и потому ему не приходилось ради сохранения своей

жизни проводить какое-то время в сельской местности. Он мог позволить себе самое, на мой взгляд, завидное — жизнь в большом городе, которую я никогда не мог позволить себе надолго, если вообще хотел жить. Хотя Пауль уже много лет не потреблял никакого алкоголя, его любимым ночным прибежищем в Вене, даже и в последний год жизни, оставался бар "Эден", потому что после смерти своей Эдит он, естественно, вообще не выдерживал домашнего затворничества. И однажды я наконец понял, почему он никогда — хотя я сотни раз сиживал с ним в "Бройнерхофе", то есть, собственно, в его доме, — не приглашал меня в свою квартиру. Эта квартира, как выяснилось, состояла из единственной довольно большой комнаты, а кухня и туалет размещались в одном — соседнем — помещении. Всего за пару месяцев до смерти он с большим трудом поднялся-таки вместе со мной в эту свою *квартиру*, и должен заметить, что мне, когда мы поднимались наверх, возможно, пришлось даже труднее, чем ему, ведь я уже несколько десятков лет почти не мог подниматься по лестницам и после первых трех-четырех ступенек начинал задыхаться. Лифт в тот день не работал, на лестнице царила почти полная тьма, и мы долго неуверенно взбирались по ступенькам, подбадривая друг друга хриплым дыханием. Квартира сама по себе ничего особенного не представляет, сказал он, когда мы наконец вошли, зато ее *местоположение* самое что ни на есть *наилучшее* — а для него было важно именно местоположение ("Центральнее не бывает!" — так он выразился); ну и еще, конечно, чтобы цена оказалось доступной — о большем он не мечтал. "Но это на Эдит действовало угнетающе", — сказал он, кивнув в сторону полуоткрытой двери кухни-туалета. За дверью громоздились горы грязного белья и немытой посуды, а также гигантская куча неиспользованных, уже испортившихся продуктов. Последняя нора человека, потерпевшего жизненное крушение, подумал я. Мы оба уселись на обитую черно-зеленым бархатом софу, чтобы немного успокоиться и вновь обрести способность думать о чем-то другом, а не только выдавать такого рода смущенные комментарии по поводу тесноты и грязи, нехватки освещения и идеального местоположения квартиры. "Эта софа — еще из моего детства, из родительского дома; она — мой любимый предмет мебели", — сказал Пауль. Сегодня я уже не могу вспомнить, *о чем* мы с ним говорили, сидя на этой софе; знаю только, что вскоре я встал, попрощался и покинул моего тосковавшего на черно-зеленой софе друга. Я вдруг почувствовал, что больше не в силах выносить его общество, мне все казалось, что я сижу рядом не с живым, а с давно умершим человеком, и я покинул его. Но прежде, до того, как я переступил порог, он, зажав руки между колен, внезапно заплакал, потому что опять отчетливо осознал, что его конец совсем близок, — однако я даже не обернулся, а как мог быстрее сбежал по ступенькам вниз и выскочил на улицу. Я рысью промчался по Штальбурггассе, Доротеергассе, через площадь Стефана — до самого Шерстяного ряда, где перешел на более спокойный шаг. В так называемом Городском парке я сел на скамейку и попытался, с помощью точно предписанного рассудком дыхательного ритма, справиться с моим тогдашним состоянием, которое было ужасным: я чувствовал, что вот-вот задохнусь. Тогда, сидя на скамье Городского парка, я думал, что, может быть, несколько минут назад видел своего друга в последний раз. Я не верил, что настолько ослабленное тело, в котором едва ли еще могла теплиться живая искра — ведь в нем вообще уже не оставалось воли к жизни, — протянет дольше, чем пару дней. И меня сильнее всего потрясало одиночество, в котором

вдруг оказался этот человек. А ведь он родился, и вырос, и достиг зрелости, и в конце концов стал пожилым, и состарился именно в качестве так называемого *светского человека*. И еще я думал о том, как тесно я сблизился с этим человеком, который действительно стал моим другом и который мое — не то чтобы несчастливое, но почти всегда мучительное — существование так часто, в такой большой мере делал счастливым. Который прояснил для меня столько вещей, прежде мне совершенно чуждых, показал пути, прежде мне не известные, распахнул двери, прежде остававшиеся для меня наглухо закрытыми; который как раз в самый решающий момент, когда я — в сельской местности, в Натале, — мог окончательно опуститься, вернул меня к самому себе. Ведь я действительно в тот период — прежде, чем познакомился с моим другом, — уже много лет боролся с болезненной меланхолией, если не с настоящей депрессией, и, говоря начистоту, сам считал себя человеком пропащим, годами не делал ничего существенного, начинал и завершал почти каждый свой день с полнейшим к нему равнодушием. И тогда я очень часто бывал близок к тому, чтобы собственноручно положить конец моей жизни. Годами я находил прибежище только в ужасающих, губительных для духа мудрствованиях на тему самоубийства, и они делали невыносимым все вокруг, прежде всего меня самого; я таким образом боролся против каждодневной бессмысленности, которой был окружен и на которую, возможно, сам себя обрек — по причине своей слабости вообще и, главное, слабости характера. Я долгое время даже не представлял себе, что *способен* хотя бы просто жить — не говоря уж об осмысленном существовании; я больше не усматривал в себе никакой жизненной цели, опираясь на которую мог бы управлять собой; а потому, просыпаясь утром, неизбежно оказывался во власти механизма самоубийственных умствований и уже не в силах был избавиться от них до конца дня. Кроме того, меня тогда все покинули, потому что еще прежде *я сам* покинул их всех, вот в чем правда, — ведь я больше не хотел их видеть, как не хотел уже ничего; и все-таки я был слишком труслив, чтобы действительно совершить самоубийство. И вот, видимо в момент кульминации моего отчаяния — я без стеснения произношу и это слово, так как больше не собираюсь обманывать себя и что-то приукрашивать (какой смысл приукрашивать что-то в обществе и в мире, где все постоянно приукрашивается, причем самым постыдным образом?), — в тот самый момент появился Пауль, и я познакомился с ним на Блуменштокгассе, в доме у нашей общей приятельницы Ирины. Он был для меня тогда таким совершенно не похожим на остальных, новым человеком, к тому же связанным с именем, которое уже много десятков лет восхищало меня как никакое другое, что я сразу почувствовал: вот мой спаситель. Когда я сидел на скамейке в Городском парке, все это вдруг опять совершенно отчетливо всплыло в моем сознании, и я не стыдился ни своей патетики, ни высоких слов, которые, напрягая все силы, впускал в себя, хотя в других случаях не впускал их в себя никогда, — теперь они каким-то непостижимым образом приносили мне облегчение, и я ни в малейшей степени не пытался их ослабить. Я подставлял голову под эти слова, как под освежающий дождь. И вот сегодня я думаю: людей, которые действительно что-то значили в нашей жизни, можно пересчитать по пальцам одной руки; а очень часто и эта одна рука опровергает нашу нелепую уверенность в том, что, дабы пересчитать таких людей, понадобится целая рука — тогда как на самом деле, если вести счет по-честному, может быть, не понадобится ни одного пальца. Пребывая в более или менее *сносном* расположении духа, кото-

рое — известное дело — по мере того как мы становимся старше, нам все труднее каждодневно воспроизводить (ведь такое воспроизведение требует болезненно-чрезмерных усилий от нашей и без того почти нестерпимо перенапрягаемой головы), мы иногда приходим к мысли, без которой вообще неминуемо бы сдались: что да, были три или четыре человека, от которых мы на протяжении долгого времени получали не просто что-то, но очень многое и которые в определенные, в экзистенциальном смысле решающие моменты и периоды не просто значили для нас все, но и действительно *были* всем; с другой стороны, мы не должны забывать, что, вспоминая этих немногих, разумеется, имеем в виду только мертвых, то есть уже (или давно) умерших, — потому что, основываясь на своем горьком опыте, естественно, не можем оценивать с этой точки зрения тех, кто еще живет, существует рядом и при определенных обстоятельствах даже становится нашим попутчиком, если хотим избежать принципиальной, крайне болезненной и крайне смехотворной ошибки и не опозориться — в первую очередь в своих собственных глазах. Разумеется, оценивая Пауля, племянника философа Людвига Витгенштейна, я мог не опасаться ничего подобного; напротив, этот человек, с которым меня на протяжении стольких лет, до самой его смерти, связывали всевозможные увлечения и болезни и непрерывно развивавшиеся из этих увлечений и болезней идеи, принадлежит как раз к числу тех, кто все эти годы если и не делал мое существование счастливым, то, по крайней мере, улучшал его — самым действенным, то есть наиболее соответствующим моим склонностям, и способностям, и потребностям образом; очень часто Пауль вообще обеспечивал мне саму возможность существования, что теперь, через два года после его смерти, для меня совершенно очевидно, а когда я думаю о январском холоде и январской пустоте в моем доме, представляется еще более несомненным. Поскольку ни одного живого друга, способного помочь в таком деле, у меня нет, говорю я себе, что ж, буду обороняться от этого январского холода и этой январской пустоты хотя бы с помощью мертвых; а среди мертвых для меня в эти дни и в это конкретное мгновение нет никого ближе, чем мой друг Пауль. Я хотел бы сделать особое ударение на слове “мой”, потому что настоящие записки представляют собой перенесенный на бумагу образ моего друга Пауля Витгенштейна, сложившийся именно *у меня*, а не у кого-то другого. Хотя между мною и Паулем постепенно обнаружилось так много сходства (и вместе с тем так много различий), уже очень скоро после нашей первой встречи на Блуменштокгассе нам пришлось считаться сперва с довольно большой, потом, естественно, с гораздо большей и под конец с крайней степенью сложности нашей дружбы; этой дружбой все годы вплоть до его смерти я был буквально проникнут и ее велениям — осознанно или неосознанно, но всегда спонтанно, как я теперь понимаю, — подчинялся: потому что речь шла о дружбе, которую мы не просто *нашли* и потом *сохраняли*, но должны были постоянно, ценой величайших усилий *разрабатывать*, чтобы она могла плодотворным и, так сказать, *рентабельным* образом нас поддерживать, — и при этом нам еще приходилось постоянно, с величайшей предусмотрительностью принимать в расчет ее неимоверную хрупкость. В то время как он (думал я, сидя на той скамейке в Городском парке), по его собственным словам, предпочитал — из-за более удобных стульев, но прежде всего из-за гораздо лучше написанных картин, которые там висели, — посещать правый салон из двух, имевшихся в кафе “Захер”, я — из-за всегда доступных там заграничных,

прежде всего английских и французских, газет и гораздо лучшего воздуха, — естественно, отдавал предпочтение левому салону; и потому мы с Паулем, когда я бывал в Вене (а в те годы я проводил в Вене бóльшую часть времени), отправляясь в "Захер" (куда ходили охотнее всего), выбирали через раз то левый, то правый салон этого кафе, которое действительно подходило для наших умствований как никакое другое, то есть, собственно, было для них идеальным местом. Само собой, мы всегда назначали друг другу встречи в "Захере"; или, если по каким-то причинам "Захер" исключался, в "Амбассадоре". Я знаю "Захер" уже почти тридцать лет, на протяжении коих почти ежедневно сиживал в нем с теми моими приятелями из окружения гениального и столь же сумасшедшего композитора Ламперсберга[1], которые в конце моего студенчества, то есть в самый тяжелый для меня период, году этак в пятьдесят седьмом, как раз и ввели меня в изысканный мир этого лучшего из всех венских кафе; то есть, по счастью, — и сегодня я не могу этого не отметить — я с самого начала попал не в одно из тех типичных кафе, где собираются литераторы (которые, по сути, всегда вызывали у меня лишь стойкое отвращение), а, напротив, в *такое*, которое облюбовали себе их — литераторов — жертвы. В "Захере" я в любой момент мог получить все газеты, без которых не в состоянии обходиться с тех пор, как мне исполнилось двадцать два или двадцать три года, и потом часами, не опасаясь никаких помех, просматривать их, устроившись в одном из уютных уголков левого салона; я и сегодня просиживаю там по полдня перед раскрытой "Монд" или "Таймс", и ничто никогда не нарушает моего покоя, потому что таких досадных недоразумений, насколько я помню, в "Захере" действительно не случается. А вот в литературном кафе я не могу посвятить полдня моим газетам, не опасаясь, что мне помешают; там каждые полчаса меня непременно отвлекает *явление* какого-нибудь писателя со свитой, какой-нибудь из тех компаний, которые всегда предельно раздражали меня, потому что мешали исполнить мое изначальное намерение, всегда самым неделикатным образом мешали мне заняться существенным и углубиться в это существенное так, как я хотел. В литературных кафе обычно бывает спертый, действующий на нервы и губительный для духа воздух, и там я никогда не узнавал ничего нового, а только раздражался, чувствовал, что мне докучают, и впадал в депрессию. В "Захере" же я никогда не раздражался, не впадал в депрессию и не чувствовал, что мне докучают; в "Захере" мне даже очень часто удавалось поработать — на свой манер, а не на манер тех, кто привык работать в литературных кафе. В "Бройнерхофе", над которым десятилетиями жил мой друг (еще и до того, как я с ним познакомился), на меня по сей день угнетающе действуют плохой воздух и постоянно — возможно, из-за извращенного стремления к экономии — сводимое к самому минимуму освещение, из-за скудости которого я там никогда не мог прочитать, не напрягая глаз, ни строчки; стулья в "Бройнерхофе" мне тоже не нравятся, потому что они, даже если пользоваться ими лишь самое короткое время, неизбежно наносят величайший вред позвоночнику; я уж

1. Герхард Ламперсберг(ер) (1928—2002) — австрийский композитор, писатель и меценат. В 1957 г. он познакомился с молодым Бернхардом и до 1960 г. (когда между ними произошел разрыв) оказывал ему покровительство. В его имении были поставлены первые (короткие) драматические произведения Бернхарда и две оперы на либретто Бернхарда и музыку Ламперсберга: "Розы пустыни" и "Головы". В 1984 г. Ламперсберг подал на Бернхарда в суд за то, что тот опубликовал повесть "Лесоповал", в которой в негативном свете изобразил свои давние отношения с четой Ламперсберг. Именно после этого скандала Бернхард наложил запрет на публикацию своих произведений в Австрии.

не говорю о кухонных запахах, проникающих в "Бройнерхофе" во все закоулки, запахах, которые, даже если пробыть там совсем недолго, пропитывают твою одежду; но, конечно, "Бройнерхоф" имеет и величайшие преимущества (правда, не соответствующие моим сугубо личным потребностям): одно из таких преимуществ заключается, например, в предельной внимательности работающих в "Бройнерхофе" кельнеров и почти идеальной вежливости хозяина кафе, то есть вежливости без перебора и недобора. Однако, к моему сожалению, "Бройнерхоф" целыми днями бывает погружен в полумрак, что, конечно, прекрасно для молодых влюбленных и больных стариков, но не для такого книжного и газетного червя, как я, который больше всего на свете ценит свою каждодневную привычку до полудня просматривать книги и газеты и который в своей духовной жизни всегда ориентировался прежде всего на английские и французские книги и газеты, потому что немецкие чуть ли не с самого начала своей сознательной жизни не выносил. Что такое, много раз говорил я себе (да и сегодня готов повторить), что такое, например, "Франкфуртер альгемайне" по сравнению с "Таймс" или "Зюддойче цайтунг" по сравнению с "Монд"! Однако немцы — это не англичане и уж конечно не французы. И то преимущество, что я могу читать английские и французские книги и газеты, я с самой ранней юности ценю как величайшее из всех, какими обладаю. Чем был бы мой мир, думаю я иногда, если бы мне приходилось довольствоваться только немецкими газетами, которые по большому счету суть не что иное, как вульгарные бульварные листки, не говоря уж об австрийских газетах, которые вообще не газеты, а ежедневно выпускаемая миллионными тиражами и не пригодная для употребления туалетная бумага! В "Бройнерхофе" мысли сразу же захлебываются среди клубов сигаретного дыма, и кухонных запахов, и болтовни образованных — на три четверти, наполовину или на четверть — венцев, которые заглядывают сюда около полудня, чтобы, как говорится, выпустить пар. В "Бройнерхофе" люди разговаривают со мной чересчур громко или чересчур тихо, кельнеры обслуживают меня чересчур медленно или чересчур быстро, но, в сущности, "Бройнерхоф" — именно *потому*, что противоречит всем моим каждодневным запросам, — представляет собой *типичное* венское кафе, как и вошедшее в моду в последние годы и столь же стремительно захиревшее кафе "Хавелка". Типичные венские кафе, прославленные во всем мире, я всегда ненавидел, потому что все в них направлено против меня. С другой стороны, именно в "Бройнерхофе", где уж, казалось бы, *совершенно* всё против меня (как и в "Хавелке"), я на протяжении целых десятилетий чувствовал себя как дома — впрочем, столь же уютно мне было и в кафе "Музеум", и в других венских кафе, куда я частенько захаживал в свои венские годы. Я всегда ненавидел венские кафе, однако вновь и вновь заходил в эти ненавистные мне венские кафе, посещал их ежедневно, потому что, хотя я всегда ненавидел венские кафе, и именно потому, что я их всегда ненавидел, в Вене я всегда страдал от *кафепосетительной болезни*, страдал от этой кафепосетительной болезни больше, чем от любой другой. И если уж быть честным, я и сегодня страдаю от этой кафепосетительной болезни, потому что, как выяснилось, эта кафепосетительная болезнь является *самым* неизлечимым из всех моих недугов. Я всегда ненавидел венские кафе, потому что в них всегда сталкивался с себе подобными, вот в чем правда, а я не хочу непрерывно сталкиваться с самим собой, тем более в кафе, куда я хожу именно для того, чтобы на время убежать от себя, — но на самом деле как раз там сталкиваюсь с самим

собой и с себе подобными. Я и себя-то самого не переношу, что уж тут говорить о целой орде праздно размышляющих (а иногда еще и мудрствующих или еще и сочинительствующих) *мнеподобных*. Я стараюсь избегать литературы, где только могу, потому что избегаю себя самого, где только могу, а значит, мне следовало бы запретить себе посещения кафе в Вене — или, по крайней мере, когда я бываю в Вене, постоянно следить за тем, чтобы *ни под каким предлогом* не позволять себе заходить в так называемые *венские литературные кафе*. Но поскольку я страдаю от кафепосетительной болезни, я просто вынужден время от времени заходить в литературные кафе, хотя все во мне восстает против этого. Чем больше и чем глубже ненавидел я венские литературные кафе, тем чаще и тем интенсивнее я их посещал. Вот в чем правда. И кто знает, как бы протекало мое развитие дальше, если бы я не встретил Пауля Витгенштейна как раз в момент апогея моего кризиса, который — не появись тогда Пауль, — возможно, принудил бы меня с головой окунуться в этот литературный мир, то есть в отвратительнейший из всех миров: мир венских литераторов, духовное болото; ибо тогда, на пике моего кризиса, это, конечно, было бы легче всего: стать *удобным*, и подловато-непритязательным, и, значит, уступчивым — и, значит, сдаться и замешаться в среду литераторов. Пауль уберег меня от такого исхода — он ведь тоже всегда ненавидел литературные кафе. В общем, имелись все основания, чтобы в один прекрасный день я — отчасти ради собственного спасения — начал ходить с ним в "Захер", а не в так называемые литературные кафе, в "Амбассадор", а не в "Хавелку", ну и так далее; и продолжалось это до тех пор, пока я не смог вновь *позволить* себе ходить в литературные кафе — когда они перестали оказывать на меня губительное воздействие. Дело в том, что литературные кафе оказывают губительное воздействие на писателей, это правда. С другой стороны, и это тоже правда, я в моих венских кафе еще и сегодня в гораздо большей степени чувствую себя как дома, нежели у себя дома в Натале; вообще в Вене — в большей степени, нежели в Верхней Австрии, которую я сам, лет этак шестнадцать назад, прописал себе в качестве необходимого для моего выживания терапевтического средства, но которую никогда всерьез не считал своим *отечеством*, возможно, хотя бы уже по одной той достаточно веской причине, что в Натале я с самого начала жил чересчур изолированно и ничего против этой изолированности не предпринимал, а, наоборот, как осознанно, так и неосознанно доводил эту изолированность до высочайшего градуса, до грани отчаяния. Я ведь всегда был городским человеком, человеком большого города, и то обстоятельство, что в конце концов первые годы жизни я прожил в большом городе, в одном из крупнейших портов Европы, в Роттердаме, неизменно играло в моей жизни большую роль: неслучайно, попадая в Вену, я тотчас ощущаю, что теперь могу наконец дышать полной грудью. Но, с другой стороны, прожив пару дней в Вене, я понимаю, что должен бежать в Наталь, если не хочу задохнуться в чудовищном венском воздухе. Поэтому в последние годы я взял себе за правило в двухнедельном (по крайней мере) ритме менять Вену на Наталь и, наоборот, Наталь — на Вену: то есть через каждые две недели я бегу из Наталя в Вену, а потом — снова из Вены в Наталь; в результате ради того, чтобы вообще сохранить свою жизнь, я превратился в мотающегося туда-сюда между Веной и Наталем бродягу, который отныне способен существовать только в таком — поддерживаемом с величайшей непреклонностью — ритме. В Наталь я приезжаю, чтобы отдохнуть от Вены, в Вену же — чтобы исцелиться от На-

таля. Эту непоседливость я унаследовал от моего деда по матери, который всю жизнь проявлял такую разрушительную для нервов непоседливость и от нее же в конечном счете погиб. Все мои предки были одержимы подобной непоседливостью и не могли подолгу ни жить в какой-то местности, ни даже сидеть на одном и том же стуле. Три дня в Вене — и я больше не выдерживал, три дня в Натале — и я уже места себе не находил. В последние годы жизни моего друга он подключился к этому моему ритму и очень часто ездил со мной в Наталь и обратно или наоборот. Стоит мне приехать в Наталь, и я спрашиваю себя, что́ я забыл в Натале, приезжаю в Вену — и спрашиваю себя, что́ забыл там. Как и девяносто процентов людей, я, по сути, всегда хочу быть там, где меня нет, там, откуда я только что удрал. Эта фатальная закономерность в последние годы только усугубилась, а вовсе не ослабла, и я со все более короткими промежутками езжу в Вену, и оттуда опять в Наталь, и из Наталя в какой-нибудь другой большой город, в Венецию или Рим, и потом обратно, или в Прагу и обратно. И правда заключается в том, что только *сидя в машине*, между одним местом, которое я только что покинул, и другим, в которое направляюсь, я *чувствую себя счастливым*, только в машине и в пути я бываю счастлив; я — несчастнейший Прибывающий, какого только можно себе представить: куда бы я ни направлялся, едва прибыв на место, делаюсь несчастным. Я отношусь к тем людям, которые, в сущности, не способны выдержать ни одного места на земле и бывают счастливы только *между местами*: между тем, из которого выехали, и тем, к которому едут. Много лет назад я был уверен, что столь болезненная роковая закономерность в скором времени неизбежно приведет меня к тотальному безумию, однако она не привела меня к тотальному безумию, она на самом-то деле уберегла меня от такого безумия, перед которым я всю жизнь испытывал величайший страх. И получилось так, что мой друг Пауль страдал от той же болезни, что и я; он тоже на протяжении многих лет и даже десятилетий непрерывно переезжал с места на место с единственной целью покинуть одно место и поискать какое-нибудь другое, и куда бы он ни прибывал, он не мог там почувствовать себя счастливым; ему тоже такое никогда не удавалось, и мы с ним об этом часто беседовали. В первой половине своей жизни он постоянно курсировал между Парижем и Веной, и еще между Мадридом и Веной, Лондоном и Веной — что соответствовало его происхождению и его возможностям; я же, как легко догадаться, воспроизводил ту же схему в уменьшенном масштабе, но с такой же болезненной одержимостью: я ездил из Наталя в Вену и обратно, и из Венеции в Вену, и, конечно, из Рима в Вену, и так далее. Я — счастливейший Путешественник, Движущийся, Едущий, Едущий *Дальше;* и я же — наинесчастнейший Прибывающий. Разумеется, то, что со мной происходит, уже давно стало своего рода болезнью. Нас с Паулем объединяла и еще одна мания, которую также следует классифицировать как болезнь, — так называемая *счетная болезнь*, мучившая, между прочим, и Брукнера[1], особенно в последние годы его жизни. Я, например, неделями и даже месяцами, когда ехал в трамвае по городу и смотрел в окно, автоматически подсчитывал количество промежутков между окнами зданий, или количество самих этих окон, или дверей, или промежутков между дверьми; и чем быстрее ехал трамвай, тем быстрее мне приходилось считать, перестать же считать я не мог, и

1. Антон Брукнер (1824—1896) — австрийский композитор и органист.

это, как я теперь думаю, доводило меня до грани безумия. Поэтому очень часто, чтобы избавиться от *счетной болезни*, я, когда еду в трамвае по Вене или по какому-нибудь другому городу, заставляю себя смотреть не в окно, а просто в пол — что, однако, требует чудовищного самообладания, проявить которое я способен далеко не всегда. Мой друг Пауль тоже страдал от *счетной болезни*, причем в гораздо большей мере, чем я, и это, как он мне часто говорил, делало для него невыносимой любую поездку в трамвае. И еще он имел ту же привычку, которая и меня очень часто доводила до грани безумия, — наступать на булыжники мостовой, в отличие от других людей, не как придется, а в соответствии с предписанной самим собою системой, то есть, например, через каждые два камня на третий, и ставить ногу не просто более или менее бездумно, без всякой идеи, примерно на середину камня, но следить, чтобы носок оказывался в аккурат на его дальнем или ближнем крае, в зависимости от конкретного замысла. Люди, подобные нам с Паулем, ничего не оставляют, так сказать, на волю случая, ничем не пренебрегают: по их мнению, все на свете подчиняется особым — выдуманным ими — геометрическим, симметрическим, математическим закономерностям. Я замечал за Паулем признаки *счетной болезни* и свойство наступать на булыжники не просто так, а в соответствии с точно заданной системой, *с самого начала* нашего знакомства. Часто говорят, что противоположности притягивают друг друга, однако в нашем случае скорее можно говорить о чертах сходства, а у нас были сотни и тысячи таких черт, которые я уже очень рано начал подмечать в нем, как и он — во мне. Мы с ним разделяли столько же сотен и тысяч предпочтений, сколько сотен и тысяч антипатий; и очень часто нас обоих притягивали одни и те же люди и одни и те же отталкивали. Но, конечно, это вовсе не означает, что мы во всем придерживались одного мнения, или имели сходные вкусы, или одинаково себя вели. Например, он любил Мадрид, а я ненавидел этот город. Я любил Адриатику, а он ее ненавидел, и так далее. Однако Шопенгауэра любили мы оба, как и Новалиса, и Паскаля, и Веласкеса, и Гойю, тогда как действительно необузданный, но совершенно примитивный Эль Греко в одинаковой мере отталкивал нас обоих. *Господин барон* в последние месяцы его жизни на самом деле был, как говорится, лишь тенью себя прежнего, и от этой тени, все более и более призрачной, знакомые постепенно — больше и больше — отдалялись. Я и сам, естественно, уже не поддерживал с этой тенью Пауля тех же отношений, что с прежним Паулем. Мы с ним теперь — хотя бы уже потому, что часто он целыми днями не выходил из своей квартиры на Штальбурггассе, — почти не виделись, довольно редко договаривались о встречах. *Господин барон* в буквальном смысле, как принято говорить, *угасал*. Пару раз, в Старом городе, когда он не подозревал об этом, я издали за ним наблюдал: как он с трудом, но постоянно следя за тем, чтобы сохранять подобающую осанку, передвигался вдоль стен домов по Грабену, шел к Кольмаркту, потом к церкви Св. Михаила и далее сворачивал на Штальбурггассе; действительно, и в самом прямом смысле слова, то была лишь тень человека, один раз даже напугавшая меня. Я не осмеливался с ним заговорить. Мне легче было вынести собственные угрызения совести, чем встречу с ним. Я наблюдал за ним издали и, заставляя умолкнуть свою совесть, не подходил к нему, ибо внезапно понимал, что боюсь его. Мы избегаем людей, отмеченных печатью смерти, и я тоже совершил эту низость. В последние месяцы жизни моего друга я вполне осознанно избегал его, движимый подлым инстинктом самосохране-

ния, и никогда себе этого не прощу. Я смотрел на него с другой стороны улицы как на человека, который уже давно не жилец на этом свете, но все еще вынужден оставаться здесь, который уже не принадлежит нашему миру, однако пока еще не может его покинуть. От исхудавшей руки Пауля свисала вниз — *гротескно, гротескно* — продуктовая сетка с купленными им овощами и фруктами, которую он тащил домой, естественно все время опасаясь, что кто-то может увидеть его во всем этом убожестве и бедности, может подумать о нем бог весть что; и, вероятно, в моем желании защитить его от подобных переживаний крылась еще одна, не менее болезненная причина, мешавшая мне заговорить с ним: трудно сказать, удерживал ли меня страх перед человеком, который, собственно, уже сам являл собой облик смерти, или же ощущение, что лучше избавить Пауля от встречи со мной, еще не ступившим на этот страшный путь, — возможно, и то и другое сразу. Я наблюдал за ним и одновременно стыдился самого себя. Потому что переживал как позор то обстоятельство, что сам я еще живу, тогда как мой друг — уже нет. У меня нехороший характер. И вообще я нехороший человек. Я отдалился от моего друга, как и другие его друзья, потому что, как и они, хотел отдалиться от смерти. Я боялся встречи со смертью. А в моем друге *все* уже было смертью. Совершенно естественно, что он в последнее время уже не подавал о себе вестей; это *мне* надлежало навещать его, что я и делал, но только все реже и находя все новые жалкие отговорки. Время от времени мы с ним еще ходили в "Захер", и в "Амбассадор", и, конечно — поскольку ему это было удобнее всего, — в "Бройнерхоф". Я навещал его один, когда по-другому не получалось, но предпочитал заглядывать к нему с приятелями, чтобы они разделяли со мной то ощущение абсолютного ужаса, которое я теперь испытывал в присутствии моего друга, потому что наедине с ним я не в силах был это выносить. Чем более необратимым делался его распад, тем элегантнее он одевался; но как раз из-за этих дорогих и вместе с тем элегантных костюмов, унаследованных от давно умершего князя Шварценберга[1], облик Пауля, уже почти до конца изжившего свою жизнь, производил столь мучительное впечатление. Этот облик вовсе не был гротескным, но он потрясал. Правда в том, что все как-то вдруг не захотели больше иметь дела с Паулем, потому что человек, которого они порой еще видели, когда он проходил с сеткой по улицам Старого города или стоял, совершенно без сил, прислонившись спиной к стене дома, уже не был тем, кто много лет, даже десятилетий так притягивал их к себе; кто развлекал их разговорами и помогал им деньгами, умел развеять их глупую скуку своими неисчерпаемыми сумасбродствами, совершавшимися во всех уголках мира; кто, делясь с ними своими шутками и анекдотами, противопоставлял их венскому и верхнеавстрийскому тупоумию нечто *такое*, на что сами они никогда не были способны. Время его абсурдных рассказов о путешествиях в разные страны мира, время, когда он давал беспощадные, но справедливые характеристики своей (относившейся к нему с презрением, а в конечном счете и с ненавистью) семье, которую сам он всегда воспринимал только как некую кунсткамеру, набитую католико-иудейско-националистическими раритетами, и описывал с величайшей иронией и сарказмом, пользуясь всем спектром от рождения присущих ему актерских способностей, — это время безвозвратно ушло. То, что от него еще

1. Шварценберги — княжеский род, история которого восходит к XII в.

можно было при случае услышать, уже не заключало в себе, как говорят, веяний большого мира, а было пропитано запахами бедности и смерти. Его костюмы, хотя и оставались такими же элегантными, как прежде, уже не производили впечатления великосветской роскоши, в любом случае внушающей почтение; теперь они выглядели затасканными и убогими — как и все то, что он еще отваживался сказать. Теперь он больше не ездил на такси в Париж, ни даже в Траункирхен или Наталь, а забивался в уголок вагона второго класса и, в шерстяных носках и с маленьким пластиковым пакетом в руках, в котором лежали грязные спортивные туфли — отныне его любимая обувь, — терпеливо ждал, когда поезд доставит его в Гмунден или Траункирхен. Фуфайку послевоенных времен, полвека как вышедшую из моды, несвежую, но зато, на вкус бывшего яхтсмена, комфортную, — вот что надел Пауль, когда в последний раз приезжал в Наталь, и еще уже упоминавшиеся спортивные туфли. Ступив на мой двор в Натале, он уже не бросил взгляд наверх, на второй этаж, а смотрел только под ноги. Даже очень веселая музыка, которую я поставил для него, — богемский духовой квинтет — лишь на мгновение вывела моего друга из состояния абсолютной подавленности. В его сознании вновь и вновь всплывали имена людей, сопровождавших его всю жизнь, которые теперь — и уже давно — от него отвернулись. Но он и сам не был больше способен ни к какому настоящему разговору, а только бормотал отрывочные фразы, смысла которых при всем желании никто не мог разобрать. Рот у него — когда Пауль полагал, что его никто не видит, — по большей части оставался открытым, руки дрожали. Когда я отвозил его обратно в Траункирхен, на *его* холм, он всю дорогу сидел молча, обхватив руками белый пластиковый пакет с несколькими яблоками, которые собрал в Натале, в моем саду. Во время этой поездки мне вспомнилось, как Пауль повел себя в день так называемого *первого представления* моего "Охотничьего общества". Спектакль — поскольку *Бург*[1] обеспечил для этого все необходимые предпосылки — закончился полным, беспримерным крахом: абсолютно третьеклассные актеры, которые в нем играли, как я вскоре обнаружил, нисколько не пытались поддержать мою пьесу, ибо, во-первых, не понимали ее и, во-вторых, слишком мало ценили самих себя, а кроме того, вообще попали с этим спектаклем в довольно неловкое положение (в чем, насколько я знаю, были сами, и не только косвенным образом, виноваты) — после того, как план постановки с участием Паулы Вессели и Бруно Ганца[2], для которых, собственно, я и писал эту пьесу, провалился. Оба они в итоге не играли в моем "Охотничьем обществе", потому что труппа *Бурга*, как любовно, но не без оттенка насмешки называют этот театр, более или менее единодушно выступила против приглашения Бруно Ганца в Бургтеатр, движимая не только, так сказать, экзистенциальным *страхом*, но и экзистенциальной *завистью*: Бруно Ганц, величайший актер, каких когда-либо рождала Швейцария, внушал всей труппе Бургтеатра чувство, которое я могу назвать не иначе как *страхом творческой смерти*, — они боялись соревноваться с этим театральным гением из Швейцарии; у меня, правда, до сего дня не выходит из головы (как подтверждение достойной сожаления

1. Бургтеатр — австрийский драматический театр, создан в Вене в 1741 г.
2. Паула Вессели (1907–2000) — популярная австрийская актриса театра и кино. В 1953–1985 гг. играла в венском Бургтеатре. В 1987-м ушла со сцены. Бруно Ганц (р. 1941) — выдающийся швейцарский характерный актер. В 1972 г. на Зальцбургском фестивале играл в пьесе Бернхарда "Невежда и безумец".

и одновременно презрения извращенности театральной истории Вены, а также как неистребимое клеймо позора, пятнающее весь немецкоязычный театр) тот факт, что актеры Бургтеатра тогда попытались, по расхожему выражению, *любой ценой и всеми доступными средствами*, включая составление письменной резолюции и устные угрозы в адрес театральной дирекции, воспрепятствовать приглашению на главную роль Бруно Ганца — и действительно, как известно, этому воспрепятствовали, потому что в Вене, с тех пор как там существует театр, решения фактически принимает не руководитель театра, а актеры; руководителю — особенно руководителю Бургтеатра — сказать особенно нечего, в Бургтеатре всегда все решали так называемые *любимые актеры*; всё решали только эти *любимые актеры*, которых без всяких оговорок можно назвать слабоумными, потому что они, с одной стороны, ничего не смыслят в театральном искусстве, а с другой — с беспримерной наглостью занимаются театральной проституцией, нанося тем самым ущерб как театру, так и публике; и я должен сказать, что только наисквернейший из всех скверных театров может на протяжении многих десятилетий, если не веков, поддерживать таких проституированных бургактеров и позволять *им* собой командовать; *им*, этим так называемым *любимым актерам* с их прославленными именами и дебильным представлением о театре, *им*, которым однажды — только ценой полного пренебрежения всеми средствами актерского искусства и благодаря бесстыдной эксплуатации собственной популярности — удалось (так сказать, на пике их *не-искусства*) с помощью тупоумной венской театральной публики взгромоздиться на кобылу славы и потом десятилетиями, а в большинстве случаев до самой своей смерти держаться железной хваткой за Бургтеатр. Когда приглашение на главную роль Бруно Ганца из-за низости его венских коллег стало невозможным, Паула Вессели, моя первая и единственная *Генеральша*[1], тоже отказалась от участия в спектакле, а поскольку я, из-за безрассуднейшим образом заключенного с Бургтеатром договора о постановке "Охотничьего общества", не мог последовать ее примеру, мне в конечном итоге пришлось присутствовать на первом представлении моей пьесы, которое я могу охарактеризовать только как *неаппетитное* и которое, на что я уже намекал, осуществлялось *даже без добрых намерений*, как и многое другое, если не вообще все, чем занимается венский Бургтеатр: потому что эти абсолютно бесталанные актеры, исполнявшие главные роли, при малейшем сопротивлении публики братались с ней — именно тем бесстыдным образом, каким все венские актеры уже на протяжении нескольких веков как бы в силу традиции всегда братаются с публикой и совершают низости по отношению к разыгрываемой ими пьесе и к ее автору, которому они тотчас же и без малейших угрызений совести наносят удар в спину, потому что публике данная пьеса и ее автор уже с первых мгновений не понравились, потому что публика не понимает автора и его пьесу, потому что для нее и пьеса, и автор чересчур трудны; ведь венские актеры и особенно так называемые *актеры Бурга* отнюдь не собираются (выражаясь фигурально) *бросаться в огонь* — что было бы совершенно естественно и что делают все другие актеры в Европе — за автора и его пьесу (тем более новую, пока не опробованную), а напротив, мгновенно *показывают спину* и самому автору, и его пьесе, едва замечают: публика не воодушевлена тем, что она увидела и услыша-

1. Генеральша — персонаж драмы Бернхарда "Охотничье общество".

ла сразу же после поднятия занавеса. Актеры мгновенно объединяются с публикой, и начинают проституировать себя, и превращают эту так называемую *первую сцену немецкоговорящего региона*, как они сами называют свой театр, инфантильно завышая оценку собственной значимости, в первейший в мире театральный бордель — и ведь они делали это отнюдь не только в тот роковой вечер первого представления моего "Охотничьего общества". Так вот, эти актеры Бургтеатра сразу же после поднятия занавеса (я наблюдал все с моего места на галерке), увидев, что с самого начала что-то, как говорится, не заладилось, ополчились против меня и моей пьесы и, соответственно, сразу же стали действовать против меня и пьесы; и весь первый акт провели настолько грубо, будто, если уместно так выразиться, играли в моем "Охотничьем обществе" лишь по долгу службы, будто хотели сказать: *мы, мол, против этой ужасной, низкокачественной, отвратительной пьесы* — в отличие от дирекции, *которая принудила нас* выступить в этом спектакле. Да, мы играем эту пьесу, но вместе с тем не хотим иметь с ней ничего общего, мы играем эту пьесу, но она ничего не сто́ит, мы играем эту пьесу, но против собственной воли. Они мгновенно объединились с ничего не подозревавшей публикой, а меня и мою пьесу, как говорится, принесли в жертву и тем самым предали также моего режиссера, а из моего "Охотничьего общества" с величайшим бесстыдством выхолостили все духовное содержание. Я, разумеется, написал совершенно другую пьесу, нежели та, которую эти подлые актеры, предатели искусства, сыграли в вечер премьеры. Я едва выдержал первый акт и сразу же после того, как опустился занавес, вскочил с места и выбежал из зала, ясно сознавая, что меня умышленно и отвратительнейшим образом обманули. Уже после первых реплик я понял, что актеры играют против меня и хотят уничтожить мою пьесу, они уже с первых минут наполняли ее своим *не-искусством* и своим подлаживанием к публике, они предавали меня, а мою пьесу, рождению которой должны были помогать со всей страстью, как акушерки — рождению ребенка, бесстыдно выставляли на смех. Когда я, спустившись с галерки, выбежал в гардероб, гардеробщица спросила меня: "Неужели и господину автору не понравилось!?" Злясь на собственную противоестественную глупость, которая побудила меня доверить постановку "Охотничьего общества" Бургтеатру, и на заключенный мною тупоумный договор, я сбежал вниз по ступенькам и покинул Бургтеатр. Я не мог больше оставаться ни одного мгновения в *этом охотничьем обществе*. Помню, я бежал прочь от Бургтеатра, как будто спешил покинуть не только место уничтожения моей пьесы, но и место уничтожения всех моих духовных накоплений; я пробежал всю Рингштрассе, потом опять вернулся в Старый город, но, естественно, никак не мог успокоиться и прекратить эту — ничем, кроме как моим гневом, не обусловленную — бессмысленную беготню. После окончания спектакля я встретил многих моих приятелей, которые присутствовали на премьере, и они все в один голос повторяли, что пьеса — по их собственным словам — имела *огромный успех* и что, когда она закончилась, зрители выразили свое одобрение *нескончаемыми аплодисментами*. Приятели мне лгали. Я знал, что спектакль мог закончиться только катастрофой, у меня всегда был хороший нюх на такие вещи. "Огромный успех, нескончаемые аплодисменты", — повторяли приятели и тогда, когда мы уже сидели в ресторане, а мне хотелось надавать им всем пощечин за их лживость. Они хвалили даже актеров, хотя эти актеры показали свою полнейшую тупость и чуждость всякому искусству, более того, стали в конечном счете могильщиками моего

"Охотничьего общества". Единственным, кто сказал мне правду, был мой друг Пауль. Он классифицировал постановку как результат тотального взаимного непонимания, как совершенно неудавшуюся и как типичный пример венской беспардонности в отношении культуры, как характерный образец подлого поведения Бургтеатра по отношению к автору и его пьесе. "Ты тоже стал жертвой слабоумия, и интриг, и вероломства, царящих в Бургтеатре, — сказал Пауль, — и это меня не удивляет"; его слова навсегда останутся для меня уроком. Мы, естественно, презираем тех, кто нам лжет, и уважаем тех, кто говорит правду. Само собой, я уважал Пауля. Умирающие как бы втягивают голову в плечи и не хотят больше иметь дела с теми, кто живет, не думая о смерти. Пауль тоже втягивал голову в плечи и вообще как бы самоустранился. Его больше не было видно, и только время от времени кто-то еще им интересовался. Наши общие приятели спрашивали у меня, а я, в свою очередь, спрашивал у них, что теперь делает Пауль. Мне — так же как и этим приятелям — уже не хватало мужества, чтобы навестить его в его квартире; и я просто думал, когда, находясь как раз под его квартирой, в "Бройнерхофе", пил мой кофе, уже далеко не в первый раз сидя в одиночестве рядом с пустым местом Пауля, и поглядывая через окно на Штальбурггассе, и вдвойне ненавидя "Бройнерхоф" — не только из-за отсутствия Пауля, но и за то, что я, несмотря на это отсутствие, *все-таки* вновь и вновь прихожу сюда, — я думал: может быть, за всю жизнь я не имел лучшего друга, чем тот, кто сейчас несколькими этажами выше, у себя дома, наверняка лежит в самом жалком состоянии и к кому я (по сути лишь потому, что боюсь *непосредственной* встречи со смертью) больше не хожу. Я постоянно отгонял от себя эту мысль и в конце концов *отогнал* куда-то на самые задворки. Я ограничился тем, что разыскал в своих записях все места, относящиеся к Паулю, и с помощью этих заметок, часть которых была сделана еще лет двенадцать назад, попытался воссоздать для себя Пауля, как я теперь понимаю, таким, каким хотел сохранить его в памяти: *живым, а не мертвым.* Однако эти записи, которые я делал в Натале и Вене, в Риме и Лисабоне, в Цюрихе и Венеции, оказались в конечном счете — теперь я в этом уверен — не чем иным, как историей умирания. Я познакомился с Паулем — так я теперь думаю — именно в тот момент, когда он (что для меня совершенно очевидно) уже начинал умирать, и я, как показывают эти записки, на протяжении более чем двенадцати лет *наблюдал* процесс его умирания. И я из этого его умирания извлекал для себя пользу, я использовал этот процесс умирания, как только мог. По сути я — не что иное, как человек, который на протяжении двенадцати лет был свидетелем умирания Пауля, думаю я; человек, который на протяжении двенадцати лет как раз из этого умирания своего друга в основном и черпал те силы, что были потребны ему, чтобы самому — жить; а значит, не так уж нелепа мысль, что мой друг должен был умирать для того, чтобы сделать для меня мою жизнь (или, точнее, мое существование) по крайней мере более сносной, если не вообще — на довольно длинных отрезках — возможной. Записи о Пауле, которые я делал для себя, в основном касаются музыки и преступлений. И еще — корпуса "Герман", и корпуса "Людвиг", и напряженных отношений между двумя этими корпусами на Вильгельминовой горе, для нас с Паулем судьбоносной; а также врачей и пациентов, которые населяли эту судьбоносную для нас гору в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году. Но Пауль мог говорить удивительные вещи также и о политике, о богатстве и бедности — основываясь на собственном опыте, то есть на опыте человека, чувствитель-

нейшего из всех, кого мне довелось узнать в моей жизни. Он презирал нынешнее общество, которое на каждом шагу отрекается от своей истории и которое поэтому, как однажды сказал сам Пауль, не имеет *ни прошлого, ни будущего*, а является жертвой *тупоумного преклонения перед учеными-атомщиками*: он бичевал *коррумпированное правительство* и *страдающий манией величия парламент* — и суетное тщеславие, овладевшее умами людей искусства, прежде всего так называемых *репродуцирующих* художников[1]. Он ставил под сомнение правительство, и парламент, и весь народ, и *творческое*, а равно и так называемое *творчески воспроизводящее* искусство, и самих художников того и другого типа — точно так же, как постоянно ставил под сомнение самого себя. Он любил и ненавидел природу точно так же, как любил и ненавидел искусство, и с такой же страстностью и беспощадностью любил и ненавидел людей. Он насквозь видел богатых, как их видит богатый; и бедных — как бедный; и здоровых — как здоровый; и больных — как больной; и, наконец, свихнувшихся — как свихнувшийся; и безумцев — как безумец. Еще раз, незадолго до смерти, он сделал себя средоточием собственной — созданной несколько десятилетий назад им самим и его друзьями — легенды: с заряженным пистолетом в руке, в высшей степени взбудораженный, он зашел в ювелирный магазин "Кехерт" на Новом рынке, в свой бывший родительский дом, и, как рассказывают, прямо с порога пригрозил стоявшему за прилавком кузену Готфриду, тогдашнему, да и нынешнему владельцу магазина, что *немедленно* застрелит его, если тот откажется выдать *некую жемчужину*. Готфрид, кузен моего друга Пауля, вроде бы, если верить рассказам об этом происшествии, смертельно испугавшись тотчас поднял руки, после чего мой друг крикнул ему: "Жемчужину из твоего венца!" Все это было только шуткой. Видимо, последней шуткой Пауля. Ювелир, кузен Пауля, не понял юмора, зато сразу сообразил, что его кузену, который вдруг опять сделался *невменяемым*, подобает находиться в соответствующем заведении. Он, как сообщалось, сумел задержать *разбушевавшегося* нарушителя спокойствия и известил полицию, которая и доставила Пауля в "Штайнхоф". *"Сотни две друзей соберутся на мои похороны, и ты должен будешь произнести речь на моей могиле"*, — сказал мне однажды Пауль. На самом деле в его похоронах, насколько мне известно, принимали участие всего восемь или девять человек, а сам я в тот момент находился на Крите, где писал пьесу, которую, как только она была закончена, уничтожил. Пауль, о чем я узнал позже, умер всего через несколько дней после пресловутого *нападения* на своего кузена, и вовсе не в "Штайнхофе", как я сначала полагал, то есть не в своих, по его выражению, *подлинных* пенатах, а в одной из линцских больниц. Он, как принято говорить, покоится на венском Центральном кладбище. На его могиле я до сегодняшнего дня ни разу не был.



**Послесловие**

Повесть "Племянник Витгенштейна" (1982) — один из несомненных шедевров Томаса Бернхарда (1931—1989), вобравший в себя едва ли не всю проблематику его творчества. Формально представляя собой воспоминания рассказчика об умершем друге, повесть на самом деле с равной полнотой воссоздает характеры

1. Имеются в виду художники-исполнители (музыканты, певцы, драматические актеры). Термин связан с рецепцией музыкальных произведений, их интерпретацией исполнителями.

и этого друга, и рассказчика, одновременно исследуя экзистенциальную парадоксальность человеческой жизни вообще. Рассуждения же о постановке одной из бернхардовских пьес в венском Бургтеатре (на последних страницах повести) перекликаются с произведениями Бернхарда, посвященными роли искусства и художника в современном обществе (прежде всего с пьесой "Минетти", 1976). Повесть написана в типичной для Бернхарда манере долгого кружения вокруг одного образа (или одной мысли), с постепенным выявлением всех его аспектов и незаметным — по ассоциации — соскальзыванием к новому "витку". Здесь все построено на предельной гиперболизации описаний, которые всегда *отчасти* соответствуют действительности[1] (и именно из-за наличия "ножниц" между правдой и ее преувеличением, подчас доведением до абсурда провоцируют читателя на ответную реакцию, на формулирование собственной позиции по отношению к обсуждаемой проблеме), но в конечном итоге переходят в свою противоположность: герои повести "ставят под вопрос" все и вся именно потому, что сами ощущают себя кровно связанными с тем, что становится объектом их критики. Это комплекс "любви-ненависти", отталкивания от собственного прошлого (и прошлого своей страны), постоянного его преодоления — бесконечный процесс "корректуры", корректирования собственной жизни, неизбежно, по мысли Бернхарда, завершающийся "(само)изничтожением". ("Корректура" и "Изничтожение" — так называются посвященные этой проблематике романы Бернхарда, написанные в 1975 и 1986 годах).

В бернхардовской прозе вообще и в "Племяннике Витгенштейна" в частности поражает то, что эта проза — будто бы — написана нарочито некрасиво, ибо в ней нарушаются чуть ли не все привычные для пишущего запреты: бесконечно повторяются одни и те же слова, изобилуют причастия и превосходные степени прилагательных, громоздятся многоступенчатые придаточные предложения. Видимо, дело здесь в том, что Бернхард экспериментирует с возможностями *устной* речи: он пытается передать *интонацию*, ломая "красивую" речь ради того, чтобы до предела повысить силу ее эмоционального воздействия (среди прочего — за счет повторов, организующих текст структурно). И чтобы высказать то, что в традиционных текстах словами передать не удается. Неслучайно главный герой его пьесы "Лицедей" говорит: "Я теперь больше интересуюсь / молчанием / ну и искусством слова конечно / то бишь *словами / и молчанием между ними*"[2]. Интересно, что аналогичными (по сути, а отчасти и по форме) экспериментами занимался старший современник Бернхарда Арно Шмидт (1914—1979), тоже, между прочим, деливший свои тексты на интонационные отрезки. В теоретическом же плане проблему соотношения текста и того, что остается за ним, исследовал любимый философ Бернхарда — Людвиг Витгенштейн (1889—1951).

При всей философской глубине и формальном экспериментаторстве повесть "Племянник Витгенштейна" носит автобиографический характер, материалом для нее послужили действительные отношения Томаса Бернхарда с самыми близкими ему людьми: Паулем Витгенштейном (племянником философа Людвига Витгенштейна), который изучал математику в Венском университете, но потом, в тридцать пять лет, психически заболел; дедом Бернхарда, писателем Йоханнесом Фроймбихлером, оказавшим на своего внука огромное влияние, и Хедвиг Ставяничек (1894—1984; в повести она не называется по имени, но упоминается как "самый близкий мне человек"), которая, познакомившись с Бернхардом в 1949 году, до самой своей смерти помогала ему и поддерживала с ним очень тесные,

1. О реальной подоплеке тех политических претензий, которые герои Бернхарда предъявляют Австрии, см.: Franz Krahberger. Virtueller Faschismus (в Интернете).
2. Томас Бернхард. Видимость обманчива и другие пьесы. Перев. М. Рудницкого. М., 1999, с. 590. (Курсив мой — *Т. Б.*)

хотя и не всегда простые (как явствует из их переписки) дружеские отношения[1]. Реальны и описанные в повести события: в 1967 году Бернхард действительно лежал в больнице на Баумгартнерхёэ, где ему была сделана серьезная операция; вручение Бернхарду Австрийской государственной премии и скандал с министром просвещения Теодором Пифль-Перчевичем датируются 1968 годом; эпизод с Грильпарцеровской премией — 1972-м; премьера "Охотничьего общества" в Бургтеатре — 1974-м.



Известный немецкий литературный критик Марсель Райх-Раницки охарактеризовал повесть "Племянник Витгенштейна" следующим образом: "Никогда еще Бернхард не писал с таких дружественных по отношению к человеку позиций, никогда не был таким нежным"[2]. Французский режиссер Патрик Гинан, которому довелось лично познакомиться с Бернхардом, поставил "Племянника Витгенштейна" как спектакль-монолог: в 1991 году — в Париже, несколько позже — в Риме, в марте 2001-го — в Вене, в Народном театре, с Тони Бёмом в роли Томаса Бернхарда.

1. Об отношениях Т. Бернхарда с этими людьми см., например: Caroline Streicher. Lebensmenschen!? Beziehungen zwischen Autobiographie u. Werk Thomas Bernhards. Fachsbereicharbeit aus Deutsch 1999/2000; Thomas Bernhard und seine Lebensmenschen. Materialien zu Ausstellung im StifterHaus Linz (обе работы в Интернете).
2. Thomas Bernhard. Wittgensteins Neffe. Frankfurt a. M., Suhrkampf Taschenbuch, 1987 (последняя страница).

# Хаймито фон Додерер

## *Рассказы*

*Вступление и перевод* В. Седельника

**От переводчика**

Хаймито фон Додерер (1896—1966) — безусловно один из крупнейших австрийских прозаиков XX века. Он создал свой особый художественный мир, насыщенный неповторимой атмосферой Вены, ее окрестностей, ее прошлого и настоящего. Многое из написанного им в 30—40-е годы было опубликовано только после войны, поэтому он стал как бы связующим звеном между эпохами, мостиком, перекинутым от Германа Броха, Роберта Музиля и Йозефа Рота к Томасу Бернхарду и Петеру Хандке. Додереру выпала нелегкая судьба: он был участником двух мировых войн, в 1915 году попал в плен и более четырех лет провел в Сибири, где, надо думать, приобщился к русской жизни, а может, в какой-то мере и к культуре (недаром же в своем творчестве он часто обращался к Толстому, Достоевскому, Гончарову). Историк по образованию, Додерер охотно и много писал о делах давно минувших дней (романы "Окольный путь" и "Меровинги", повесть "Последнее приключение"), но если уж обращался к настоящему или ближайшему прошлому, то местом действия неизменно выбирал Вену, любовно, в мельчайших подробностях воссоздавая ее локальный колорит (романы "Штрудльхофская лестница", "Бесы", "Слуньские водопады").

Додерер придерживался консервативных воззрений как в политике, так и в эстетике и с подозрением относился к попыткам подстегивать естественный ход истории или движение повествовательного искусства, которое, по его мнению, должно идти не скачками, а по восходящей спирали. Эссеизм, поток сознания, чрезмерный интеллектуализм, как и погружение в бездонные штольни подсознательного, — не его стихия. Он привержен внешнему миру и способам воссоздавать жизнь как она есть. Его рассказы строятся вокруг какого-нибудь события —

© В. Седельник. Вступление, перевод, 2003

иногда забавного, почти анекдотического ("Ее жертвоприношение"), иногда мрачного, с пугающим подтекстом ("Встреча перед рассветом"), но всегда неожиданного, необычного, даже экстраординарного, способного увлечь читателя самим развитием сюжета и в то же время поставить его перед лицом странной непредсказуемости человеческой души и непостижимости столь ценимого им "вещного" мира.



# Встреча перед рассветом

ПОЖАЛУЙ, был уже третий час ночи, когда на перроне появился молодой офицер – господин фон Э., в компании трех товарищей, с которыми он только что как следует отметил свой отъезд: отпуск кончился, и фон Э. возвращался на фронт. Стоял холодный январь 1916 года.

Под конец пирушки они выпили черного кофе и теперь чувствовали себя вполне сносно – и трое провожающих на опустевшем сером перроне, и их товарищ, который уже устроился в купе второго класса и, стоя у окна, рассуждал с оставшимися на перроне о жизни в маленьком городке, где располагался резерв их полка, о скуке мирной тыловой службы, которую еще предстояло нести трем товарищам, так как после ранения они должны были задержаться в городке П. до полного выздоровления.

– Да, городишко, конечно, захолустный, – сказал один из друзей, устремив взгляд в конец крытого перрона – туда, где терялись в темноте рельсы и виднелось хмурое ночное небо.

Тем временем скорый поезд внезапно и почти бесшумно тронулся с места, позади остались провожающие, мимо проплыли немногочисленные фонари, окна затянуло тьмой, и когда состав начал ускорять ход, фон Э., несмотря на крепкий кофе державшийся на ногах не столь уж и уверенно, потерял равновесие и плюхнулся на сиденье.

Только теперь он заметил, что в купе находится еще один человек, сидящий прямо напротив него.

Позже господин фон Э. рассказывал, что хотя он и был изрядно навеселе, но сразу же понял, что перед ним саксонец, причем саксонец весьма добродушный. Он и сам не знал, почему у него создалось такое впечатление. Человек этот не спал, а удобно расположился у окна, широко расставив ноги.

– Доброе утро! – поздоровался он.

– Доброе утро, – ответил фон Э. – Вы, наверное, тоже едете из П.?

– Нет, господин лейтенант, я в пути уже несколько часов. Сел в Берлине. А вы едете в отпуск или возвращаетесь из отпуска? – поинтересовался он, бросив взгляд на защитного цвета чемоданчик в сетке для багажа.

– Возвращаюсь из отпуска, пора снова на фронт, – сказал фон Э., а сам подумал: "Ага, это музыкант, точно музыкант. Тут и сомневаться нечего. В продолговатой черной штуковине там, наверху, в футляре, стало быть, у него труба. Или тромбон. Труба. Ха-ха. Чтобы вострубить наступление Судного дня. Саксонский музыкант. Саксонец, играющий на трубе. Точно. А впрочем, странно. Гм". – На каком инструменте вы играете? – спросил он и кивком показал наверх. Его спутник тоже невольно поднял глаза на багажную сетку у себя над головой.

— Нет, — сказал он, — это не музыкальный инструмент. Я, правда, немного играю на скрипке. Но только как любитель, для собственного удовольствия. В Котбусе, где я живу, мы организовали квартет струнных инструментов. Играем исключительно классическую музыку: Моцарта, Гайдна...

Они были уже примерно в ста километрах от Кёльна, за окнами промелькнул маленький вокзал.

— Скажите, — снова начал лейтенант, — а что у вас там за штука такая?

Говорил он с трудом, язык отказывался ему повиноваться. У сидевшего напротив господина был один из тех стоячих воротничков, которые узкой ровной каймой облегают шею, без уголков или кружев, почти как у священника. И галстук впридачу. "Саксонский музыкант", — подумал фон Э. Мысли его путались.

— Там у меня топор палача, — сказал наконец "саксонец".

— Что?!!

— Топор палача. Кстати, я еду исполнять приговор. В Кёльн.

— Ого! Так вы, значит, тот, кого обычно называют, гм... палачом? Гм. И когда же казнь?

— В половине восьмого утра. Как только по-настоящему рассветет. А до того надо еще кое к чему подготовиться.

— А можно мне на него взглянуть?

— Разумеется.

Он снял и открыл продолговатый черный ящик, обитый внутри красным бархатом. Топор был обернут белым шелковым платком — так обычно хранят драгоценные скрипки.

— Вы позволите? — спросил лейтенант и вынул топор. Он был необычайно тяжелый — тяжелее, чем могло показаться на первый взгляд.

— Обух отлит с примесью ртути, — объяснил мастер своего дела. — Для увеличения веса.

— Острый?

— А вы попробуйте.

— Ого, черт возьми... И вы им уже кого-нибудь... того?..

— А то как же.

Позже лейтенант фон Э. рассказывал, что эти слова не произвели на него слишком уж сильного впечатления. "А не спросил ли он палача, что в таких случаях творится у него на душе?.. Ну, что он при этом чувствует и тому подобное". "Нет, — ответил лейтенант (кстати, он ведь тогда был пьян). — А уж пустословить по поводу парня, которого должны были казнить, показалось мне при тогдашних обстоятельствах не совсем уместным..."

Но вот поезд стал замедлять ход. Вскоре послышался стук стрелок большого вокзала, проводник открыл дверь купе и объявил: "Кё-ёльн... Кё-ёльн..." Штуковина снова лежала в футляре. Лейтенант спал и громко храпел во сне. А палача при стоячем воротничке и галстуке, скромно и незаметно с сумкой на плече и футляром в руке выбравшегося из вагона, встретили на шумном, залитом светом перроне два чиновника в шляпах.

В Кёльне поезд стоял почти час, лейтенанту фон Э. недоставало тех ритмичных стуков и тех легких толчков и покачиваний, которые во время движения так славно встряхивают хмель, мягко подлаживаясь к его действию, поэтому он после некоторого раздумья воспользовался случаем и вышел на перрон, к буфету, где, несмотря на столь ранний час, уже работала приветливая продавщица: должны же усталые путники подкре-

питься рюмкой коньяку. Из Кёльна поезд отправился в Ахен, и лейтенант снова крепко уснул. В те годы там к составу прицепляли сзади второй паровоз, так как в направлении Хербесталя дорога шла круто вверх, пока не достигала плоскогорья, и уже оттуда спускалась в долину реки Маас. На заре развития немецких железных дорог в конце этого подъема, начинающегося за Ахеном, стоял даже большой ворот, с помощью которого поезда втаскивали наверх, правда сегодня в это трудно поверить. Но до всего этого спящему лейтенанту не было дела. И только в тот момент, когда около семи часов поезд отошел от Ахена, его полудрему накрыла какая-то густая тень, и когда он постепенно стал приходить в себя, из этой тени просочилось чувство, которое уже вполне поддавалось определению, — чувство приближающегося фронта. Хербесталь, куда тяжело поднимался поезд, слыл у всех, кто возвращался из отпуска на позиции, неким водоразделом между двумя разными состояниями души и разными мирами: тылом и оставшейся где-то далеко позади родиной, образ которой еще живет и звучит в твоем сердце, и зловещим, хотя еще и очень далеким, фронтом впереди, к которому тебя тащил один паровоз, а другой, пыхтящий за последним вагоном, подталкивал сзади, вызывая постукивания и поскрипывания всех мыслимых муфт сцепления, всех сочленений и соединений поднимающегося вверх состава.

Занялось утро; серый сумрак заползал в низины, опускался в долину, откуда шел поезд. И откладывался где-то в уголках души, вместе с остатками хмеля, который еще до конца не выветрился... А где-то между диафрагмой и сердцем застыла пустота, зияющая пустота, готовая принять в себя неизвестное будущее. Лейтенант спиной чувствовал мощную работу паровоза-толкача, напрягавшегося изо всех сил на подъеме, за которым последует спуск в долину реки Маас и поезд легко и быстро покатится навстречу фронту. И еще в полудреме лейтенанта не покидало мучительное сознание, что, когда он проснется окончательно, там, наверху, его ждет нечто такое, что он до сих пор на короткое время отгонял от себя благодаря сну, нечто совершенно непостижимое, оно уже было здесь, оно было готово резкой болью втиснуться между мозгом и сердцем...

Широко раскрытыми глазами он пристально всматривался в зарождающийся день, замечал то, что мелькало за железнодорожной насыпью: серый снег, сигнальную мачту, ограждение. Но вдруг его охватило волнение, казалось, в голову ему пришла избавительная мысль. Завернув рукав мундира, он взглянул на часы: половина восьмого.

"Вот сейчас он опускает топор!" — сказал про себя лейтенант фон Э., шепотом повторил эти слова еще раз, почувствовал бесконечное облегчение и откинулся на спинку сиденья. Поезд одолел подъем, и, пока он катился вниз, в долину реки Маас, наш лейтенант снова уснул. Он улыбался во сне и, двигаясь навстречу далекой войне, видел легкие, приятные сны.

## *Ее жертвоприношение*

ОДНАЖДЫ — к тому времени он давно уже перестал относиться к ней с прежним вниманием — она не без некоторой торжественности и морализаторских ноток в голосе объявила, что отныне для него существует только один путь к обладанию ее телом — тот, что ведет через алтарь. Ей надоела эта "любовь от случая к случаю". Или

расходимся, или соединяемся по-настоящему! Третьего не дано, дальше так продолжаться не может. С этими словами она дала ему отставку, то есть просто выставила за дверь. Он ушел, а она расплакалась. Но решение было принято, и они не виделись уже целых полгода. Временами он сильно тосковал по ней. Но стоило ему вспомнить о ее внезапном требовании узаконить их отношения, как его страстное желание тут же улетучивалось.



Наконец она пришла к нему сама. Всем своим видом — каменным лицом и высокой фигурой — она напоминала трагическую героиню из драмы Еврипида.

— Я намерена принести ужасную жертву... Ради своего брата... Он влез в долги, которые ставят под вопрос его существование и честь... Чтобы спасти его, нужно к завтрашнему дню уплатить тысячу марок... Что ты мне посоветуешь?.. Ради спасения брата я готова на все.

По какой-то невероятной случайности у него в ящике стола лежали две купюры по тысяче марок каждая, которые он решил потратить на что угодно, только не на уплату собственных долгов. Но в данном случае речь шла о долгах другого человека.

Он отпер ящик и вынул одну купюру. Это стало для нее полной неожиданностью. — Она надеялась как-то заслужить эти деньги.

Его глаза сверкнули.

— Для меня нет большей радости, чем доказать самому себе, что я еще чего-то стою. — Он протянул ей купюру. — Ты, значит, была обо мне иного мнения, — упрекнул он ее. — Бери, и дело с концом.

— Раз так, не надо мне твоих денег.

— Бери и ни о чем не думай, я дал бы их тебе в любом случае, с моей стороны это нормальный дружеский жест; а как ты поступишь сейчас или будешь поступать в дальнейшем, решай сама. Можешь на этот счет не беспокоиться...

Они бросаются в объятия друг друга.

Разговор по прошествии двух часов.

— Если бы, к примеру, денег у меня не оказалось или если бы мне не удалось их раздобыть, тогда?..

— Тогда я принесла бы эту ужасную жертву напрасно!

— Почему "ужасную жертву"? Ты же пришла сюда по своей воле и доставила мне огромную радость! Ты ведь могла уйти.

— Нет, не могла. Это был мой долг чести — остаться.

— Я не виноват, что ты так все воспринимаешь. Я тебя ни к чему не принуждал.

— Уже одно то, что я пришла к тебе с просьбой, стоило мне огромных усилий. Но сейчас на душе у меня спокойнее. Я, так сказать, сделала то, что обязана была сделать. Я должна была принести эту жертву ради брата.

— Опять ты меня оскорбляешь! Разве я не объяснил тебе, что прекрасное время, проведенное здесь с тобой, не имеет ничего общего с деньгами?

— Еще как имеет. Но по-другому нельзя было. Теперь моя совесть чиста. Я всю свою жизнь была альтруисткой. Разве могла я бросить брата в беде? Нет, это не в моем характере.

— Подожди-ка, — он начал терять терпение, — давай не отвлекаться от главного! Твой приход и то, что случилось потом, нужно понимать так, что ты, поддавшись охватившему тебя чувству, явилась ко мне со

словами: “Я все еще люблю тебя, будем же счастливы и беззаботны и на несколько часов забудем обо всем. Я больше не могла терпеть, меня так тянуло к тебе, и вот я здесь”. Для меня это единственно верный взгляд на то, что мы сейчас вместе. Ты тосковала по мне, и вот ты здесь, пришла, следуя голосу чувства. А отнюдь не рассудка. Твоя жертва была совершенно излишней. Я выполнил бы твою просьбу и без нее. Ты ведь спокойно могла уйти...



— Нет! — с внезапной яростью закричала она и вскочила. — Неправда! Откуда у тебя эта самонадеянность: приписывать мне эгоистические мотивы там, где я способна только на жертву? Таковы все вы, мужчины! Своей подлой меркой вы мерите сердце женщины!

Короче: гром и молния, банкнота вдруг полетела ему в лицо (“На, подавись своими гнусными деньгами!”), она пулей вылетела из комнаты, и удержать ее было невозможно.

Но его не оставляло чувство беспокойства — из-за ее брата. Раз уж у него была эта тысяча марок, почему бы не помочь молодому, симпатичному и, он это знал, вполне приличному человеку выбраться из затруднительного положения? К тому же когда-то он служил с ним в одном полку: не бросать же товарища в беде. Только он не мог взять в толк, как такой человек влез в долги. Это никак не вязалось с образом расчетливого филистера, каким ее брат остался у него в памяти. Кстати, как бы устроить так, чтобы и деньги ему всучить, и проболтавшуюся сестру не выдать? Ну, если у парня и впрямь возникли проблемы, он после парочки вопросов о его самочувствии как-нибудь да расколется. Значит, надо просто заскочить к нему на минутку!

Он, стало быть, отправляется к нему в магазин. Здесь можно купить все необходимое для оснащения таких, например, помещений, как ванная. Он обнаруживает, что и ему не мешает обзавестись одной вещью, а поскольку его финансы позволяют это сделать, решает не откладывать покупку. Он хочет приобрести резиновый ребристый коврик для своей ванны, в которой, когда стоишь, легко поскользнуться. Только вчера он чудом сохранил равновесие и удержался на ногах. Найденный предлог придает ему уверенности: так легче будет расспросить ее брата. Пока он разглядывает длинные ряды ванн — разной формы, разной окраски и разных моделей, — возвращается приказчик, ходивший сообщить хозяину о визитёре, и приглашает его в кабинет.

Кабинет как кабинет. Сзади, во второй комнате, стучит пишущая машинка. Они приветствуют друг друга и почти одновременно спрашивают: “Ну, как поживаешь”? У Алекса (так зовут ее брата) несколько нездоровый цвет лица, но он всегда был таким, а вообще-то он выглядит довольным и веселым. (Правда, нынешняя жизнь — это школа притворства, тут легко обмануться!..) Речь заходит о коврике для ванны. Да, этот товар у них имеется. Хозяин нажимает на кнопку, появляется приказчик и получает задание принести со склада несколько образцов.

Что ж, пора его прощупать. Да, конечно, сложная ситуация в экономике! Да, кругом безденежье, низкая покупательная способность. Нет, увеличить капитал почти невозможно.

— Должно быть, тебе пришлось использовать все шансы для получения кредита шесть лет тому назад, когда ты только начинал свое дело?! А? Я думаю, трудно было снова прочно встать на ноги. Тем более что обострение общего кризиса в 1929 году началось еще раньше и, так сказать, лишь усугубило ситуацию.

— Да, ты прав. Пришлось поднатужиться. Но, мне кажется, вот уже год, как мы с этим справились и вышли из затруднения. Могу сказать, что по сравнению с остальными дела у нас идут в общем неплохо.

— Ты, значит, не испытываешь особых трудностей с деньгами, как это нынче часто случается: некоторым приходится крутиться изо всех сил, чтобы вовремя выдать зарплату своим служащим.

— Нет, упаси Господь, так остро вопрос у нас не стоит.

Ну что ж, с этим ясно. Однако же нынешняя жизнь — это школа притворства, и сестрица-то наверняка знала, почему так внезапно примчалась со своей "жертвой"... Тем временем появился приказчик с образцами. Разглядывая отдельные модели, можно выиграть время для размышления. Он покупает коврик, просит упаковать его, доставить по адресу ("запишите, пожалуйста") и расплачивается наличными. Но в голову все еще не приходит нужная и верная мысль — как разузнать, что стоит за ее поступком.

А вот и она, эта мысль, возникла внезапно, родилась из неодолимого желания добиться ясности, полной и окончательной ясности.

— Ты ведь меня хорошо знаешь, дружище, — сказал он, когда они снова остались одни, — и мог бы оказать мне одну услугу. Мне нужна тысяча марок — на месяц, под соответствующий процент. Найдешь?

Когда исказившиеся, как обычно бывает в таких случаях, черты лица Алекса разгладились, он, снова настроившись на деловой лад, сказал дружеским тоном:

— Я могу сделать это прямо сейчас, случайно сегодня поступила довольно крупная сумма. Будь так добр и на всякий случай напиши...

Ну и так далее. Они оформили сделку по всем правилам, и Алекс открыл металлический сейф. Новенькая купюра, когда наш герой сунул ее в бумажник, легла рядышком с другой, уже изрядно помятой. Эта, другая, почти наполовину выглядывала из бумажника и, без сомнения, была замечена Алексом, но он при этом и глазом не моргнул.

Они выкурили еще по сигарете...

Давай, таксист, жми на газ, мчимся к ней, к кому же еще.

В какое положение попал он из-за этой бабы! Больше всего его злило, что Алекс заметил вторую купюру, хотя именно это не имело никакого значения. После вчерашней ссоры с его сестрой он не спрятал купюру обратно в ящик стола, а сунул в бумажник...

— Что тебе нужно от меня? — высокомерно спросила она, когда он вошел.

— Мне нужно узнать, — сразу и без обиняков ответил он, — зачем тебе понадобилась тысяча марок, которую ты просила вчера у меня?

— Я просила?!! Ты отлично знаешь, что просила я не для себя. А для чего они мне понадобились, точнее для кого, тебе тоже известно.

— Ты, стало быть, просила их не для себя. Так я и знал. Что ж тут удивительного. Ты государственная служащая, уже одно это означает, что ты человек обеспеченный. Кроме того, насколько мне известно, ты отнюдь не бедна и в высшей степени бережлива.

— Ну и что?

— А то, что мне очень хочется узнать, для чего тебе понадобилась эта тысяча марок.

— Это просто возмутительно! Хочешь поиздеваться надо мной? Ты же и так все знаешь!

— Да ничего я не знаю. Но я пришел, чтобы еще раз предложить тебе эту тысячу марок, — положил он на стол новенькую купюру.

— Что все это значит? Я не нуждаюсь в этих деньгах. Ничего мне от тебя не нужно.

Тогда он вынул из бумажника измятую банкноту и положил ее рядом с первой.

— Эту измятую ты швырнула мне вчера в лицо.



— Отлично помню. Ничего другого ты и не заслужил.

— Так-так. И как обстоят дела с твоим братом?

Она с каменным лицом, словно трагическая маска из пьесы Еврипида, уставилась перед собой.

— Это одному Богу известно, — воскликнула она патетическим тоном.

— О нет. Это известно даже мне. Дела его идут очень хорошо. Всего полчаса назад я занял у него тысячу марок. Вот эту, — показал он на новенькую банкноту.

Она опустила голову.

— Для чего тебе понадобились эти деньги? — настойчиво спросил он, глядя ей в глаза, которые она снова подняла. Лицо ее смягчилось. На глаза навернулись слезы. Она молча и многозначительно улыбнулась. Потом шагнула к нему. — Для чего? — снова спросил он и отступил назад.

— Да ни для чего, — сказала она, и в ее глазах появилось выражение полнейшей преданности. — Я только хотела...

— Ну? Чего хотела?

— Я хотела... к тебе, — едва слышно прошептала она и протянула к нему руки, словно собираясь в объятиях забыть всю эту глупую историю, цель которой уже давно была достигнута. Зачем об этом говорить? — такой примерно вопрос был написан на ее лице.

Но он не поддался на эту уловку и нежные интонации.

— И чтобы прийти ко мне, тебе понадобился героический предлог? Прийти просто так, ничего не выдумывая, ты, значит, не могла? Наверное, ты и сама поверила на время в тот бред, который сочинила. И как распалилась при этом! Это на тебя похоже. Ты именно такая. Этим ты всегда отталкивала меня. И как вспылила, когда я хотел тебе объяснить, что о "жертве" не может быть и речи! Я до сих пор вижу тебя разъяренной! Как же, не смей сомневаться в ее "жертве", в ее священной "жертве". Должен сказать, я нахожу всю эту комедию достойной сожаления...

Он еще долго с раздражением выговаривал ей. Она плакала навзрыд. Лицо ее, мокрое от слез, выглядело не очень привлекательно. Когда она плакала, оно становилось еще глупее и упрямее, чем обычно. Но постепенно плач перешел в ярость. И эта ярость обрушилась на него.

— Как! — кричала она. — Вот, значит, твоя благодарность за часы счастья, которые я тебе подарила. Такие мерзкие, незаслуженные упреки! Фу, как тебе не стыдно! Разве я это заслужила? Разве ты поступаешь порыцарски? В благодарность за все ты заставляешь меня плакать. Все вы, мужчины, негодяи! Ни один, ни один из вас не способен понять женщину!..

Теперь уже она долго и с жаром выговаривала ему. Он не оставался в долгу. Они ругались яростно, упрекая друг друга во всех смертных грехах. Особенно старалась она, тут и сомневаться нечего. А под конец выставила его за дверь.

И они действительно больше не встречались до поры до времени.

# Франц Кафка

# *Из писем Фелиции Бауэр. 1912 – 1913*[1)]

*Вступление, перевод, примечания* М. Рудницкого

**От переводчика**

Переписка Кафки с его берлинской знакомой, а затем и официальной невестой Фелицией Бауэр длилась чуть больше пяти лет. "Хеппи-энда" не получилось: после официальной помолвки последовал разрыв, затем примирение и нечто вроде второй помолвки, уже неофициальной, покуда осенью 1917 года внезапно прорвавшаяся горловым кровотечением чахотка окончательно не избавила Кафку от мучительной для него необходимости принять наконец хоть какое-то решение.

Читателю данного номера предоставляется возможность заглянуть в самое начало этого эпистолярного романа и прожить с его героями всего лишь год, если брать за точку отсчета не первое письмо, которое застенчивый Кафка, тогда еще совершенно безвестный литератор и скромный пражский чиновник по страховому ведомству, переступив через все мыслимые нормы тогдашнего этикета, решился отправить в Берлин, не заручившись предварительно согласием девушки на письменное общение с малознакомым мужчиной, а первую встречу, имевшую место в доме Макса Брода 13 августа 1912 года. Причем сразу надо сказать, что переживание это будет в известном смысле односторонним, мы вынуждены следить за развитием событий только глазами Кафки, сквозь все взлеты и падения его донельзя хрупкой, латентной, то и дело сотрясаемой внутренними катастрофами психики.

Поразительный этот документ, раскрывающий — скажу сильнее: оголяющий — внутреннюю жизнь писателя беспощадней, полнее (хотя бы просто по физическому объему написанного), исповедальнее, чем даже его дневники, долгое время (полвека со дня последнего письма) оставался недоступным общественно-

© М. Рудницкий. Вступление, перевод, примечания. 2003

1) подборка из книги: Франц Кафка. Письма к Фелиции и другая корреспонденция, 1912–1917. (Franz Kafka. Briefe an Felice und andere Korrespondenz aus der Verlobungszeit. Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1967.) В полном объеме русский перевод книги готовится к печати в издательстве "Ad Marginem".

сти, а после публикации (в 1967 году) еще десятилетия спустя вызывал и по сей день вызывает возбужденные споры и кривотолки. Лейтмотива у полемики два: допустимо ли вообще публиковать столь интимные биографические свидетельства, и, раз уж они опубликованы, — как их оценивать и как к ним относиться. Одним из наиболее развернутых и проникновенных суждений на эту тему стала книга Элиаса Канетти "Другой процесс. Франц Кафка в письмах к Фелиции", опубликованная в свое время в "ИЛ" (1993, № 7). Есть, правда, у этой книги, на мой взгляд, один существенный недостаток: вдумчивый и более чем сочувственный в отношении к Кафке, Канетти образ и роль Фелиции трактует, пожалуй, со слегка ироничным пренебрежением.

Вряд ли это справедливо, особенно с учетом того, что возможности выслушать другую сторону у нас нет и уже никогда не будет: примерно через год после окончательного разрыва Кафка сжег письма своей возлюбленной. О ее реакциях и переживаниях мы можем теперь только догадываться по немногим цитатам из ее писем и косвенным свидетельствам все того же Кафки.

Между тем в фигуре Фелиции, какой она предстает даже в столь неверном, зыбком, отраженном свете, явственно угадывается натура сильная и во многих отношениях незаурядная: она воплощала отнюдь не традиционный стереотип барышни на выданье, терпеливо ждущей замужества, дабы посвятить остаток жизни трем пресловутым немецким "К" — киндер, кирхе, кюхе (дети, церковь, кухня), а образ новой, достаточно современной молодой женщины, самостоятельно зарабатывающей на жизнь, даже поддерживающей своими заработками не слишком благополучную семью. И в отношениях с Кафкой она проявила и самоотверженность, и недюжинную смелость, переступив в конечном счете через все — еще весьма и весьма строгие — условности своего времени и окружения, не убоявшись более чем сомнительной репутации "соблазненной и покинутой" "девушки с изъяном". Да, у нее, должно быть, не хватило литературной подготовки и просто вкуса, чтобы за нервическими неровностями почерка Кафки и за перепадами его настроений разглядеть истинный масштаб его дарования, оценить невероятную пластическую выразительность и мощь его выстраданного слова. Зато у нее хватило великодушия и любви не посчитать себя обиженной и сохранить эти письма почти до конца дней, с огромным трудом решившись на их продажу лишь в 1954 году, ввиду болезни, связанных с нею расходов и под гнетом крайне стесненных финансовых обстоятельств.

Теперь представим на секунду, что писем этих у нас не было бы, что Фелиция распорядилась бы ими точно так же, как это сделал ее столь ранимый и впечатлительный суженый. Уж кто-кто, а она-то имела все основания для подобного импульсивного поступка. Полагаю, что при одной только мысли о такой возможности все сомнения по поводу того, надо ли было публиковать эти, по слову Канетти, "документы пятилетней муки", отпадают сами собой.

Тот, кто прочтет эти письма от начала и до конца, безусловно, не станет счастливее (если, конечно, не считать за счастье само соприкосновение с летящей, стремительно преодолевающей смысловые преграды кафковской фразой), но о потаенной жизни, взлетах и безднах человеческой души он наверняка узнает больше, чем знал прежде. Только с учетом этого духовного опыта вполне понимаешь, почему Кафка смолоду и до конца дней оставался беззаветным поклонником Достоевского. Да, читать их — как и Достоевского — порой мучительно. Но всякому, кто по-настоящему углубится в эти строки, они дадут редкостную, упоительную и страшную возможность на время чтения "всего лишь" "пожить Кафкой", побывать, грубо говоря, "в его шкуре", (а вернее, как кто-то проницательно заметил, существом с содранной кожей), ощутить движение времени и присутствие людей вокруг себя так, как ощущал их этот человек — великий и несчастный подвижник своего рокового и неумолимого призвания.

Прага, 20.IX.1912

Многоуважаемая сударыня![1]

На тот — легко допустимый — случай, если Вы обо мне совсем ничего не вспомните, я представлюсь еще раз: меня зовут Франц Кафка, я тот самый человек, который впервые имел возможность поздороваться с Вами в Праге в доме господина директора Брода[2] и который затем весь вечер протягивал Вам через стол одну за одной фотографии талийского[3] путешествия, а в конце концов вот этой же рукой, которая сейчас выстукивает по клавишам, сжимал Вашу ладонь, коим рукопожатием было скреплено Ваше намерение и даже обещание на следующий год совершить вместе с ним путешествие в Палестину.

Если охота предпринять поездку у Вас еще не пропала — Вы ведь сами сказали, что непостоянством не отличаетесь, да и я ничего похожего в Вас не заприметил, — тогда нам не только стоило бы, но даже просто необходимо попытаться об этом путешествии как следует договориться. Ибо краткий, для путешествия по Палестине слишком краткий срок нашего отпуска нам придется исчерпать до самого донышка, а достичь этого можно, только наилучшим образом подготовившись и загодя придя относительно всех приготовлений к полному взаимному согласию.

В одном только я вынужден признаться, как ни скверно это звучит и как ни плохо вяжется со всем предыдущим: я очень неаккуратен в переписке. Впрочем, дело обстояло бы еще хуже, не будь у меня пишущей машинки; ибо даже когда у меня совсем нет настроения для письма, кончики пальцев всегда тут как тут. Впрочем, в награду за это я никогда не жду и ответной пунктуальности от адресата; даже ожидая ответного письма изо дня в день с возрастающим нетерпением, я совсем не огорчаюсь, когда письма нет, когда же оно наконец приходит, я, бывает, даже пугаюсь. Сейчас, закладывая в машинку новый лист, я замечаю, что, пожалуй, перегнул палку в живописании собственного тяжелого характера. Что ж, если я и впрямь допустил такую промашку, поделом мне, не надо было приниматься за это письмо на шестом часу рабочего дня, да еще писать его на машинке, с которой я еще не очень-то в ладах.

И тем не менее, тем не менее — кстати, единственный недостаток писания на машинке как раз в том, что случается иногда вот этак зарапортоваться — даже если у Вас возникают сомнения относительно того, чтобы взять меня с собой в путешествие в каком хотите качестве — дорожного спутника, путеводителя, балласта, тирана, — равно как и сомнения относительно меня как корреспондента (пока что ведь у нас речь лишь об этом), — не стоит торопиться с отрицательными решениями, может лучше все же попробовать меня в одном из этих качеств?

Искренне Ваш
*д-р Франц Кафка.*
Прага, Поржич, 7.

1. Фелиция Бауэр (1887—1960) — берлинская девушка из мелкобуржуазной еврейско-немецкой семьи, ее отец, урожденный венец, был, как и Кафка, служащим страхового агентства. По окончании школы с 1908 г. Фелиция работала стенографисткой в фирме по производству грампластинок, с 1909-го — в АО "Карл Линдстрём", фирме по производству диктофонов. В 1919 г., после окончательного разрыва с Кафкой, вышла замуж за состоятельного предпринимателя, судя по всему, была в этом браке вполне счастлива, родила двоих детей. В 1931 г. ее семья перебралась в Швейцарию, а в 1936-м эмигрировала в Америку, где Фелиция и умерла. В отечественной литературе о Кафке и в русских изданиях его произведений, отчасти и по вине переводчика эти писем, установилась традиция написания разго-

ворной формы — Фелица. Данная публикация — первая попытка устранить эту неточность. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

2. Директор банка "Унион" в Праге Адольф Брод — отец друга Кафки, пражско-немецкого писателя Макса Брода (1884—1968). Сестра Макса Брода Софи была замужем за живущим в Германии коммерсантом Максом Фридманом, который приходился Фелиции Бауэр двоюродным братом. В семье Бродов Кафка и познакомился с Фелицией вечером 13 августа 1912 г.

3. Талия — в греческой мифологии муза комедии и сочинительства, по ее имени был назван и знаменитый литературный журнал времен немецкой классики, издателем которого был Фридрих Шиллер. "Талийским путешествием" Кафка называл поездку в Веймар, которую они вместе с Максом Бродом предприняли летом 1912 г. См. его "Путевые дневники" (Веймар—Юнгборн).

---

Прага, 28.IX.1912

Уважаемая сударыня!

Извините, что пишу Вам не на машинке, но мне так несусветно много надобно Вам поведать, машинка же стоит в коридоре, к тому же письмо представляется мне настолько безотлагательным, а у нас в Чехии сегодня праздник[1] (что, впрочем, с вышестоящим извинением связано не настолько уж строго), к тому же машинка пишет, на мой вкус, недостаточно быстро, погода сегодня дивная, окно у меня распахнуто (но я всегда живу с открытыми окнами), в контору я, чего давно уже не случалось, пришел напевая, и не жди меня здесь Ваше письмо, я и вообразить бы не мог, с какой стати мне в праздничный день являться на службу.

Как я раздобыл ваш адрес? Вы же не об этом спрашиваете, когда спрашиваете об этом. Что ж, Ваш адрес я попросту выклянчил. Сперва мне назвали только какое-то акционерное общество, но оно мне не понравилось. Потом я узнал Ваш домашний адрес, правда без номера квартиры, а уж после и сам номер. Заполучив адрес, я успокоился и тем более не писал: обладания адресом мне казалось достаточно, а кроме того, я боялся, что адрес неправильный, ибо, в самом деле, кто такой этот Иммануил Кирх? А нет ничего печальнее, чем письмо, посланное по неточному адресу, это уже и не письмо вовсе, а скорее вздох. И только разузнав, что на Вашей улице стоит кирха Св. Иммануила, и расшифровав таким образом сокращение Иммануилкирхштрассе, я снова на некоторое время успокоился. Правда, теперь мне к Вашему адресу недоставало указания на сторону света, в Берлине это ведь почти неотъемлемая примета всякого адреса. Будь на то моя воля, я поселил бы Вас где-нибудь в северной части города, пусть даже это и бедные места, как мне почему-то кажется.

Но и помимо хлопот с адресом (тут в Праге никто толком не знает, какой у вас номер дома — 20 или 30) — чего только не пришлось вытерпеть этому моему разнесчастному письму, прежде чем оно было написано. Теперь, когда дверь между нами начинает приоткрываться или, по крайней мере, когда мы с двух сторон взялись за ручки, я могу, а пожалуй что и обязан в этом признаться. Какие только капризы не помыкают мной, сударыня! Нервические странности падают на меня беспрерывным дождем. То я хочу одного, то, через секунду, совсем другого. Уже поднявшись по лестнице, я все еще не знаю, в каком состоянии войду к себе в квартиру. Приходится нагромождать в себе разные нерешительности, пока они не перерастут в некую маленькую решимость или вот в письмо. Как же часто — без преувеличения вечеров десять — я перед сном сочинял то свое первое письмо к Вам. Но это одна из моих бед: ничего из того, что я тщательно продумал заранее, я потом не в состоянии записать разом. У меня очень слабая память, но даже самая прекрасная память не помогла бы

мне в точности воспроизвести пусть даже самый маленький загодя придуманный или просто намеченный пассаж, ибо внутри каждого предложения есть связи и переходы, остающиеся как бы подвешенными. Стоит мне начать записывать фразу — передо мной одни обломки, они громоздятся и застят целое, я не вижу просвета ни между них, ни за ними, так что, будь на то воля моей капризной натуры, впору хоть бросать перо. Тем не менее я продолжал раздумывать над тем письмом, я ведь еще не решился его написать, а подобные раздумья — самое верное средство удержать меня от решения. Однажды, помню, я среди ночи даже с кровати вскочил, намереваясь немедленно записать некий только что придуманный для Вас оборот. Но тут же улегся обратно, потому что — и это вторая моя беда — подобная спешка показалась мне ужасной глупостью, я корил и уверял себя, что столь ясные мысли легко сумею записать и завтра утром. Ближе к полуночи подобные самообольщения всегда наготове.

Впрочем, на этом пути я никогда не доберусь до конца. Болтаю о своем предыдущем письме вместо того, чтобы писать Вам все то многое, что хочу написать. Заметьте себе, почему это письмо обрело для меня такую важность. Оно обрело важность, потому что Вы мне на него ответили, и это Ваше ответное послание лежит сейчас рядом и дарит мне счастливые минуты дурацкой радости, когда я кладу на него руку, дабы удостовериться, что я и вправду им обладаю. Так что поскорее напишите мне еще одно. Особенно стараться не надо — по письму сразу видно, сколько в него вложено труда; Вы просто ведите для меня маленький дневник, это дается не так трудно, зато адресату дает очень много. Разумеется, для меня Вы будете записывать несколько больше, чем Вы писали бы только для себя, ведь я Вас совсем не знаю. Так что для начала Вам придется мне сообщить, когда Вы приходите на службу, что ели на завтрак, куда смотрят окна Вашей конторы и какая у Вас там работа, как зовут Ваших друзей и подруг, кто это делает Вам подарки, норовя подорвать Ваше здоровье шоколадными конфетами, а также тысячу других вещей, о существовании и самой возможности существования которых я и ведать не ведаю. Кстати, что насчет путешествия в Палестину? Если не в ближайшем, то в скором будущем, следующей весной или осенью непременно. Макс забросил пока что свою оперетту[2], сейчас он в Италии, но вскоре намерен ошеломить Вашу Германию невероятным литературным ежегодником[3]. Моя книга — книжица, тетрадочка — встретила у него очень радушный прием[4]. Но не больно-то она хороша, надобно писать гораздо лучше. На этом завете и прощаюсь!

Ваш *Франц Кафка*

1. День св. Вацлава.
2. Оперетта "Цирцея и ее свиньи", которую задумывал Макс Брод в соавторстве с Францем Бляйем.
3. Альманах "Аркадия" был издан в июле 1913 г. в издательстве Курта Вольфа. Кафка впервые напечатал в нем свой рассказ "Приговор".
4. "Созерцание" — первый сборник малой прозы Кафки, публикации которого способствовал Макс Брод. Сборник тогда еще находился в издательстве.

---

13.X.1912

Милостивая сударыня!

Две недели назад в десять часов утра я получил от Вас первое письмо и спустя какие-то минуты уже сидел за ответным посланием, написав Вам четыре страницы неимоверного формата. О чем и сейчас нисколько не сожалею, ибо

провести то время с большей радостью было нельзя, сожалеть же приходится только о том, что написанное тогда так и осталось крохотным началом, написать хотелось гораздо больше, так что подавленная в себе часть письма еще долго целыми днями распирала меня и не давала покоя, покуда беспокойство это не сменилось ожиданием Вашего ответа и все более слабеющей надеждой этот ответ получить.

Так почему же Вы мне не написали? Возможно, а с учетом поспешности того моего письма даже вполне вероятно, что Вы наткнулись там на какую-нибудь глупость, которая могла Вас смутить, но искренность и доброта намерений, сквозивших в каждом моем слове, ведь не могли от вас ускользнуть? Или, может, какое-то из писем затерялось? Но мое было отправлено с таким тщанием, а Вашего ждут с таким рвением, что затерять их просто не могли... Да и теряются ли вообще письма — даже те, которых ждут уже почти без надежды, из одного только необъяснимого упрямства? Или, может, Вам не передали мое письмо из-за упоминания о палестинской затее, которую не одобряют Ваши домашние? Но возможно ли такое в семье, а тем паче по отношению к Вам? А ведь письмо мое по моим расчетам должно было дойти до Вас еще в воскресенье утром. В таком случае остается только одно печальное предположение — что Вы прихворнули. Но и в это я верить не хочу, Вы наверняка здоровы и радуетесь жизни. Все остальное мой разум просто отказывается понимать, и я пишу это письмо не столько в надежде на ответ, сколько во исполнение долга перед самим собой.

Будь я почтальоном, что разносит письма по Вашей Иммануилкирхштрассе, я бы с этим письмом в руках, минуя одного за другим всех изумленных членов Вашего семейства, через все комнаты прошел бы прямо в Вашу и вложил бы Вам конверт прямо в руку; а еще лучше — сам оказался бы под дверями Вашего дома и долго, бесконечно долго жал на кнопку звонка, с восторгом и упоением предвкушая долгожданную, все сомнения и напряжения разряжающую встречу, исполненную для меня упоения и восторга.

Ваш *Франц К.*

---

23.X.1912

Милостивая сударыня!

Даже если бы все три заместителя директора стояли сейчас над моим столом, заглядывая мне через плечо, я все равно ответил бы Вам незамедлительно, ибо Ваше письмо упало на меня как дар небес, на которые я уже три недели в тщетном уповании взираю. (Кстати, предположение насчет начальственного присмотра незамедлительно подтвердилось, правда только в лице моего непосредственного начальника.) Доведись мне отвечать на присланное Вами описание Вашего нынешнего житья-бытья той же монетой, мне пришлось бы сказать, что жизнь моя по меньшей мере наполовину состояла из ожидания Вашего письма, к коей половине я бы причислил еще три маленьких послания, которые написал Вам за эти три недели (меня между тем расспрашивают о страховании заключенных, Бог ты мой!) и из которых два теперь с грехом пополам еще можно Вам отослать, тогда как третье, хотя в действительности-то оно первое, отправлено быть никак не может. Так значит, письмо Ваше затерялось (только что мне пришлось заявить, что о министерской жалобе некоего Йозефа Вагнера из Катаринаберга я ровным счетом ничего не знаю), и ответов на свои давешние вопросы мне уже не видать, при том что вины моей в этой утрате нет никакой.

А я по поводу этой утраты все никак не успокоюсь, не могу сосредоточиться, готов весь мир засыпать жалобами, хотя сегодня жизнь уже совсем не та, что вчера, но накопившаяся тоска по-прежнему не отпускает, норовит выплеснуться из прошлого и омрачить настоящее.

Выходит, то, что я Вам сегодня пишу, это не ответ на Ваше письмо, ответом, быть может, станет письмо завтрашнее, а то и вовсе послезавтрашнее. И манера писать у меня не сама по себе такая дурацкая, она дурацкая ровно настолько, насколько отражает мой нынешний образ жизни, который я Вам тоже когда-нибудь смогу живописать.

А Вас между тем по-прежнему задаривают! И все эти книги, конфеты и цветы громоздятся прямо на письменном столе у Вас на работе? У меня на столе только обычный канцелярский разгром, а Ваш цветок, за который целую Вам руку, я поскорее спрятал в бумажник, где, невзирая на теперь уже невосполнимую утрату одного письма, хранятся два других Ваших послания, одно, правда, адресовано Максу, но я его у него выклянчил, пусть это и смешно немного, но Вы, надеюсь, за это на меня не в обиде.

Наверно, даже хорошо, что в переписке нашей с самого начала вышла такая заминка, я теперь знаю, что смогу писать Вам, даже когда ответы Ваши не доходят. Но больше письма теряться не должны. Всего вам хорошего, и не забудьте про маленький дневник.

Ваш *Франц К.*

---

24.X.1912

Милостивая сударыня!

Ах, какая сегодня была трудовая бессонная ночь — только под конец ее, свернувшись калачиком, я чуть ли не силой принудил себя к двум часам натужной, почти искусственной дремы, когда и сон не в сон, и сны не сны. А с утра в подъезде на меня еще налетел ученик мясника с лотком, деревянный угол которого я и сейчас еще вполне болезненно ощущаю под левым глазом.

Разумеется, такое начало дня не лучшим образом помогает преодолевать трудности, с которыми связано для меня писание писем Вам, трудности, которые и этой ночью в самых разных формах проходили перед моим мысленным взором. Трудности эти вовсе не от моего неумения высказать то, о чем я хочу написать, ибо хочу я написать о самых простых вещах, но вещей этих столько, что я не в силах разместить их во времени и пространстве. Иногда, осознавая это свое бессилие, — правда, такое бывает только ночью, — я готов все бросить и никогда больше не писать, ибо лучше уж умереть от ненаписанного, чем от писанины.

Вы пишете, что часто ходите в театры, меня это интересует очень, потому что, во-первых, Вы там, в Берлине, находитесь в самом центре театральных событий, во-вторых, Вы с большим вкусом выбираете театры для посещений (за исключением "Метрополя", в котором и мне случалось побывать, я там зевал так, что боялся проглотить сцену), в-третьих, сам я по части театра полный профан. Но, опять-таки, много ли проку читать о Ваших театральных походах, если я не знаю всего, что им предшествовало, и всего, что было после, не знаю, во что Вы были одеты, какой был день недели и какая в тот день стояла погода, когда Вы ужинали — до театра или после, — где вы сидели, в каком были настроении и почему именно в таком, а не другом, и так далее, и так до бесконеч-

ности. Разумеется, совершенно невозможно, чтобы Вы написали мне обо всем этом, но точно так же невозможно и все остальное.

Самое позднее весной в издательстве Ровольта в Лейпциге должен выйти "Ежегодный альманах изящной словесности", который издает Макс. Там будет напечатан и мой маленький рассказ, "Приговор", с посвящением "Госпоже Фелиции Б.". Надеюсь, Вы не воспримете это как бесцеремонное посягательство? Особенно если учесть, что посвящение предваряет рассказ уже больше месяца, а рукопись уже выпущена мною из рук. Возможно, извинением мне послужит то обстоятельство, что вторую часть посвящения — "Госпоже Фелиции Б., чтобы она получала подарки не только от других" — я все-таки заставил себя опустить? По сути же история эта, сколько я могу судить, к Вам лично ни малейшего отношения не имеет, разве что там мельком упоминается девушка Фрида Бранденфельд, то есть, как я лишь после осознал, с такими же, как у Вас, инициалами. Единственная связь с Вами состоит, пожалуй, лишь в том, что маленький этот рассказик издали пытается быть достойным Вас. Что и стремится выразить посвящение.

Всего наилучшего, и не сердитесь за каждодневную обязанность расписываться в получении заказной корреспонденции.

Ваш *Франц К.*

---

31.X.1912*[1)]

Милостивая сударыня!

Сами видите, до чего невозможные вещи творятся в нашей переписке! Ну можно ли с моих просьб вроде последней — чтобы Вы писали мне только пять строчек, не больше — стереть отвратительный налет притворного благородства? Совершенно невозможно. А притом, высказывая ее, разве я кривлю душой? Да конечно же, совершенно не кривлю. Но в то же время, быть может, все-таки кривлю? Да разумеется, кривлю, и еще как кривлю! Когда, после того как дверь моего кабинета уже тысячу раз распахнулась, чтобы вместо швейцара с письмом впустить ко мне в комнату множество разных людей, которые с совершенно невозмутимыми — и оттого, с учетом обстоятельств моего ожидания, совершенно непереносимыми — физиономиями располагаются у меня в комнате как у себя дома, как будто только им тут и место, когда на самом деле тут место только швейцару с письмом и никому больше! — так вот, когда письмо приходит, я в первые мгновения думаю, что теперь-то, наконец, смогу успокоиться, что вот сейчас насыщусь этим письмом, и день пройдет благополучно. Но вот письмо прочитано, я узнаю из него гораздо больше, чем я когда-либо вправе ожидать и жаждать узнать, Вы потратили на это письмо целый вечер, у Вас, должно быть, совсем не остается времени для Вашей привычной прогулки по Лейпцигерштрассе, я перечитываю письмо с начала до конца, откладываю в сторонку, потом перечитываю снова, беру в руки служебную бумагу, читаю ее, но перед глазами по-прежнему только Ваше письмо, стою над машинистом, чтобы продиктовать ему исходящее, а рука ощущает Ваше письмо и перед внутренним взором медленно ползут Ваши строчки, которые я, кажется, едва-едва успел пробежать, ко мне обращаются с вопросами, и я точно знаю, что вот сейчас, сию минуту мне о Вашем письме ну никак думать нельзя, но оно единственное, что занимает мои мысли, — и вот уже я голоден, как

1) здесь и далее письма, помеченные *, печатаются с сокращениями.

прежде, и беспокоен, как прежде, а дверь уже снова ходит ходуном, будто швейцар с письмом еще только должен явиться. Вот так примерно выглядит та, по Вашему слову, "маленькая радость", которую доставляют мне Ваши письма. Тем самым, полагаю, не оставлен без ответа и Ваш вопрос, не надоело ли мне каждый день на работе получать Ваши письма. Разумеется, каким-то образом совместить получение письма от Вас с моей конторской работой дело почти невозможное, но столь же невозможно работать, ожидая письма понапрасну, или работать, беспрерывно думая о том, что, быть может, письмо ждет меня дома. Со всех сторон сплошь одни невозможности! Но это еще не такая уж беда, мне в последнее время на работе кое-какие невозможности удалось осилить, перед маленькими невозможностями вообще не следует падать ниц, потому что тогда не увидишь большие.

А сегодня мне вообще грех жаловаться, Ваши последние два письма пришли ко мне с интервалом всего в каких-нибудь два часа, в связи с чем я столь же яростно проклинаю безалаберность почтовиков за вчерашний день, как славлю их усердие в сегодняшний.

Однако же я ничего не отвечаю Вам и сам ни о чем не спрашиваю, все только потому, что радость писать Вам неосознанно настраивает все мои послания на бесконечность, а в бесконечных посланиях, разумеется, и не положено сообщать на первой же странице что-то существенное. Но подождите, вот завтра у меня, надеюсь (надеюсь для себя, но не для своей службы), будет на работе достаточно времени, чтобы одним махом ответить на все Ваши вопросы и столько задать Вам, что совесть моя хотя бы ненадолго будет чиста. <...>

Примите самый сердечный привет и, если дозволите, поцелуй руки.

Ваш *Франц К.*

---

2.XI.1912

Милостивая сударыня!

Как так? Неужели и Вы тоже устали? Мне почти жутко представлять Вас, усталую и одну, вечером все еще на работе. Как, кстати, Вы туда одеваетесь? И в чем состоят основные Ваши обязанности? Вы больше пишете или диктуете? У Вас, видимо, довольно высокая должность, раз Вы со столькими людьми разговариваете, мелкий-то служащий по большей части безмолвно сидит за столом[1]. О том, что контора Ваша состоит при фабрике, я уже и так догадался, но сама фабрика хоть что производит? Только диктографы? Да разве их кто-нибудь покупает? Я счастлив бываю (когда в порядке исключения не сам на машинке печатаю) диктовать живому человеку (это основная моя работа), который время от времени, едва я задумаюсь, начинает тихо клевать носом или, наоборот, закуривает трубку, даруя мне возможность тем временем спокойно смотреть в окно. Или, как тот, что сегодня, когда я отчитал его за медленную работу, в ответ, стараясь меня задобрить, напомнил мне о полученном мною письме. Разве найдется диктограф, который все это умеет? Помнится, некоторое время назад нам демонстрировали так называемый диктофон (я тогда еще был свободен от предубеждений, которые испытываю нынче к изделиям Ваших конкурентов), но это было невероятно долго, неудобно и непрактично. Короче, в уме я не могу сколько-нибудь внятно воссоздать ход дел на Вашей фирме, но хотел бы надеяться, что там все организовано так же ажурно и непринужденно, как я рисую себе это в моих чаяниях, и что Вам, соответственно, в подобной обстановке живется весело и легко. Кстати, я и пражский фи-

лиал Вашей фирмы не могу отыскать, который, если я верно запомнил Ваше замечание, должен находиться то ли на Фердинандштрассе, то ли на Обстгассе. А я уже не раз его искал, ибо какой-то знак или дуновение от Вас при виде дощечки с названием Вашей фирмы я ведь наверняка должен почувствовать.

Описание моей канцелярской работы особого удовольствия мне не доставит. Она не стоит того, чтобы Вы о ней узнавали, не стоит и того, чтобы я Вам о ней рассказывал, ибо не оставляет мне ни времени, ни покоя писать Вам, доводя меня, как вот сейчас, до тупого и рассеянного оцепенения, за что я, в отместку со своей стороны, мыслями о Вас привожу ее в такой беспорядок, что просто любо-дорого смотреть.

Всего Вам хорошего! Завтра, надеюсь, выпадет спокойное воскресенье, и я напишу Вам целую уйму всего. И не работайте до изнеможения! Не огорчайте меня этим! И все это я пишу в тот день, когда Вы получите или уже получили мое плаксивое послание. До чего же мы, человеки, слабы!

Ваш *Франц К.*

1. С августа 1909-го Фелиция Бауэр работала стенографисткой на берлинской фирме АО "Карл Линдбрег", с 1912-го занимала руководящую должность в отделе диктографии.

---

4.XI.1912

Сейчас понедельник, 10.30 утра. С 10.30 утра субботы я жду от Вас письма, а мне опять ничего не пришло. Я писал каждый день (это не упрек, ибо писать Вам было для меня счастьем), но неужели я и вправду не заслужил ни слова в ответ? Ни единого слова? Пусть даже Вы бы ответили мне только: "Слышать больше о Вас не желаю". При этом я-то надеялся, что сегодняшнее Ваше письмо будет содержать в себе некое маленькое решение, а теперь, значит, отсутствие письма как раз, наверно, это решение и есть. Если бы письмо пришло, я бы ответил тотчас же и вынужден был бы начать свой ответ жалобой на нескончаемость двух этих долгих дней. Теперь же Вы оставляете меня в полном унынии за этим унылым письменным столом!

---

5.XI.1912*

Дорогая мадемуазель Фелиция!

Если Вы действительно хотите, чтобы я писал Вам все как есть, то легко простите мне вчерашнее гнусное, ужасающее письмо, ибо как там, на этом жалком клочке бумаги, написано, так оно, слово в слово, все и было. Сегодня, разумеется, оба Ваших письма были доставлены, одно с утра, второе в десять, у меня нет ни малейшего права ни на что сетовать, я даже удостоен обещания каждый день получать по письму (сердце, ты слышишь, каждый день письмо!) и могу только радоваться, если Вы меня извините. И все-таки заклинаю Вас, если письмо для меня уже написано, не заставляйте меня страдать из-за того, что у Вас не нашлось марки — недрогнувшей рукой, и посильнее, бросайте его в ящик без всякой марки!

Беда в том, что я, если не воскресенье, могу писать Вам почти всегда только в самое свое тупое время дня, с трех до четырех. На работе это удается крайне редко — я там и так изо всех сил сдерживаюсь, получив и прочтя письмо от Вас, — но если я не напишу Вам сейчас, значит, не смогу заснуть от неудовлетво-

ренности, да и письмо назавтра до Вас уже не дойдет, а вечером распорядок моих занятий сжимает время до предела.

Кстати, из Вашего письма я уяснил, что и по праздникам, оказывается, пишу неразумно много. Сердце у меня, полагаю, в относительно полном здравии, но выдерживать муку, когда пишется плохо, и счастье, когда пишется хорошо, для человеческого сердца вообще нелегко. А в санатории я был всего лишь из-за желудка, общей слабости и, о чем ни в коем случае не следует забывать, самовлюбленной ипохондрии. Но обо всем я когда-нибудь обязательно напишу Вам поподробнее. Нет, медицинским светилам я не верю; я вообще верю врачам, только когда они признаются, что ничего не знают, а кроме того, я их просто ненавижу (надеюсь, Вы ни в кого из них не влюблены). Разумеется, я бы с удовольствием позволил прописать себе Берлин для спокойной, свободной жизни, только где найти такого всемогущего доктора? Причем особенно Иммануилкирхштрассе должна быть весьма полезна для утомленных людей. <...>

Волшебное слово случайно закралось в Ваше предпоследнее письмо и само об этом не знает. Оно затерялось там среди многих других и, боюсь, никогда не возвысится в нашей переписке до того ранга, который ему подобает, ибо я-то ни в коем случае первым его не выговорю, но и Вы, разумеется, даже если его угадаете, тоже первой его не произнесете. Может, оно и к лучшему, ибо, с учетом действия, которое может возыметь это слово, Вы обнаружите во мне такое, чего не сможете терпеть, и что мне тогда, спрашивается, делать?

Первым же делом Вы совсем иначе посмотрите на мое писательство и на мое отношение к писательству и уже не посоветуете мне "знать меру". Человеческая слабость сама в достаточной мере определяет "меру" нашим усилиям. И разве на крохотном пятачке, на котором мне выпало стоять, не должен я приложить все силы, какие только у меня есть? Да я был бы распоследним дураком, если бы этого не делал! Быть может, писательство мое ничтожно, но тогда уж со всей определенностью несомненно, что я ничтожество полное и окончательное. Так что если я себя еще и в этом буду щадить, то правильней будет сказать, что я себя не щажу, а в сущности убиваю. Сколько, кстати, по-Вашему, мне лет? Не помню, чтобы в тот наш вечер мы об этом говорили, а может, Вы просто не придавали этому значения[1].

Всего Вам хорошего, постарайтесь и дальше не думать обо мне плохо. <...>

Ваш *Франц К.*

1. Кафка был на четыре года старше Фелиции.

---

7.XI.1912*

Дражайшая мадемуазель Фелиция! Вчера я возомнил, что буду проявлять о Вас заботу и из кожи вон лез, донимая Вас уговорами. Но сам-то я что делаю? Разве я Вас не мучаю? Разумеется, без умысла, ибо такое вообще невозможно, и даже будь у меня такой умысел, он улетучился от Вашего последнего письма, как нечистая сила перед сиянием добра, но своим существованием, одним только существованием своим я Вас мучаю! В основе своей я ведь не преобразился, по-прежнему кружу в своей орбите, только обрел новое неисполнимое чаяние вдобавок к прежним, тоже неисполнимым, и получил в дар небывалое, самое сильное на моем веку чувство человеческой уверенности в довесок к обычной своей неприкаянности. Зато Вы теперь растревожены, Вам неспокойно, Вы плачете во сне, что гораздо хуже, чем всю ночь без сна глазеть в по-

толок, Вы совсем не та, какой были в тот вечер, когда взгляд Ваш так спокойно блуждал с предмета на предмет, теперь же Вы не знаете, за что хвататься, в одном письме упоминаете двадцать человек, в другом вообще никого, короче, выгоды и издержки поделены между нами несправедливо, в высшей степени несправедливо. <...>

Опять в свое оправдание приходится ссылаться на перерыв, больше не на что, день опять уполз за полдень, причем далеко. Сейчас, перечитывая Ваше письмо, я вдруг с изумлением понял, что совсем ничего не знаю о Вашей прежней жизни, мысленным взором успел только выхватить из зарослей плюща Ваше личико маленькой девочки, что задумчиво смотрит на окружающие поля. И почти нет иного средства узнать больше, чем возможно узнать из написанного. Не верьте ничему другому! Вы сочтете меня несносным, вздумай я к Вам приехать. Помните, каким я был по дороге в гостиницу, — вот такой я и есть. Мой образ жизни, с помощью которого, впрочем, мне удалось вылечить желудок, показался бы Вам дурацким и невыносимым. Месяцами во время моих вечерних трапез отцу приходилось прятать лицо за газетой, прежде чем он сумел к ним привыкнуть[1]. Да и одеваюсь я вот уже несколько лет кое-как. Один и тот же костюм верой и правдой служит мне на работе и на улице, дома за письменным столом и даже зимой и летом. От холодов я закалился едва ли не лучше деревянной чурки, но даже это все же, наверно, еще не повод, чтобы одеваться, как я, то есть, например, расхаживать вплоть до ноября без плаща или пальто, являя в своем летнем костюмчике и летней же шляпе зрелище почти шутовское среди закутанных прохожих, принципиально не надевать жилетку (я изобретатель безжилеточной моды), не говоря уж о некоторых иных, опускаемых здесь, странных особенностях моего нижнего белья. Представляю, как бы Вы испугались, встреться Вам возле церкви, которую я так хорошо себе представляю в начале Вашей улицы, подобный чудак! Моему образу жизни есть несколько (помимо того, что я с тех пор, как его веду, стал несравненно здоровее, чем прежде) объяснений, но ни одно из них Вы не сочтете убедительным, особенно потому, что все, что в нем может быть здорового (а я, конечно же, еще и не курю, не пью ни алкоголя, ни кофе, ни чая, да и шоколад, — признаюсь, разоблачая задним числом свое малодушное умолчание, — в общем, тоже не ем), я с лихвой перекрываю нехваткой сна. Однако, дражайшая мадемуазель Фелиция, это не повод, чтобы окончательно махнуть на меня рукой, равно как и пытаться меня в этих вещах исправить, — лучше просто по-дружески меня терпеть, но на большом расстоянии. Ибо, видите ли, вчера вечером, придя домой с промозглого холода в обычном своем облачении и принявшись за свою, почти изо дня в день неизменную, вечернюю трапезу, я слушал рассказы своего зятя и того, кому еще только предстоит таковым стать, а потом, покуда все прощались в прихожей, оставшись один в комнате (вечером я трапезую теперь между половиной десятого и десятью), вдруг испытал приступ столь острого влечения к Вам, что впору было уткнуться лицом в стол, лишь бы себя сдержать.

Вы считаете меня куда моложе моих лет, и мне почти хочется скрыть свой возраст, ибо непомерно высокая эта цифра придает всему, чем я Вам докучаю, оттенок еще большей курьезности. А я между тем почти на год старше Макса, 3 июля мне исполняется 30 лет. Впрочем, выгляжу я почти юношей, и, в зависимости от проницательности непосвященного наблюдателя, мне дают обычно от 18 до 25. <...>

Ваш *Франц К.*

1. Сын мясника, отец Кафки не разделял склонности своего сына к вегетарианству.

(Черновик письма к Фелиции Бауэр от 9.XI.1912[1])

Дражайшая сударыня!

Не пишите мне больше, и я тоже не буду Вам писать. Мое писательство принесет Вам одни несчастья, а самому мне уже ничем не помочь.



Чтобы понять это, вовсе не требовалось пересчитывать все удары часов, как я это делал сегодня ночью, я с самого первого письма очень ясно все знал, а коли уж, несмотря ни на что, пытался к Вам привязаться, то заслуживаю за это только быть проклятым, если уже не проклят. Если Вы желаете получить свои письма, я, разумеется, Вам их отошлю, сколь бы ни хотелось мне сохранить их у себя. Если Вы все же настаиваете на возврате писем, пошлите мне как условный знак пустую открытку. Напротив, мои письма я просил бы Вас, насколько это мне вообще дозволено, сохранить. Постарайтесь же как можно скорее позабыть призрак, которым я являюсь, и жить счастливей и спокойнее, чем прежде.

1. Это неотправленное письмо хранилось в наследии Кафки и было опубликовано Максом Бродом еще в 1954 году (Max Brod. Franz Kafka. Eine Biographie. 3. erw. Auflage. Fr. a. Main, 1954. S. 171).

---

11.XI.1912*

Дражайшая сударыня!

Значит, я все-таки не потерял Вас. А я, по правде говоря, уже был убежден в этом. То письмо, в котором Вы одно из моих писем объявляете совсем чужим, привело меня в ужас. Я узрел в нем непреднамеренное, но, значит, тем более решительное подтверждение проклятия, из-под власти которого, по крайней мере в последнее время, полагал себя по большей части ускользнувшим и которое вдруг, зато уже безошибочным и последним ударом, меня настигло. Я не знал, как в себя прийти, не знал, что Вам написать, два письма в субботу вышли натужными и фальшивыми от начала и до конца, истинным было только мое убеждение, что теперь уж точно всему конец. Имеет ли какое-нибудь значение, что именно на этих словах ко мне входит моя мать, вся в слезах (она идет в магазин, она с утра до вечера внизу в магазине, и так уже тридцать лет каждый день), начинает гладить меня, хочет знать, что мне не так, почему я за обедом слова не скажу (но я давно уже молчу за семейным столом именно потому, что мне нельзя отвлекаться), и много еще всего в том же духе. Бедная мама! Но я очень благоразумно ее утешил, поцеловал и в конце концов даже заставил улыбнуться, больше того, добился, что она, уже с почти сухими глазами, стала весьма энергично распекать меня за мое (кстати, уже годами практикуемое) неучастие в семейных полдниках. К тому же я знаю (она не знает, что я это знаю, вернее, тоже узнал, только после нее), откуда эта внезапно взявшаяся столь истовая забота обо мне. Но об этом в другой раз.

Ибо опять от полноты всего, что мне хочется сказать Вам, я не знаю, с чего начать. И тем не менее я считаю эти три последних дня предвестниками рокового, неизменно поджидающего меня злосчастья и никогда больше не стану в суете рабочего дня писать Вам пространные письма. Вам следует поддержать меня в этом без обид и упреков. Ибо, видите ли, я сейчас в таком настроении, что готов, хотите Вы того или нет, пасть перед Вами ниц и отдаться Вам всецело, так, чтобы во мне и тени мысли, и толики воспоминания не осталось о ком-то другом, но, виновный или нет, я не хочу еще хоть раз в жизни прочесть замечание вроде того, что было в Вашем письме. Однако не только поэтому я буду

писать Вам отныне только краткие письма (зато по воскресеньям всегда, вожделенно нескончаемое, чудовищно огромное письмо), а еще потому, что хочу сейчас всего себя до последнего дыхания отдавать своему роману, который ведь тоже принадлежит Вам или, вернее сказать, должен дать Вам представление о всем хорошем во мне, более ясное, чем это в состоянии сделать просто указующие слова всех самых длинных писем за самую долгую жизнь. История, которую я сейчас пишу и которая, кстати, все больше норовит растянуться до бесконечности, называется — просто чтобы Вы в общих чертах знали, о чем речь — "Пропавший без вести" и разыгрывается исключительно в Североамериканских Соединенных Штатах[1]. Пока что у меня закончены пять глав, шестая почти готова. Каждая глава имеет название: I "Кочегар", II "Дядя", III "Особняк под Нью-Йорком", IV "Пешком в Рамзес", V "Отель „Оксиденталь"", VI "Происшествие с Робинсоном". Вот я упомянул все эти заглавия, как будто по ним можно вообразить себе все остальное, это, конечно, никуда не годится, но я хотел бы, чтобы по крайней мере названия хранились пока что у Вас, покуда прочее не материализуется. Это первая относительно большая работа, в которой я — после пятнадцати лет беспросветной, за исключением отдельных мгновений, муки — чувствую себя уютно. Ее надо закончить, Вы, надеюсь, тоже так полагаете, вот почему я и намерен, с Вашего благословения, те крохи времени, которые я мог бы уделить письмам к Вам, письмам по неизбежности слишком приблизительным, ужасно клочковатым, неосмотрительным и опасным, — переадресовать сейчас этой своей работе, в которой все, по крайней мере до сих пор, откуда бы оно ни исходило, обретает успокоенность и верный путь. Вы с этим согласны? И не предоставите меня моему — несмотря ни на что — ужасающему одиночеству? Дорогая Фелиция, я бы многое сейчас отдал за один только взгляд в Ваши глаза. <...>

Уже три дня я отказываю себе в удовольствии спрыгивать с трамваев из страха, что Вы, прознав об этом путем какого-нибудь неведомого перенесения мыслей, без достаточной серьезности отнесетесь к моим предостережениям. Но теперь, наконец, я заручился Вашим обещанием и, значит, снова могу спрыгивать со спокойной совестью. Кстати, в связи с этим мне вспомнился случай, происшедший со мной в субботу. Мы шли с Максом, я говорил о себе — как отнюдь не о самом счастливом человеке на свете. При этом я не очень смотрел на дорогу, и проезжавший экипаж лишь чудом со мной разминулся. Все еще погруженный в свои мысли, я от досады даже ногами затопал и что-то невразумительное крикнул. В тот миг я действительно был в ярости из-за того, что меня не переехали. Кучер, разумеется, всего этого не понял и обругал меня по заслугам.

Нет, я не совсем замкнулся и не живу в полном отрыве от семьи. Что легко доказывает прилагаемое живописание акустических коллизий в нашей квартире, которое, в целях мягкой публичной экзекуции моему семейству, только что опубликовано в одном скромном пражском журнальчике[2]. Кстати, моя младшая сестра (ей уже за 20), вообще моя лучшая пражская подруга, да и две другие тоже достаточно участливы и добры. Вот только мы двое, отец и я, отважно друг дружку ненавидим.

Как это прекрасно — услышать от Вас обращение на "ты", пусть всего лишь в цитате! <...>

Ваш *Франц*

1. Этот роман, более известный как "Америка" (благодаря Максу Броду, издавшему его под этим названием в 1927 г.), — первое крупное произведение Кафки. В дальнейшей переписке с Фелицией всякое упоминание Кафки о своем романе подразумевает только эту книгу.

2. Миниатюра "Большой шум", опубликованная в пражском журнале „Herder-Blätter" (I, 4—5, Oktober 1912), написана в ноябре 1911 г. (см. "Дневники", 5 ноября 1911).

---



15.XI.1912

Знаешь, обращение на "ты" все-таки не такое верное подспорье, как я думал. Сегодня, всего лишь на второй день, оно себя уже не оправдывает. Казалось бы, уж теперь-то я должен быть поспокойнее, это же самая объяснимая вещь на свете, что письма сегодня не было. И тем не менее я то и дело выскакиваю в коридор, смотрю в руки любому посыльному, отдаю множество бесполезных поручений, лишь бы снова специально отправить кого-нибудь вниз на почту (я теперь сижу на пятом этаже, а почту принимают и просматривают внизу, почтальоны наши невнимательны, кроме того, у нас выборы в правление, корреспонденции приходит несметное количество, и прежде чем Твое письмо извлекут из дурацкой уймы других писем, я у себя наверху успею умереть от нетерпения), в конце концов, никому на свете не доверяя, сам бегу вниз и, разумеется, возвращаюсь ни с чем, ибо, если бы хоть что-то для меня пришло, я получил бы это мгновенно, ведь по меньшей мере три человека уполномочены мною выискивать Твои письма и приносить их мне помимо и прежде всей остальной почты. Ввиду одной только этой миссии они заслуживают быть здесь упомянутыми. Первый — это посыльный Мергль, подобострастный и услужливый, но внушающий мне безотчетную, непреодолимую неприязнь, потому что, по моему наблюдению, когда я связываю надежду на Твое письмо в основном с ним, письмо приходит лишь в редчайших случаях. Один лишь непреднамеренно роковой вид этого человека в таких случаях пронзает меня ужасом до мозга костей. Так было и сегодня, по крайней мере меня так и подмывало ударить его по пустым рукам. И все равно он, похоже, принимает во мне участие. Не постыжусь признаться, что в такие вот пустые дни уже несколько раз спрашивал его, как он полагает, придет завтра письмо или нет, и он всякий раз с низкими поклонами заверял меня, что письмо непременно будет. Однажды — вот только сейчас вспомнил — я почему-то с безрассудной уверенностью ждал от Тебя весточки, должно быть, это было еще в тот первый скверный месяц, и этот посыльный еще в коридоре сообщил мне, что письмецо пришло и лежит у меня на столе. Я бегом кидаюсь к столу, а там только открытка от Макса из Венеции — с репродукцией картины Беллини "Любовь, владычица всея Земли". Но что проку от подобных обобщений в собственном случае, частном и болезненном! Второй мой вестник — это начальник экспедиции Вотава, маленький старичок холостяк с морщинистой физиономией, испещренной пятнами самых разных оттенков и островками невыбритой щетины, который к тому же вечно мусолит в причмокивающих губах свою неизменную "виргинию", — и тем не менее как же ангельски он прекрасен, когда, застыв на пороге, торжественно извлекает из нагрудного кармана Твое письмо и вручает его мне, что, само собой разумеется, вообще-то вовсе не входит в его служебные обязанности. Он, конечно, предчувствует поощрение, ибо всегда, если только у него есть время, старается опередить двоих других конкурентов, не ленится пешком подняться ко мне на пятый этаж — и, кстати, после никогда не сожалеет об этом. С другой стороны, мне не дает покоя мысль, что иногда он, желая сам передать мне письмо, припрятывает его от других посыльных, которые могли бы принести его гораздо раньше. Короче, без волнений это дело никогда не обходится. А третья моя надежда — это барышня Бём. Вот уж она-то, вручая мне письмо, просто счастлива. Вся сияя, она входит в мой кабинет и подает мне конверт так, словно это письмо, лишь с ви-

ду чужое, на самом деле касается только нас двоих, ее и меня. Когда же двум другим удается вручить мне письмо и я ей об этом сообщаю, она чуть не плачет, давая себе зарок впредь следить за почтой зорче прежнего. Но учреждение наше огромно, больше 250 служащих, и перехватить письмо всегда есть кому.

А вот сегодня все трое остались без работы. Любопытно, как часто мне придется еще повторять эту фразу, сегодня вот письмо точно уж не придет, такое исключено. Но это только сегодня, так сказать, в переходный день я из-за этого разволновался, и если после завтрашнего письма Ты мне не напишешь, меня это нисколько не обеспокоит. Раньше я говорил себе: "Она не пишет", — и это было ужасно, а теперь я скажу: "Любимая, значит, ты ушла гулять", — и буду только радоваться. Кстати, в котором часу Ты получила мое ночное письмо?

Твой *Франц*

---

15.XI.1912 — 11.30 вечера

Любимая, сегодня я пишу Тебе прежде, чем займусь своей писаниной, чтобы не было чувства, будто я заставляю Тебя ждать, чтобы Ты сидела не против меня, а рядом, подле, помогая мне писать спокойнее, ибо, честно говоря, в последние несколько дней я писал страшно мало, почти совсем ничего, настолько я Тобою поглощен, так много о Тебе думаю.

Из двух книг, которые, возможно, даже не успели еще до Тебя дойти, одна предназначается для Твоих глаз, другая — для Твоего сердца. Первая и вправду выбрана несколько своевольно и немного наугад[1], есть много других книжек, которые надо было бы подарить Тебе прежде этой, так пусть же она будет порукой тому, что между нами уже и своевольное позволительно, ибо способствует непреложному. Что же до "Воспитания чувств", то эта книга уже много лет близка мне, как, быть может, близки еще только два или три человека на свете; когда бы, на какой бы странице я ее ни раскрыл, она поражает меня мгновенно и захватывает с головой, и в эти минуты я неизменно ощущаю себя духовным сыном этого писателя, правда, сыном бедным и беспомощным. Напиши сейчас же, читаешь ли ты по-французски? Если да, то ты получишь новое французское издание. Напиши, что читаешь, даже если это неправда, потому что издание замечательное.

К Твоему дню рождения (значит, он совпадает с днем рождения Твоей матери, вот до какой степени Ты стала ее непосредственным продолжением?) именно я ничего не смею Тебе желать, ибо даже если есть, что вполне возможно, у Тебя неотложные пожелания, идущие вразрез с моими, — не мне о них говорить; а все, о чем мог бы сказать я, — сплошное своекорыстие. Но для того чтобы я, как и подобает, хранил полное безмолвие и никаких пожеланий не высказывал, позволь мне хотя бы раз, в робком предчувствии, один лишь раз прильнуть к Твоим возлюбленным устам.

*Франц*

1. О какой книге идет речь, не установлено.

---

18.XI.1912*

Любимая моя, сейчас полвторого ночи, до конца истории[1], о которой я Тебе говорил, все еще очень далеко, роман тоже не продвинулся ни на строчку,

удрученный, я отправляюсь спать. Была бы в моем распоряжении вся ночь целиком, чтобы писать, не покладая пера, до рассвета! Какая это была бы дивная ночь! Но надо ложиться, вчера ночью я спал плохо, днем сегодня почти вовсе не спал, а являться на работу совсем уж в непригодном виде мне никак нельзя. Зато утром — Твои письма, любимая! Когда я относительно бодр, они, несомненно, придают мне сил, если же клюю носом, то больше всего на свете мечтаю так и остаться в кресле с Твоим письмом в руках, рыча и скалясь на каждого, кто осмелится мне докучать. Нет, работа в конторе вовсе не настолько меня донимает, судить об этом можно хотя бы по тому, что я справляюсь с ней уже пятый год, из которых, впрочем, первый был особенно ужасен, в частном страховом агентстве, с присутственными часами от восьми утра до семи, а то и до восьми, до половины девятого вечера, ужас, мерзость! В том учреждении было одно место — в узеньком коридорчике на повороте к моему кабинету, — где меня почти каждое утро охватывало такое отчаяние, которого и куда более стойкой и цельной натуре, нежели я, за глаза хватило бы для блаженного самоубийства. Сейчас-то мне гораздо легче, тут — совершенно незаслуженно — со мной обходятся даже любезно. Особенно заместитель директора, мой непосредственный начальник[2]. Недавно у него в кабинете мы дружно, голова к голове, зачитывались стихами Гейне, а в приемной тем временем, не исключено, что и по самым неотложным надобностям, томились посыльные, столоначальники, посетители, терпеливо дожидаясь, пока их впустят. И все же это достаточно скверная, тягостная повинность, не стоящая даже тех сил, которые приходится тратить, чтобы ее просто терпеть. <...>

*Франц*

1. Речь идет о новелле "Превращение", над которой Кафка тогда работал.
2. Имеется в виду доктор Роберт Маршнер, один из руководителей страхового агентства, где работал Кафка.

---

20.XI.1912

Любимая, что я Тебе сделал, что Ты меня так мучишь? Сегодня опять день без письма — ни с первой, ни со второй почтой. Зачем же заставлять меня так страдать! И это в то время, когда одно написанное Тобой словечко способно меня осчастливить! Я надоел Тебе, другого объяснения нет, что ж, в конце концов это и не удивительно, непонятно только, почему Ты мне все-таки не напишешь? Если я хочу жить дальше, я просто не могу, как в эти последние нескончаемые дни, тщетно ждать от Тебя вестей. И надежды получить от Тебя весточку у меня больше не осталось. В таком случае прощание, которого Ты удостаиваешь меня молча, мне придется высказать со всей определенностью. Я готов упасть лицом на это письмо, лишь бы не отсылать его, но оно должно быть отправлено. Итак, я больше не жду писем.

*Франц*

---

(Предположительно в ночь с 20 на 21.XI.1912)

Любимая, любимая моя, сейчас полвторого ночи. Я обидел Тебя своим утренним письмом? Откуда мне знать о всех Твоих обязательствах перед Твоими родными и знакомыми. Ты и так-то мучаешься, а я еще мучу Тебя попреками из-

за Твоих же мучений. Пожалуйста, любимая, прости меня. Пришли мне розу в знак того, что меня прощаешь. Я не то чтобы совсем устал, но как-то отупел и отяжелел и совсем не нахожу верных слов. Могу разве что сказать: не покидай меня, останься со мной. А ежели кто-то из врагов моих, сидящих у меня внутри, пошлет Тебе такое письмо, как сегодня утром, — не верь ему, а смотри сквозь него прямо мне в сердце. До чего же тяжела и ужасна такая жизнь, как можно удержать человека одними написанными словами, ведь чтобы держать — нужны руки. Но вот в этой руке я удерживал Твою, без которой мне теперь не жить, всего лишь три мгновения, когда вошел в комнату, когда Ты обещала мне путешествие в Палестину и когда я, дурак, дал Тебе уйти от меня в гостиничный лифт.

Значит, мне можно Тебя поцеловать? Но все это только на жалкой бумаге? С тем же успехом я мог бы распахнуть окно и целовать ночной воздух.

Любимая, не сердись на меня! Ничего больше я от Тебя не требую.

*Франц*

---

21.XI.1912

Любимая, какое счастье, что я не написал Тебе два часа назад, иначе я такого наговорил бы о своей матери, что Ты могла бы меня возненавидеть. Теперь я уже немного успокоился и смогу написать Тебе, относительно владея собой. Правда, в душе у меня до хорошего еще далеко, но как-нибудь уляжется, если не само собой, то хотя бы из любви к Тебе. Моя вина в том, что мама прочла одно из Твоих писем, непростительна и достойна порки. Я, по-моему, уже писал Тебе, что завел привычку всегда носить Твои письма с собой, от них исходит подкрепляющая меня энергия, с ними мне легче ходить по свету, я ощущаю себя более достойным и дельным человеком. Разумеется, все письма, как это было в первые, скудные времена, я уже с собой не ношу, но последнее, а то и вместе с предпоследним — всегда. Это и повлекло несчастье. Дома я хожу в другом пиджаке, а пиджак от уличного костюма просто вешаю у себя в комнате на вешалку. Мама проходила через мою комнату, когда меня там не было, — а моя комната проходная, это даже не комната, а этакий проезжий тракт между гостиной и родительской спальней — и углядела письмо во внутреннем кармане пиджака, выхватила его от избытка назойливой любви, прочла и написала Тебе. Любовь ее ко мне столь же велика, сколь и неразумна, а бесцеремонность, из этого неразумия вытекающая, похоже, еще сильней и временами, во всяком случае для меня, просто непостижима.

Твое сегодняшнее письмо я прочел залпом, и Твои советы касательно еды и сна меня не особенно обескуражили, как должны были бы, я ведь уже писал Тебе, как рад был обрести свой нынешний образ жизни, этот единственный более или менее приемлемый способ разрешить противоречия, среди которых мне приходится обретаться. Но когда Макс сегодня очень осторожным намеком посоветовал мне получше следить за своими письмами, рассказав, что от своих родителей ничего утаить не может (постоянные рысканья его отца во всех комнатах по всем углам знакомы мне даже не понаслышке), эти его намеки наложились на все соответствующие пассажи Твоих сегодняшних писем — а уж Твои-то письма на сей раз, как и всегда, памятны мне так же хорошо, как выражение лица человека, с которым я только что разговаривал, — и вскоре я уже знал если и не все, то достаточно, чтобы заставить Макса выложить мне остальное.

Просить Тебя о прощении я не могу, ибо, даже будучи столь доброй, как Ты, простить такое невозможно. Эту вину я сохраню в себе и буду жить с ней дальше. Все было настолько хорошо, я так радовался, что смогу спокойно наслаждаться счастьем, которое пришло вместе с Тобой, в Твоих словах о грядущем празднике Рождества мне пригрезилось столько неисчерпаемой надежды, к которой я в сегодняшнем утреннем письме, среди всей моей конторской грязи, даже прикоснуться не смел, — и опять матушка, тут как тут, встала у меня на пути. В моем восприятии родители всегда были преследователями, до недавних пор, примерно с год назад, я был равнодушен к ним, как и ко всему остальному миру, словно некий неодушевленный предмет, но на самом деле это был лишь подавленный страх, а еще беспокойство и печаль, как я теперь вижу. Родители не хотят ничего иного, кроме как стащить тебя обратно вниз, в прежние времена, откуда ты пытаешься выбраться всеми силами и с облегченным вздохом, причем они-то поступают так из любви, но это и есть самое ужасное. Прекращаю, пусть конец страницы послужит мне предостережением, не то, чего доброго, меня совсем захлестнут лютые страсти.

Твой, Твой, Твой

---

(На приложенном листе)

Прилагаю свою фотографию, мне тут, наверно, лет пять, злую гримасу я тогда скорчил в шутку, сейчас начинаю думать, что втайне это было всерьез. Однако Тебе придется прислать мне ее обратно, она принадлежит родителям, которым вообще все на свете принадлежит и которые во все хотят вмешаться. (Надо же, как раз сегодня я написал Тебе о Твоей матери!) Когда Ты мне ее вернешь, я вышлю Тебе следующую, а в конце концов и плохую, никчемную нынешнюю, которую Ты сможешь оставить себе, если захочется. Пожалуй, пяти лет мне на этой фотографии все-таки не было, скорее года два, впрочем, в этом Ты, большая любительница детей, разберешься куда лучше меня, который при виде детей хочет просто зажмуриться.

*Франц*

Просить Тебя о фотографии — насовсем или хотя бы на время — сейчас, конечно, был бы самый неподходящий случай. Это я просто так, к слову.

---

22.XI.1912

Любимая! Я не успел как следует попросить у Тебя прощения за боль, которую причинил Тебе в четверг и которая настолько ощутима в Твоем сегодняшнем письме, что даже слепого глупца должна разжалобить. Но только не меня, я продолжаю творить зло, что бы я ни сделал, все оборачивается враждебностью к Тебе, при том что я в другом, своем мире готов всего себя отдать ради Тебя, словно, сколько себя помню, только ради одной Тебя и живу на свете. Мало того, что я забываю Твое письмо в кармане, что моя мать его находит, читает и Тебе пишет. Это была бы провинность, с которой я когда-нибудь худобедно сумел бы сжиться. Но виновный зарывается в свою вину все глубже. Вчера, когда я был у Макса, дело казалось мне скверным, но поправимым: я обе-

щал ему, если вообще чуть ли не поклялся, что ничего об этой истории матери не скажу. Впрочем, даже если бы я и не поклялся, из одного только уважения к Тебе это все равно разумелось бы само собой. Только для уважения нужно спокойствие, а где мне его в себе найти даже ради самого любимого человека? Едва я вышел от Макса, во время короткой прогулки все стало во мне закипать, голову распирало от гнева, как паровой котел, и домой я пришел в убеждении, что если не выскажу сейчас же матери того, что о ней думаю, то никогда больше не смогу сказать ей вообще ни слова. В доме были гости, жених[1] с приятелем. Я тотчас же прямиком устремился к себе в комнату, отчетливо предвидя, что не смогу в ней усидеть, и про себя удивляясь, как это наша квартира вообще не разлетается на куски — настолько все во мне было накалено. Мать, видимо почувствовав неладное, стала шнырять туда-сюда в прихожей. Ну, там мы и встретились, а иначе и быть не могло, и я высказал ей все, что думал, в приступе почти необузданного гнева. Я убежден, нам обоим стало от этого только лучше, и матери, и мне, я не помню, чтобы когда-нибудь в жизни говорил с ней ласковее, чем после этой вспышки. Столько холодности или притворной ласки, сколько мне с незапамятных времен пришлось подарить родителям (не только по своей, но и по их вине), я не встречал больше ни в одной семье, ни среди родных, ни среди знакомых. Я вижу, как сквозь тени заботы лицо матери светится счастьем, которым переполняют ее наши нынешние отношения после вчерашнего ужасного вечера. Так что Ты и здесь, конечно же, оказалась добрым ангелом, как и во всем для меня. Но речь-то сейчас не об этом. Ради Тебя я не должен был матери ничего говорить — и все-таки сказал. Любимая, простишь ли Ты мне еще и это? Скоро у меня перед Тобой будет столько вины, что даже человеческий суд признает меня навеки Твоим рабом, коим перед высшим судом я и так давно уже стал.

Вправе ли я еще после всего принять Твой поцелуй примирения, которым Ты одарила меня в конце Твоего письма, тем паче что поцелуй этот, разреши мы его себе, не дал бы кончиться ни Твоему, ни моему письму.

*Франц*

1. Йозеф Поллак, жених сестры Кафки Валли.

---

24.XI.1912

Любимая! До чего же все-таки это на редкость омерзительная история, которую я сейчас снова откладываю, чтобы в мыслях о Тебе от нее отдохнуть. Она между тем уже слегка перевалила за половину, и в целом нельзя сказать, чтобы я был ей недоволен, но омерзительна она безгранично, и все эти вещи, как видишь, выходят из того же сердца, в котором Ты поселилась и которое в качестве пристанища даже терпишь. Но не огорчайся по этому поводу, как знать, может, чем больше я пишу, чем больше я от самого себя освобождаюсь, тем, быть может, достойнее и чище я становлюсь для Тебя, хотя, конечно, из меня еще много всего надо исторгнуть, и для этого, кстати, крайне вожделенного занятия никаких ночей не хватит.

Но прежде чем отправиться спать (сейчас и вправду уже три часа ночи, обычно я работаю только до часу, а указание на время в одном из моих последних писем Ты, похоже, по недоразумению спутала, оно означало три часа дня, я остался тогда в конторе и писал Тебе), я хочу сказать Тебе, поскольку Ты на этом настаиваешь и поскольку это так легко, — хочу шепнуть Тебе на ушко, как я Тебя люблю. Я люблю Тебя, Фелиция, настолько, что хочу, если Тебя со мной

не разлучат, жить вечно, правда не забудем добавить, жить здоровым и достойным Тебя человеком. Это просто чтобы Ты знала, как я Тебя люблю, и это уже почти по ту сторону поцелуев, в понимании чего мне не оставлено почти никаких других знаков нежности, кроме как просто погладить Тебя по руке. Вот почему я предпочитаю называть Тебя просто "Фелиция", чем "любимая", и вместо "милая" говорить Тебе просто "Ты". Но поскольку мне так много всего хочется связать с Тобою, я и любимой Тебя называю с радостью и счастлив тем, что мне вообще дано Тебя называть.

---

Воскресенье (24.XI.1912) после обеда*

Два письма! Два письма! Где сыскать воскресенье, которое могло бы соответствовать такому началу?! Но теперь, любимая, раз уж Ты и это не только простила мне, но даже сумела меня понять, мы, не так ли, Фелиция, отныне, что бы ни случилось, будем всегда сохранять спокойствие и любить друг друга, невзирая на любые помехи. Вот если бы только во мне нашлись силы письмами вернуть Тебе бодрость и веселье, раз уж, к сожалению, у меня достало слабости своими же письмами утомить Тебя до крайности и огорчить до слез. Я даже почти верю в то, что сил у меня хватит. Но даже если у меня и получится, я буду обязан этим опять-таки только спасительному сознанию, что Ты — моя подруга и что на такого человека, как Ты, всегда можно положиться.

Только пожалуйста, любимая, прошу Тебя, не пиши мне больше по ночам, эти Твои письма, купленные ценой Твоего сна, я могу читать лишь со смесью счастья и грусти. Не делай больше этого, спи сладко и столько, сколько Ты заслуживаешь, я не смогу спокойно работать, если буду знать, что Ты бодрствуешь, да еще из-за меня. Если же я уверен, что Ты спишь, тогда и я работаю веселее и мужественней, мне кажется, что Ты вверена моей заботе, такая беспомощная и такая нуждающаяся в помощи в Твоем крепком молодом сне, словно я работаю ради Тебя и Твоего здоровья. Да как же при таких мыслях не спориться работе? Так что спи, спи, Ты ведь днем работаешь намного больше меня. Завтра же начинай спать, не пиши мне больше писем в постели, по возможности уже сегодня не пиши, если пожелание мое что-то для Тебя значит. А в награду за это перед отходом ко сну можешь вышвырнуть в окно весь Твой запас аспирина. Итак — не пиши больше по вечерам, предоставь ночные писания только мне, предоставь мне эту маленькую возможность погордиться тяготами ночной работы, это ведь единственное, чем я могу перед Тобой гордиться, иначе я во всем окажусь ниже Тебя и такой, конечно же, перестану Тебе нравиться. Но подожди еще секунду, в доказательство того, что ночная работа повсюду, в том числе и в Китае, считается уделом мужчины, я принесу сейчас из книжного шкафа (он в соседней комнате) одну книжку и спишу Тебе из нее одно маленькое китайское стихотворение. Итак, вот оно (сколько же шума от моего отца и моего племянника!), его написал поэт Ян-Дзен-Цай (1716–1797), о котором здесь в примечании говорится: "Очень талантливый и рано созревший мастер, сделал блестящую карьеру на государственной службе. Был необычайно разносторонним человеком и художником". Кроме того, для понимания стихотворения надобно еще добавить, что состоятельные китайцы перед отходом ко сну ароматизировали свое ложе благовониями и эссенциями. В остальном, впрочем, стихотворение не очень-то подходящее, но очень красивое, что с лихвой все искупает. Итак, вот оно наконец:

# *Глубокой ночью*

В прохладе ночи за книгой своей
я пропустил час отхода ко сну.
Ароматы с моего златотканого покрывала
давно улетучились, камин угас.
Моя красивая подруга, столь долго сдерживавшая гнев,
вырывает у меня лампу и спрашивает:
"Ты хоть знаешь, который час?"[1]

Ну? Это стихотворение, которое надо прочувствовать. <...>

Так, значит, моя блажь спать с открытыми окнами за Тобой тоже водится? Весь год с открытым окном? И зимой тоже? Полностью открытым? Тогда, считай, Ты меня перещеголяла, потому что зимой у меня оно открыто несильно, я оставляю узкую щелочку. Правда, окно мое выходит на большую и пустынную стройку, за которой сразу же течет Влтава. А за ней на другом берегу холмы с садами и парками. Так что мне хватает и воздуха, и ветра, и холода, и даже если Ты и сейчас еще на Твоей Иммануилкирхштрассе оставляешь окно распахнутым настежь, это еще не значит, что Ты не изменила бы этой привычке, живи Ты в комнате вроде моей. Я, кстати, побеждаю Тебя еще и в том, что комната моя не отапливается, а я как-никак здесь пишу. Только сейчас я заметил (а я сижу прямо у окна), что внутренние створки у меня открыты полностью, а внешние прикрыты лишь слегка, между тем перила моста внизу уже побелены если не снегом, то инеем. Вот теперь и попробуй со мной тягаться.

Стишок, сочиненный Твоими милыми дамами, великолепен[2]. Разумеется, я Тебе его верну, но я его переписал. Однако чтобы покарать эту барышню Брюль за мужа с приставкой "фон", которого она Тебе, а вернее, ему Тебя, желает, — я желаю ей на ее день рождения, чтобы отныне и в течение всего года каждый вечер по окончании рабочего дня справа и слева от нее, как из-под земли, вырастали два неистовых прокуриста и до полуночи, одновременно и беспрерывно, диктовали ей письма. И только за то, что она пишет такие складные стихи, я готов, если Ты за нее попросишь, скостить срок наказания до полугода. Но поскольку она Тебе нравится и так замечательно умеет радоваться, я из Крацау (это за Райхенбергом, высоко в горах[3]), куда, к сожалению, мне завтра придется ехать, пошлю ей открытку, на которой кого-нибудь попрошу начертать: "Сердечные поздравления! Только вот от кого? Увы и ах!" <...>

Поскольку уж я заговорил о предстоящей поездке в Крацау, то не могу теперь отделаться от этой неприятной мысли. Быть может, я бы уже завтра закончил свою небольшую историю, но теперь мне завтра вечером в шесть уезжать, в десять я буду в Райхенберге, а в семь утра отправлюсь в Крацау на судебное заседание по одному весьма ответственному и щекотливому делу в твердом намерении с таким недвусмысленным треском его провалить, чтобы меня больше с подобными поручениями никуда не посылали. В связи с чем надеюсь уже к четырем часам пополудни снова быть в Праге и с вокзала сразу же забежать на службу, чтобы на всякий случай (но совершенно без волнений, без малейших волнений) удостовериться, нет ли для меня письма, дабы потом, либо с письмом и в полном удовольствии, либо без письма, но сохраняя самообладание, отправиться домой и рухнуть там в постель. Впрочем, чтобы план этот удался, на суде в Крацау я должен управиться со всем делом самое большее часа за три, и я уже подумываю, когда третий час будет на исходе, начать потихоньку падать в обморок, дабы меня срочно отнесли на вокзал. В судебном протоколе тогда вместо моей подписи будет значиться: "Представитель страхового агентства (а не

общества, дорогая) в связи с обмороком из зала суда выдворен". Зато в поезде, мгновенно вернувшись к жизни, я с удвоенным энтузиазмом помчусь в Прагу!

Мне столько всего надо Тебе сказать и столько всего у Тебя расспросить, а уже опять поздно и я ничего не успеваю. Сегодня до обеда, как и каждое воскресенье, я был у Баума (ты знаешь Оскара Баума?) и читал там первую часть моей маленькой истории. Потом к нам присоединилась одна барышня, мелкими штрихами поведения и повадки слегка напомнившая мне Тебя. (Мне ведь совсем немного надо, чтобы о Тебе вспомнить.) Как завороженный, я не сводил с нее взгляда, а когда понял, что глаза мои исчерпали это мелкое сходство до конца, больше всего захотел просто отойти к окну, чтобы смотреть на улицу, никого больше не видеть и принадлежать одной Тебе. <...>

На прощание обнимаю Тебя

*Франц*

1. Стихотворение и комментарии к нему Кафка цитирует по антологии китайской лирики (Hans Heilmann. Chinesische Lyrik vom 12. Jahrhundert v. Chr. bis zur Gegenwart. München, 1905), которой он, по воспоминаниям Макса Брода, очень дорожил, часто носил с собой и любил зачитывать из нее вслух.
2. На день рождения Фелиции несколько ее сотрудниц, в том числе и упомянутая ниже барышня Брюль, сочинили ей поздравление в стихах.
3. Райхенберг — ныне Либерец, город на севере Чехии неподалеку от чешско-германской границы.

---

25.XI.1912

Итак, любимая, мне придется отложить мою небольшую историю, над которой я работал сегодня, увы, гораздо меньше, чем вчера, и оставить ее в покое дня на два из-за этой клятой поездки в Крацау. Мне ужасно жаль это делать, хотя, надеюсь, для истории, на которую мне и нужно-то еще 3-4 вечера, это не будет иметь слишком скверных последствий. Под слишком скверными последствиями я имею в виду то, что своей манерой работы я, к сожалению, и так уже достаточно навредил этой вещи. Подобную историю следовало бы записать самое большее с одним перерывом в два десятичасовых приема, тогда она сохранила бы свой естественный ход и всю ту бурю, которую учинила в прошлое воскресенье в моей голове. Но этих двух приемов по 10 часов каждый у меня нет. Вот и приходится пытаться делать лучшее из возможного, раз уж наилучшего не дано. Но жаль, что я не могу читать Тебе вслух, очень жаль, допустим, каждое воскресенье, до обеда. После обеда не могу, нет времени, я же должен писать Тебе письма. Сегодня я и правда писал Тебе до половины седьмого, потом лег, хотя надо было бы сперва сходить отправить письма, но я боялся, что тогда лягу слишком поздно и не смогу заснуть, потому что, во-первых, в соседней комнате собирается вечернее общество, во-вторых, вскоре начинается громкая игра в карты (единственное, в чем я, даже в угоду отцу, лишь крайне редко понуждаю себя участвовать) и, значит, никакого покоя. Но сегодня эти опасения оказались напрасными, ибо родители вместе с младшей сестрой отправились в гости к замужней сестре, а средняя сестра вместе с женихом была приглашена к своим будущим свекру и свекрови в деревню, я же всего этого не знал. Но спал я все равно плохо, очевидно в наказание за то, что не пошел отправлять письма, при этом, однако, меня никто и не будил, поскольку в доме никого, кроме служанки (ей хоть и семнадцать, но она тиха, как тень), не было, так я и валялся в полусне, из-за гробовой стужи в комнате не в силах даже руку протянуть, чтобы посмотреть на часы. Когда же я все-таки собрался с си-

лами и посмотрел на часы, они, к моему ужасу, показывали уже половину десятого. Господи, не хватало теперь только еще и с письмами опоздать! Две минуты, в бешеном темпе, делаю гимнастику — перед настежь открытым окном, как я Тебе, по-моему, уже однажды писал, потом одеваюсь — и на вокзал. Внизу, у подъезда, который в нашем довольно пустынном районе об эту пору закрывается уже в 9, мне благодаря стремительному рывку за угол посчастливилось избежать встречи с нашим семейством, как раз возвращавшимся домой, и я помчался на вокзал. У меня новые ботинки, и гремят они в пустынных переулках безбожно. Надо надеяться, хотя бы письма придут вовремя. Затем, после незамедлительного возвращения, был, как всегда, мой ужин, моя младшая сестренка при нем присутствует, колет орехи, сама съедает больше, чем дает мне, и мы по большей части замечательно друг с другом болтаем. Такой вот у меня ужин, но бывают времена, когда даже любимой сестры мне мало, да и ей меня недостаточно.

*Франц*

---

26.XI.1912*

Фелиция, предупреждаю, сейчас будет одно из тех писем, про которые я на днях Тебе писал, попросив нещадно их рвать уже на второй или третьей фразе. Вот он и настал, этот миг, Фелиция, ну, рви же — хотя, в конце концов, это ведь еще и мой миг, и я вполне еще могу не писать это письмо, но, к сожалению, Ты прочтешь его столь же наверняка, как я напишу.

Я только-только вернулся из поездки, разумеется, первым делом забежал в контору и получил там Твое милое письмо, написанное воскресной ночью. Я прочел его тут же, в каморке портье, чья малютка жена, покуда я читал, то и дело поднимала на меня глаза. Письмо и вправду милое, доброе, настоящее. (Только возраст мой на фотографии угадан тобой неверно, мне там, как я только что выяснил, всего лишь год.) Ты хочешь, чтобы я принимал в Тебе участие, Бог ты мой, и это при том, что я и так посягаю на каждый миг Твоей жизни. А Ты делаешь для меня все, что в силах человеческих, и я за одну эту Твою доброту полюбил бы Тебя, если бы и так уже не любил за всю Твою бесценную душу. Отчего же в таком случае письмо Твое меня не устроило и заставило обшаривать глазами стойку портье в поисках следующего? Правда, Ты сама написала, что в понедельник напишешь еще, однако этого понедельничного письма на стойке не было. Но разве Ты уже несколько раз не давала мне зарока верности и разве сам я совсем недавно не пообещал Тебе хранить полное спокойствие, даже если от Тебя вообще не придет письма, а тут как-никак у меня в руках все-таки было это, воскресное, к тому же, в конце концов, вечером в понедельник у Тебя репетиции, разве не могла ты задержаться и отправить понедельничное письмо с опозданием? Короче говоря, само по себе отсутствие этого письма никак не могло послужить причиной для волнений. Отчего же в таком случае я в испуге кинулся домой в горячечной уверенности, что письмо ждет меня там, и в то же время заранее предвкушая горечь безнадежного разочарования? Отчего так, любимая? Может, в этом сказывается недостаток моей любви к Тебе? Потому что если как раз сейчас тревога о Твоем здоровье и примешивается к моему беспокойству, то боязнь лишиться Твоей любви все же многократно эту тревогу перевешивает. И то и дело в голову почему-то лезут одни только жалостливые обороты вроде: “ну потерпи меня еще немного”, или “я еще не успел выяснить, что Ты думаешь о том-то и о том-то”, и так далее, а когда от Тебя вдруг не приходит письмо, то для моих нетерпеливых вопросов слишком медлителен даже теле-

граф. Когда в одном из моих писем Тебе почудился какой-то чуждый тон, я ощутил ужас, подобный которому испытывал, наверно, лишь однажды в жизни, да и другие Твои мелкие замечания нагоняют на меня порой довольно страху. Я пугаюсь, едва прочтя, что Твоя матушка пытается остеречь Тебя от возможных разочарований, или когда читаю о Твоем бреславском знакомом, о котором уже неделями не решаюсь ничего спросить, путаюсь, услышав, что Ты меня любишь, но если бы не услышал, наверно, просто бы умер. Ты, кстати, однажды что-то в этом роде обо мне как раз и написала, и я тщетно пытался уразуметь, как Ты до этого додумалась. Хотя то, что Ты это почувствовала, ничуть меня не удивило, ибо Твои чувства Тебя никогда не обманывают, это я отлично знаю.

У всех этих несуразностей есть одна и достаточно очевидная причина, я повторюсь, назвав ее, потому что сам страшно легко о ней забываю, — это всего лишь состояние моего здоровья, только оно и ничто другое. Больше я об этом написать не могу, но именно мое самочувствие лишает меня уверенности перед Тобой, бросая меня из жара в холод, а следом и Тебя втягивая в эти метания. Именно из-за этого прежде всего — и даже прежде моей любви к Тебе — я так жадно жду Твоих писем и буквально их пожираю, из-за этого не могу до конца поверить Твоим добрым словам, из-за этого извожу себя и Тебя своими печальными просьбами, только из-за этого. И перед этой бедой, конечно же, бессильна даже самая беззаветная доброта. Чувствую, я никогда не найду в себе сил Тебя лишиться, и эта немочь, которую в других я посчитал бы добродетелью, будет самым страшным моим грехом.

Любимая, это было наказание, а не поездка. Вчерашний пустой вечер совсем меня доканал. По-моему, за время всей поездки не было и секунды, чтобы я не был несчастлив хоть чуточку. Даже наверху, в горах, была мразь и слякоть, хотя ночью шел снег, отключить в моем номере отопление оказалось невозможно, пришлось на всю ночь оставить окно настежь, я спал и чувствовал, как снежные хлопья ложатся мне на лицо. Всю дорогу я сидел напротив какой-то мерзкой бабы и с трудом подавлял в себе желание запихнуть кулак ей в рот всякий раз, когда она зевала. По пути, чтобы хоть как-то утешиться, я посматривал на Твою фотографию, она утешала меня и ночью, положенная на стул возле кровати. Нельзя, нельзя уезжать, когда дома ждет работа, требующая всех твоих сил, тут впору проявить непослушание по службе, но остаться. А все от этой неотступной тревоги — она и сейчас, кстати, меня не отпускает, — что поездка собьет меня с толку, повредит той коротенькой истории, которую я сейчас сочиняю, что я не смогу писать и т. д. И с такими-то мыслями смотреть в окно на гнилую промозглую погоду, бегать по грязи, увязать в грязи, вставать в пять утра! Чтобы хоть как-то отомстить этому городишке, я купил в местном писчебумажном магазинчике единственную во всем Крацау приличную книжку. Новеллу Бальзака. В предисловии, кстати, говорится, что Бальзак всю жизнь придерживался совершенно особого распорядка дня, который представляется мне весьма разумным. Он в шесть вечера ложился спать, в полночь вставал и остальные восемнадцать часов работал. Вот только зря он пил так много кофе, это вредно для сердца. Но в такой поездке даже Бальзак не в радость. Новелла мне не понравилась. В железнодорожной газетенке, что кладут в поездах, я вычитал дурацкое, хотя и приписываемое Гёте, изречение о Праге как "драгоценнейшем камне в короне Земли". Короче, самым прекрасным в этом путешествии оказалось возвращение в Прагу — да и состояние мое по мере приближения к Праге постепенно улучшалось. Когда я сходил с поезда, меня вдруг цапнула за воротник детская ручонка, я обернулся и увидел у себя за спиной молодую женщину с ребенком на руках. И она тоже очень живо напомнила мне Тебя, по крайней мере в самый первый миг, и опять-таки не лицом и не какой-то мелочью, на которую можно было указать, а всем обликом и потому как-то особенно неотвратимо. А может, это про-

сто оттого, что Твой образ постоянно у меня перед глазами. Заботливее, чем это сделал я, еще никто и никогда не помогал этой юной даме выйти из вагона. Да ей и нужно было помочь, с ребенком на руках она не видела ступенек. <...>

Прощай, любимая. Угрозы, которая, как Ты могла прочесть в начале, повисла над нами, мы лучше касаться не будем до тех пор, пока не сможем перемолвиться друг с другом настоящим изустным, а не только письменным словом. Ты ведь тоже так думаешь?

Прошу тебя, не рассматривай сегодняшнее письмо как рецидив, я по-прежнему живу в новом времени, просто оно несколько омрачено затором моего писательства.

Твою руку, Фелиция!

*Франц*

---

27.XI.1912

Любимая, к чему заключать поцелуями только письма, когда письма сами по себе настолько не важны, а перед Твоим чаемым и все же непредставимым присутствием бумага и перо вообще мигом обратились бы в ничто, чем они уже и сейчас, в сущности, являются. В самом деле, Фелиция, когда я вот так, в полном одиночестве, сижу здесь, в ночи, и мне, как сегодня, да и вчера, не особенно хорошо пишется — что-то кое-как движется, вяло и равнодушно перекатываясь, а необходимая ясность вспыхивает лишь на секунды — и когда я, пребывая в этом, отнюдь не лучшем своем состоянии, пытаюсь вообразить себе наше свидание, я иногда начинаю бояться, что просто не вынесу встречи с Тобой, на улице ли, у Тебя на работе или дома, не вынесу, если кто-то из посторонних или даже Ты сама при этом будут на меня смотреть; начинаю бояться, что вынести эту нашу встречу мне будет возможно, только если я настолько погрязну в душевном разброде и тумане, что, по сути, не буду достоин перед Тобой предстать. Но Ты-то, по счастью, не статуя, Ты живая и живешь весьма энергично, быть может, едва только Ты протянешь мне руку, все снова будет хорошо и мое лицо, возможно, уже вскоре примет человеческое выражение.

Ты спрашиваешь, как я собираюсь провести рождественские каникулы. У меня, к сожалению, нет под рукой календаря. Отпуск у меня, конечно, только в два праздничных дня, но поскольку в этом году у меня накопилось еще три свободных дня за переработку (сокровище, одна возможность использования которого уже несколько месяцев придает мне сил), а праздники, как я слышал, на сей раз выпадают так, что, если присовокупить к ним два из этих трех заветных дней да еще и воскресенье прихватить в придачу, получается то ли пять, то ли даже шесть дней каникул, так что мой отпуск, если прибавить к нему те два дня, даже на что-то будет похож. Только вот я был полон решимости посвятить это время своему роману, может быть, даже завершению романа. И теперь, когда роман вот уже больше недели лежит без движения, а новая история хоть и движется к концу, но вот уже второй день наводит меня на подозрения, что я второпях в чем-то с ней просчитался, — я, по сути, должен бы как можно тверже этого намерения держаться. Один из рождественских дней я и так уже потеряю из-за свадьбы сестры, это будет 22-го. Я, кстати, и не припомню, уезжал ли когда-нибудь на Рождество; сперва долго катить куда-то, чтобы потом, уже через день, столько же катить обратно, — бесполезность подобных предприятий всегда меня удручала. А каковы, любимая, Твои виды на рождественские каникулы? Останешься в Берлине, несмотря на Твою настоятельную потребность как следует отдохнуть? Ты ведь хотела в горы, только куда?

Куда-нибудь, где Ты для меня будешь достижима? Видишь, я был полон решимости до завершения романа вообще не показываться на людях, а теперь спрашиваю себя, но это, правда, только сегодня вечером, смогу ли я по окончании с чуть более спокойной — или, по крайней мере, чуть менее нечистой — совестью взглянуть Тебе в глаза. И не важнее ли, чем пожертвовать неистовству писания вольницу этих шести дней и ночей кряду, наоборот, насытить наконец мои несчастные глаза лицезрением Тебя? Ответь Ты, я со своей стороны вывожу крупное "Да".

*Франц*

---

30.XI.1912*

Измучена Ты, наверно, совсем измучена, моя Фелиция, когда возьмешь в руки это письмо, так что я постараюсь писать как можно разборчивее, чтобы не утомлять Твои слипающиеся от усталости глаза. А может, Тебе лучше отложить пока это письмо не читая и несколько часов спокойно отоспаться после шума и свистопляски этой недели? Письмо никуда от Тебя не улетит, оно будет послушно лежать на одеяле, дожидаясь Твоего пробуждения.

Не могу Тебе точно сказать, который сейчас, когда я пишу эти строки, час, потому что часы лежат на кресле в нескольких шагах от меня, но я не решаюсь к ним подойти и посмотреть, наверно уже совсем скоро утро. Но я и за стол-то сел на сей раз только после полуночи. По весне и летом, наверно, уже не удастся — по опыту не могу сказать, ведь мои ночные бдения начались относительно недавно — так безотрывно по многу часов работать, предрассветные сумерки обязательно загонят в постель, но сейчас, в эти неизменные долгие ночи, мир забывает о тебе, даже если сам ты о нем забыть не можешь.

К тому же и работал я до того отвратительно, что сна вообще не заслужил и по идее должен быть приговорен провести остаток ночи возле окна за тупым созерцанием. Понимаешь ли Ты, любимая, что это значит: знать, что пишешь плохо, и все равно писать, если не хочешь подпасть отчаянию совсем уж беспредельному. Вот как ужасно приходится искупать счастье часов, когда пишется хорошо! Вроде бы и не быть по-настоящему несчастным, не ощущать в себе свежий шип боли, а просто смотреть на страницы тетрадки у себя под руками и видеть, как они без конца заполняются вещами, которые тебе ненавистны, вызывают у тебя отвращение или в лучшем случае мрачное безразличие — и которые ты должен, должен писать, просто чтобы жить. Вот проклятье! Если бы можно было страницы, что я написал за последние 4 дня, уничтожить так, словно их никогда и не было!

И это называется пожелания доброго утра? Разве так встречают пробуждающуюся возлюбленную в первые часы дивного воскресного дня? Что ж, каждый встречает ее так, как он устроен, да Ты наверняка и не хочешь, чтобы было иначе. Что до меня, то я буду доволен, если своим нытьем не вполне успел разогнать Твой сон и Ты погрузишься в него снова. А на прощание скажу Тебе еще, что все наверняка и совершенно непременно будет гораздо лучше и у Тебя совсем не будет никаких забот. Меня нельзя напрочь выбросить из писательства, раз уж я несколько раз, как мне кажется, оказывался в самой его сердцевине и грелся его теплом. <...>

Спокойной ночи! И доброго воскресенья!

Твой *Франц*

3.XII.1912*

Любимая, надо было мне, наверно, продержаться и писать сегодня всю ночь. Это ведь мой долг, моя маленькая история близится к концу, слитность и азарт этих непрерывных часов очень бы пошли заключительным страницам на пользу. К тому же кто знает, смогу ли я вообще завтра писать из-за выступления, которое теперь уже проклинаю[1]. И тем не менее — прекращаю, не отваживаюсь. Из-за этого писания, которым с подобной регулярностью я стал заниматься относительно недавно, я из добросовестного, пусть не образцового, но во многих отношениях вполне пригодного чиновника (нынешняя должность моя называется старший делопроизводитель) превратился в сущее бедствие для своего начальника. Мой письменный стол в конторе, правда, и никогда не отличался особым порядком, но сейчас он просто завален высоченной горой бумаг и папок, то, что лежит сверху, я еще смутно помню, а внизу только чую нечто ужасное. Иногда, мне кажется, я прямо слышу, как писательство с одной стороны и контора с другой буквально перетирают меня, словно жернова. Но потом опять наступают времена, когда мне вроде бы удается как-то уравновесить одно с другим, особенно если дома я писал плохо, но способность эта (я имею в виду — уравновешивать, а не писать плохо) постепенно, боюсь, сходит на нет. Иногда у себя в конторе я озираюсь по сторонам с таким видом, который в прежние времена на подобной работе ни один нормальный человек не посчитал бы допустимым. Только мой машинист единственный еще как-то умеет мягко выводить меня из этого забытья. Ну, и Твои письма, особенно сейчас, с тех пор как мы любим друг друга спокойно и нежно, безусловно, помогают мне выжить; значит, кто-то — и не просто кто-то, а любимая — обо мне еще заботится, думаю я и, взбодренный Твоим письмом, с новыми силами принимаюсь за работу. И все же, и все же...

Сегодня я так мало Тебе написал и так много хотел сказать. <...> Но теперь конец. Моя история не даст мне заснуть, но Ты, а вместе с Тобой мечты и грезы навеют на меня сон. Вчера в мечтах, лежа в траве, я обсуждал с Тобой совместный отдых в деревне.

Твой *Франц*

1. Имеется в виду чтение в обществе Гердера, где Кафка читал свою новеллу "Приговор".

---

С 5 на 6.XII.1912

Плачь, любимая, плачь, сейчас самое время поплакать! Герой моей маленькой истории только что умер. Если Тебя это утешит, знай, что умер он достаточно спокойно, примиренный со всеми. Сама история еще не совсем закончена, но у меня сейчас нет охоты ее дописывать, оставляю конец на завтра. Да и поздно уже очень, а у меня много времени ушло, чтобы заглушить в себе вчерашние треволнения[1]. Жаль, что в некоторых местах истории запечатлелись периоды моей усталости, перерывы и прочие не относящиеся к делу заботы, ее, конечно же, можно было сработать чище, это особенно хорошо видно как раз на упоительных сильных страницах. Это вечно грызущее меня чувство, что сам я, со всеми силами воплощения, которые я в себе чувствую, независимо от их мощи и долговечности, при более благоприятных жизненных обстоятельствах мог бы справить более чистую, более убедительную, более выстроенную работу, чем та, что лежит сейчас передо мною. И это чувство, которое не успо-

коить никакими доводами разума, хотя, конечно, прав может быть только разум, нашептывающий, что не бывает иных обстоятельств, кроме действительных, поэтому ни на какие иные и рассчитывать не стоит. Словом, как бы там ни было, я завтра надеюсь эту историю завершить и уже послезавтра снова наброситься на роман.

Моя бедная любимая, Ты хочешь знать, когда приходят Твои письма, чтобы легче ориентироваться по времени. Но почта совершенно непредсказуема, в особенности австрийская, она работает на чистой импровизации, примерно как игрушечная почта на дачных праздниках. Твое первое письмо экспрессом было доставлено в понедельник в 11 мне на квартиру, второе пришло в среду между 9 и 10 в контору, Твою телеграмму принесли в половине пятого пополудни мне домой (было бы даже лучше, если бы ее принесли чуть позже, тогда она вовремя бы меня разбудила, а так я почти проспал и поспел лишь к девяти), Твое письмо курьерским — письмо, которое любимая Фелиция намечала для меня на среду после обеда — пришло лишь в четверг утром ко мне на дом, и я, получив его в руки только в три часа, лишний раз убедился, насколько крепко мы снова связаны, потому что Ты хотела, чтобы телеграмму я взял с собой на вечер, и я действительно уже почти положил ее в карман, но передумал, потому что хотел не просто держать Твой талисман в кармане, а во время чтения иметь перед собой на столе, для чего телеграмма все-таки не слишком годится, вот я и взял с собой Твою открытку.

Судя по всему, я с редкой вразумительностью рассказываю о своей конторе (она, впрочем, иного и не заслуживает), раз Ты, любимая, все так своеобразно понимаешь. У нас не 70 отделов, а, наоборот, в отделе, где я работаю, 70 сотрудников. У начальника нашего отдела три заместителя, один из которых, причем, к сожалению, по самым важным, а точнее сказать, самым каверзным делам, это как раз я. Вот как все обстоит, а чтобы Ты усвоила это еще лучше, столь неприятно чужой на фотографии, в глубине души, однако, преданный Тебе, как никто другой, человек шлет Тебе долгий, долгий поцелуй.

Твой *Франц*

1. Вероятно, имеется в виду все тот же вечер пражских авторов в обществе Гердера 4 декабря 1912 г., на котором Кафка читал "Приговор".

---

С 6 на 7.XII.1912

Любимая, итак, слушай, моя маленькая история окончена; правда, в нынешнем виде я этим финалом вовсе не доволен, его можно было написать гораздо лучше, это несомненно. Первая мысль, примыкающая к подобным грустным раздумьям, всегда вот какая: зато у меня есть Ты, любимая, это второе оправдание моей жизни, хотя это, конечно, позор — видеть оправдание всей своей жизни только в существовании любимой.

Только сейчас, слава Богу, вовремя вспомнил, что письмо это должно быть для Тебя воскресным, а значит, сетования лучше оставить до понедельника. Любимая, не знаю почему, но меня Твоя прогулка вдоль городской железной дороги безмерно тронула. Какой, должно быть, в небесах стоит адский хохот, когда оттуда наблюдают за нашими одновременными одинокими прогулками по городу, переводя глаза с одного из нас на другого.

Эта фотография, любимая, снова приблизила Тебя ко мне еще на один большой, большой шаг. На мой взгляд, это довольно старый снимок. (Ты ведь никаких пояснений к фотографии не даешь и, может, хочешь заманить меня в

ловушку; но счастье и благодарность придают мне отваги, вот я и не боюсь ничего.) В целом — по освещению, расположению и настроению запечатленных на снимке лиц — все это выглядит весьма таинственно, да и ключ к разгадке, помещенный на переднем плане возле явно относящейся к нему же шкатулки, не проясняет дела ни на йоту. Ты грустно улыбаешься, или это мое настроение приписывает Твоей улыбке грусть. Впрочем, мне нельзя надолго задерживать на Тебе взгляд, иначе вообще не смогу оторвать. На Тебе какая-то невообразимо нарядная блузка. На левом запястье то ли шнурок, то ли браслет. Независимо от моего, в данном случае действительно ничего не определяющего суждения, Ты, похоже, и для присутствующих находишься в центре внимания не только по Твоему расположению на снимке, но и потому, что Твоя мать держит Тебя под руку — или, по крайней мере, создается такое впечатление. Это придает Тебе особую значительность. Кроме того, Ты и смотришь совсем в другую сторону, чем остальные члены семейства. Ближе других мне на этом снимке Твоя мама (даже невзирая на риск, что Твоей мамы на этом снимке и нет вовсе). Тем не менее судить об ее внешности несколько сложно, так как освещение главным образом направлено на ее лицо. По-моему, это довольно высокая женщина, несколько худощавая. В родне моего отца есть женщины, отдаленно на нее похожие. У нее очень проницательный вид, я почти готов вернуться к своему самому первому суждению о ней, с такой женщиной я бы решился на разговор. Отец Твой смотрит с большим достоинством, перед ним я бы, наверное, оробел. Какое, кстати, у него дело? Брата Твоего я уже знаю по предыдущему снимку со вспышкой, ничего нового я в нем здесь не вижу. С краю, наверно, стоят Твои сестры (угадывание отчасти облегчается тем, что брат Твой холост), ту, что постарше, я назову будапешткой, а веселого мужчину рядом с ней — Твоим будапештским зятем. Они единственные, кто по-настоящему смеется, вот и ясно, что они пара. Девочка на другом краю — это, наверно, Твоя флегматичная сестренка, судя по ее самодовольной и несколько сонной улыбке. (В том, что двадцатилетняя девушка ничего не читает, я лично не вижу ничего страшного, несерьезное чтение гораздо страшней.) И в какой это вы комнате? Это что, ваша нынешняя гостиная, а это тот самый стол, за которым в одном из Твоих писем отец и брат играли в "шестьдесят шесть"? И кто вас снимал? Это какое-то семейное торжество? Отец и брат, похоже, в темном и при белых галстуках, а твой зять в пестром. Любимая, как же я силен перед изображением и насколько бессилен перед действительностью! Я легко могу представить, как вся семья отходит в сторону и удаляется, оставив передо мной только Тебя, и как я через большой стол всем телом подаюсь Тебе навстречу, пытаясь перехватить Твой взгляд, чтобы сохранить его в себе и умереть от счастья. Любимая, фотографии — это прекрасно, без них никак нельзя, но и с ними — как же мучительно!

Предчувствуя недоброе, пошел сейчас взглянуть, который час. Без четверти 4! Совсем скверно. Но я только после полуночи сел за работу. Спокойной ночи, любимая. И будь ко мне добра! На следующей неделе Ты получишь мою маленькую книжицу[1]. Интересно, скольких поцелуев я за нее заслужу? Вот и нашлось прекрасное занятие для грез. Любимая, пусть это будет последнее слово — любимая!

Твой *Франц*

Просто так, для контроля над почтой, сообщаю, что сегодня я получил от Тебя только одно срочное письмо с фотографией.

1. Сборник "Созерцание".

Ночь с 7 на 8.XII.1912

[242]
ИЛ 2/2003

Любимая, по разным причинам я сегодня для себя ничего не написал. Надо было написать два письма, ходатайство для конторы, обоснование необходимости этой дурацкой служебной поездки в Лейтмериц[1], кроме того, вечером я только в семь лег спать и лишь в 11 проснулся, наконец, судя по всему, несмотря на невероятную спешку, эта лейтмерицкая поездка, вероятно, лишит меня одной рабочей ночи, и роман, только-только возобновленный, опять придется отложить, — короче, было несколько причин тому, что я сегодня работу не продолжил. И отнюдь не самая маловажная из них в том, что я сегодня испытываю какое-то особенно беспокойное влечение к Тебе. Все ли у Тебя хорошо? Не слишком ли многое во мне Тебя не устраивает? И много ли именно сегодня я для Тебя значу? Любимая, мне сегодня чуть ли не все время, пока я спал, снилась Ты, но в памяти остались только два сна. Сразу же после пробуждения я изо всех сил постарался их забыть, ибо в них с навязчивой и предельной отчетливостью, с какой в более тусклой дневной жизни она никогда не прорывается в сознание, мне была явлена ужасная правда. Расскажу Тебе их только совершенно поверхностно и кратко, хотя они были весьма запутанные и полны подробностей, которые и по сей час подступают ко мне угрозой. Первый был связан с Твоим случайно оброненным замечанием, что у вас можно телеграфировать прямо с работы. Вдруг оказалось, что и из моей комнаты тоже можно телеграфировать, аппарат стоит прямо возле кровати, наверно как Твой столик, когда Ты по привычке его к кровати придвигаешь. Только это какой-то особенный, почему-то колючий аппарат, и как я по телефону звонить боюсь, точно так же боюсь и телеграфировать. Но телеграфировать нужно обязательно — из-за какой-то невероятной тревоги о Тебе, а еще от дикого, буквально вырывающего меня из постели желания вот сейчас, сию же секунду получить от Тебя весточку. По счастью, моя младшая сестренка тут как тут, готова помочь и начинает телеграфировать вместо меня. Тревога о Тебе придает мне изобретательности, к сожалению, правда, только во сне. Аппарат, оказывается, устроен таким образом, что достаточно нажать всего одну кнопку — и на бумажной ленте тут же появляется ответ из Берлина. Помню, что я, буквально окаменев от напряжения, неотрывно смотрю на эту ленту, которая сперва разматывается совершенно пустая, хотя ничего другого от нее и ждать нельзя, потому что, пока тебя в Берлине не подзовут к аппарату, ответ прийти не может. Зато какая же была радость, когда на ленте появились первые буковки и слова; по-моему, я просто с кровати должен был свалиться, так, помнится, я во сне ликовал. Пришло настоящее письмо, и я очень ясно мог его прочесть, большую его часть я, наверно, мог бы и припомнить, будь у меня к тому охота. Этим я хочу только сказать, что в мягкой, ласковой манере, от которой все во мне переполнялось счастьем, меня в том письме тем не менее распекали за мое чрезмерное беспокойство. Меня назвали "ненасытным" и перечисляли мне все письма и открытки, полученные мною в последнее время, равно как и те, которые мне посланы и еще идут.

Во втором сне Ты была слепая. Берлинский институт слепых организовал для всех пациентов прогулку в деревню, где мы с матерью снимали дачу. Жили мы в деревянном домишке, окна которого врезались мне в память очень отчетливо. Домишко располагался в усадьбе большого, раскинувшегося на пологом склоне поместья. С левого фланга к домику лепилась застекленная терраса, в которой слепых девушек по большей части и разместили. Я знал, что и Ты среди них, и в голове моей роились смутные замыслы, как бы так подстроить, чтобы с Тобой встретиться и поговорить. Снова и снова выходил я из нашего дома, перешагивал через доску, брошенную перед дверью на мшистую почву вместо порога, и, так Тебя и не встретив, в нерешительности плелся назад. И мать моя,

в простом бесформенном, как у монашенки, платье, тоже как-то бестолково бродила вокруг, сложив, если вообще не скрестив на груди руки. Она твердо рассчитывала на всевозможные услуги, которые слепые девушки обязаны ей оказать, и особенно выделяла для этой цели одну, в черном платье, круглолицую, у которой, однако, одна щека была изуродована шрамами и как будто полностью расплющена. Мать и мне не уставала нахваливать сообразительность и расторопность этой девушки, я даже специально на нее глянул и кивнул, но думал только о том, что она Твоя товарка и, наверно, знает, как Тебя найти.

Внезапно все это относительное спокойствие кончилось, может, дали сигнал собираться, во всяком случае, всем вам надо было уходить. Соответственно и мое решение окрепло, и я побежал вниз по склону через дверцу, буквально проломленную в стене, ибо мне показалось, что все вы двинетесь именно в этом направлении. Внизу, однако, я наткнулся только на выстроившуюся шеренгу слепых мальчиков во главе с воспитателем. Я походил туда-сюда за их спинами, полагая, что сейчас сюда же подтянется и весь остальной ваш институт и тогда уж я запросто Тебя найду и смогу с Тобой заговорить. Я, впрочем, уже слишком долго тут задерживался, не догадался и спросить о походном порядке, в котором институт собирается начать передвижение, и растрачивал попусту драгоценное время, глазея на то, как на каменном постаменте распеленывают, а потом снова запеленывают грудного младенца — получается, что в институте были представители всех возрастных групп. Наконец тишина, и прежде царившая вокруг, начала казаться мне подозрительной, и я поинтересовался у воспитателя, почему остальной институт не подходит. И с ужасом услышал в ответ, что отсюда только маленькие мальчики отправляются, тогда как все остальные как раз сейчас покидают поместье через другой, прямо противоположный выход — тот, что наверху, совсем на горе. В утешение он мне еще сказал — вернее, прокричал, потому что я уже бросился бежать, как безумный, — что я еще, должно быть, успею, потому что построение слепых девушек, разумеется, требует много времени. И вот неожиданно крутым и ослепительным от жаркого солнца путем я побежал наверх, в гору, вдоль голой крепостной стены. В руке у меня вдруг оказалась толстенная книга, австрийский свод законов, тащить которую было неудобно и тяжело, но она каким-то образом должна была мне помочь с Тобой увидеться и наконец-то по-человечески поговорить. По пути мне вдруг пришло в голову, что Ты ведь слепая, а значит, мой внешний вид и манеры, по счастью, никак не повлияют на впечатление, которое я должен на Тебя произвести. Ввиду этого внезапного соображения я уже начал прикидывать, не выбросить ли этот клятый свод законов, раз он только бесполезная обуза. Наконец я забрался наверх, кинулся к воротам, но оказалось и вправду, что времени еще полно, первая пара только-только приближалась к порталу входа. Я приготовился, мысленно я уже видел, как Ты подходишь вместе с толпой девушек, скованная, тихая, веки сомкнуты.

И тут я проснулся, весь в жару и в отчаянии оттого, что Ты от меня так далеко.

1. Литомержице в современной Чехии.

---

С 9 на 10.XII.1912*

Любимая моя, до чего же эти проклятые перерывы вредят моей работе, просто хоть плачь! Еще вчера я с трудом удерживал себя от работы, так встряла командировка, и уже сегодня я писал весьма посредственно, но, по счастью, хотя бы мало. Нет, лучше даже не говорить об этом!

Единственное, что отчасти примирило меня с этой поездкой, так это то, что для агентства она оказалась совершенно бесполезной, хоть, с другой стороны, это слегка задевает мое самолюбие. В конечном итоге вся командировка свелась к посещению родственников (у меня в Лейтмерице родня), поскольку судебное заседание, на котором я должен был представлять свое учреждение, еще три дня назад перенесли на неопределенный срок, даже не поставив об этом — по недосмотру судебной канцелярии — в известность наше агентство. С этой точки зрения, конечно же, особую значимость приобретает всякая мелочь моего путешествия: то, как я второпях ни свет ни заря выбегаю из дома, по бодрящему утреннему морозцу трушу пустынными переулками мимо хотя и освещенной уже, но наглухо занавешенной утренней залы "Голубой звезды", в окна которой взыскующими завтрака очами можно смотреть сколько угодно, потому что изнутри на улицу все равно никто не глянет; как трясусь потом в ночном поезде среди спящих пассажиров, которые хоть и дрыхнут, но и в спящем состоянии достаточно бдительно упорствуют в своих заблуждениях, чтобы переставленное на "холод" отопление даже спросонок снова и снова немедленно переключать на "тепло", дабы в перетопленном, душном купе стало еще душнее; как потом, наконец, полчаса тащусь в деревенских дрожках по мглистым туманным аллеям и припорошенным снегом полям, — и все это в неизбывной тревоге, в постоянном беспокойстве, пусть хотя бы из-за тупости собственного взгляда, которым я на все это взираю. И вот в конце концов в восемь утра я оказываюсь перед магазином моих родственников, на Лангегассе в Лейтмерице, и в конторе дядюшки (точнее сказать, даже сводного дяди, если подобное вообще бывает), знакомой мне еще с детства, наслаждаюсь чувством собственной бодрости и неоправданного превосходства, которые прибывший с мороза гость источает на вытащенного из постели хозяина, тщетно пытающегося в своих войлочных шлепанцах не дрожать в только что открытой и насквозь выстуженной за ночь лавке. Потом вышла тетя (если уж быть совсем точным, жена моего четыре года назад умершего дядюшки, которая после его смерти вышла замуж за управляющего, вот он-то сводный дядя и есть) — теперь уже весьма болезненная, но все еще очень живая, маленькая, кругленькая, крикливая, потирающая руки, с незапамятных времен очень симпатичная мне особа.

Но в этом месте я вынужден оставить ее шуметь дальше уже без меня, ибо в соседней комнате только что пробило три часа утра и ее племяннику пора спать. Любимая, про Твое сегодняшнее письмо мне так много надо всего Тебе сказать! Пожалуйста, не смотри на меня как на какое-то чудо, ради нашей любви прошу Тебя, не надо. Потому что тогда создается впечатление, будто Ты хочешь от меня отдалиться. По сути своей, покуда я сам по себе и сам с собой и до тех пор, пока Ты не оказываешься поблизости, я просто очень бедный и несчастный человек; все, что есть во мне необычного, необычно по большей части только в худшем и печальном смысле этого слова и сводится, как Ты верно догадываешься в начале своего письма, не рискнув, правда, домыслить свои догадки до конца, сводится главным образом к тому, что я не могу, вместо того чтобы без толку мотаться в Лейтмериц, взять и с самыми недвусмысленными намерениями поехать в Берлин. Поэтому, любимая, привлеки меня настолько близко к себе, насколько это позволяет моя прискорбная необычность. И не надо говорить о величии, которое во мне таится, или Ты и впрямь считаешь признаком величия то, что из-за двухдневного перерыва в своих писаниях я провожу эти два дня в неизбывном страхе, что больше вообще писать не смогу, страхе, впрочем, как показал сегодняшний вечер, отнюдь не таком уж беспочвенном? А в тот наш вечер чем иным была моя возня с картонкой, как не кокетством, трусливостью, а еще, вероятно, отчаянием от собственной нелю-

димости, но и закоснелой привычкой с удобствами в этой нелюдимости обретаться? Ты, конечно, тогда же все это раскусила, пусть неосознанно, а сегодня Тебя просто подводит память, не стоит этого допускать. А во всем, меня так и подмывает сказать, виновата эта дурацкая фотография, которую я так долго не решался послать и которая теперь, с одной стороны, мне повредила, с другой же стороны, ровно ничем не помогла, ибо Твоей последней фотографии у меня так и нет, хотя она давно уже должна быть готова. Любимая, будь ко мне ближе, близко, совсем близко, настолько близко, насколько сам я рвусь быть близким Тебе, насколько был близок во всей этой поездке, в вагоне, в повозке, у родных, в суде, на улице, в чистом поле. В купе я мысленно скинул со скамьи напротив моего попутчика, посадил вместо него Тебя, и всю дорогу мы спокойно, каждый из своего угла, друг на друга смотрели. <...>

*Франц*

---

Ночь с 11 на 12.XII.1912

Любимая, чувствую себя довольно странно, но надо терпеть. Сегодня я отдохнул, ночью с часу до утра вполне хорошо спал, смог заснуть и после обеда, потом сажусь писать, пишу немного, ни шатко ни валко, так себе, и вдруг перестаю, хотя по самочувствию-то как раз полагаю в себе достаточно сил и способностей работать дальше, но примерно час пребываю в совершенном безделье в своем кресле, в шлафроке, в выстуженной комнате, где и сижу по сию пору, укутав ноги пледом. В чем же дело? — спросишь Ты, да и я себя спрошу. Так мы с Тобой и стоим, рука об руку, если Ты не возражаешь, передо мной и смотрим на меня, решительно меня не понимая. При этом сегодня, пребывая вследствие того, что мне так долго не пишется, в полном разладе с собой, я после обеда Тебе не писал, — впрочем, еще и от нехватки времени, а еще потому, что в 10 Ты получишь мою книжку, а еще потому, что размеренная, одноразовая ежедневная переписка для нас обоих самое лучшее, но прежде всего из-за общей хандры и тяжелой, тупой расслабленности все по той же причине не-писания, ибо сказал себе, что нет никакой надобности чуть что полной чашей изливать на Тебя, и так достаточно измученную мою девочку, все свои минутные горести. И вот сейчас, вечером, чувствуя всем существом если не непосредственную душевную расположенность, то все более настоятельное в своей внутренней безутешности побуждение писать, я пишу так мало, что написанного едва хватит, чтобы пережить завтрашний день, после чего лениво возлежу в кресле в томном бессилии, будто истекаю кровью. В каком же душевном мраке отправился бы я сейчас спать, не будь у меня, любимая, Тебя, к кому можно обратиться со словом слабости, дабы оно вернулось от Тебя с удесятеренной силой. Теперь, во всяком случае, я ни на один вечер не оставлю свою работу и завтра же углублюсь в нее со всем возможным рвением.

Только, пожалуйста, любимая, когда пишешь мне, никогда не забывай рассказать, где Ты сейчас, во что одета, что вокруг Тебя делается. Твое письмо из трамвая подарило мне чувство почти безумной близости к Тебе. Как же Ты исхитряешься там писать? Бумага лежит у Тебя на коленях, и Ты так низко наклоняешься? Трамваи в Берлине медленно ездят, да? Наверно, целыми вереницами, один за другим? А утром Ты идешь на работу пешком? В какой же ящик Ты опускаешь письма?

В этом письме, кстати, Ты говоришь о прошлом воскресенье как о вполне спокойном дне. Но как согласовать это с Твоими прежними замечаниями? А эта роскошная трапеза! Спаржа в ноябре! И как понять, что Ты вместо прогул-

ки переплетала книги? И переплела? Но как? Любимая, и всеми этими вопросами я надеюсь Тебя постигнуть? Но могу ли я иначе?

Поцелуи в уголке![1)]

*Франц*



12.XII.1912

Любимая, так нельзя! Обещать второе письмо — и не сдержать обещания! Я знаю, у Тебя нет времени, да я ведь и не требую второго письма, но если Ты с такой определенностью, как в сегодняшнем своем утреннем письме, его обещаешь, а оно не приходит, я волей-неволей начинаю волноваться. Да и разве может быть иначе? Как только я чувствую у Тебя какой-то сбой, какую-то неуверенность, я и сам, конечно же, теряю уверенность и еще меньше на что-то гожусь, чем всегда. Хотя сегодня все не так уж скверно. Твое утреннее письмо такое милое и успокаивающее, а если Ты еще и "Утреннюю зарю"[1] читаешь, то, по крайней мере, с этой стороны Ты в безопасности. Но ежели обещанное письмо не придет, для меня всего этого будет недостаточно.

Спасибо за статью Герцога[2]. Я кое-что его уже читал, у него довольно слабая, неприятно наставительная манера письма, сухость которой он снова и снова (в каждом предложении) пытается оживить, и всякий раз неудачно. Я слишком устал, чтобы выражаться яснее. Главная его мысль здесь, как и всегда, весьма похвально и искренне прочувствована. Неуверенность его письма, отрывочность мышления, с которой он пытается бороться, несомненный, только вот в письме слабо пробивающийся темперамент придают его статьям характерность, выраженную ярче, нежели в работах иных более сильных писателей. Если он хотел порекомендовать читателю хорошие книги, то в статье своей он безусловно прав, если же намеревался дать определение понятию "современный", то даже нельзя сказать, что он не прав, потому что для решения подобной задачи он ничем, кроме прописных истин, не запасся. Импонирует только подробный разбор Верфеля как апофеоз статьи. Знаешь, Фелиция, он и правда чудо, этот Верфель, когда я впервые прочел его книгу "Друг человечества" (отдельные стихи в его собственном исполнении я и раньше слышал), я был от него в таком восторге, что казалось, просто с ума сойду[3]. Этот человек способен на невероятное. Впрочем, он уже за это вознагражден (в том числе и жалованьем), живет как в раю в Лейпциге, работает редактором в издательстве Ровольта (где и моя книжица вышла) и в возрасте примерно 24 лет располагает полной свободой для жизни и творчества. Он еще такими вещами разразится! Даже не знаю, как закончить, раз уж этот незнакомый молодой человек вдруг между нами встрял.

*Франц*

1. Роман австрийского прозаика и эссеиста Отто Штесля (1875—1936).
2. Статья немецкого публициста, драматурга и переводчика Вильгельма Герцога "Что современно?", опубликованная в газете "Berliner Tageblatt" от 10.12.1912, № 629.
3. Франц Верфель (1890—1945), как и Кафка, — пражско-австрийский писатель, прозаик, лирик, драматург. Ср. о нем в "Дневниках" от 23.12.1911 и от 30.08.1912.

1) за отсутствием места написано в углу страницы.

С 20 на 21.XII.12*

Уже третий вечер, любимая, я ничего не написал, скверный вечер, совсем не к Рождеству. Да и рождественский мой отпуск под большим сомнением, свадьба моей сестры — по-моему, я Тебе об этом еще не писал — хоть и отложена ввиду возможной войны[1], однако смогу ли я взять два своих отпускных дня, еще в высшей степени гадательно. У меня постоянно и беспросветно много дел, и чем больше их накапливается, тем меньше охоты, а вернее, тем больше отвращения их делать. Покуда я в конторе присутствую, употреблением последних остатков личного влияния мне еще как-то удается оградить от посторонних глаз свой доверху заваленный задолженностями рабочий стол, но если я буду сидеть дома, стол останется без присмотра, и уж тогда совершенно неизбежно в течение всего дня эти задолженности, сменяя друг друга, то и дело будут взрываться, как мины замедленного действия, что по возвращении грозит обернуться для меня немалыми неприятностями. Но несмотря ни на что — ибо сейчас, когда я это пишу, мысль о бездарной потере этих двух дней кажется мне совершенно невыносимой, все равно ничего особо дельного, кроме обороны письменного стола, мне за это время в конторе не совершить, — я думаю, что все же рискну их взять.

А что с Твоей работой, девочка моя? (Мне кажется сегодня, что Ты сейчас уже несколько успокоилась, уже не такая недовольная и что любимые Твои глаза снова лучатся тем приветливым и в то же время сосредоточенным взглядом, который сразил меня раз и навсегда.) Неужели Ты всегда и со всякой работой справляешься? И никакие письма не заваливаются под стол, не исчезают бесследно? И нет никакого потайного ящичка, где давние, безнадежно просроченные дела копошатся, точно мерзкие зверушки? У Тебя хорошая память? У меня вообще никакой, так что я работаю только за счет поистине безграничной памяти моего начальника, человека и во всех прочих отношениях изумительного. Но когда вдруг он и вправду что-то забывает из того, что мне понадобилось, я исподволь начинаю дразнить его память своими неуверенными, расплывчатыми подсказками — проходит немного времени, и он все вспоминает. Есть люди, которым одного только выражения готовности помочь, пусть даже в лице самого беспомощного собеседника, достаточно, чтобы они тотчас же все вспомнили. А уж работать настолько самостоятельно, как Ты, я бы, наверно, совсем не смог, от ответственности я ускользаю ужом, мне много всего надо подписывать, но каждую подпись, от которой мне удалось уклониться, я расцениваю как огромную свою победу, к тому же подписываю все (хоть вообще-то не имею на это права) только инициалами ФК, как будто от этого мне будет легче, и по этой же причине в производстве всех служебных дел меня как магнитом притягивает пишущая машинка, поскольку работа ее, выполненная руками переписчика-машиниста, так анонимна. Впрочем, дополняется, но и напрочь перечеркивается сия весьма похвальная предосторожность тем, что инициалами ФК я подмахиваю порой наиважнейшие бумаги, не читая их вовсе, а также моей забывчивостью, вследствие которой все, что однажды ушло с моего стола, для меня, можно считать, уже не существует. Памятуя, как я недавно претендовал на местечко в Твоем бюро, сочтешь ли Ты меня достойной кандидатурой после таких рекомендаций? <...>

Сегодня я искал кое-что на письменном столе у себя дома (и этот письменный стол своевольничает и не знает управы, за ним можно только что-то искать, но не работать, и лишь один ящик в полном порядке и на запоре — там Твои письма) и нашел старое письмо, это из времен того месячного ожидания, оно принадлежит Тебе, и я его Тебе посылаю, несмотря на его уже несколько непрезентабельный вид. Когда я его читаю — оно, к сожалению, без даты, — то вижу на фоне всех тогдашних вздорных своих надежд (сколь же многое я пишу

против воли, просто потому, что из меня это вырывается — неумелый я, жалкий я сочинитель!), насколько же все оказалось прекрасней, и хочется верить, что счастливая звезда, которая ведет нас, никогда не погаснет над нами. <...>

*Франц*



1. Имеется в виду Балканская война 1912—1913 гг., в которой союз Болгарии, Сербии, Греции и Черногории одержал победу на Турцией. Опасность вступления в эту войну Австро-Венгрии временами была очень реальной.

---

С 22 на 23.XII.1912

Любимая, я в каком-то разброде, не обижайся на невнятность того, о чем я пытаюсь написать. Я пишу Тебе, потому что переполнен Тобою всецело и должен как-то сообщать об этом внешнему миру. Все воскресенье в скверном состоянии я где-то слонялся, по большей части среди людей, совсем не спал, нежданно заявлялся в гости и негаданно уходил, со мной такого уже много месяцев не было. Просто я уже очень давно не писал и чувствую себя отторгнутым от писательства, то есть полным ничтожеством. Усугубляется это тем, что вожделенный рождественский отпуск взят, а я, по-моему, склонен совершенно беспутно его промотать. И уж совсем подспудно меня, конечно, гнетет мысль, что мне надо бы сейчас быть в Берлине, у Тебя, самой надежной моей защиты, а я вместо этого цепляюсь за свою Прагу, словно боюсь потерять последнюю опору, словно на самом деле Ты именно здесь, в Праге, а не где-то вдалеке.

Любимая, когда вчера вечером в таком вот замечательном настроении я вернулся домой и обнаружил на столе Твою телеграмму — щедрое Ты мое, сострадательное Ты мое сердце, — я даже не испугался почти, сразу почему-то понял, что ничего, кроме утешения, в ней быть не может, и когда предчувствие подтвердилось, я долго целовал эту чужую, шершавую бумагу, пока даже этого мне не показалось мало и я не прижал ее всю, целиком к лицу.

В какое время написано все предыдущее, Ты, любимая, наверняка не угадаешь. Наверно, это было около четырех. Под впечатлением от телеграммы я очень рано отправился спать, еще до девяти (я сейчас немного взбалмошно с собой обращаюсь), в два часа пробудился и наяву, с открытыми глазами, но все еще под воздействием сна, а потому в череде нескончаемых и почти волшебных видений грезил о Тебе и о возможной своей берлинской поездке. При этом возникали удивительные сплетения картин, легкие, прекрасные, без малейших помех: автомобили пролетали, словно влюбленные, телефонные разговоры текли сами собой, будто мы держимся за руки, об остальном сейчас лучше даже не вспоминать, — но чем больше я просыпался, тем беспокойнее мне становилось, так что в четыре я вылез из постели, сделал гимнастику, умылся, потом написал для себя две страницы, но от беспокойства их оставил и написал две вот эти, Тобой уже прочитанные, потом оставил и их и с раскалывающейся головой рухнул обратно в постель, где забылся до девяти утра тяжелым сном, в котором между прочим явилась и Ты, дабы поучаствовать в недолгой беседе с приятным мне семейством. Весь этот странный строй моей нынешней жизни обусловлен, разумеется, только тем, что я, во-первых, давно ничего не писал, а во-вторых, почти свободен, не успев к этой свободе толком подготовиться.

Фелиция, любимая!

Твой *Франц*

С 23 на 24.XII.1912

Любимая, что же это будет, если я больше не смогу писать? И час этот, похоже, пробил — уже неделю, а то и больше, я не могу создать ничего путного, в течение последних десяти ночей (правда, при очень урывочной работе) меня только один раз повело, и это все. Усталость постоянная, в голове только неодолимая сонливость. Давящие боли в затылке справа и слева. Вчера начал одну маленькую историю, она давно у меня на душе и, казалось, раскрылась сразу же и вся, так сегодня она снова замкнулась от меня напрочь. Когда я спрашиваю, что же это будет, то думаю не о себе, мне-то случалось и худшие времена переживать, я их, в общем-то, всю жизнь переживаю, и если не смогу писать для себя, значит, у меня будет больше времени писать Тебе, вкушать Твою измышленную, письмами добытую, всеми силами души отвоеванную мною близость — но Ты, Ты не сможешь меня такого любить. И не потому, что я не смогу больше писать для себя, а потому, что из-за этого стану еще более тяжелым, сумрачным, еще менее надежным человеком, который просто не в состоянии Тебе понравиться. Любимая, если уж Ты способна осчастливить бедных детей на дороге[1], осчастливь и меня, я ничуть не менее несчастлив, Ты и понятия не имеешь, насколько недалеко я ушел от старика, что возвращается вечерами домой со своим нераспроданным товаром, — так будь же и со мной такой, какой Ты была со всеми, даже если Твоя мать, как когда-то из-за других, так теперь из-за меня, будет на Тебя злиться (каждый обречен нести свою муку, вот и родители обречены сердиться на невинные души своих детей) — простейший смысл пространной этой просьбы вот какой: скажи мне, будешь ли Ты любить меня, каким бы я ни был, сохранишь ли любовь ко мне любой ценой, сколь бы низко ни упал я в Твоих глазах, — впрочем, куда это меня занесло?

Вот они, плутни пребывающего в отпуску разума! При таких-то фортелях разве нет у меня более чем весомых оснований из последних сил держаться за свою контору, вихрем наверстывать все свои отставания и становиться добросовестным, внимательным служащим, преданным делу всем своим непутевым умом. В виде возражения остается только довод, что, быть может, просто свобода этих двух дней привела меня в такое смятение и я в спешке не знаю, за что хвататься, в конце концов не припомню, чтобы у меня когда-нибудь было Рождество лучше этого (завтра ради Тебя пороюсь в старых дневниках), — но и этот довод не так уж сложно опровергнуть. В конечном счете остается всегда одно: либо — либо. Либо я что-то могу, либо нет, и на сей раз, боюсь, я останусь при втором "либо". И только если на вопрос "Любишь ли Ты меня, Фелиция?" ответом потянется цепочка крупных, в вечность убегающих "Да" — только тогда это второе "либо" можно будет преодолеть.

*Франц*

1. Отклик на какое-то замечание Фелиции по поводу миниатюры "Дети на дороге" из сборника "Созерцание".

---

С 29 на 30.XII.1912*

Любимая, это было скверное воскресенье. Будто заранее предчувствуя свои треволнения, я с утра до бесконечности валялся в постели, хотя давно бы уже должен был отправиться по делам фабрики[1], которая причиняет мне (правда, незримо для всего остального мира) одни заботы и угрызения совести. Из-за этого бестолкового лежания (письмо от Тебя пришло лишь около 11) в итоге сдвинулось все остальное, и когда я после обеда, начавшегося лишь в полтреть-

его, сел писать Тебе письмо, радуясь возможности немного побыть с Тобой наедине в тихой (ввиду всеобщего послеобеденного сна) квартире, снизу по телефону мне позвонил тот самый доктор Вельч, который вовсе не какой-то случайный знакомый, а настоящий мой друг. Кстати, его зовут Феликс, и я счастлив столь долго состоять с этим именем в дружбе; оно, правда, в недавнее время несколько обогатилось в последних буквах и обрело новое, невероятно глубокое содержание. Так вот, этот Феликс позвонил мне, как раз когда я писал Фелиции, и напомнил, что мы условились с ним, а также с его сестрой и подругой (сестры, разумеется) пойти погулять, как и в четверг. И хотя в прошлый четверг прогулка мне скорее не понравилась (временами, если не по большей части, я девушек побаиваюсь) и я не без оснований опасался, что из-за прогулки у меня потом не будет нужного времени на сон, — я тем не менее тут же горячо согласился, потому что перед телефоном, пусть даже это всего лишь наш домашний телефон, я совершенно беспомощен, да к тому же и девушек неудобно было заставлять ждать. Но когда я, злой и раздираемый сомнениями, спустился вниз и вместо жуткого телефона оказался перед живыми людьми, обнаружив вдобавок к ожидаемому обществу еще одну пару, я мгновенно принял решение, проводил их всех только до моста и распрощался, успев образовать приличный затор перед пошлинной будкой[2] и отдавить ногу стоявшей за мной даме. После чего с легким сердцем помчался к Максу. На этом рассказ о воскресенье прекращаю, ибо он устремился к своему концу, печальному в том смысле, что я сегодня ничего писать не смогу, потому что одиннадцать давно миновало, а в голове у меня опять странное подергивание и тяжесть, как всю последнюю неделю. Вот ведь как: не писать — и изнемогать от неистового, вопиющего желания писать!

Я, кстати, теперь яснее понял, почему вчерашнее письмо возбудило во мне такую ревность: Тебе не нравится моя книжка — точно так же, как не понравилась тогда моя фотография. Само по себе это было бы не так скверно, ведь там по большей части старые вещи, хотя все-таки это какая-то часть меня — и, выходит, чуждая Тебе часть. Но все это было бы не так скверно, я столь сильно чувствую Твою близость во всем остальном, что готов, когда Ты со мною совсем рядом, *первым*, сам и *собственной ногой* эту книжонку отбросить. Если Ты любишь меня в настоящем, пусть прошлое остается где угодно, пусть даже, если уж иначе нельзя, оно остается столь же далеко, как и страх перед будущим. Но то, что Ты мне об этом не скажешь, что Ты двух слов не можешь найти, чтобы сказать, что она Тебе не нравится... Тебе и не нужно было бы говорить, что она Тебе не нравится (это, вероятно, была бы и не совсем правда), — скорее, что Ты в ней не можешь разобраться. А в ней и вправду несусветный беспорядок, больше того — это проблески света, устремленные в бесконечную сумятицу, и тут, конечно, нужно некоторое приближение и привычка, чтобы что-то разглядеть. Так что это было бы только понятно, что Ты не знаешь, как к книге отнестись, и оставалась бы еще надежда, что когда-нибудь, в добрый или грустный час, она Тебя все-таки увлечет. Да и никто не будет знать, как к ней относиться, мне это с самого начала было ясно, ясно и сейчас, — зряшный расход труда и денег, потраченных на меня транжиром издателем, до сих пор меня мучит, — издание ведь состоялось случайно, может, когда-нибудь я Тебе об этом расскажу при случае, всерьез я ничего такого не замышлял. Говорю Тебе все это лишь для того, чтобы объяснить, сколь естественным и само собой разумеющимся показалось бы мне неуверенное суждение о книге с Твоей стороны. Но Ты же ничего не говоришь, один раз, правда, пообещала, но и после этого молчишь. Это точно так же, как с этим Нэбле, про которого мне так долго не дозволено было знать. Любимая, пойми, всегда и во всем я хочу видеть Тебя обращенной ко мне, ничто, никакая мелочь не должна произноситься в сторону, мы же — я-то думал — все-таки вместе, блузка, которую Ты особенно любишь, возможно, сама по себе мне

и не понравится, но поскольку ее носишь Ты, она мне уже дорога, книга моя сама по себе Тебе не нравится, но поскольку она написана мной, она Тебе, безусловно, интересна — тогда так и надо говорить, причем *и то, и другое.*

Любимая, надеюсь, Ты не рассердишься на меня за эту пространную тираду, из нас двоих именно Ты излучаешь ясность, мне кажется, всему, что во мне есть ясного, я в тот августовский вечер научился у Тебя. <...>

Спокойной ночи, любимая, и печальные поцелуи — услада для сердца, печальные уста сливаются с другими устами бесконечно долго и все не могут от них оторваться.

*Франц*

1. Муж сестры Кафки убедил его стать совладельцем асбестовой фабрики, безнадежного предприятия, приносившего писателю заботы и угрызения совести, поскольку деньги на эту затею были позаимствованы у отца.
2. За проход через пражские мосты тогда еще взималась пошлина.

---

Со 2 на 3.I.1913

Уже очень поздно, моя бедная, измученная любимая. После не слишком даже плохой, но слишком короткой работы я опять просидел без дела, откинувшись в кресле, и вот уже снова поздно.

Все еще не могу всерьез поверить в задержку моих писем, хоть передо мной и лежит Твоя телеграмма и я бы предпочел самыми длиннющими своими шагами до Берлина добежать, лишь бы на месте и как можно скорей прояснить все недоразумения. Как это вообще возможно, чтобы два вне всякого сомнения правильно надписанных, да еще и с указанием обратного адреса отосланных письма в один и тот же день, но даже с разной почтой, то есть в разных почтовых мешках — и вдруг затерялись? Я даже представить себе этого не могу. Если это и впрямь случилось, тогда на что вообще можно положиться, этак все письма начнут пропадать, в том числе и это, и только телеграмма еще как-то дойдет. У нас один выход — побросать перья и бежать друг другу навстречу.

Любимая, только прошу Тебя, вскинув руки прошу, не надо ревновать к моему роману. Если обитатели романа заметят Твою ревность, они разбегутся, я и так из последних сил за края платья их удерживаю. И учти, если они от меня убегут, мне же придется поспешить за ними вдогонку, пусть даже в преисподнюю, откуда они вообще-то все и вышли. Роман — это я, и мои истории — это я, умоляю Тебя, где же тут хоть крохотный зазор для ревности? Все мои люди, если все у меня в порядке, и так рука об руку прямиком бегут к Тебе, чтобы в конечном счете Тебе услужить. Разумеется, и в Твоем присутствии я тоже не смогу от романа оторваться, а если б смог, было бы совсем худо, потому что только благодаря писательству я еще как-то держусь за жизнь, держусь за ту лодку, в которой Ты, Фелиция, стоишь. Достаточно грустно только, что мне не удается как следует с ним совладать. Но одно пойми, любимая Фелиция: я потеряю Тебя, я все потеряю, если когда-нибудь останусь без писательства.

Из-за книжки моей не переживай, моя болтовня по этому поводу — всего лишь следствие дурного настроения в тягостный вечер. Я тогда почему-то решил, что лучшее средство скрасить Тебе мою книгу — это осыпать Тебя вздорными упреками. При случае на досуге прочтешь. Да и как, в конце концов, она может остаться Тебе чужой! Даже если Ты будешь противиться, она сама привлечет Тебя к себе, если только она действительно надежный мой посланник.

*Франц*

Из дома. С 3 на 4.I.1913

Конечно, любимая, не надо было мне прекращать писать, конечно, я слишком рано сегодня закончил, еще только начало второго, но отвращение уже слегка перевешивало охоту, хоть и сильную, хоть это и было скорее не отвращение, а слабость, — вот я и остановился. Пожалуйста, любимая, когда прочтешь эти строки, кивни мне в знак того, что я правильно сделал, тогда оно и в самом деле будет правильно.

Сдается мне, мы обмениваемся друг с другом тревогами. Сегодня в беспокойстве был я. Мне бы очень хотелось знать, получила Ты все-таки мои письма или нет? Сегодня в течение дня были секунды, когда казалось, что следующего мгновения, если меня сейчас же не перенесет к Тебе, я просто не переживу. Еще вчера ночью, написав и заклеив предыдущее письмо, уже лежа в постели, я вдруг подумал, что вся история с моими недошедшими письмами объясняется, быть может, кознями какой-нибудь из дамочек в вашем бюро, которая из похотливой зловредности их припрятала, дабы вручить их Тебе лишь к вечеру. Любопытно, подтвердятся ли мои догадки.

Твоему пари на бутылку шампанского я немало удивился. Дело в том, что и сам я, правда много лет назад, но, по-моему, на десятилетний срок, заключил схожее пари со своим добрым знакомым касательно своей свадьбы. Я даже выписал ему письменное обязательство, которое все еще у него на руках. И забыл бы напрочь, если бы как раз на днях, по прошествии многих лет, этот самый знакомый вдруг как бы невзначай мне об этом не напомнил. Причем на кону тоже шампанское, правда, если не ошибаюсь, целых десять бутылок, причем самого дорогого. Вероятно, я тогда надумал закатить через десять лет знатную холостяцкую вечеринку, надеясь, что и по части шампанского за это время войду во вкус, чего, увы, до сих пор так и не произошло. Как Ты, наверно, догадываешься, пари было заключено в ту давно прошедшую и якобы разгульную пору, когда я много ночей просиживал в кабаках, но ничего при этом не пил. Судя по названиям, шикарные были заведения — "Трокадеро", "Эльдорадо" и все в том же духе. А теперь что? А теперь среди ночи я стою на улице американского города и, словно в бочку, закачиваю в себя неведомые мне напитки[1].

Тот давний сон Тебе рассказать? Почему же именно тот давний, когда я почти каждую ночь Тебя во сне вижу? Представь себе, не далее как сегодня ночью мы с Тобой праздновали помолвку. Выглядело все ужасно, ужасно невероятно, да я и не запомнил почти ничего. Все сидели в полутемной комнате за длинным деревянным столом, черная столешница которого ничем не была покрыта. Я сидел в дальнем конце среди совершенно незнакомых мне людей, а Ты, в торце стола, достаточно далеко и наискосок от меня, почему-то стояла. От тоски по Тебе я даже голову положил на стол и так, лежа, снизу вверх не отрываясь на Тебя смотрел. Взгляд Твоих глаз, направленный на меня, был черен, но в центре каждого зрачка, отливая золотом и огнем, поблескивали искорки. Тут эта картина стала рассеиваться, но я успел заметить, как за спинами гостей обслуживающая нас подавальщица тайком попробовала какое-то густое кушанье в коричневом горшочке и воровато сунула ложку обратно. Увидев это, я ужасно разъярился и повел девицу — тут только выяснилось, что все происходит в каком-то отеле, к которому она и приписана — в нескончаемые недра служебных помещений, где перед большим начальством долго высказывал свои жалобы на ее поведение, ничего путного, впрочем, так и не добившись. Ну, что Ты на это скажешь? Прежний же сон я, пожалуй, помню даже яснее, чем этот, но сегодня рассказывать не стану.

Безмерно опасаясь испортить Тебе воскресенье, тем не менее высылаю Тебе свою последнюю фотографию, причем сразу в трех экземплярах, потому

что, как мне показалось, в размноженном виде она несколько теряет в страхолюдности. Не знаю, что с собой поделать, эта вспышка придает мне вид совершенно очумелый, лицо перекошено, глаза выпученные и косят. Не пугайся, любимая, я выгляжу совсем не так, эта карточка не в счет, не вздумай носить ее с собой, вскоре я пришлю другую. В жизни я по крайней мере вдвое красивей, чем на этом снимке. Если, впрочем, Тебе и этого покажется мало, тогда дела мои плохи. Как мне тогда быть? А вообще-то одна вполне похожая моя фотография у Тебя есть; как я запечатлен в своей маленькой книжонке, так я на самом деле и выгляжу или, по крайней мере, выглядел недавно. И таким, хочешь Ты того или нет, я Тебе принадлежу.



*Франц*

1. Намек на эпизод из романа "Америка" (глава "Пешком в Рамзес").

---

С 5 на 6.I.1913

Бедная, бедная любимая, избави Тебя Бог от повинности когда-нибудь читать этот разнесчастный роман, над которым я тупо корплю. Ужасно как меняются его обличья; покуда поклажа на тарантасе (вон как я расписался — кляксы так и летят!), мне на облучке хорошо, я с упоением щелкаю хлыстом и сам черт мне не брат; но как только поклажа сваливается (а этого ни предусмотреть, ни предотвратить, ни скрыть невозможно), как это было вчера и сегодня, она тут же становится непосильной ношей для моих тщедушных плеч, — ну просто хоть все бросай и тут же, не сходя с места, рой себе могилу. В конце концов, для смерти от отчаяния столь безысходного нет места достойнее и краше, чем собственный роман. У меня тут как раз в три часа ночи с соседних балконов восьмого этажа переговариваются двое персонажей[1], со вчерашнего дня изрядно поблекших. А что если я снизу с улицы крикну им "адье!" и покину их раз и навсегда. И они враз безжизненно поникнут каждый на своем балконе, уставившись друг на друга через решетки перил своими застывшими, мертвыми лицами. Но я только грожусь, любимая, а на самом деле, конечно, ничего такого не сделаю. Если — впрочем, никаких "если", а то опять зарапортуюсь.

Сегодня днем я действительно пытался поспать, но вышло не слишком удачно, потому что за стенкой — я как-то этого не учел — надписывали 600—700 приглашений на свадьбу моей сестры, назначенную на следующее воскресенье, а мой будущий зять, руководивший этой работой, помимо всех прочих своих приятных достоинств, обладает столь пронзительным и столь охотно используемым голосом, что человеку, который в соседней комнате пытается заснуть, при звуках этого голоса то и дело чудится, будто к горлу его приставляют пилу. Словом, спится под такой аккомпанемент не слишком хорошо: ты то испуганно вскидываешься, то снова проваливаешься в сон. И это при том, что я отказался от дивной прогулки, лишь бы выспаться. Впрочем, в конечном счете поспал я все-таки вполне сносно и оправданием для плохой работы все это послужить не может.

Что нового, любимая, сказали обо мне Твои родители? Тут я действительно хочу знать каждое слово и каждый жест. А Ты так долго от меня эти вещи утаиваешь, нехорошо! Когда я узнаю об их замечаниях на мой счет, на меня накатывает такое чувство Твоей близости, столь сильное, не важно, радость в нем или печаль, и для меня, начисто лишенного Твоего физического присутствия, столь вожделенное, что я, окунаясь в него, просто млею от блаженства, и долгое время смотрю на подобные сообщения, не в состоянии ни читать, ни

думать, ни чувствовать ничего, кроме Тебя. Я тогда с Тобой всецело, Твои родители говорят и со мной тоже, я как бы вовлекаюсь в ток породившей Тебя крови. Более сильной близости, пожалуй, и не бывает, выше и сильнее этого только взаимопроникновение.



С этим "довольно симпатичным" детским врачом мы тоже, Фелиция, еще не покончили. На нем я еще немного задержусь, он как бы небольшой противовес к франкфуртской истории и по сути, пусть и неосознанно, адресованный мне вопрос. И я должен на него ответить. Если бы, любимая, я Тебя только ревновал, ревновал и больше ничего, я бы после Твоего рассказа взревновал еще больше. Потому что, если этот детский врач был для Тебя так важен, что Тебе даже пришлось солгать, лишь бы от него защититься, тогда... Но, любимая, это ход мыслей ревнивца, но не моих, хоть я и способен их воспроизвести. Ход же моих мыслей вот какой: Ты с этим врачом интересно побеседовала, Тебе приятно было провести вечер в его обществе, он искал продолжения знакомства, которое само по себе, по крайней мере в пределах той недолгой утренней беседы, не было бы неприятно ни Тебе, ни Твоей матери, и похоже, что вследствие отклонения Тобой этих искательств дальнейшие попытки продолжить знакомство с его стороны либо исключены, либо маловероятны, чему виной, судя по Твоему, Фелиция, рассказу, только я и должен нести эту вину подобающим образом. Только как мне ее нести? Может, с гордостью? Или с удовольствием? Или всем видом предлагая взвалить на меня и следующие подобные провинности? Но нет, я сетую, я сожалею, мне бы хотелось, чтобы этот детский врач приходил к вам в гости, чтобы он и в дальнейшем зарекомендовал себя тем же милым человеком, каким был на Новый год, чтобы он оказался весельчак и чтобы вы весело его принимали. Кто я такой, чтобы ложиться ему поперек пути? Всего лишь тень, которая, правда, бесконечно Тебя любит, но которую невозможно извлечь на свет Божий. Ну и черт со мной! Однако теперь, конечно, самое время всю эту карусель раскрутить в обратном направлении. Меня бы просто раздирало от ревности, услышь я из своей дали, что этому детскому врачу и впрямь удалось все то, чего я ему на предыдущей странице так настоятельно желал, а неправда, которую Ты ему сказала, вырвалась не из Твоей чистой души, а из меня, и я почти готов поверить, что в словах Твоих в ту секунду слышался легкий призвук моего голоса. Однако как это суждение согласуется с предыдущим? (Вот мой ответ и вернулся к Тебе вопросом.) Только как бесконечная карусель. Думаешь, из этой карусели меня можно вытянуть? Да ни за что не поверю!

Кстати, еще из своего природного целительства я твердо усвоил, что все напасти от медицины, не важно, в чьем лице она представлена — глазным ли врачом, зубным или, на худой конец, детским... Дурацкое перо! Каких только глупостей не напишет, нет бы хоть раз написать что-то разумное, например "Ты моя любимая!", а потом еще раз "Ты моя любимая", а потом опять "Ты моя любимая" — и ничего кроме этого.

Мои мысли о Тебе куда разумней моих писаний Тебе. Вчера ночью я долго не мог и не хотел заснуть, два часа лежал в полудреме и непрестанно вел с Тобой самый проникновенный разговор. Разговор ни о чем, без каких-либо сообщений, скорее это была сама форма откровенного разговора — и чувство необыкновенной близости и преданности.

*Франц*

1. Эпизод из романа "Америка", глава VII.

С 6 на 7.I.1913

Не смейся, любимая, только не смейся, желание, чтобы Ты сейчас была рядом со мной, накатило на меня до ужаса всерьез! Иногда, забавы ради, я высчитываю, за сколько часов при самых благоприятных обстоятельствах я бы смог до Тебя добраться и за сколько — Ты до меня. Получается всегда долго, слишком долго, так отчаянно долго, что, даже отрешившись мыслью от иных препятствий, ввиду одного только этого срока на попытку на решаешься. Сегодня вечером, выйдя из дома, я прямиком направился к зданию на Фердинандштрассе, где помещается бюро вашего представителя. Со стороны могло показаться, что я чуть ли не на свидание с Тобой иду. Но я обошел дом в одиночестве и в одиночестве удалился. Даже упоминания о фирме Линдстрём ни на одной табличке не обнаружил. Этот человек именует себя всего лишь генеральным представителем компании по производству граммофонов. Почему? Иногда я искренне сожалею, что в Праге так мало мест, имеющих, по крайней мере по моим сведениям, к Тебе отношение. Квартира Бродов, Шаленгассе, Коленмаркт, Перлгассе, Обстгассе, Грабен... Потом еще кафе в Доме представительств, зал для завтраков в "Голубой звезде" и вестибюль. Как этого мало, любимая, но как же это малое выделяется для меня на карте города!

Мне столько всего надо Тебе ответить на оба Твоих сегодняшних письма, что Твоя мать, будь у нее возможность обозреть все это, удивлялась бы примерно в такой последовательности: как можно вообще писать, когда хочешь сказать так много и если знаешь, что перо ввиду всей этой уймы сказуемого только проведет по бумаге неуверенную и невразумительную черту?

Так значит, мою фотографию Ты поместила в свое сердечко (какое "сердечко", забирай выше!), то бишь в свой медальон, где она неприятным соседством потеснила Твою малютку племянницу, и намерена — верить ли мне своим глазам? — носить его день и ночь не снимая? Да неужто Тебе не захотелось выбросить эту ужасную фотографию прочь? И она не пугает Тебя моим выпученным взглядом? Заслуживает ли она чести, которую Ты ей оказываешь? Подумать только, моя фотография хранится у Тебя в медальоне, а сам я торчу тут один в своей промороженной комнате (где я, как кажется, к величайшему своему позору, на днях еще и простудился). Но погоди, скверная фотография, благословен будет миг, когда я приду и собственной рукой изыму Тебя из медальона! И если не выброшу, то только из-за взоров, которые, возможно, Фелиция на Тебя расточила.

Прекращаю, уже поздно, а закончить я бы все равно никогда не смог, да и что это за дело для рук — письма писать, когда они предназначены держать Тебя в объятьях и ничего иного не желают.

*Франц*

---

С 8 на 9.I.1913

По различным причинам я сегодня, вместо того чтобы писать, отправился на прогулку все с тем же д-ром Вельчем после того, как полтора часа провел в его семействе, слушая его отца, мелкого торговца сукном, умного, всем интересующегося человека, который рассказывал множество дивных стародавних историй о прежней жизни пражских евреев, еще из времен его деда — а тот был еще крупным торговцем сукном. Хоть и в дружеском кругу, но я был среди чужих людей и в их обществе чувствовал себя неуютно. Это несоответствие всегда выражается у меня в том, что я, когда мне что-либо рассказывают, не мо-

гу спокойно смотреть рассказчику в глаза, и взгляд мой, если дать ему волю, норовит соскользнуть с лица собеседника либо, если я силой стараюсь его задержать, перестает быть спокойным, а делается именно что застывшим. Но разве я собрался описывать Тебе весь нынешний вечер? Вовсе нет, но из неимоверной толкучки всего, что хочешь сказать, в порядком отупевшую к вечеру голову лезет только самая своевольная и второсортная чушь. Мне вообще кажется, будто в последние дни я рассказал и ответил Тебе так мало, даже из самого насущного, что иногда у меня бывает чувство, что я вот-вот впаду в немилость у Твоих ушей. Не истолковывай мои не-ответы на некоторые Твои вопросы превратно и к моей невыгоде, волны, что несут меня, это волны темных, мутных, тяжелых вод, в которых я плыву вперед лишь с трудом, иногда и вовсе не продвигаюсь, но потом вдруг меня снова подхватывает, и тогда дело идет гораздо лучше. Ты и сама должна была это заметить за нашу первую четверть года.

Я и смеяться могу, Фелиция, можешь не сомневаться, я даже известен как большой хохотун, просто раньше я в этом отношении был куда более дурашлив, чем теперь. Меня однажды даже утораздило смеяться во время торжественной беседы с нашим президентом — правда, это уже много лет назад было, но в качестве легенды нашего агентства, думаю, надолго меня переживет, — да еще как смеяться! Было бы слишком скучно описывать Тебе значительность этого человека, просто уж поверь, что она очень велика и что среднему служащему нашего агентства он видится не простым смертным, а небожителем. И поскольку в обычной жизни нам не часто выпадает случай побеседовать с императором, этот человек изредка дарит среднему служащему — так уж оно заведено во всех почти наших крупных учреждениях — некое подобие такой возможности. И разумеется, в этом человеке, как и в любом другом, чей высокий пост не вполне соответствует его заслугам, скрывается достаточно много смешного, если смотреть на него спокойным и беспристрастным взглядом стороннего наблюдателя, но впасть по этому естественнейшему поводу, при виде, так сказать, самого этого природного феномена, да еще в его сановном присутствии, в буйство столь неудержимого смеха — для этого поистине нужно быть у богов в особой немилости. Нас — двоих сотрудников и меня — тогда только что повысили в должности, в связи с чем нам и надлежало в парадных черных костюмах предстать пред очи президента, дабы изъявить ему нашу благодарность, причем не следует забывать, что именно я по особым причинам заранее был обязан президенту особой благодарностью[1]. Самый достойный из нас — я-то был самый молодой — произнес благодарственную речь, краткую, складную, напористую, вполне в своем духе. Президент благосклонно слушал его в обычной своей, излюбленной по подобным торжественным случаям, слегка напоминающей императорскую во время аудиенций и действительно — если, конечно, хочешь видеть или не можешь не видеть — донельзя уморительной позе. Ноги одна на другой, левая сжатая в кулак рука опирается на самый угол стола, голова опущена, так что седая пышная борода перекатом ниспадает на грудь, и вдобавок ко всему животик, не слишком большой, но все же заметно выступающий, плавно колышется. Должно быть, я был тогда в совсем уж необузданном настроении, потому что позу эту вообще-то давно изучил вдоль и поперек, и не было никакой необходимости издавать по такому случаю, хоть и с перерывами, легкие смешки, которые, впрочем, пока что удавалось выдать за позывы кашля, тем более что президент сидел не поднимая глаз. Да и ясный голос коллеги, который, заметив мое состояние и не желая ему поддаваться, застывшим от напряжения взглядом пялился прямо перед собой, еще как-то держал меня в узде. Но тут, по окончании его речи, президент поднял голову, и при виде лица его меня, уже без всякого смеха, на миг обуял ужас, потому что теперь-то он мог увидеть мои гримасы и без труда понять, что звуки, к моему глубокому прискорбию из меня

исходящие, вовсе даже не кашель. Когда же он начал свою речь — эту обычную, давно заранее всем известную, по-императорски разбитую на тезисы, хрипами и одышкой сопровождаемую, совершенно бессмысленную и беспредметную речь, — когда мой коллега грозными косыми взглядами попытался меня, и так изо всех сил старающегося овладеть собой, предостеречь и одернуть и тем самым только живо напомнил мне о недавних радостях моего с трудом подавленного смеха, — тут уж я больше сдерживаться не мог, да и всякую надежду когда-либо сдержаться потерял окончательно. Сперва я смеялся только безобидным тут и там рассеянным по тексту речи дежурным шуточкам нашего президента; в то время как негласным законом предписывалось отзываться на подобные шуточки вежливо-уважительным подобием улыбки, я смеялся уже просто во все горло, я видел, в каком ужасе, из боязни заразиться, отшатываются от меня мои коллеги, мне было жаль их больше, чем себя, но ничего поделать с собой я не мог — при этом я даже не пытался, к примеру, отвернуться или прикрыть рот рукой, а только в полной беспомощности таращился на президента выпученными глазами, не в силах даже взгляд отвести, в смутном, хотя, вероятно, и справедливом предположении, что исправить ничего уже не смогу, только усугубить, а коли так, то лучше уж не предпринимать ничего вовсе. Разумеется, войдя во вкус, я смеялся не только свежеброненным шуточкам нашего президента, но и оброненным недавно, и в прошлом, и в будущем, и вообще всем его шуткам, и уже никто вокруг не понимал, что, собственно, меня так рассмешило; всеобщее замешательство до некоторой степени не затронуло пока одного президента — большой человек, он многое повидал на своем веку, к тому же мысль о возможности столь неуважительного отношения к собственной персоне как-то не приходила ему в голову. Если бы нам в эту минуту незаметно улизнуть из залы, глядишь, и президент подсократил бы немного свою речь, и все обошлось бы относительно безобидно, то есть поведение мое, конечно же, все равно было бы сочтено неприличным, но никто не стал бы открыто о нем распространяться, и вся история, как это часто бывает с самыми, на первый взгляд, невозможными вещами, была бы улажена дружным молчанием всех четверых непосредственных ее участников. Однако тут, по несчастью, еще один, пока что не упомянутый мною коллега (уже почти сорокалетний мужчина с по-детски круглым, хотя и бородатым лицом, при этом большой любитель пива) начал свою пусть и краткую, но совершенно неожиданную речь. Этот его порыв остался для меня полной загадкой: только что он, и так выведенный из равновесия моим смехом, стоял рядом с надутыми от натуги щеками — и вдруг начинает говорить серьезную речь. Однако как раз в его случае это вполне объяснимо. Человек скорее пустой, но с пылким темпераментом, он имеет обыкновение бесконечно долго и горячо отстаивать вещи общепринятые и никем не оспариваемые, причем речи его были бы скучны до умопомрачения, если бы не их страстность, совершенно неуместная, смешная и потому симпатичная. А президент в простоте душевной что-то такое сказал, что моего коллегу не вполне устроило, к тому же он, очевидно под влиянием моего теперь уже беспрерывного смеха, несколько позабыл, где находится, короче, он решил, что именно сейчас самая подходящая минута выступить со своим особым мнением и убедить в нем нашего (к любому мнению подчиненных, разумеется, до смерти равнодушного) президента. И вот, когда он, вдохновенно размахивая руками, понес какую-то совсем уж невообразимую (и вообще-то, а в данном случае особенно) околесицу, мне стало окончательно невмоготу, свет, прежде еще как-то различимый, померк у меня перед глазами, и я разразился таким громовым и безудержным хохотом, какой в столь бесхитростно-чистосердечной откровенности позволителен разве что первоклашкам на их школьных скамьях. Все разом умолкли, и теперь уже только я со своим хохотом был безусловным центром

всеобщего внимания. Надо ли говорить, что колени мои, хоть я и смеялся, подламывались от страха, — мои сослуживцы, кстати, теперь тоже смеялись, причем безнаказанно, ибо до отвратительности моего столь явного и злоумышленного хохота им было далеко, в его тени их смешки оставались относительно незаметными. Правой рукой неистово колотя себя в грудь, отчасти в знак раскаяния (и напоминания о дне примирения), отчасти же силясь выбить из себя как можно больше столь долго сдерживаемого смеха, я бормотал какие-то извинения, которые, каждое по отдельности и все вместе, возможно, были даже весьма убедительны, но, перемежаемые и заглушаемые все новыми приступами хохота, оставались для присутствующих совершенно невнятными. Теперь, конечно, и сам президент несколько смешался и, только призвав на помощь все свойственное людям подобного ранга умение сглаживать любую неловкость, выстроил, наконец, какую-то фразу, давшую моему нечеловеческому вою сколько-нибудь человеческое объяснение, по-моему отнеся его к какой-то уже очень давней своей шутке. После чего поспешно нас отпустил. Так и не укрощенный, все с тем же безумным смехом на устах, я, пошатываясь, первым вышел из залы. Письмом, которое я немедленно после этого написал президенту, посредничеством президентского сына, с которым я хорошо знаком, наконец просто течением времени дело по большей части удалось замять и загладить, однако полного прощения я, конечно, удостоен не был и не удостоюсь уже никогда. Но оно не так уж много для меня значит, быть может, я для того только тогда все это натворил, чтобы когда-нибудь доказать Тебе, что тоже умею смеяться.

Ну вот, опять я написал так много и совсем ничего — не иначе давняя вина перед президентом мне отливается. Напоследок, в спешке еще только несколько ответов Тебе: "Вершины чувства"[2], разумеется, принадлежат Тебе безраздельно. И посвящение "дружески" тоже целиком относится к Тебе, Ты ведь не возражаешь? (У меня, конечно же, есть свой надписанный экземпляр.) А если в надписи и есть намек на дополнительный смысл (которого на самом деле нет, но который я сейчас в нее вкладываю), что Макс и мой друг тоже и что это посвящение дает мне возможность встать с Тобой совсем рядом (любой, даже самой призрачной возможностью сделать это я незамедлительно пользуюсь), — разве это так уж плохо?

Нет, уже и впрямь слишком поздно, чтобы продолжать. Вкладываю вот только геллер[3], найденный мной сегодня во время вечерней прогулки. Я как раз сетовал на что-то (нет вещи, по поводу которой я не смог бы посетовать), от недовольства несколько сильнее обычного притопнул ногой — и кончиком ботинка поддел на мостовой монетку. Такие монеты приносят счастье, но счастье, которого нет у Тебя, мне не нужно, поэтому посылаю его Тебе. То, что я его нашел, — это ведь как если бы Ты его нашла, разве нет?

*Франц*

1. С сыном этого президента Кафка в последние гимназические и в первые свои студенческие годы был дружен.
2. Роман Макса Брода, который Кафка послал Фелиции с дарственной надписью от автора.
3. Мелкая разменная монета в Австро-Венгрии, 1/100 кроны.

---

С 9 на 10.I.1913

Любимая моя, сегодня только пару слов, я устал, после обеда мне мешали и, судя по всему, еще несколько дней будут мешать. Писания мои, в которых я

никаких внешних помех признавать не желаю (они и от внутренних страдают достаточно), я на неделю, если не дольше, оставлю, единственной выгодой от этого будет большее время на сон, утешением мне это не послужит, но то, что я сейчас пишу, просто вообще никуда не годится, мне место только в постели, но еще мне место только подле Тебя, вот я и не могу выбрать.



Бедная любимая пишет рекламные проспекты! Может, и я получу один, хоть я и не ваш покупатель, хоть я в принципе диктографов скорее боюсь. Мне кажется, что машина с ее молчаливым, непререкаемым велением обладает над рабочей силой гораздо более мощной и устрашающей властью, нежели живой человек. Насколько ничтожен, легко управляем, даже прогоняем живой машинист-переписчик: на него можно наорать или просто гневно уставиться — его можно отчитать, отругать, переспросить, диктующий тут царь и бог, зато перед диктографом уже он низведен до полного ничтожества, он фабричный рабочий, обязанный своими мозгами обслуживать заглатывающую слова машину. Да как же вытянуть из бедного, от природы медленно работающего человеческого разума готовые мысли, да еще как по шнурочку! Радуйся, любимая, что в Твоих рекламных письмах Тебе не надо отвечать на подобные возражения, ибо они неопровержимы; уверения, что скорость машины можно легко регулировать, что ее можно выключить, отставить в сторону, если нет охоты диктовать, и т. д., — это все не доводы для человека, который Тебе возражает, ибо в характере его заранее заложено, что все это ему ничуть не поможет. Что мне понравилось в Твоем проспекте, так это то, с каким достоинством он написан: у читателя ничего не клянчат, как это принято, по крайней мере, в подобных проспектах австрийских фирм, да и чрезмерных самовосхвалений тоже почти нет. Не сочти за шутку, но чем-то — разумеется, не содержанием своим, и не предметом, и даже не стилем — он напомнил мне о Стриндберге, которого я почти не знаю, но с очень давних пор совершенно по-особому люблю; странно, что первым своим письмом я застал Тебя как раз под впечатлением от "Пляски смерти" и "Готической комнаты". Погоди, вскоре я обязательно напишу Тебе про воспоминания о Стриндберге, которые недавно появились в "Нойе рундшау" и под впечатлением от которых я в прошлое воскресенье все утро как сумасшедший бегал по комнате[1].

Завтра или послезавтра Ты получишь календарь и Флобера. Календарь, который мне только сейчас доставили, оказался вовсе не так красив, как он рисовался мне в мыслях, и если я начну сейчас отрывать по листку, складывать вчетверо и посылать Тебе, ничего путного из этой затеи и подавно не получится. Но поскольку календарь все равно уже есть, а ничего из предназначенного Тебе я не могу никому ни отдать, ни даже показать, я его все-таки Тебе высылаю. Повесь куда-нибудь в угол! Противовесом красоты к его уродству будет Флобер, которого я вообще-то (тщетные уверения!) мечтал сам вложить в Твои руки.

Так, а теперь опрометью спать, слово Тебе отправлено, Твои мысли ко мне привлечены, я доволен.

Ты не слишком замучилась писать мне, любимая? Одна Твоя строчка доставляет мне столько радости, сколько и пять моих не в силах доставить.

*Франц*

1. Ola Hansson. Erinnerungen an Strindberg. Die Neue Rundschau, 1912, Nr. 11, S. 1536 ff., Nr. 12, S. 1724 ff.

С 14 на 15.I.1913

Любимая, за работой время прошло незаметно, уже опять так поздно, и мне всегда около двух ночи вспоминается тот китайский ученый. Увы, увы, не подруга меня будит, а только письмо, которое я хочу ей написать. Как-то раз Ты написала, что хотела бы сидеть рядом со мной, когда я пишу; представь себе, я бы тогда не смог писать (у меня и сейчас-то не особенно получается), напрочь не смог бы. Писать — это ведь раскрываться до самого дна; даже крайней откровенности и самоотдачи, допустимой в общении между людьми, такой, когда, кажется, вот-вот потеряешь себя, чего люди, покуда они в здравом уме, обычно стараются избегать, ибо жить, покуда жив, хочет каждый, — даже такой откровенности и самоотдачи для писательства заведомо бесконечно мало. Все, что с этой поверхностной плоскости ты переносишь в писательство — если уж иначе не получается и более глубокие родники в тебе молчат, — все это ничто и распадется в прах в тот самый миг, когда более истинное чувство поколеблет в тебе эту первую поверхностную оболочку. Вот почему никакого одиночества не хватит, когда пишешь, и любой тишины мало, когда пишешь, и никакая ночь не бывает достаточно темна. Вот почему и никакого времени никогда не хватает, ибо пути твои долги, сбиться с них легче легкого, и иной раз такой страх накатывает, что, забыв все влечения и соблазны, хочется повернуть и бежать назад (за что потом всякий раз тяжело бываешь наказан) — как при нежданном поцелуе, случайно сорванном с вожделенных уст! Я часто думаю, что лучшим образом жизни для меня было бы, если бы меня заперли с пером, бумагой и лампой в самом дальнем помещении длинного подвала. Еду пусть бы мне приносили и ставили от моей комнаты как можно дальше, при входе в подвал. Поход за едой, в халате, минуя все подвальные своды, был бы единственной моей прогулкой. Потом я возвращался бы за стол, долго, со вкусом ел и снова принимался бы писать. Ах, что бы я тогда написал! Из каких глубин бы черпал! Без усилий! Ибо высшая сосредоточенность уже не требует усилий. Правда, долго бы это, наверно, не протянулось, и при первой же, даже в таком состоянии все равно неизбежной неудаче я впал бы в грандиозное, восхитительное безумие. Что скажешь, любимая? Не чурайся подвального жителя!

---

С 17 на 18.I.1913*

Только что, любимая, впервые спустя много времени опять провел дивный час за чтением. Ты в жизни не догадаешься, что я читал и что доставило мне такое удовольствие. Старый годовой комплект "Гартенлаубе"[1], еще за 1863 год. Не то чтобы я читал что-то определенное, просто медленно пролистал 200 страниц, рассматривая иллюстрации (из-за дороговизны воспроизведения тогда еще редкие) и лишь кое-где читая, когда попадалось что-то особенно интересное. Меня то и дело тянет в былые времена, и наслаждение познавать человеческие отношения и образ мыслей в уже законченном, отжившем, но еще абсолютно понятном виде (Господи, 1863 год, это же каких-то 50 лет тому назад!), однако уже не будучи в состоянии пережить их по-настоящему, в подробностях, снизу и как бы изнутри, то есть играть ими по своему усмотрению и капризу, — это противоречивое наслаждение для меня невероятно заманчиво. Я то и дело читаю старые газеты и журналы. А потом, эта старая добрая, за сердце берущая, вся еще замершая в ожидании Германия середины прошлого века! Тесный мирок, близость соседства, которую каждый чувствует к каждому, издатели к подписчикам, писатели к читателям, читатели к великим авторам (Уланду, Жан Полю, Зойме, Рюккерту, "Барды и брамины Германии").

Сегодня я ничего не писал, и стоит мне отложить чтение, меня тут как тут немедленно охватывает неуверенность, которая следует за простоями в писательстве, неотвязная, как злой дух. Изгнать его в силах только добрый дух, буде он ко мне приблизится и даст мне свои, необычайно важные для меня ручательства, что потеря вечера, во время которого я ничего (но значит, и ничего плохого) не написал, не невосполнима (хоть это на самом деле и не так, но устам, что сейчас, воскресным утром, улыбаются этим строчкам, я привык во всем верить на слово) и что способность писать, при всей ее сомнительности, я вследствие этого бесполезно проведенного вечера все же не утрачу, как я, в полном одиночестве сидя за столом (в натопленной гостиной, Боже правый!), всерьез опасаюсь. Я слишком устал, чтобы писать (вообще-то даже не слишком, но боялся утомления, а сейчас уже час ночи), вчера я домой вернулся только в три, но даже и тогда заснуть долго не удавалось, так что еще и пятый час во всей его первозданной невинности успел грянуть мне боем курантов в устало настороженное ухо. А завтра грядет уже новая, впрочем давно предусмотренная помеха, а именно: я иду — да, это правда — в театр. Вот так, одно развлечение за другим, но уж после им конец, и надолго. Я, наверное, уже год в театре не был и еще целый год не пойду, но завтра у нас дают русский балет. Я еще два года назад его видел и потом месяцы им грезил, особенно одной совершенно ошеломляющей балериной — Эдуардовой. Сейчас ее не будет, она вообще, по-моему, считалась там скорее второстепенной солисткой, и великая Карсавина тоже не приехала, она, как назло мне, заболела, но все равно там много замечательного[2]. В одном из писем Ты упоминаешь русский балет, у вас в бюро были по этому поводу дебаты. Что это было? И что это за танец танго, который Ты танцевала? Он вообще так называется? Мексиканский, что ли? Почему не осталось фотографии? Балет лучше, чем у русских, и более красивый в отдельных движениях танец я видел еще только у Далькроза[3]. Ты видела выступления его школы в Берлине? Они, по-моему, часто у вас танцуют.

Однако что это я тут суечусь и встреваю между танцовщицами, вместо того чтобы идти спать, но прежде, Фелиция, ласково привлечь Твою голову к своему сердцу, которому Ты нужна гораздо больше, чем Ты, наверное, думаешь. Мне столько всего еще надо Тебе сказать и ответить, но непомерность и тяжесть сказуемого превосходят даже дальность действительного расстояния между нами, а непреодолимым выглядит и то и другое.

А что, если, пришло мне вдруг в голову, Твоя матушка, передавая Тебе это письмо, для пущей неожиданности возьмет да и скажет обо мне что-нибудь приятное? Но, наверно, это невозможно, да это письмо ничего приятного и не заслуживает, оно, может, и Тебе ничего хорошего не принесет, хотя ничего на всем окружающем его свете не хочет сильнее, чем этого, вот пусть и радуется, что его допустили в Твои руки. <...>

*Франц*

1. "Гартенлаубе" ("Садовая беседка") — немецкий еженедельный иллюстрированный журнал, чрезвычайно популярный во второй половине XIX века. Публиковал материалы познавательного и развлекательного характера, в том числе и произведения изящной словесности.
2. Гастроли русского балета (труппа А. П. Павловой) проходили в Праге весной 1910 г. Евгения Платоновна Эдуардова (1882—1960), Тамара Платоновна Карсавина (1885—1978) — знаменитые русские балерины, после революции обе в эмиграции.
3. Эмиль Жак-Далькроз (1865—1950) — швейцарский музыкальный педагог и композитор, в 1910 г. основал Школу музыки и ритма в Хеллерау (под Дрезденом). Летом 1914 г. Кафка посетил эту школу (см. "Дневники", 30.06.1914).

Воскресенье, 19.I.1913, пополудни, в недобрый час

Нет, любимая, так, как в предпоследнем письме, Ты не должна мне писать. Правда, сегодняшним письмом Ты все это перечеркнула, но ведь вчерашнее уже здесь, у меня перед глазами, и я уже 24 часа ношу его в себе. Разве Ты не знаешь, как я такие вещи поневоле буду читать? Разве Ты не знаешь, насколько я слаб и несчастлив и завишу от минутных перепадов настроения? А уж сейчас, когда я вот уже четвертый день для себя ничего не пишу, и подавно! Ты, конечно, чувствуешь все это, любимая, иначе я не мог бы ощущать в Тебе столь близкую душу, но все равно я должен Тебе сейчас написать вот что. Когда вчера я прочел Твое письмо, я сказал себе: "Вот видишь, тут прямо так и написано — даже в глазах Фелиции, которая, конечно же, относится к тебе куда лучше, чем другие, даже в ее глазах тебе недостает прочности и уверенности в себе. Но если даже ее ты не устраиваешь, кого ты вообще можешь устроить? А ведь то, что ты ей написал и на что она так тебе отвечает, и вправду шло от самого сердца. Тебе и вправду нужен подвал, хоть тебе и кажется сегодня, что даже подвал тебе уже не поможет[1]. А Фелиция, значит, этой необходимости не осознает? Не может осознать? Разве не знает она, на какую прорву вещей ты не способен? И разве не знает она, что если ты живешь в подвале, то этот подвал безусловно принадлежит и ей тоже? (Хотя, несомненно, приходится признать, что именно подвал и ничего кроме подвала — это и впрямь весьма прискорбное имущество.)". Любимая, родная моя, неужели Ты всего этого не знаешь? Но тогда, любимая, какие же страдания я на Тебя навлеку, даже если все у нас будет настолько хорошо, как иногда грезится? И чем лучше будет, тем больше будет страданий. Вправе ли я на это пойти? Даже если голос самосохранения мне приказывает? Иной раз невозможность захлестывает возможность, точно волна.

И не стоит, любимая, недооценивать стойкость той китайской женщины[2]. До раннего утра — не помню уж точно, указано ли в стихотворении время — она бодрствовала на своем ложе, упорный свет настольной лампы не давал ей спать, но она была спокойна, может и пыталась силою взгляда отвлечь ученого от его книги, но этот печальный и столь преданный ей мужчина взглядов ее не замечал, и только Богу известно, по каким таким печальным причинам не замечал — по причинам, над которыми он был не властен, но которые все вместе и в высшем смысле были связаны с ней и преданы только ей. В конце концов она не сдержалась и отняла-таки у него лампу, что в конечном счете было совершенно правильно — и для здоровья полезно, и для занятий, надо надеяться, не вредно, и для любви благоприятно, и хорошее стихотворение за собой повлекло, но в общем и целом все-таки было всего лишь самообманом той женщины.

Любимая, возьми меня к себе, держи меня, но не обманывайся, день на день у меня не приходится, поэтому осознай — чистой радости Ты никогда от меня не получишь, зато чистого страдания сколько угодно, но несмотря на это не гони меня прочь. Меня связывает с Тобою не только любовь, любовь — это было бы слишком мало, любовь начинается, приходит, проходит и приходит снова, а вот эта необходимость, которой я, словно крючьями, впился во все Твое существо, она остается. Так останься же и Ты, любимая, останься! И письма, такие, как позавчера, больше не пиши.

Этими днями, начиная с вечера четверга, я так и не добрался до своего романа, и сегодня уже не доберусь. После обеда я должен встретиться с Максом и с Верфелем, которому уже завтра снова ехать в Лейпциг. Этот юноша с каждым днем симпатичен мне все больше. Вчера я и с Бубером переговорил, в личном общении он и свеж, и прост, и значителен, и, кажется, не имеет ничего об-

щего со своими вялыми писаниями. Наконец, русские вчера вечером были просто великолепны. Этот Нижинский и эта Кякшт поистине два совершенных человека, безупречных в сердцевине своего искусства, от них, как и от всех подобных людей, исходит невероятное самообладание[3].

Но как бы там оно ни было, с завтрашнего вечера и уже надолго я из дома ни ногой. Как знать, может, именно эти мои шатания смутили покой моей любимой. Как раз в то примерно время, когда Ты писала свое письмо, я был в обществе, собравшемся после доклада вокруг Бубера и Айзольт, и, опьяненный обманчивым удовольствием находиться вне дома, вел себя достаточно утрированно и вызывающе. Хоть бы мне снова засесть за свою историю![4] Только бы любимая снова успокоилась и, собравшись с духом, снова взяла на себя гнет несчастий, которые я ей причиняю и который она на минуточку решила опустить на пол!

*Франц*

Что сказала матушка, передавая письмо? И что пишет отец? Когда вы переезжаете? На Твои вопросы про "Созерцание" в ближайшее время отвечу. И не два дня я хорошо писал, а только один. Один день за всю неделю! А Ты меня еще не пускаешь в подвал!

1. См. письмо Кафки от 14—15 января 1913 г.
2. См. письмо Кафки от 24 ноября 1912 г.
3. Вацлав Фомич Нижинский (1889—1950) — великий русский танцовщик, Лидия Георгиевна Кякшт (1885—1959) — известная русская балерина.
4. Вероятнее всего, имеется в виду все-таки роман "Америка".

---

С 26 на 27.I.1913

Долго сидел над письмами Хеббеля[1], и вот уже поздно. Это был человек, умевший выносить страдание и высказывать правду именно потому, что внутренне чувствовал себя целостным и уравновешенным. Ни одна черта в его облике не расплывается, он не трепещет, а ведь при этом он с тридцати лет жил между двумя женщинами, на две семьи, в обеих семьях хоронил умерших. Отчет чуть ли не о всяком своем деле он мог начать словами: "Ежели спокойная совесть — порука действию...". Насколько же я далек от людей такой складки! Да вздумай я хоть раз поверить что-либо собственной совестью, мне пришлось бы всю жизнь провести в разглядывании колебаний этой совести. Вот я и предпочитаю отворачиваться, ни о каких проверках знать не хочу и, лишь когда недобрые подозрения относительно происходящего за моей спиной становятся слишком велики, слегка вжимаю голову в плечи.

Разумеется, из-за этого я всегда и во всем оказываюсь виноватым, в том числе и в моих отношениях с Максом. Из любви, слабости, малодушия, а также по многим другим, отчасти неизъяснимым, причинам я не всегда был честен по отношению к нему, в мелких вещах сплошь и рядом, но даже и в крупных не всегда. Но мне претит писать об этом, не могу, любимая, не сегодня, не сердись и постарайся понять.

Однако тревожиться о наших обоюдных отношениях у Тебя нет ни малейших причин, видела бы Ты, как вчера вечером мы с ним смеялись, мы были вдвоем в кафе, его дружба ко мне неколебима, да и моя к нему, *разве что центр тяжести этой дружбы лежит во мне одном, и я один знаю, когда он колеблется, и страданием, которое выпадет мне одному, я частично погашаю вину, которая тоже мне од-*

*ному достается.* Замечание Макса, насчет которого я Тебе писал и которое Тебя так встревожило, было брошено между делом, как это вообще ему свойственно — рассуждать о многих вещах, не имеющих к нему никакого касательства, без особых раздумий и чувства ответственности. Ты недостаточно хорошо его знаешь, и мою преувеличенную, необузданную манеру письма знаешь недостаточно, вот и пугаешься. Велели бы мне причиненный мною испуг развеять поцелуями!



*Франц*

1. Кристиан Фридрих Хеббель (Геббель) (1813—1863) — немецкий драматург. Кафка пользовался следующим изданием его писем: Hebbels Briefe. Ausgewählt und biographisch verbunden von Kurt Küchler. Jena, 1908.

---

С 28 на 29.I.1913

Снова возвращаюсь к Тебе, любимая, от писем Хеббеля. Не знаю, как люди обычных занятий, поглощенные обычными житейскими заботами, читают подобные письма, где человек вздымается из пробужденных творчеством глубин своего существа, даже в бессилии своем отверзая нам свою душу безудержным потоком неистовых признаний, — я и вправду чувствую его (хотя мне, если соизмерять вещи трезво, далеко до него, как самой малой луне до солнца) совсем близко, он изливается жалобами, уткнувшись мне в шею, он вживую, пальцами, касается моих слабостей, а иногда, достаточно редко, увлекает меня за собой, словно мы с ним друзья.

По отдельности же описать его воздействия на меня, вывести одно из другого я не могу, жизнь в столь разреженном воздухе мне не по силам, я выскальзываю из действительной борьбы, чтобы успокоиться созерцанием целого. Моему мышлению положены невероятно узкие пределы: чувствовать в итогах предшествовавшее им развитие я могу, однако проделать весь путь от итога к результату или шаг за шагом вывести из итога предыдущее развитие мне не дано. Я как будто падаю на вещи сверху вниз и успеваю разглядеть их лишь в сумбуре этого падения.

Хеббель же мыслит совершенно прямо, без малейших уловок, в которые так хочется порой юркнуть со своим отчаянием. Он мыслит не только с присущей ему с ранней юности природной силой (ведь образование у него было совсем случайное, кое-как нахватанное), но и с какой-то особой, изначально ему присущей и до прямолинейности доходящей методичностью. Когда я пытаюсь поточнее представить себе ходы его мысли, доброе, человеческое воздействие на меня его писем тут же прекращается и он попросту меня растаптывает.

За сегодняшнее Твое письмо, любимая, особое Тебе спасибо. Одному Богу известно, невзирая на какие затруднения Ты его писала, но ведь написала же, и я, идя со службы, ощупывал в кармане исписанный накануне Твоей рукой листок, мог держать и ласкать его в руках, мог любоваться им. Представь себе, я тут даже шоколаду съел, разумеется, медленно, недоверчиво и пугливо, но соблазн как можно больше причаститься к Твоему существованию и к Твоим удовольствиям был слишком велик. Да мне это и не повредило, ибо все, от Тебя исходящее (в этом Ты совсем не то, что я), хорошо, мило и повредить не может.

*Франц*

С 9 на 10.II.1913*

<...> Вчера вечером не написал Тебе, потому что засиделся над "Михаэлем Кольхаасом"[1] (Ты его читала? Если нет, не читай! *Я* Тебе его прочту!), которого, за исключением сущей малости, прочитанной для затравки позавчера, проглотил залпом. По-моему, уже в десятый раз. Это история, которую я читаю буквально богобоязненно, то и дело цепенея от изумления: если бы еще слегка не подводил финал, дописанный отчасти грубовато и наспех, то это было бы нечто совершенное, просто само совершенство, про которое я люблю говорить, что такого не бывает. (Я имею в виду только, что даже безупречный, высший литературный шедевр прячет в себе хвостик человечности, который — если хотеть его разглядеть, да и глаз иметь наметанный — начинает потихоньку вилять, подрывая величественность и богоподобие целого.) <...>

1. Знаменитая повесть Генриха фон Клейста.

---

13.II.1913

Я долго стоял у балконной двери, уставясь на улицу в поисках ответа на вопрос, ехать ли мне в Дрезден. Я, правда, совсем не знаю, что Ты будешь в Дрездене делать, едешь ли Ты туда с матушкой или одна, будут ли у Тебя там какие-то особые поручения (на это указывает как внезапность поездки, так и то, что Ты, похоже, намереваешься остаться в Дрездене на ночь) и, следовательно, не помешаю ли я, даже если всего лишь буду ожидать Тебя перед отелем или пытаться захватить место в ресторане, с которого можно будет наблюдать Твой столик. Но в действительности все эти соображения не смогли бы воспрепятствовать моей поездке. Однако состояние мое, которое даже здесь, дома, в кругу семьи, скорее влечет меня в мою темную каморку, нежели в освещенную гостиную, превращает для меня само подобное путешествие в предприятие почти неимоверное, а кроме того, поскольку целью путешествия будешь Ты, еще и в рискованное, опасное предприятие, ибо что скажешь Ты, что скажет Твоя сестра, впервые узрев меня в таком виде? Нет, нет и нет. Остаюсь на своем месте, только еще немного печальней, чем обычно, и еще немного беспокойней — ибо Ты будешь ближе, чем обычно, и все равно в недосягаемости для меня. Дряхлый старичок, ветхая старушка, ни слова не говоря, решились бы на эту поездку, а я не могу.

Прощай, любимая, и проведи там несколько спокойных часов. Прости, если я Тебя и в Дрездене буду тревожить письмами. Воскресное письмо ждет Тебя в Берлине, ничего нового в нем нет, лишь все та же вечная литания последних недель.

*Франц*

---

С 13 на 14.II.1913*

<...> Вчера пришли листы с корректурой Твоей маленькой истории[1]. Как прекрасно окаймляют ее название наши имена! Хотя бы, пока Ты ее не прочла, не жалей о том, что дала согласие на упоминание Твоего имени (Ты названа там, конечно, только Фелицией Б.), ибо история эта, сколько и кому бы Ты ее ни показала, никому не придется по душе. Утешением Тебе или чем-то вроде утешения может послужить лишь то, что я предпослал бы ей Твое имя даже

вопреки Твоему запрету, ибо посвящение — это хоть и крохотное, хоть и подозрительное, но несомненное свидетельство моей любви к Тебе, а любовь живет не разрешением, а порывом. Впрочем, для возражений у Тебя еще есть время, издание книги задерживается, протянутся еще месяцы, прежде чем она выйдет.



Любимая! Видишь, как бесплодная пора не-писания — она, похоже, раскинулась передо мной без конца и края — бросает меня то в жар, то в холод? Весь вечер я радовался тому, что буду писать Тебе, а теперь, когда пишу, меня одолевает усталость, или я делаю вид, что она меня одолевает, и заканчиваю письмо, надув губы и потупив пустые глаза.

*Франц*

1. Имеется в виду новелла "Приговор".

---

16.II.1913

И снова, любимая, только пару слов наспех. Я немножко поспал, а потом очень долго лежал без сна, и опять стало поздно. Надеюсь, воскресенье у Тебя выпало поприятнее моего. Передо мной лежит открытка от Макса и Эльзы из Сан-Рафаэля на Ривьере, или, еще краше, на Лазурном берегу. Дело в том, что я попросил их подыскать для меня на осень местечко, где жарко, можно жить вегетарианцем, совершенно не болеть, где, даже если ты один и ни с кем не разговариваешь, все равно не чувствуешь себя брошенным (хотя быть там одному вовсе не обязательно), где даже австрийскому чурбану понятен итальянский и т. д., короче, прекрасное и совершенно несбыточное местечко. И вот Макс уверяет, что это как раз Сан-Рафаэль. Что Ты об этом думаешь, любимая?

Так, а теперь пробегусь немного в Твоем направлении, правда, только до вокзала.

*Франц*

---

С 17 на 18.II.1913*

<...> Любимая, одно только еще я должен Тебе сказать: мое воскресное письмо Ты прочла наспех, иначе его и невозможно читать, там достаточно много гадкого (при случае я Тебе все объясню), так что столь беглому чтению я даже рад и прошу Тебя, чего доброго, не читать его еще раз — однако о протянутой между нами *и, возможно, готовой порваться веревочке* там, ей-богу, ни слова нет. Любимая, я же не сумасшедший, чтобы самому себе выносить приговор или его на себя накликивать, это на себя-то, который принадлежит Тебе больше, чем мой портрет у Тебя на груди. Как Ты могла нечто подобное в моем письме вычитать, какими глазами Ты его читала?

И чьей рукой, в каком сне Ты мне пишешь, что я располагаю Тобой всецело? Любимая, это Тебе сейчас, в отдалении, так кажется. Но чтобы располагать кем-то вблизи и надолго, нужны совсем иные силы, тут мало игры мускулов, продвигающих перо по бумаге. Разве Ты сама, если подумать как следует, так не считаешь? Мне иной раз кажется, что это общение письмами, поверх которого я почти все время стараюсь посягнуть на действительность, единственный вид общения, отвечающий моему убожеству (убожеству, которое я отнюдь

не всегда таковым ощущаю), и всякое пересечение этого положенного мне предела уведет нас обоих прямиком в беду. Любимая, у меня достаточно воображения, чтобы сказать Тебе: так же, как я в мыслях о Тебе льну к Тебе и прижимаюсь и ни за что на свете не хочу отпускать, — точно так же тот же я, думая о Тебе (как же мы с Тобой, однако, смешиваемся у меня в голове, просто до неразличимости, вот что самое скверное), всеми силами должен держаться от Тебя в отдалении.

Господи, чем же это все кончится! А теперь, сама посуди, любимая, вот это ужасное письмо мне надо будет отправлять, но уже три часа, даже больше, и другого я написать уже не смогу. Хотел сказать только, что в предыдущем письме все, что Тебе не понравится, неправда или не так сказано; то есть все это, конечно, совершенная правда и сказано верно, но я люблю Тебя так, что стоит Тебе захотеть этого одним лишь взглядом — и я скажу неправду, даже больше того, я в нее поверю. Иногда я думаю: Фелиция, у Тебя такая власть надо мной — так преврати же меня в человека, способного на все само собой разумеющееся.

*Франц*

---

18.II.1913

Любимая, вчерашним письмом я причинил Тебе боль. Еще до вскрытия почтовых ящиков я хотел его отозвать, но скажи, что мне делать, когда на меня вот так, как вчера, накатывает, да еще среди ночи? Разве не должен я этого записать — или держать такое в себе? В последние дни со мной, во мне, конечно же, что-то не в порядке, в мои письма то и дело протискиваются слова и фразы, которых я не хочу там видеть, они приходят как будто извне, хотя источник их, конечно же, где-то во мне, глубоко внутри. Любимая, пожалуйста, не смотри на них, стерпи их тихо или засыпь меня упреками, но только останься со мной, и не печалься, и не плачь, и не гони меня от себя.

*Франц*

---

С 18 на 19.II.1913

Любимая, прошу Тебя, помоги мне снова исправить все, что я натворил в последние дни. Может, ничего особенного и не случилось и Ты, если бы не моя истерика, ничего бы и не заметила, но эта тревога, втиснутая в отупение, гонит и гонит меня куда-то, в итоге же я либо пишу совершенно безответственный вздор, либо страшусь в любую секунду его написать. Лживые фразы караулят возле моего пера, обвиваются вокруг кончика и бесенятами проскакивают в письма. Я не считаю, что человеку не дано сил полностью выразить в слове все, что он хочет написать или высказать. Ссылки на слабость языка, разглагольствования о беспредельности чувств и ограниченности слов — все это пустое. Беспредельное чувство остается в слове таким же беспредельным, каким оно было в сердце. Ясность в душе с неизбежностью обернется и ясностью в слове. Вот почему при виде слов никогда не надо тревожиться о языке, но только о себе самом. Да и кому из самого себя видно, каково обстоит с ним на самом деле. Ведь все это буйство, все это колыхание, вся эта трясина у нас

внутри и есть мы сами, но на тайном торимом и творимом пути, по которому исторгаются из нас слова, на свет выходит самопознание, и даже в тот миг, когда оно еще сокрыто от нас, — оно уже перед нами и уже несет нам восторг или ужас. Так возьми же, любимая, меня под защиту от всех гнусных слов, что в последнее время я из себя добываю. Скажи, что Ты все понимаешь и все равно будешь меня любить. Я тут недавно написал что-то оскорбительное про Ласкер-Шюлер и Шницлера. И до чего правильно написал! Но тем не менее оба они просто ангелы, когда парят над бездной, в которой я на самом дне простираюсь. А похвалы Макса! Он же не книгу мою хвалит, книга что, вот она, суждение о ней, кому охота, всегда можно проверить; он прежде всего хвалит меня, вот же что самое смешное. Только где он — я? И суждение его обо мне как проверишь? До чего же мне хочется иметь сильную руку для одной только цели — заехать как следует в ту разболтанную конструкцию, которой я являюсь. А ведь при этом то, что я сейчас говорю, даже не вполне точное мое мнение, больше того, даже не вполне точное сиюсекундное мое мнение о себе самом. Когда я заглядываю в себя, я вижу настолько смутное месиво, что даже отвращение к самому себе не могу ни точно обосновать, ни в полной мере за него поручиться.

Любимая, что Ты скажешь, стоя перед таким вот смятением? Может, наблюдать за ним со стороны еще более отвратительно и прискорбно, нежели переживать самому? Даже наверняка, и даже несравненно более отвратительно и прискорбно. Могу представить себе, сколько нужно сил, чтобы не отвернуться и не убежать. Тогда как я, признаюсь Тебе, записываю все это совершенно спокойно.

*Франц*

---

С 19 на 20.II.1913*

Настолько привыкший играть воображением, что не бросаю эту привычку даже наяву, даже тогда, когда учащенное сердцебиение напоминает о том, что на сей раз все взаправду, я, любимая, на сей раз глубоко огорчен Твоими замечаниями относительно моей возможной поездки на юг. Я предложил Тебе сей план не просто для сведения и оценки (ибо что касается меня, то мне совершенно безразлично, куда ехать, хорошо мне нигде не будет, разве что за исключением нескольких секундных неожиданностей), и даже знай я, что в конце концов все обернется только оценкой, которую я смог бы принять как благословение к путешествию, — между этой, окончательной, оценкой и самой первой мне недостает связующего звена, без которого мое воображение не в силах успокоиться, ибо жаждет в неистребимом и отчаянном порыве увлечь Тебя за собой. <...>

---

С 20 на 21.II.1913*

Поздно,.поздно. Опять бесполезный вечер с самыми разными людьми. Без опоры — ведь я не пишу, а Ты в Берлине — я даю влачить себя куда угодно. <...>

Зато мне выпало хорошее утро. Еще когда я спозаранку шел на работу, все было мне до того противно и скучно, что я, хоть даже и не особенно опаздывал, вдруг припустил бегом — ни с какой иной целью, кроме как немного встряхнуть отвратительность окружающего мира и сделать ее хоть чуточку выносимее. Но как только я получил Твое письмо и прочел в нем то, что так

хотел прочесть еще ночью — что Ты хочешь поехать со мной в Сан-Рафаэль или, по крайней мере, подумываешь об этом, — мир, в котором открылись такие возможности, сразу же предстал для меня в совсем ином свете, каким я его уже неделями не видывал. Значит, Ты бы со мной поехала, мы стояли бы там вместе у перил, любуясь морем, сидели бы рядышком на скамейке под пальмами, и все, что бы ни случилось, было бы именно "рядышком". Это сердце, в котором я так хотел бы замкнуться ото всех и навсегда, билось бы подле меня. У меня до сих пор дрожь пробегает по лицу. Именно так и должно быть, когда представляешь себе невозможное, Ты и сама писала все это всего лишь как сказку: "я подыщу Тебе хорошее местечко, а потом оставлю Тебя одного". Слышишь, любимая, как невозможность предприятия сквозит в интонациях, ибо даже если бы все чудеса, необходимые как предпосылка для нашего путешествия, одно за другим вдруг свершились и мы стояли бы на перроне у поезда, отправляющегося через несколько минут в Геную, — даже тогда мне пришлось бы остаться, это был бы мой само собой разумеющийся долг. Никогда бы не взял я на себя право в том состоянии, в каком я сейчас нахожусь, или даже в предвидении всегдашней возможности такого состояния стать Твоим попутчиком. Один, в самом дальнем углу купе — вот где мое место; там мне и оставаться. Сопряженность с Тобой, которую я стараюсь удержать из последних сил, никогда не должна подвергнуться риску такого совместного путешествия.

*Франц*

---

С 21 на 22.II.1913

Сегодня я размышлял о том, каким бы представлял себя на Твоем месте, не имей я — за исключением немногих, для Тебя скорее мимолетных часов нашей действительной встречи — иного материала под рукой, кроме моих писем последних дней. Письма эти, похоже, такого свойства, что с лихвой опровергают и заставляют забыть все, что в предыдущих письмах было пригодного для жизни, хоть я, когда писал их, испытывал жгучее, пусть и бессильное желание заострить их в том же направлении еще резче и ни одно из писем действительно не мог перечитывать без крайней к себе неприязни, единственно по той — помимо всех прочих причин, понятных и само собой разумеющихся — причине, что чувствовал себя еще недостаточно глубоко и недостаточно часто уязвленным. Разве подобные письма не перекрывают все прочие представления обо мне? И способна ли Ты, не будь у Тебя перед глазами доказательства столь бесспорного, исходя из всего прочего своего жизненного опыта, помыслить себе человека, живущего столь же никчемно *и тем не менее живущего*, хоть все его пребывание в жизни сводится лишь к беготне вокруг огромной дыры, которую он зачем-то охраняет? И не должно ли Тебе, любимая, почти казаться, что это уже не человек Тебе пишет, а некий дутый призрак?

И тем не менее, любимая, это пишет человек. (Впрочем, занесшись до такого утверждения, последствия своего бытования во человецах он уже вряд ли способен описать, для него это слишком высоко.) И тянется к Тебе, собирая для этого все свои хлипкие силы, и отдаленность Берлина видится ему совсем не страшной в сравнении с высью, которая Тебя над ним вознесла. И несмотря на всю свою добрую волю он никогда ничего иного не достигнет, кроме как Тебя "каждый раз снова и снова разочаровывать", как Ты сегодня пишешь (в другой, правда, связи, но соотнесенность подобных замечаний со мной образуется сама по себе и без Твоего участия). Он не может иначе, ибо у нас только

те силы, с которыми мы выдворены в сей мир, и нам не дано, даже если дело идет о нашей жизни и смерти, раздобыть, пусть даже из самых темных кладовых, какие-то новые.

Ты не можешь писать мне ни в бюро, ни в трамвае. Объяснить Тебе почему, любимая? Просто Ты не знаешь, кому писать. Я негодный адресат. Предстань я сейчас, смоги я сейчас предстать перед Тобой во всем размахе своего нынешнего убожества — Ты бы ужаснулась и отпрянула. Вот я и кидаюсь — без всякого умысла, конечно, — во все стороны, как обезумевшая от страха белка носится по своей клетке, лишь бы Тебя, любимая, возле этой клетки удержать, хоть я Тебя и не могу видеть. Когда же Ты это распознаешь, а распознав, долго ли еще захочешь подле меня оставаться?

*Франц*

---

(Предположительно приложено к данному письму)

Вот какие представления — или желания — занимают мои мысли, когда я без сна лежу в постели:

Быть поленом, из середины которого (то бишь где-то из области моего таза) дюжая кухарка, плотно уперши полено себе в живот и со всею силой с двух концов налегая на резак обеими руками, стесывает на растопку щепу.

---

23.II.1913*

Лишь пару слов, любимая, потому что уже поздно, а я хочу еще успеть ненадолго выбраться на воздух, прежде чем отправляться потом к Максу. День этот, как и полагается (ибо место мое сегодня либо в Дрездене, либо в постели), я по преимуществу провел в постели, и единственные мои два сегодняшних — зато уж поистине ужасных — приключения состояли в том, что из предобеденного сна меня, постепенно и невзирая на все мое сопротивление, безумным, однообразным, непрерывным, снова и снова со свежими силами возобновляемым криком, пением и хлопаньем в ладоши в сей скорбный мир непреклонно вытаскивал отец, забавляя таким образом своего внучатого племянника, тогда как после обеда он проделывал все то же самое уже на радость собственному внуку. Знаешь, любимая, нужны немалые добродетели, чтобы выдержать подобный гвалт, умом вообще-то даже понятный (в конце концов, это единственная отцовская отрада), но в глубине души совершенно непостижимый (пляски туземцев и то мне ближе), не разражаясь отнюдь не детскими проклятьями. Так барабанить по нервам! Особенно после обеда, когда каждый крик как удар кулаком в глаз! Да еще сопровождаемый мыслями, что меня самого много лет назад развлекали подобным же образом. Правда, тогда хоть никто за стенкой не лежал и так не мучился. И все же донимает меня, должно быть, даже не сам этот крик, просто вообще нужны силы, чтобы выносить присутствие детей в доме. Лично я не в состоянии, не могу пренебречь собой, у меня кровоток останавливается, кровь буквально застывает в жилах, и вот это замирание крови и прикидывается во мне любовью к детям. Из-за этих все более частых наездов племянника и племянницы, которые, подрастая, горланят все громогласней, я уже всерьез подумываю подыскать себе где-нибудь комнату и съехать с квартиры. Когда-то, много лет назад, я уже был близок к такому шагу, правда по другим причинам, но в конце концов дал себя удержать. <...>

С 28.II на 1.III. 1913*

Поздно, любимая, опять поздно. Я делал работу для службы и засиделся допоздна. Мне к тому же и холодно. Неужто опять простудился? Чувствую себя довольно противно: всю левую сторону как будто все время продувает.

Как Ты можешь говорить, что я способен на Тебя рассердиться, если Ты вдруг не напишешь? Пойми и запомни раз и навсегда, что я благодарен Тебе за все, что Ты мне даруешь, и что одно Твое доброе слово стоит для меня, как и в глазах высшего судии, много больше целого вороха моих писем. Поэтому при нынешней Твоей спешке не заставляй себя писать мне письма, можешь спокойно иной день и пропустить, особенно если письмо отнимет у Тебя хоть немного столь необходимого Тебе сейчас сна, и знай, что, сколько бы писем Ты ни пропустила, я здесь и стойко и неизменно жду следующего. В этом я неизменен, какая бы чехарда ни творилась со мной во всем остальном.

Сегодня вечером, да и в течение дня я был спокойнее и увереннее, чем обыкновенно, однако сейчас все это опять куда-то делось. Хотел бы, кстати, я взглянуть на человека, который без ущерба для себя выдержал бы мой образ жизни, в особенности одинокие прогулки по вечерам. Дома я почти ни с кем не разговариваю, и даже отношения с сестрой, которые в конечном счете зависят главным образом от моего сочинительства, сейчас совсем охладели. <...>

Недавно иду по Айзенгассе, вдруг совсем рядом слышу: "Что поделывает Карл?" Оборачиваюсь и вижу мужчину, который, не обращая на меня ни малейшего внимания, бредет куда-то и разговаривает сам с собой, сам себя об этом Карле расспрашивая. Но дело-то в том, что главного героя моего злосчастного романа зовут как раз Карлом[1], так что этот безобидный встречный мужичонка, сам того не зная, видимо, имел поручение меня высмеять, ибо считать его вопрос ободрением я никак не могу.

Недавно, в связи с письмом моего дядюшки, Ты спросила меня о моих планах и видах на будущее. Тогда я Твоему вопросу удивился, сейчас, при вопросе незнакомца, он мне вспомнился снова. Разумеется, никаких планов, никаких видов на будущее у меня нет, в будущее я не могу направляться, только рушиться головой вниз, только падать, споткнувшись, или катиться в будущее кубарем, это я могу, а лучше всего я умею просто лежать на месте. Но уж планов и видов на будущее у меня точно никаких, когда мне хорошо, я всецело преисполнен настоящим, когда мне плохо, я настоящее проклинаю, а уж будущее и подавно!

*Франц*

1. Карл Росман — главный герой романа "Пропавший без вести" ("Америка").

---

С 9 на 10.III.1913*

Нет, насколько же неразумную, насколько дряблую жизнь я веду! Даже говорить не хочется. Как я провел все нынешнее воскресенье — понурив голову, хоть и не будучи даже по-настоящему несчастлив, просидев сиднем, хоть даже и не особенно скучая, потом погуляв с Феликсом, а уж затем (почти со вздохом облегчения) один — и словно бы все время ощущая чей-то кулак, упертый мне в шею! <...>

Вчера вечером, кстати, я сделал открытие, вообще-то, наверное, ужасное, но меня оно почти облегчило. В поздний час я вернулся от Баумов, писать Тебе еще раз не хотелось, среди моих настроений перемены сейчас столь незна-

чительны, что нет смысла приберегать их для отдельного письма, а я как раз мог бы написать Тебе хорошо и насладиться этим как благодатью, но писать не стал, спать идти тоже не хотелось, слишком много во мне еще оставалось неприятных ощущений после моциона, хоть и совсем недолгого, совершенного вместе с родственниками, за которыми, явно прежде времени распрощавшись с Максом, его женой и Феликсом, я зашел в кофейню, — так вот, поскольку на столе передо мной как раз оказались тетрадки с моим романом (уж не знаю, по какой оказии эти давно без надобности лежащие тетрадки вдруг на самый верх выплыли), я их взял и стал читать, сперва с почти равнодушной доверчивостью, словно чередование хороших, наполовину хороших и вовсе неудавшихся мест памятно мне заранее, но по мере чтения удивляясь все больше, покуда не пришел к неколебимой убежденности, что из всего написанного только первая глава живет внутренней правдой, тогда как все остальное, за исключением отдельных коротких и не очень коротких пассажей, написано словно по памяти, с голоса большого, но уже начисто исчезнувшего чувства и, следовательно, никуда не годится, то бишь из 400 примерно больших тетрадных страниц остаются, по-моему, 56. Если присовокупить к этим 350 страницам, которые следует выбросить, еще примерно 200 совершенно непригодного, еще прошлой зимой и весной написанного первого варианта той же истории, получается, что я сочинил для этого романа уже 550 ненужных, лишних страниц. А теперь спокойной ночи, бедная моя любимая, и пусть Тебе привидятся во сне более привлекательные предметы, чем Твой

*Франц*

---

С 17 на 18.III.1913*

Ты права, Фелиция, в последнее время я нередко заставляю себя писать Тебе, но мои письма к Тебе и моя жизнь сплелись почти неразрывно, ведь я и жить себя сейчас тоже заставляю — выходит, мне перестать?

Ни одно слово не доходит до меня сейчас прямо от истоков, а выхватывается где-то на дальних подступах, случайное и уже самым тщательным образом упакованное. Когда я жил всею полнотой жизни и письма, я однажды написал Тебе, что всякое истинное чувство не ищет подобающих слов, а выталкивается на свет вместе с ними или даже их силою. Возможно, это все-таки не совсем правда.

Да и как мне, даже при самой уверенной руке, достигнуть в письмах к Тебе того, к чему я стремлюсь — то есть убедить Тебя в серьезности двух просьб сразу: "Не разлюби меня!" и "Возненавидь меня!" <...>

---

31.III.1913*

Уже поздно, отправляюсь спать, только вот еще пошлю привет и несколько росчерков пера Тебе, любимая, непостижимая возлюбленная моя. Я пришел к мысли, что уже много лет недосыпаю и что эти вечные дергающие головные боли либо смогу вылечить сном, либо вообще уже от них не избавлюсь. В полном одиночестве, только с Твоим вчерашним письмом, совершил долгую прогулку, хотя мог бы пойти в обществе двоих знакомых, но я хотел побыть один, в прежние времена я хотел этого из кокетства, по глупости, по лености и, будучи худо-бедно здоровым и бодрым парнем, с дурацким скучающим видом бродил по округе в одиночестве, теперь я один по необходимости и в не-

малой мере оттого, что тоскую по Тебе. Я ушел далеко от города, на склоне холма подремал немного на солнышке, дважды пересек Влтаву, много раз читал Твое письмо, бросал с обрыва камушки, любовался необъятными видами, какие открываются до самого горизонта только ранней весной, вспугивал любовные пары (он лежал в траве, она, заслоняя его, трепетала всем телом) — меня ничто не трогало, единственно живым во мне было Твое письмо у меня в кармане. <...>



---

1.IV.1913

Главный, истинный мой страх — хуже этого, наверно, ничего уже ни сказать, ни услышать нельзя, — истинный мой страх в том, что я никогда не смогу обладать Тобою. Что в самом лучшем случае буду вынужден довольствоваться уделом до беспамятства преданного пса и только целовать Твою рассеянно протянутую руку, причем поцелуй этот будет не проявлением жизни, а лишь знаком отчаяния бессловесной твари, обреченной на немоту и вечную неблизость. Что я буду сидеть подле Тебя и, как это уже случалось, чувствовать дыхание и жизнь Твоего тела совсем рядом — но при этом, в сущности, быть от Тебя дальше, чем сейчас, в четырех стенах своей комнаты. Что, не в силах привлечь к себе Твой взгляд, всю жизнь буду ощущать его потерянным для себя безвозвратно, когда Ты смотришь в окно или задумчиво подпираешь ладонями подбородок. Что, рука об руку и внешне неразлучно с Тобой, объеду и увижу хоть весь свет — и ничто из этого не станет правдой. Короче — что навсегда останусь вне Тебя, как бы низко, опасно низко, Ты ко мне ни склонялась.

Если все это правда, Фелиция, — а мне это кажется правдой совершенно несомненной, — тогда у меня еще примерно полгода назад были все основания из последних сил стремиться расстаться с Тобой и столь же весомые основания страшиться поддерживать с Тобой всякие внешние отношения, поскольку следствием таковых отношений было бы только одно: моя тяга к Тебе разорвала бы те хлипкие узы, что еще удерживают меня, непригодного к этой жизни, на этой земле.

Заканчиваю, Фелиция, думаю, на сегодня я написал достаточно.

*Франц*

---

5.IV.1913*

<...> Позавчера я проходил мимо зала ожидания городского вокзала. Не думая ни о чем особенном, ни хорошем, ни плохом, я почти не заметил носильщиков, убого одетых отцов семейства, которые, как это водится у нас в Праге среди этого люда, позевывая и поплевывая, лениво протирая глаза, маялись там без дела. Не сразу поняв почему, я вдруг ощутил к ним острую зависть (что само по себе даже неудивительно, ведь я завидую каждому и с упоением вживаюсь в чужие жизни) и только немного погодя сообразил, что эта зависть как-то связана с мыслями о Тебе, что, по всей вероятности, те же самые бедолаги вот так же стояли тут, когда с вокзальной лестницы Ты впервые ступила на этот тротуар, что они видели, как Ты нанимаешь извозчика, расплачиваешься с носильщиком, садишься в пролетку и укатываешь прочь. Немедленно кинуться следом за Тобой сквозь сумятицу и толчею городского движения, не упуская из глаз Твоей пролетки, не давая ни одному препятствию сбить себя с толку, —

вот, вероятно, задача, которая была бы посильна мне. Но что-то еще? Что же еще?

*Франц*



9.45 вечера 14.IV.1913

Вынужден писать при родителях, которые играют рядом в карты, к тому же измотан всем обычным и чрезвычайным, что было в этот день, но при этом, Фелиция, — очень счастлив. "Все так же, как было" — какие дивные слова, благозвучием своим намного перекрывающие строгость, возможно присущую увещеванию "пожалуйста, не беспокойся понапрасну". Я был на пределе сил, возле которого, впрочем, пребываю в последнее время почти всегда, но в этот раз я уже свесился и почти готов был сорваться. Я уже говорил себе... — но почему перо не слушается, неужто все действительно так же, как было, Фелиция, действительно все, действительно так же, как было?

Вообще-то Ты, наверно, удивляешься: в моих письмах вечно одна и та же забота — как Тебя от меня освободить, но едва только начинает казаться, что я своего добился, меня охватывает бешенство. Я решительно не мог понять, как это за всю неделю во Франкфурте я удостоился лишь одной открытки, не мог понять, почему у Тебя так мало времени, особенно если вспомнить, что когда-то прежде Ты даже писала мне о возможности нашей с Тобой во Франкфурте встречи, о том, как много у Тебя там свободного времени, о поездках на Таунус[1] и т. д. Тем не менее я с Твоим молчанием смирился, пусть, мол, все так и идет к концу, раз уж мне конец. И вдруг вчера в гостях у Макса, уже уходя, среди разговоров о чем-то совсем постороннем, в связи с каким-то мельком и безразлично оброненным словом мне пришла в голову мысль, что Ты, быть может, как раз сейчас и как раз в том самом выставочном центре, откуда отправлена Твоя телеграмма, встречаешься с кем-нибудь из старых или новых знакомых, с кем-то, кто пытается Тебя завоевать. Ведь там, конечно же, собираются представители всех фирм, импозантные, хорошо одетые, сильные, здоровые, веселые молодые люди, рядом с которыми мне, вздумай я с ними тягаться, оставалось бы только одно — зарезаться. И что может быть естественней, сказал я себе, если кто-то из них удостоится Твоей симпатии, особенно с учетом моих многочисленных просьб считать, что все кончено, и я останусь там, где мне самое место и где, судя по моим письмам, я очень хотел остаться, то есть навсегда выброшенным из Твоего круга, как я того и заслуживаю, ибо держал Тебя не руками, как положено держать возлюбленную, а цеплялся за Твои ноги, не давая Тебе и шагу ступить. Так чем же я был недоволен, почему поднялся наутро с буквально деревянной от бессонницы головой и впервые смог по-настоящему вздохнуть, только отправив Тебе телеграмму?

*Франц*

1. Юго-восточный хребет Рейнских Сланцевых гор в средней Германии, славящийся своими минеральными источниками и курортами.

1.V.1913

Нет письма. Может, я плохо понял телеграмму, хоть столько раз ее перечитывал, хоть она всю ночь пролежала у меня под подушкой? Любимая, закрой глаза на то, что в письмах моих одни упреки, что я такой мерзкий, неблагодарный человек, какой я есть. Но, понимаешь, сам я сижу на службе, а сердце мое

бьется в письме, которое, как я верю, ждет меня дома. Потом бегу домой — а там ничего, и это равносильно приговору, что мне снова ждать по меньшей мере еще день и еще ночь. Я же не хочу тебя мучить, на дворе лето, Тебе ни к чему столько писать, да и волноваться ни к чему из-за того, что Ты мне в какой-то день не написала, — хорошо, давай условимся, что всего лишь раз в неделю, каждое воскресенье, *но уж зато наверняка,* переезд ли у Тебя, или выставка, или еще какое-нибудь несчастье (для меня несчастье), я получаю от Тебя письмо, которое Ты напишешь тогда, когда у Тебя будет на него время и охота, но которое каждую субботу утром Ты непременно будешь бросать в почтовый ящик. Могу я попросить Тебя о таком одолжении? Чтобы мне не ждать, чтобы время не тянулось так медленно, с такими заминками, ведь у меня здесь часы бьют, только когда от Тебя письмо приходит. И с головой у меня станет полегче; я понимаю, выглядит все так, будто я эти головные боли просто выдумал для подкрепления своей просьбы, но они у меня на самом деле. Вообще-то скорее это даже не боли, а какое-то неописуемое напряжение. "Писать надо", — говорит мне мой внутренний доктор. Писать невзирая ни на плохую голову, ни на то, что совсем недавно я имел случай убедиться в слабосилии и неточности моих писаний. Ах да, я же еще не писал Тебе, что в следующем месяце у меня выйдет книжка, совсем малюсенькая (47 страниц), я только что получил вторую корректуру. Это первая глава злосчастного моего романа, называется "Кочегар. Фрагмент". Она выходит в дешевой серии, которую Вольф издает под несколько странным названием "Судный день", там каждый томик по 80 пфеннигов. Мне вся эта затея не нравится, как всякая бесполезная попытка соорудить нечто там, где его нет. Но, во-первых, я Вольфу все-таки обязан, во-вторых, он у меня эту историю почти выманил, в-третьих, он был столь любезен пообещать мне позднее издать этого "Кочегара" вместе с Твоей историей и с еще одной вещью отдельной книгой, уже побольше[1]. Стоит мне заговорить о чем-то, кроме Тебя, и я сразу чувствую себя каким-то потерянным.

1. В письме от 16 апреля 1913 г. Курт Вольф действительно обещал Кафке издать отдельным сборником рассказы "Превращение", "Кочегар" и "Приговор".

---

3.V.1913*

<...> Пополудни в полном одиночестве совершил прогулку, забрел, руки в карманах, далеко вверх по реке. Но хорошо мне не было, всю дорогу я твердил себе, что мне, наверно, всегда жилось примерно одинаково плохо, меня донимали вечно одни и те же страхи, просто сил сопротивляться у меня раньше было побольше, теперь же они все тают и тают, скоро это будет сопротивление только для вида, а потом прекратится и оно. Это и правда так, я все время удивлялся непрошибаемости своей башки, от которой, на первый взгляд по бестолковости, все отскакивало, но это была отнюдь не бестолковость, а именно непрошибаемость, давно уже утраченная. Только что целый час просидел с домашними в осознанном намерении хоть ненадолго выкарабкаться из одиночества, но не выкарабкался.

Конечной целью моей прогулки — я в тех местах не был уже много лет — оказалась утлая хижина у реки. Скелет крыши просел и уже просто лежал бесформенной грудой, однако небольшой садик выглядел не столь запущенным, да и земля в нем, казалось, хорошая, влажная. Сейчас, по воспоминаниям, сад этот почему-то представляется мне странно темным, но он и расположен несколько в глубине, за домом, а когда я в него заглядывал, уже вообще стемнело, занималась гроза. Выглядело все это не слишком заманчиво, и тем не менее я

строил планы. Дом наверняка стоит недорого, можно было бы все это купить, построить небольшой уютный домишко, сад довести до ума, протянуть до самой реки лестницу, река там достаточно широкая, над противоположным берегом открываются просторы и дали, внизу привязать лодку и жить там, в общем и целом куда покойнее и лучше, чем в городе, с которым, кстати, по электрической железной дороге вполне хорошее сообщение. (Вот только расположенная неподалеку цементная фабрика с ее неизбежным дымом наводит на размышления.) Эти раздумья были единственной утешительной передышкой во время всей долгой прогулки.

*Франц*

---

18.V.1913*

<...> Есть один убийственный довод против иных представлений о будущем счастье — это возможности, которые нам не дано предусмотреть и измыслить. Точно так же, имея понятие о Боге, невозможно из этого понятия доказать существование Бога, ибо оно может быть опровергнуто отсутствием этого понятия у другого человека. Встреть я Тебя (прошлое — дело столь же верное, сколь и безвозвратное) лет восемь-десять назад — как бы могли мы быть счастливы без всех этих жалких экивоков, вздохов и горестных умолчаний. Вместо этого я сходился с девушками, в которых легко влюблялся, с которыми мне было весело и которых я еще легче покидал — или без малейшей боли смотрел, как они меня покидают. (Множественное число выглядит столь многочисленным только потому, что я не называю их поименно, и потому, что все это давно в прошлом.) По-настоящему — так, чтобы это потрясло все мое существо — я любил, быть может, только одну женщину, это было уже лет семь или восемь назад. И с тех пор — вне всякой связи с этим событием — я был почти полностью от всего отрешен, все более и более замыкаясь в себе, мое физическое состояние, убогость которого — как бы это сказать? — мою отрешенность то опережало, то, наоборот, поспешало за ней, помогало мне погрязать все глубже и глубже, а теперь, уже почти уйдя на дно, я встретил Тебя.

---

2.VI.1913

<...> Находишь ли Ты в "Приговоре" какой-нибудь смысл — я имею в виду какой-то прямой, связный смысл, чтобы можно было пересказать? Я не нахожу, да и объяснить в этой вещи не могу ничего. Но в ней немало знаменательного. Посмотри только на имена! Это создано в ту пору, когда я с Тобой уже познакомился и мир благодаря Твоему существованию стал значить для меня много больше, однако я Тебе еще не писал[1]. И посмотри-ка, в имени Георг столько же букв, сколько в имени Франц, фамилия Бендеман состоит из двух частей, "Бенде" и "ман", причем в Бенде столько же слогов, сколько в фамилии Кафка, да и две гласные стоят на тех же местах, а сугубо мужское "ман" придано из сострадания, чтобы этого несчастного Бенде поддержать и укрепить в его борьбе. В имени Фрида столько же букв, сколько в Фелиции[2], да и начинаются они с одной буквы, к тому же латинское "счастье" недалеко ушло от немецкого "мира". Бранденфельд благодаря аграрному корню "фельд" имеет отношение к крестьянской фамилии "Бауэр" и оснащено той же начальной

буквой. И подобных совпадений еще несколько, все это, конечно, вещи, которые я обнаружил лишь задним числом. Вообще-то вся история написана с одиннадцати вечера до шести утра. Когда я садился писать, мне хотелось после чудовищного, хоть кричи, воскресенья (всю вторую половину дня я безмолвно мыкался вокруг родственников моего зятя, которые в тот день впервые к нам пожаловали) описать некую войну, молодой человек, глядя в окно, должен был увидеть на мосту подступающую толпу, и тут вдруг у меня под руками все перевернулось. Да, еще кое-что важное: в конце предпоследнего предложения должно быть написано не просто "отпустил руки", а "и разом отпустил руки". Значит, у нас снова все хорошо?



*Франц*

1. Рассказ "Приговор" был написан два дня спустя *после* первого письма к Фелиции Бауэр, в ночь с 22 на 23 сентября 1912 г. См. "Дневники", 23 сентября 1912.
2. В немецкой транскрипции в именах Frieda и Felice одинаковое количество букв. В дальнейшем Кафка обыгрывает значение следующих слов: "felicia" (*лат.*) — счастливая, „Friede" — мир, „Feld" — поле, „Bauer" — крестьянин. См. также "Дневники", 11 февраля 1913.

---

10.VI.1913*

<...> "Приговор" растолковать невозможно. Может, я покажу Тебе когда-нибудь несколько дневниковых заметок об этом. В истории этой полно абстракций, которые не раскрываются. Друг — вряд ли реальное лицо, скорее, возможно, это нечто общее, что присуще отцу и Георгу. Возможно, вся история — это некий обход вокруг отца и сына, а перемены в образе друга, быть может, в преломленной перспективе отражают перемены в отношениях между сыном и отцом. Но и в этом я не уверен.

Сегодня высылаю Тебе "Кочегара". Будь поприветливей с этим мальчиком, усади его рядом с собой и похвали, ему этого так хочется. <...>

---

23.VI.1913*

Понедельник — и нет письма, против всех ожиданий нет. Только что я был с отцом в соседней комнате, где как раз проснулся маленький Феликс. Я бы отца весьма обидел, не пойди я вместе с ним. Но как же противны мне игры, которыми отец, да и все остальные развлекаются с младенцем! Вчера после обеда, когда по приезде родителей все собрались у нас дома и когда все, а отец, просто ополоумев, прежде всех, в игре с этим младенцем забывались, словно в трансе, опускаясь до совсем уж стыдных поползновений, мне было противно, словно я приговорен жить в хлеву, хотя я вполне отчетливо осознавал, с одной стороны, свою явно чрезмерную чувствительность в этих вещах, а с другой — вполне нравственный, хоть и необычный характер этого, если не приглядываться, даже красивого зрелища. Но тут же, рядом, сидит и моя бедная мать, у которой никогда не было ни времени, ни навыков и привычки следить за своим телом и которая теперь, после шести родин и от тяжкой работы, вся сгорбилась и распухла; здесь же и мой отец, с багровым лицом, его недугу отдых и курортный покой тоже не пошли на пользу, здесь же и моя старшая сестра, два года назад еще молоденькая девушка, которая теперь, после двух родов, боль-

ше по нерадивости и невежеству, чем от недостатка времени, внешними формами и вправду все явственнее догоняет мать и тупо сидит в каком-то нелепом корсаже, куда она еле втиснула свое заплывшее тело. И если приглядеться, то даже и моя средняя сестра очертаниями уже приближается к старшей. Любимая, как я мыслями бежал от них к Тебе! <...>



---

13.VII.1913

На нашем балконе вечером очень хорошо. Сейчас я посидел там немного. Я безумно устал, сегодня утром, когда я, только еще больше измотанный бессонной ночью, понял, что пора вставать, я и вправду готов был проклинать все и вся, а себя в особенности. Если я не смогу нормально спать, когда же я смогу снова нормально писать? А если я писать не смогу, то все остальное попросту сон, причем разгаданный.

Мой новый план, разумеется, не из лучших. Наилучший план, вероятно, был бы вот какой: каким-то хитрым способом раздобыть сколько-нибудь денег и навсегда уехать с Тобой на юг, на остров или на побережье. На юге, мне так кажется, нет ничего невозможного. Жить там в уединении, питаясь зеленью и фруктами. Но не надо даже слишком глубоко в себя вглядываться, чтобы понять, что и на юг я не хочу. *Только неистово писать ночами – вот чего я хочу. И умереть от этого или сойти с ума – вот чего я хочу, ибо одно вытекает из другого с давно предчувствуемой неизбежностью.*

А новый мой план вот какой: в квартиру, которую я для нас с Тобой подобрал, раньше мая будущего года нам не въехать, это если еще я ее получу, она в доме строительного товарищества, в которое я вступил. Поэтому, Фелиция, мы ничего не упустим, если я пока что Твоим родителям писать не стану. Оставим пока что все как есть до февраля, января или до Рождества. Ты тем временем еще лучше меня узнаешь, во мне есть еще несколько жутких закоулков, куда Ты пока что не заглядывала. Ты поедешь летом отдохнуть, и путевые впечатления, а также мои отпускные письма помогут Тебе лучше во всем разобраться. А самое главное — осенью, если только здоровье позволит, я наконец-то уступлю этим искусам писательства и тогда сам увижу, что со мной и во мне происходит. Я пока что так мало сделал, я совершенное ничто, может, этой осенью мне что-то удастся, щадить себя я не намерен. И Ты тогда яснее увидишь, с кем Ты хочешь связать свою судьбу и в чем Тебе следует усомниться. Что до меня, то я и тогда буду принадлежать Тебе, как ныне. Что Ты о таком плане скажешь?

*Франц*

---

14.VIII.1913*

Любимая Фелиция, только в последнем письме я снова Тебя узнал. А то Ты была как за облаками — еще и в понедельничном письме (которое, вероятно из-за недоплаты почтового тарифа, я получил лишь сегодня, в четверг) и в первом письме от вторника. <...> Лишь второе Твое вторничное письмо слегка меня успокоило, и я поверил, что со мной моя прежняя Фелиция. Наконец-то она снова оттаяла. Может, Ты просто устала, Фелиция? Удивительно, если бы это было не так. Что ж, ни о каких иных возможных объяснениях я не думаю и одновременно с этим письмом отправляю письмо Твоим родителям. До Берлина они проследуют вместе.

Господину из вашего пансиона[1] лучше графологию забросить вовсе. Я безусловно не "весьма решителен в своих действиях" (разве что это Ты так сочтешь), далее, я отнюдь не "чрезвычайно чувственный", а напротив, имею врожденную и ярко выраженную тягу к аскетизму, я не добросердечен, я хотя и "бережлив", но как раз не "поневоле", а "вообще-то щедрым" меня тем более никак назвать нельзя, и со всем остальным, что этот провидец Тебе успел наговорить, а Ты не успела запомнить, дело обстоит, скорей всего, точно так же. Даже "художественные наклонности" — и то невпопад, больше того — из всех неправд это самая злостная неправда. Нет у меня наклонностей к литературе, я просто из литературы состою, я не что иное как литература и ничем иным быть не в состоянии. Недавно в "Истории бесовских верований" я прочел про такой случай: "У одного монаха был такой дивный, сладкозвучный голос, что слушать его было большое наслаждение. Когда в один прекрасный день священник эту лепоту услышал, он сказал: это голос не человека, а дьявола. И в присутствии изумленных свидетелей принялся беса изгонять, и бес изошел, после чего мертвец (ибо это было человеческое тело, оживленное не душой, но дьяволом) рухнул наземь и стал смердеть"[2]. Вот такая же, очень похожая связь между мной и литературой, разве что моя литература не так благозвучна, как голос того монаха. Но, конечно, нужно быть совсем уж изощренным графологом, чтобы разглядеть все это в моем почерке.

В компанию к Твоему графологу посылаю Тебе критика. "Литераришес эхо" опубликовало недавно рецензию на "Созерцание"[3]. Рецензия очень благожелательная, но в остальном ничем не примечательная. Только одно место бросилось мне в глаза, там в ходе разбора вдруг говорится: "холостяцкое искусство Кафки..." Что Ты на это скажешь, Фелиция?

*Франц*

1. Фелиция в это время отдыхала на море.
2. Кафка цитирует издание: G.Roskoff. Geschichte des Teufels. Leipzig, 1869, Bd.1, s. 326. Добавление в скобках написано самим Кафкой.
3. Paul Friedrich. Gleichnisse und Betrachtungen. Das literarische Echo, 15. Jg., Heft 22 (15. August 1913), S. 1547 ff.

# Марианна Грубер

# *Два плюс два лишь изредка четыре*

*Перевод* Е. Кацевой

Некий полководец приходит к мудрецу с просьбой о помощи.

— Я хочу выиграть войну, посоветуй мне, как это сделать.

— Тебе известны войны, которые можно выиграть? — спрашивает мудрец.

— Не об этом речь, — раздраженно говорит полководец. — Война уже данность, и победа ждет своего завоевателя. Чтобы одержать ее, я завтра с наступлением рассвета поднимусь на гору, обращусь к солдатам и именем Бога буду заклинать их присягнуть мне на верность. Как ты думаешь, они последуют за мной?

— Ты можешь заклинать их и именем сатаны, — ответил мудрец, озадачив полководца.

Через день полководец снова приходит. Он рассказывает, как собрал свои войска и обратился к ним с речью. Войско было отдохнувшим, а речь — удачной. После нее солдаты взялись за оружие и дали требуемую присягу.

— Но ты, — продолжил полководец, — посеял в моей душе сомнение. В полдень я снова поднялся на гору. Было жарко, я устал, в это время я обычно отдыхаю. Речь моя была неудачной, я испытывал стыд. На сей раз я заклинал войска именем сатаны. Солдаты снова взялись за оружие и присягнули. И вот я спрашиваю себя, что мне об этом думать? Какое заключение вывести?

© Е. Кацева. Перевод, 2003
Эссе печатается по рукописи.

Мудрец опять дает не тот ответ, которого ожидает полководец. Он смотрит на солнце, выискивает тенистое место и произносит лишь одну фразу:

— А никакого заключения не надо.

Теперь гордый полководец совсем растерялся. Доныне его мир был упорядочен. Будучи солдатом, он усвоил, что приказы всегда следует исполнять, как полководец он знает, что своим людям он должен давать четкие указания.

— Мои приказы должны быть просты и понятны, как тот факт, что два плюс два четыре, — воскликнул он. — Причина, следствие — вот что нужно знать моим людям.

— Раз уж тебе так необходимо вывести заключение, иди до конца, — призывает мудрец. — Возможно, иной раз два плюс два и равно четырем. Но попробуй-ка взять двоих с одной стороны и двоих с другой, и при определенных обстоятельствах ты получишь ноль, ибо они ведь могут и убить друг друга.

— Нет, — сказал полководец, — тогда я получу четыре трупа, которые надо похоронить.

— Но этих воинов больше не будет, — замечает мудрец. — Правда, двое более сильных могут победить двоих более слабых, однако неизвестно, какая пара победит, не исключено, что мертвыми окажутся именно твои бойцы, и тогда ты снова останешься с нулем.

— Нет, — возражает военачальник, — в таком случае у меня будет

двумя врагами больше, и если силы войск равны, мне будет не хватать четырех солдат.

— Но может случиться, что в живых останется только один, — замечает мудрец.

— С чьей стороны? — спрашивает военачальник.

— Это еще неизвестно, — отвечает мудрец.

В таком духе разговор продолжается еще некоторое время.

— Давай обойдемся без солдат, — говорит мудрец. — Возьми двух мужчин и двух женщин. Возможно, они расположены друг к другу. У них родятся дети, у каждой пары может быть по дюжине. Но возможно также, что один из мужчин неспособен производить потомство или одна из двух женщин бесплодна; а возможно, судьбе будет угодно, чтобы через некоторое время у кого-либо из мужчин или женщин изменились чувства; возможно, женщины станут военной добычей, и более сильный получит обеих; но может статься, что он велик на поле брани, а в постели слаб, и возможно, одна из женщин откажет ему; возможно также, что не все родившиеся дети останутся в живых...

Мудрец перечисляет массу вариантов, могущих привести к тому, что два плюс два наверняка не составят четыре, пока не наступает вечер, и полководец совсем сбивается с толку.

— Значит, мы все прокляты? — спрашивает он.

— Ты опять выводишь заключения, — порицает его мудрец и направляется к своему дому.

Полководец бежит за ним. Мудрец, человек вежливый, приглашает его войти в дом. Спрашивает, не хочет ли он присесть.

Нет, он смиренно просит ответа.

Снисходительный мудрец рассказывает одну историю.

Когда-то существовал город, который хотя и имел имя, но называли его Песочным градом. Он лежал посреди пустыни, и дюны, перемещаясь, постепенно накрывали городское пространство; жителям пришлось покинуть его. Осталась только одна женщина. Оракул предсказал ей, что однажды сюда явится гость. Вот она и ждала. В единственном не накрытом песком месте — в храме — было холодно, перед вратами же горело солнце. Женщина ходила туда-сюда, между жарой и холодом. Когда ее донимало солнце, она возвращалась в храм, а когда пронизывал холод — она перемещалась к палящему солнцу. Так она ждала, пока день не склонялся к концу. Но никто не приходил. Уставшая и разочарованная, она села у дверей храма, прислонившись спиной к его стене, и смотрела на заходящее солнце. Вдруг она увидела, что по направлению к ней движется шакал, а когда он приблизился, она заметила, что он кивнул. И хотя она знала, что ночью шакал будет ее врагом, она уложила его к себе на колени, вытащила колючку из лапы зверя и обработала рану — было еще светло.

— Ну и что? — спрашивает военачальник.

— Всё, — сказал мудрец.

— А как же предсказание? И что означает это превращение?

— В рассказе ничего не говорится о превращении.

— Неверно, — говорит военачальник, — ведь шакал вел себя не как шакал, и женщина тоже вела себя не так, как я посоветовал бы вести себя по отношению к такому зверю. В противном случае эта женщина авантюристка, безголовая, самоубийца. Иначе какое же заключение я должен вывести?

— А такое, что ни из чего не надо выводить заключения, — повторяет мудрец. — Или же, если ты непременно хочешь услышать это на своем языке: даже ужас твоих войн не безусловен.

Ничто не безусловно — эта мысль сопровождает нас уже издавна. Мы живем — и это тоже не ново — в переломное время (подразумевается не смена столетий, а то, что в течение всего столетия происходили разнообразнейшие изменения). Опираясь на опыт наших бабушек и дедушек, мы, возможно, иной раз еще в состоянии понять отдельного человека, но разобраться в новом мире уже не можем. Более ста лет это то вечно но-

вое, что притягивает и отталкивает, та влекущая к себе авантюра, которая никак не хочет вместиться в заданные рамки. По ту сторону иллюзий она не дает никаких прибежищ, давно произошедшее расставание с абсолютными истинами не принесло освобождения от лжи, великие мечты развеялись, утратили свою силу, рухнули; того, что близко и достойно близости, что равно знакомо народам и поколениям, становится все меньше и меньше, несмотря на глобализацию, телевидение и Интернет — или благодаря им.

Все это порождает страх и ведет к абсолютизации малых истин и большой лжи. Да, конечно, если сравнивать богатые страны со странами-богадельнями, страх этот очень удобен, но он существует не столько как страх перед потерей определенных вещей и условий, сколько как окраска фона, как страх перед потерей, — страх, который, согласно Борису Гройсу[1], отчетливо демонстрирует вся история человечества.

Тем самым направление и интерпретация нашего отношения к инаким во многом предопределены: мы видим в них не шанс, тем более не необходимость, а будущего врага. На перенаселенной земле с привычной склонностью к догматизации любой формы веры — а все знакомое всегда вызывает доверие — старая проблема инакости, которая, казалось бы, давно решена, снова приобретает актуальность. Мы снова стоим перед ставшей политически столь насущной задачей понимания инакого и инаких как варианта собственного, чтобы освободить себя и инаких от будущей или предопределенной враждебности.

Все построено на различиях. Все, что живет или движется, построено на потенциале, как говорят физики, то есть на возможностях. Конкретный образ — это явная маскировка длящегося мгновения. Иными словами: все базируется на разнице между "таким" и "иным", причем "такое" приобретает свое более важное значение лишь благодаря "иному".

Все построено на разности и несходстве. Наше восприятие, всякое познание, все происходящее в космосе основано на переменчивом несходстве. Превращение — это поэтический синоним для проистекающего отсюда движения. Свет и тень, поток энергии, "так" или "иначе" — это лишь возможная синонимика для различия, позволяющего обратить возможное в конкретное. Потенциальная возможность покоится на различии форм проявления и предопределяет их многообразие. Ничто не может случиться, быть воспринято, оценено без учета различий, вернее не-одинакости. Не будь нас, ничто бы не существовало, а если бы нечто и существовало и мы не были бы всем нашим природным снаряжением подготовлены воспринять не-одинакое, мы бы ничего не знали об этом нечто. Этот и иной и есть то различие, которое позволяет сказать "я" и воспринимать мир. (Чарльз Дарвин говорил не только о победе более сильного, как это все еще порой неверно трактуется, но и о принципе по имени многообразие, согласно которому живое сохраняет свою жизнь.)

Наши возможности познания, наше восприятие покоятся, разумеется, на упорядоченной одинакости. Интеллект располагает вещи по узнаваемости, присущей единой основе многообразия. Нарушение этого порядка приводит к потере — потере оптического восприятия, умения распознавать тональность социальной сферы доверия. Различие основывается на одинакости. Пока мы говорим о природе, не думая при этом о человеке, мы двигаемся по относительно простой поверхности. Для космической сферы ответ предопределен: неизменные закономерности. Живая природа все же предлагает для одинакости генные коды. Но когда на сцене появляется человек, дело осложняется. Существуя вместе и врозь, одинакое и инакое взаимозависимы в их интерпретации и тем самым зависимы от

1. Борис Гройс — культуролог, эмигрант из СССР, в настоящее время работает в Германии. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

желаний, представлений, чувств, мнений, суждений. Нас объединяют и разделяют культурные договоры, личные договоренности, условности как коллективного, так и индивидуального характера.

Все мы стремимся, с одной стороны, к безопасности, с другой — к авантюрам. Одна из странностей человеческого поведения заключается в том, что нас охватывает паралич, когда слишком ограничивается свобода движения, мы уползаем в нору, когда договорная основа наших отношений становится непрозрачной или мы перестаем доверять межчеловеческой договорной системе. Наши возможности и потребности лежат между норой и незагороженным участком для дичи, именно здесь — поле напряжения, не всегда соразмерное с нашими силами, ибо образец порядка, который нам самим надлежит выработать и который во многом должен нам помогать, зачастую оказывает противодействие, становится по меньшей мере препоной. Создавая этот образец, мы опирались на три столпа:

на традиции, законы, религии,
на число
и на принцип индукции, на коллективные предположения и интерпретации, как правило, возникающие из неосознанного знания, отчасти потерянного знания и из актуальных событий.

Традиции устанавливают границы, могущие иметь локальные и совершенно банальные причины, в первую очередь — природные данности, будь то равнины или горы, удаленность от моря или побережья, температура времени года, ресурсы недр, климат, погода, наконец история людей, живущих в одном пространстве.

Математика может взять на себя то, чего никакая другая наука сделать не в силах: если в других науках многие теории столь же смертны, как смертны породившие их люди, то математические познания, напротив, не подлежат процессу старения. Что однажды было правильно, правильным и остается. Но во многих случаях математика противоречит экзистенциальному опыту. Жизнь протекает не так гладко, как она отражается в числах, ничто не соединяется столь слаженно, как то происходит в формуле. Два плюс два, как растолковал мудрец, у живых людей лишь изредка равно четырем.

Незачем, наверное, подробнее останавливаться на том, что мы в состоянии натворить с нашими интерпретациями и предположениями. Отметим только, что именно здесь гнездится переходный пункт от порядка к произволу. Расовые законы третьей империи были — как законы — образцом порядка. Вместе с тем они были актом произвола особого сорта. Предписанную одинакость они использовали для отрицания инакости, не считаясь с тем, что́ эта предписанная одинакость причиняла также и одинаким. Чтобы сказать “я”, требуется наличие инаких, уничтожение которых приводит к уничтожению и самого “я”.

Чем бы мы ни занимались, повсюду установлены границы. Двигателем служит страх и ощущение, будто мы в этом мире не совсем дома. По-настоящему мы и не знаем, так ли это и где же в самом деле наш дом. Порой нам кажется, что мы его нашли, зачастую же обнаруживаем, что это вовсе не так. Всякое нарушение договора в наших отношениях приводит к изгнанию в своего рода ссылку, из которой, бывает, нет возврата и где мы не можем спать с безмятежностью ребенка. Это бессонница особого свойства, она заставляет нас вскакивать по ночам и не позволяет больше считать: “я” И “ты”, “я” И “инакий”. Ибо “я” И “ты” вместо “я” ИЛИ “ты” требуют определенного мужества, которое позволяет нам то и дело вылезать из выбранной нами самими норы, потому что мы все еще доверяем не-различному, одинакому, не-инакому и вместе с тем осознаем собственную ограниченность. Мы не можем спасти весь мир, но того или иного человека — пожалуй, можем.

Когда мы говорим об инаких, мы чаще всего говорим о людях, обстоя-

тельствах, одиночестве и предубеждениях, об ограничении и отграничении, исходя из внутренней необходимости и внешних обстоятельств, о властвовании, из которого произрастает враждебность, словно нам ведомо, что́ на самом деле есть наше собственное или не-инакое.

Математик епископ Николай Кузанский (1401—1464), которому, видимо, лишь его епископская шапочка помешала стать одним из самых выдающихся естествоиспытателей своего времени, описывает в своем трактате "De non aliud" не-инакое как нечто, у чего ни в чем нет нехватки, следовательно, все вроде имеется. Инаким, напротив, чего-то не хватает. Для Кузанского не-инакое — безусловно Бог. Но в его трактате можно вычитать кое-что и помимо религиозных поучений. Он показывает, что, говоря об инаком, мы косвенно говорим если не о не-инаком, то все же об одинаком, о том, что похоже на нас, не отличается от нас или же совпадает с инакими. И Кузанский попадает в точку. Инакому всегда чего-то не хватает.

В нашей Вселенной господствует принцип погашения. Энтропия материи соответствует энтропии памяти — забвению. Это не плавный поток, а всякий раз прыжок, трещина в том самом целом, которым мы никогда не владеем. Целое отдаляет нас от самого себя, пока однажды полностью не поглощается самим собой, обрекая себя на полное забвение, на тривиальную форму Coincidentia oppositorum[1]. На поверхность проступает неполное, несовершенное, конфронтирующее со своим партнером неполноценное, которое по праву можно отбросить, оттеснить в сторону и даже уничтожить.

В то же время мы не умеем обращаться с тем, у кого ни в чем нет нехватки, это в некотором роде не наш мир, это сумма всех данных и возможных миров. Наше познание, все наше восприятие нуждается в конкретном и в его различиях, в разности и меньших размерах. Все означало бы ничто. То, в чем все растворяется и содержится, что в отношении инакого выступает якобы как инакое, не будучи таковым, не входит в круг нашего восприятия и видения, тем более действий. Мы пытаемся сблизиться с инаким посредством разговоров о различии, доходя до тривиальных объяснений в любви: "Ты для меня — всё", и ничего не достигаем. Инакое так и остается решающим для этого "всё", непреложной необходимостью и одной из основ нашей жизни.

Как показывает история, да и, к сожалению, современность, мы все-таки не умеем обращаться и с непреложной необходимостью в инаком. Мы видим это "не-я", которое не похоже на нас и которое мы именно поэтому будем преследовать, вместо того чтобы приветствовать. Значение имеет не только то, что ад связан всегда с инакими, между нами скорее бездна как в схожести, так и в несхожести. И у нас уже заранее имеются аргументы для будущего преследования: это не похоже на нас или это слишком похоже на нас. Но что бы ни было сказано, корни для таких разговоров всегда будут одни и те же: страх и жадность.

Одно из спасительных противоречий человеческого поведения состоит в том, что при всяком негативном заключении можно поискать и найти примеры чего-то и противоположного.

Без утопии как метаотступления от действительности — или того, что мы считаем действительностью и что мы должны испытать на предмет ее возможностей, а с ее помощью проверить утопию в ее соотношении с действительностью, — нам лучше к великим теориям не подступаться. Наши возможности прогноза очень малы и наш пророческий дар почти не развит. В конце концов, пророчество есть метафора того, что случиться может, но не обязательно случиться должно.

Что наличествует, когда утопии отсутствуют? Спрос есть — если не на утопии, на которые у нас нынче не хватает мужества, то хотя бы на

1. Coincidentia oppositorum (*лат.*) — совпадение противоположностей.

идеи. Идея, согласно Жанне Херш[1], есть "свобода человека представить себе что-то другое, чем то, что перед нами". Но наш опыт, на который мы опираемся, подчас нас связывает, а то и обманывает. Ибо воспоминание делает всех близнецами, и ведет к тому, что зачастую мы не можем общаться не то что с другими, но и с самими собой. Слова Рембо "я иной" следует воспринимать буквально. "Я" — это некто, кого мы не узнаем. Но этот живущий в нас "иной" объединяет нас с инакими, порой отпугивая друг от друга, выступает против привычности и убийственной равности.

О женщине, тоскливо ожидающей в пустыне, нам известно немного. Мы можем предполагать, что она знает пустыню и таящиеся в ней угрозы. Мы должны исходить из того, что шакал — метафора. Мы не знаем, о чем женщина думала, что она чувствовала. История приводит только факты. Мы узнаем о ее усталости и ее действиях — мотивы же, мысли и чувства выявляются только посредством действий человека.

Сейчас еще день, — говорит мудрец, который пытается дать понять военачальнику, что ожидание вполне может означать нечто другое — опасность, таящуюся в метафоре "шакал", узнанную как нечто свое: как опасность, которую он сам представляет для других, как возможные собственные страдания, как возможную боль, которая повлечет за собой беспомощность и потребность в помощи.

Сейчас. Это маленький отрезок времени, но не точка, воспоминанием и предвосхищением растянутая до размеров настоящего времени. Скоро нас настигнет ночь и всё погасит, все тяготы, вопросы, а также ответы, но сейчас еще день. Большинство жизненных решений не допускает длительных размышлений. Дорогу пробьют себе предрассудки, которыми мы по необходимости пользуемся, побочные мотивы или укоренившиеся жизненные концепции, если они имеются. Сейчас.

Обозримое пространство мало. Дорога ведет нас от "сейчас" к "сейчас". Сейчас, в этой временно́й непосредственности проступает самая глубокая и сильная связь между "я" и "ты", между "я" и "инакими". Связь эта требует всего, что может быть дано, и дает все, что возможно, но прежде всего она требует куража — как и вся жизнь.

*Сейчас еще день.*

1. Жанна Херш — швейцарский философ, ученица Карла Ясперса. Один из главных ее трудов — "Неспособность сносить свободу" ("Die Unfahigkeit Freiheit zu ertragen"). Цитируемые слова Ж. Херш произнесла во время беседы в Австрийском литературном обществе в 1996 г.

# “Высказать невысказываемое, произнести непроизносимое...”

С австрийской писательницей Эльфридой Елинек беседует
Александр Белобратов

Эльфрида Елинек — одно из самых значительных имен в современной немецкоязычной литературе. Перу австрийской писательницы, живущей и работающей в Вене и Мюнхене, принадлежит несколько романов — “Мы всего лишь приманка, бэби!” (1970), “Любовницы” (1975), “Отринутые” (1980), “Пианистка” (1983), “Похоть” (1989), “Дети мертвецов” (1995), “Алчность” (1999), — и некоторые из них давно зачислены в канон современной мировой литературы. Эльфрида Елинек — признанный театральный автор: пьесы “Клара Ш. ” (1982), “Вожделение, или Проезд открыт” (1986), “Облака. Дом” (1988), “Привал, или Этим все занимаются” (1994), “Спортивная пьеса” (1998), “Он как не он” (2000) ставились на лучших сценах немецкоязычных театров. В 1998 году программа всемирного театрального фестиваля в Зальцбурге была полностью посвящена ее творчеству. В том же году Елинек была награждена самой престижной и почетной литературной премией — имени Бюхнера, а в 2002 году ее удостоили премии имени Гейне и звания “Драматург года”.

Фильм Михаэля Ханеке по роману Эльфриды Елинек “Пианистка”, получивший Гран-при на Каннском фестивале 2001 года и приз как лучший иностранный фильм на московском “Кинотавре” в январе 2002 года, открыл для России имя австрийской писательницы, хотя первая ее книга на русском языке появилась еще в 1996-м (роман “Любовницы” в переводе А. Белобратова в серии “Австрийская библиотека в Санкт-Петербурге”), а в 1997-м в июньском номере журнала “Нева”, посвященном австрийской литературе “от Штифтера до Елинек”, была опублико-

Автор фотографии Диана Виедра.

вана ее новелла "Заведомо бессмысленная попытка описания пейзажа" (в переводе М. Кореневой).

Интервью возникло на основе переписки по электронной почте и бесед А. Белобратова с Эльфридой Елинек в 1997—2002 годах. в Вене.



**Александр Белобратов.** Ваши произведения выходят в немецкоязычных странах огромными тиражами, ваши пьесы ставятся в самых престижных театрах, всегда вызывая бурные дебаты и дискуссии. Как вы относитесь к вашим читателям (зрителям) и критикам?

**Эльфрида Елинек.** Мне трудно что-либо сказать о своих читателях: я почти не выступаю с публичным чтением своих произведений, поэтому обратная связь практически отсутствует. Что касается литературных критиков, то меня всегда неприятно поражала ярость, с какой они реагировали на мои тексты, поражала их взвинченность, их "повышенное напряжение". У меня возникает чувство, что к моим книгам мало кто подходит со спокойно-взвешенных позиций. Конечно, это, может быть, и хорошо, но для меня лично в этом есть известный отрицательный смысл. Если, к примеру, театральный критик в полемическом запале пишет: "Эту пьесу ("Привал". — *ИЛ*) и ей подобные мы не намерены терпеть в наших театрах!" — то здесь слышится совершенно отчетливый цензорский окрик, призыв запретить постановку определенных пьес. Меня это очень раздражает, я предпочитаю, чтобы о моих театральных произведениях дискутировали более спокойно, а не "преследовали" их с откровенной злобой. То есть мне неприятна чрезмерно эмоциональная реакция на мою работу, зачастую не имеющая отношения к сути дела.

**А. Б.** Что вызывает беспокойство или даже озлобление у ваших критиков? "Табуированные" темы, вопросы, "разоблачения", или же речь идет о ваших литературных, стилистических приемах?

**Э. Е.** По всей видимости, критики часто не в состоянии сделать различие между мной как личностью и тем, что я описываю, то есть между автором и "сообщением", которое содержится в его текстах. Рецензенты обрушиваются на "вестника", вместо того чтобы хоть раз задуматься над "вестью". Они не могут расшифровать мой эстетический код и скользят по поверхности, обращая внимание на голое высказывание, приписывая его мне. Их шокирует самая поверхность произведения, что особенно отчетливо проявилось при постановке пьесы "Привал", когда все по преимуществу отреагировали на "скандальность" того, *как* была показана пьеса, и никто не удосужился углубиться в вопрос, *что* в ней было показано. Для меня эти так называемые "шокирующие" сцены были лишь средством, чтобы передать мои представления о мире и, в еще большей степени, чтобы опробовать новый эстетический подход, позволяющий проникнуть как можно глубже в проблему. Как говаривал Брехт: речь не идет о том, чтобы влить новое вино в старые мехи, нужно найти новые мехи. Напомню об известной "дискуссии о реализме": форма и содержание должны пронизывать и диалектически взаимообусловливать друг друга. Одно не может возникнуть в отрыве от другого.

**А. Б.** Как вы представляете себе вашего "идеального" читателя? Нужен ли он вам? Должен ли он быть близким вам по умонастроению, любить то, что нравится вам, и ненавидеть то, что ненавидите вы?

**Э. Е.** Читатель вовсе не должен иметь те же представления о мире, что и я. Совсем наоборот. Но он должен уметь подходить к тем вещам и проблемам, о которых я пишу, без предубеждения. Он должен понять не только то, *о чем* я пишу, но и *почему* я пишу так, а не иначе. Почему, например, в моем романе "Похоть" персонажи из рабочей среды изъясняются цитатами из Гёльдерлина, а персонажи из высших слоев общества — тривиальным, клишированным язы-

ком толпы. Словом, герои по сути "безмолвные" наделены лучшим, что существует в языке, а другие, которые хотят защитить язык от влияния простонародья, получают то, чего они заслуживают: убогий язык рекламы и масс-медиа. Таким образом, восприятие не должно быть направлено исключительно на содержание произведений... Я использую авангардные приемы, разработанные, например, "Венской группой"[1] еще в 50-е годы, а до них применявшиеся дадаистами и сюрреалистами (традиция эта у нас была прервана с наступлением нацизма). Поэтому мои тексты останутся непонятными, если их воспринимать просто как тексты скандального содержания. Мой идеальный читатель должен быть всего лишь открыт навстречу произведению и готов всюду следовать за мной.

**А. Б.** Какую роль играет для вас литературная традиция? Можно ли трактовать то, что вы упомянули Брехта и литературный авангард ("Венскую группу") как ответ на этот вопрос? Есть ли у вас другие "родители" или "прародители" в литературе? Ощущаете ли вы какое-нибудь влияние русской литературы?

**Э. Е.** "Венская группа" сыграла главную роль в становлении писателей моего поколения, ориентированных на языковой эксперимент. И здесь в меньшей степени речь идет о языковой игре, а в большей — о строгом эксперименте с формой. В моем случае на это влияние затем наложилось влияние поп-литературы 60-х годов, так называемых cut-up[2]-текстов (Карла Вайснера, к примеру), порожденных в свою очередь влиянием американской литературы, особенно публикациями студентов Блэк-Маунтин-колледжа[3]. Речь идет о языковой традиции позднего Витгенштейна, на которую ориентировалась "Венская группа" и которая у меня соединяется с игровыми формами монтажа языковых клише массовой культуры: газетных "романов с продолжением", телевизионных "мыльных опер" и так далее. Можно сказать, что я соединяю серьезное отношение к эксперименту, которое было у дадаистов или у их последователей, с игровыми приемами, доводящими до абсурда стереотипы массовой культуры. (Такие эксперименты с языком характерны, например, для творчества Рауля Хаусмана[4]; эти тексты отчасти обладали комическим эффектом, но по своей основной направленности были чрезвычайно серьезны в том, что касалось разрушения традиционной формы.) Мой роман "Мы всего лишь приманка, бэби!" является одним из немногих, пожалуй, даже первым из немецкоязычных поп-романов, в котором находит отражение стилистика "Битлз", "Роллинг стоунз", телесериалов, комиксов и тому подобного.

В связи с вашим вопросом о моих литературных прародителях следует упомянуть еще и Вальтера Сернера, творчеству которого я многим обязана: он — австрийский еврей, убитый в концлагере, — был одним из представителей дадаизма в Цюрихе и Париже. Он для меня — великий образец для подражания, одно время я чуть ли не каждый вечер прочитывала несколько его прозаических ми-

1. "Венская группа" — неоавангардистская литературная группа австрийских писателей (Х. К. Артман, К. Байер, Г. Рюм, О. Винер, Ф. Ахляйтнер), существовавшая с начала 1950-х до середины 1960-х годов и ориентировавшаяся на язык как на самодовлеющую знаковую систему, не связанную с реальностью и свободно реализующую себя в игровом и экспериментальном пространстве. (*Здесь и далее – прим. А. Белобратова.*)
2. Монтаж, врезка (*англ.*). В истории литературы — способ создания текста, основанный на спонтанном и произвольном соединении друг с другом газетных (а затем и любых текстовых) вырезок, изобретенный Тристаном Тцара (1896–1963), одним из лидеров дадаизма, и продолженный сюрреалистами. В 1950-е годы к технике "cut-up" обращается Уильям Берроуз (1914–1997) — "патриарх" битнической литературы, в 1960-е распространяя этот принцип и на работу с электронными (магнитофонными) текстами.
3. Блэк-Маунтин-колледж (Северная Каролина) — учебное заведение, основанное в 1933 г. политическими эмигрантами из фашистской Германии и сыгравшее в конце 40-х значительную роль в культурной жизни США. Система преподавания строилась на принципе интердисциплинарности искусств и наук. Студенты активно вовлекались в творческий процесс, в котором максимально поощрялось экспериментальное начало.
4. Рауль Хаусман (1886–1971) — художник, фотограф, поэт, организатор и участник дадаистских акций в Берлине и Веймаре.

ниатюр, учась писать. И конечно же Роберт Вальзер[1], его обязательно следует назвать, он — мой личный святой; я поклоняюсь его умению соединять в текстах комизм с ужасающим трагизмом. Книги русских писателей, и прежде всего великих романистов Толстого и Достоевского, я запоем читала в совсем юном возрасте, однако сказать, играют ли они для меня роль сейчас, я не могу, поскольку великий психологический роман XIX века по сути утратил свою функцию вследствие возникновения закрытой системы существования, которая хотя и внушает человеку, что есть, по крайней мере, потенциальная возможность проявления индивидуального начала, — но в действительности это не так. Вторая реальность уничтожила реальность первую; тривиальные массовые мифы разрушили, заменили собой действительность. Из этого я исхожу в своей работе.



**А. Б.** Разные критики нередко сходились в одном: ваши книги — очень австрийские, они теснейшим образом связаны с австрийской литературной традицией. И с современной Австрией они связаны тоже очень сильно. Насколько вы ощущаете себя частью австрийской литературы и культуры? И насколько при этом в эпоху глобализации может возникнуть опасность остаться региональным автором, если (в переносном смысле) практически не покидать пределов собственной страны?

**Э. Е.** Из-за войны, как я уже говорила, немецкоязычная литература была совершенно оторвана от традиций авангарда и стала чрезвычайно провинциальной, приняв типичную для того времени националистически-почвенническую ориентацию, к которой мы и по сию пору питаем глубокое отвращение. В австрийской литературе это породило, кстати, целую череду "антипочвеннических" романов, начиная с Ханса Леберта[2], затем через Томаса Бернхарда к Герту Йонке[3], к моим книгам... Я бы могла назвать еще целый ряд имен. Таким образом, я постоянно продолжаю своего рода критику языка, в результате чего язык в моих книгах сам себя разоблачает, раскрывая ложное, идеологическое начало в себе самом, — и это невозможно или чрезвычайно затруднительно перевести на иностранный язык. Так что в каком-то смысле я и впрямь провинциальный автор. Переводчику следовало бы не переводить, а творчески перелагать мои произведения, а это крайне непросто. Впрочем, я считаю, что, с другой стороны, такой провинциализм имеет вполне почтенную традицию (стоит вспомнить об "Улиссе" — ведь роман буквально заражен одержимостью одним-единственным городом!).

**А. Б.** Чувствуете ли вы родство с такими авторами, как Франц Кафка, Элиас Канетти, Эден фон Хорват, Роберт Музиль?

**Э. Е.** Да, пожалуй, определенные связи с этими авторами существуют. Один из моих текстов является даже своего рода перифразом "Легенды о Страже у врат Закона" Кафки. Да и концовка "Пианистки" некоторым образом пародирует завершающую сцену романа "Процесс", подчеркивая нелепость и невозможность жертвы героини. Женщине в литературе не дано предстать величественной жертвой. В моей книге героиня лишь легко и неопасно ранит себя.

Маски-характеры Канетти отличаются от моего способа типизации героев — Канетти в своих пьесах работал с различными жаргонами и диалектами. Он много времени тратил на то, чтобы разговорить самых разных собеседников и перенять их манеру говорения. Я работаю скорее с социальными стереотипами. У меня характер схематизируется сообразно своему общественному положению. И вот этот-то голый "скелет" я затем, словно естествоиспытатель,

1. Роберт Вальзер (1878–1956) — швейцарский писатель, автор романов "Семья Таннер" (1907), "Помощник" (1908), "Якоб фон Гунтен" (1909) и многочисленных новелл и миниатюр. Внутреннее пространство прозы Вальзера и его человеческой и творческой судьбы Э. Елинек очерчивает в пьесе "Он как не он".
2. Ханс Леберт (1918–1993) — австрийский писатель, автор романа "Волчья шкура" (1960), вернувший в литературу Австрии тему непреодоленного "коричневого" прошлого.
3. Герт Йонке (р. 1946) — современный австрийский прозаик, автор экспериментального "Геометрического деревенского романа" (1969) и нескольких сборников новел.

"Высказать невысказываемое, произнести непроизносимое..."

рассматриваю со значительного расстояния, поскольку издали можно увидеть много больше, чем вблизи.

Манера Хорвата соответствует моей, пожалуй, в том, что сквозь язык его персонажей тоже просвечивают сковывающие их политические узы. Людьми, так сказать, манипулируют с помощью дистанционного управления, они обезличены.



Музилевскую иронию я заострила до сарказма, даже до цинизма, хотя в последних вещах я все больше обнаруживаю в себе "музилеватость", обращаясь к более легкому, более ироническому тону, можно сказать, к сквозной насмешливой тональности, которая достигается соседством взаимоисключающих слов. Это как с деньгами, когда ты выкладываешь их на стойку, но тут же забираешь назад, а стало быть, ничего на них не покупаешь. И вот еще что в этой связи мне приходит в голову: включение в мои тексты теоретических экскурсов, в том числе и философских, тоже отчасти музилевская манера, только вот у меня эти умствования предстают скорее в ироническом свете, а Музиль размышляет над разными проблемами самым серьезным образом. И еще одно сходство: "Человек без свойств" (как и мои произведения) включает в себя многообразный газетный материал.

**А. Б.** О вас часто пишут и говорят как о чрезвычайно рационалистическом авторе. Исключает ли это (как при написании ваших текстов, так и при их прочтении) иррациональный элемент в вашем творчестве?

**Э. Е.** Знаете, писательство для меня безусловно смесь двух начал: и сознательного, и бессознательного. Далеко не всё в моих произведениях есть продукт рационального конструирования. Неслучайно в романе "Дети мертвецов" в основе сюжета лежит мистическое происшествие. Как раз "черная романтика" и все непостижимое, страшное, призрачное притягивают меня, вероятно, как своего рода противовес рациональному началу, связанному с просветительской (или политической) направленностью моей мысли. Одно без другого невозможно. Точно так же, как патетическая тональность допустима в художественном тексте только в столкновении с крайне тривиальными тонами, с банальным, разговорным стилем. Я, если можно так выразиться, усиливаю одно за счет другого, как это, к примеру, происходит у Баха в пьесах для органа, в которых ускорение и ретардация, задержка, "снимают" друг друга в постоянстве темпа, — в противном случае все "здание" рухнет — как покосившаяся башня.

**А. Б.** Насколько совместимы ваши представления о писательстве и ваше творчество с понятием "постмодернизм"?

**Э. Е.** Я мало что могу сказать о постмодернизме, поскольку не в состоянии точно определить это понятие. Естественно, поскольку я постоянно работаю с цитатами (правда, почти всегда трансформированными!), меня тоже можно числить по ведомству постмодернизма, но цитаты в моих произведениях не суть некая самоцель или нечто орнаментальное, нет, они всегда подчинены некоторому авторскому намерению. Кроме того, с их помощью, особенно в моих пьесах, создается несколько речевых пластов, несколько "мелодий", лейтмотивов, поскольку мой способ письма представляется мне связанным с принципами музыкальной композиции. Я, так сказать, переплетаю различные речевые пласты и уровни друг с другом, но вовсе не ради некоего языкового украшательства.

**А. Б.** Раз уж мы заговорили о постмодернизме... Одна из его особенностей, как мне представляется, — полный отказ от ангажированности, от того, что можно счесть проявлением авторской этической позиции. Но есть и другая литература, которая всегда в курсе социальных событий и которая включает в себя "злобу дня" в самом непосредственном виде. Например, появилось много книг, где авторы обращаются к событиям 11 сентября 2001 года. Другой пример — проблематика холокоста, ставшая в современной австрийской литературе чуть ли не модой (да простится мне это слово). В какой части этого романного спектра находится ваше творчество? Вы вовлечены в "злобу дня"?

**Э. Е.** В том, что касается "вовлеченности", публичных политических заявлений, я если и делаю их, то скорее "частным" образом, на моей интернетовской странице. Я не считаю, что тема холокоста выродилась в некую моду. С литературной точки зрения меня всегда интересовало, как облечь в эстетическую форму то, о чем невозможно сказать. Молчание – всегда наилучшая позиция. Но я постоянно пыталась кружить вокруг темного пятна истории, о котором так много рассказано, но так мало сказано, пробуя обозначить его контуры – высказать невысказываемое, произнести непроизносимое...

**А. Б.** На русский язык переведено несколько ваших произведений. Вышли романы "Любовницы", "Пианистка", готов к публикации перевод "Отринутых", с 1997 года анонсирован как находящийся в печати роман "Похоть"[1]. Какая из ваших книг вам ближе всего? Читателей естественным образом может заинтересовать, насколько интенсивно вы включаете в ваши тексты автобиографический материал?

**Э. Е.** В эти три романа, по сути своей скорее реалистические, "вылилось" многое из моего личного опыта. В "Любовницах" я использовала свои знания о жизни бедного сельского люда, знакомой мне по детским впечатлениям, особенно о жизни лесорубов и их семей в той местности, откуда я родом. Эти люди меня очень сильно занимали (и в романе "Похоть", например), как занимает нас все "иное", в чем ты сам не можешь участвовать, за чем ты можешь только наблюдать. В основе романа "Отринутые" – реальный факт (в начале 60-х годов гимназист-старшеклассник в канун выпускных экзаменов зверски убил всех членов своей семьи), но мне пригодились мои детские впечатления от той воспитательной методы, которая стремится сделать из ребенка гения, пробуждая в нем анархический протест, что нередко приводит к катастрофе. Обратная сторона этой медали показана в романе "Пианистка" – книге, пожалуй, наиболее "автобиографичной", по крайней мере в том, что касается взаимоотношений матери и дочери, а также музыкального воспитания, вернее, музыкальной дрессуры. Многие авторы начинают писать, опираясь на собственные воспоминания, а потом постепенно отходят от этого материала. Мне же потребовалось сначала написать несколько книг, чтобы "прийти в себя", чтобы вообще открыть для себя возможность говорить и писать о себе, а потом я снова покинула эту сферу. В "Пианистке" в центре внимания мать, которая за неимением мужа берет на себя отцовские функции и стремится воспитать из дочери музыкального гения, совершенно подавляя ее личность. Гениальности в дочери не обнаруживается, и она терпит жизненное поражение. В определенном смысле эта история – притча об Австрии и ее обществе, живущих за счет славы своих великих композиторов, то есть за счет прошлого, которое оплачивается подавлением индивидуальности сотен и тысяч безвестных учительниц музыки, пианисток. Несомненно, здесь возникает и горько-пародийная ситуация, связанная с учением Фрейда: в соответствии с его философией культуры женщина не может создавать гениальные художественные произведения, поскольку она не нуждается в сублимации и не способна на таковую. Это, разумеется, неверно, однако несколько поколений женщин вынуждены были заплатить за подобное умаление их творческих способностей отказом от реализации своих творческих задатков.

**А. Б.** Фильм Михаэля Ханеке "Пианистка" был для многих поводом прочесть ваш роман. Как вы отнеслись к фильму? Что удалось в нем из того, что есть в книге, а что ушло, не было реализовано?

1. См. сборник "Elfriede Jelinek" (1997), вышедший в Граце (Австрия) после конференции, посвященной международной рецепции творчества австрийской писательницы (автор русской библиографии А. С. Науменко при этом *ошибочно* приписывает себе и переводы "Отринутых" и "Пианистки", осуществленные в 1996 г. соответственно Игорем Ланиным и Владимиром Никифоровым для издательства "Румянцев и К°." и до настоящего времени не опубликованные).

**Э. Е.** Трудный вопрос. Конечно, в фильме не удалось передать иронию романного языка, двойственность речевого акта — высказать что-то и одновременно держать по отношению к высказанному определенную дистанцию. Кино представляет ход времени лишь по горизонтали, в то время как литературе доступно создание в языке и вертикального, глубинного измерения. Зато киноискусству удаются какие-то вещи, которых не знает литература. Полагаю, что в фильме поведению героев придана психологическая мотивировка (я в романе от этого полностью отказалась); там намечаются иные опорные моменты, иная расстановка сил, например, на второй план отходят отношения матери и дочери, зато "под ударением" оказывается безнадежная история любви Эрики Кохут и Вальтера Клеммера. Режиссер имеет полное право расставлять свои акценты.

**А. Б.** Вы полагаете, что воля к власти имеет чисто маскулинный характер, что властолюбивые женщины просто перенимают мужские роли? Или все же возможно существование женского властолюбия? Как это выглядит в ваших книгах?

**Э. Е.** Для господства над внешним миром патриархат выработал формы, исключающие проявление женского начала. Поэтому немногочисленные женщины-политики (Индира Ганди, Голда Меир и другие) вынуждены были использовать те формы властных отношений, которые связаны с мужскими социальными ролями. И это так же завело их в тупик, как заводит политиков-мужчин. Однако я полагаю, что нежелание мужчин делиться внешней властью с женщинами приводит к полной зависимости мужчин от женщин в сфере семейной, поскольку женщина лишена иной возможности проявить свою власть. Как мне кажется, абсолютно в интересах мужчин добровольно предоставить женщинам половину власти во внешнем мире, чтобы уменьшить то давление, которое женщины оказывают на мужчин в быту. При этом особенно сильна материнская власть. Ведь единственная социальная роль, повсеместно признаваемая за женщиной, это материнство; в то же время общество относится к материнской роли снисходительно, без должного уважения (посмотрите, например, насколько низко с экономической точки зрения оценивает общество роль матери в воспитании детей, а ведь это очень важная социальная функция!) и совершенно не допускает проявления материнского начала (по сути своей дающего защиту, укрывающего, воспитывающего) в политике, в публичных сферах жизни. Общество одновременно презирает и превозносит роль матери, что естественным образом приводит к искаженным формам проявления женской власти, и в этом я вижу большую беду.

**А. Б.** Вас часто называют "яркой представительницей женской литературы". Как вы относитесь к такому определению? Как вы вообще оцениваете понятие "женская литература"?

**Э. Е.** Меня откровенно злит, когда я вижу свои книги на магазинных полках, снабженных табличкой "Женская литература". Таким образом на них как бы навешивают определенный ярлык, ставят клеймо. Если я пишу о женщинах, то в первую очередь потому, что знаю их лучше, чем мужчин, однако я совершенно не приемлю высокомерно-презрительного восприятия проблематики моих произведений как сугубо "женской". Я по своим общественным взглядам отношу себя к феминизму, однако хочу, чтобы мой литературный труд рассматривали и оценивали на том же качественном уровне, что и литературный труд моих коллег-мужчин. Мои книги — часть литературного мира, а не принадлежность "женского уголка". Ведь задвигая книги, написанные женщинами, в этот уголок, от них стараются отделаться, "обезвредить" их, так сказать, заявляя: это литература только для женщин. О моих книгах появилось несколько исследовательских работ, и все они были написаны женщинами. Правда, в последнее время ситуация несколько меняется. И все же пока приходится цитировать слова Рут Крюгер: "Редко кто из мужчин видит прок в том, чтобы читать книги, написанные женщинами".

## Орден — российскому переводчику

Минувшей осенью в Австрийском посольстве в Москве во второй раз состоялось торжественное вручение "Почетного креста за заслуги в области науки и искусства I класса". Награду получила переводчица Серафима Евгеньевна Шлапоберская. В 2001 году ордена были удостоены Евгения Кацева и Соломон Апт, ставшие его первыми российскими кавалерами.

С. Е. Шлапоберская хорошо известна как переводчица с немецкого и французского языков. Много переводила она и австрийских авторов, среди ее работ романы Ингеборг Бахман "Малина", Йозефа Рота "Склеп капуцинов" (*ИЛ*, 2002, № 6), Хаймито фон Додерера "Окольный путь", Жоржа Зайко "Человек в камышах", пьеса Эдёна фон Хорварта "Вера, надежда, любовь", которая была поставлена в филиале театра Сатиры в Санкт-Петербурге, рассказы Франца Кафки.

Поздравляя Серафиму Евгеньевну с наградой, мы задали ей несколько вопросов.

*— Не могли бы вы немного рассказать об австрийских авторах, которых вы переводили? Какие произведения вам представляются наиболее значимыми?*

— Я очень ценю творчество Ингеборг Бахман, перевела ее роман "Малина" и много рассказов — часть из них печаталась в *ИЛ* в 1996 году. Впервые на русском рассказы И. Бахман были опубликованы в 1971 году в сборнике современной австрийской новеллы "Мимо течет Дунай", который я составила для издательства "Прогресс". В этот сборник вошел и один мой перевод — рассказ "Всё". Для того же издания я перевела крошечную новеллу Петера Хандке "Приветственное слово наблюдательному совету". Это монолог чудаковатого человека, призывающего присутствующих обратить внимание на потолок, который вот-вот обрушится. Сейчас Петер Хандке стал довольно популярен, а тогда это была первая его публикация на русском языке.

Из авторов XIX века хотелось бы назвать баронессу Марию фон Эбнер-Эшенбах. Я перевела ее рассказ "Муфта", который вошел в сборник австрийской новеллы XIX века. Это рассказ о нищенке, которой одна богатая дама подарила муфту, потому что у нее просто не нашлось мелочи в кошельке. Нищенку схватила полиция и обвинила ее в воровстве.

Очень интересно было переводить письма композитора Густава Малера — книга должна выйти в этом году.

*— Над какими переводами австрийских писателей вы работаете сейчас?*

— Недавно я закончила переводить психологический детектив Хаймито фон Додерера "Убийство, которое совершает каждый" — это первое сочинение писателя, созданное в 1938 году. После Нового года думаю предложить перевод какому-нибудь издательству. В настоящее время работаю над переводом "Автобиографии" Франца Грильпарцера. Это классик австрийской литературы XIX века, драматург, поэт, новеллист, автор исследований по истории античного театра, а также французской и немецкой литературы. "Автобиография" была написана по заказу Академии наук, когда Грильпарцер был уже признанным 68-летним писателем.

Франц Грильпарцер очень интересный автор, сейчас он мало известен, а в начале XX века был весьма популярен как драматург: одну из его пьес — трагедию "Прапатерь" — переводил Александр Блок. В одном из венских театров до сих пор идет его "Братский раздор в Габсбургском доме".

*— Какие произведения австрийских писателей, по вашему мнению, остались вне поля зрения российских издателей?*

— Прежде всего мне хотелось бы назвать роман Х. фон Додерера "Штрудльхофская лестница". Впрочем, его, надеюсь, издадут в недалеком будущем, но пока не буду раскрывать имя переводчика.

## Томас Бернхард как австрийский феномен

Томас Бернхард считается одним из самых ярких и парадоксальных мастеров австрийской прозы XX века. При жизни он снискал себе славу бунтаря и мизантропа, а после смерти в 1989 году поверг литературные круги в шок, оставив завещание, по которому публикация и даже цитирование его сочинений запрещались на

всей территории Австрии вплоть до истечения срока действия авторских прав.

Проникнуть в необычный бернхардовский мир, постичь его философские и эстетические принципы и взаимоотношения с окружающим бытием пытались многие исследователи. Для австрийских литературоведов он прежде всего был "певцом родины", но с остро критических позиций, создателем жанра, который они определяли как "негативный областнический роман".

Недавно вышедшая в свет книга "Томас Бернхард: становление австрийского характера" Джитты Хонеггер стала первым биографическим исследованием, написанным на английском языке. В отличие от прочих биографий, детально реконструирующих жизненный путь писателя, американская исследовательница делает акцент на том, что Бернхард — чисто австрийский феномен. Драматург, театровед и переводчица, Хонеггер рассматривает жизнь и творчество Бернхарда в контексте тех политических и культурных изменений, которые произошли в Австрии после Второй мировой войны, хотя не обходит вниманием и ранние годы писателя.

Все детство Бернхарда прошло под знаком войны. Отец оставил семью еще до его рождения и не то погиб на фронте, не то покончил с собой. Отношения с матерью были достаточно сложными: сын постоянно напоминал о человеке, который принес ей горе и унижение. На формирование личности Бернхарда большое влияние оказал дед по материнской линии, писатель Фроймбихлер, который фактически заменил мальчику отца.

Ребенком Бернхард пережил жестокие бомбардировки союзников, когда, казалось, смерть подступает со всех сторон. После войны мечтал выучиться на музыканта или певца, но тяжело заболел туберкулезом. Именно в больнице он впервые взялся за перо. Писательство стало для него актом преодоления смерти и в то же время вызовом всему низкому и отвратительному, что окружало его с ранних лет.

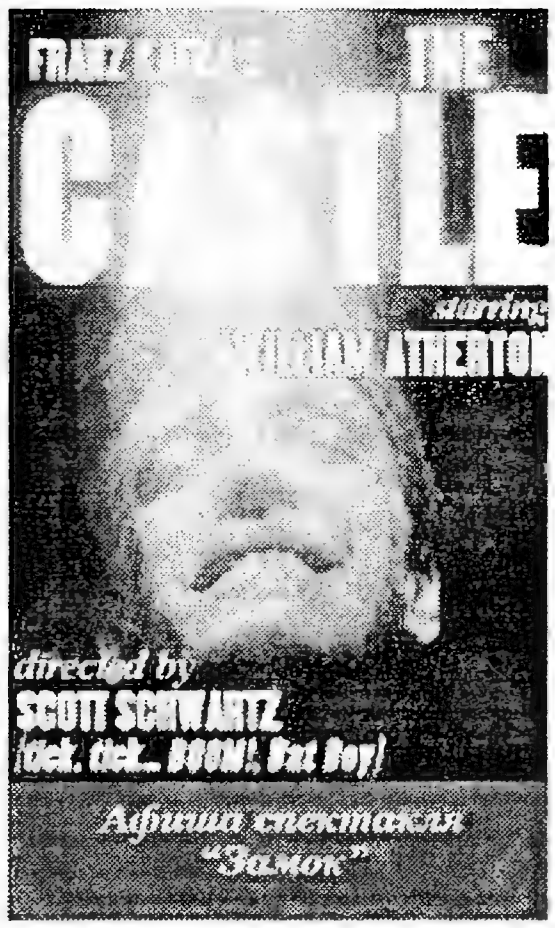
Томас Бернхард всегда был нонконформистом. Австрия была для него сосредоточением зла, символом отсталости, распада и социальной несправедливости. Он критиковал ее за нацистское прошлое, постимперский провинциализм, лицемерие и ксенофобию. В своих пьесах, романах, статьях, интервью и публичных выступлениях высказывал мысли и взгляды, которые возмущали общественное спокойствие. На Бернхарда подавали в суд, его книги изымали из магазинов. Случались и публичные ссоры с властями. Так, на церемонии вручения ему Австрийской государственной премии 1967 года лауреат в благодарственной речи не слишком лицеприятно высказался по поводу отечественной государственной системы, министр вспылил и с такой силой хлопнул стеклянной дверью, что стекло разлетелось вдребезги. А незадолго до смерти писатель заявил, что в 1988 году в Австрии больше нацистов, чем их было в 1938-м, чем вывел из себя президента.

В этой крайней политизированности взглядов, двойственности мировосприятия, где любовь перемешана с ненавистью, исследовательница усматривает связь с австрийской историей. По ее мнению, личность Бернхарда как зеркало отразила весь сложный клубок противоречий, свойственный окружавшей его жизни, явившись порождением того, что сам писатель именовал "австрийским ничтожеством". Сам Бернхард толковал жизнь как вселенский театр. Театр был не только его профессией, но и жизненной парадигмой, а игра — не только основой творчества, но и способом построения своеобразного мира, который, по словам критиков, продолжает завораживать и шокировать даже после смерти автора.

## "Замок" Франца Кафки на театральных подмостках

Главный режиссер молодого нью-йоркского театра "Манхэттен ансамбль" Скотт Шварц предпринял интересный эксперимент, поставив спектакль по мотивам самого загадочного романа Франца Кафки. В основу спектакля легла пьеса, которую написал в 50-е годы друг Кафки, немецкий литературовед Макс Брод, главным образом знаменитый тем, что, нарушив последнюю волю писателя, не стал предавать огню его рукописи. К произведению Брода уже обращалось несколько режиссеров, в том числе Ингмар Бергман, однако в Америке эти работы почти неизвестны.

Замысел постановки принадлежит художественному руководителю театра Дэвиду Фишельсону и Аарону Лейчтеру, которые не столько перевели пьесу Брода на




английский, сколько предложили собственное толкование знаменитого романа. В результате получился полуторачасовой спектакль из двенадцати сцен, идущий без перерыва.

"Замок" Франца Кафки можно воспринимать как произведение трагикомичное, обличающее бездушный и механистичный окружающий мир. Режиссер, однако, попытался привлечь внимание зрителей и к иному — онтологическому — пласту романа. Что символизирует собой замок? Бога, небеса, врата Истины? В чем кроется смысл странствий землемера К., которому приходится по ходу действия вести борьбу не только с чиновниками, но и с самим собой?

Спектакль интересен еще и тем, что в отличие от романа, так и оставшегося незавершенным, он имеет окончание — это притча о человеке, пришедшем к Вратам закона, позаимствованная из романа "Процесс".

## Да здравствует иностранный туризм и Лоренцо Да Понте!

В XIX веке, в небольшом городке Штайнфельде, жил человек-гигант. Его — как диковинку — возили по всему свету, являя взору то королевы Виктории, то кайзера Вильгельма... Великана не оставили в покое и тогда, когда он, влюбившись, захотел уединения.

Когда он умер, гроб его оказался слишком мал, поэтому штайнфельдцы, не долго думая, отрезали усопшему ноги. А потом смекнули, как использовать славу земляка после его смерти. Они превратили могилу в достопримечательность, воздвигнув на ней памятник, дабы иноземные любители зрелищ не обошли эти места стороной. Такую историю в пьесе "Великан из Штайнфельда" (издательство "Зуркамп") поведал известный австрийский драматург, прозаик и сценарист Петер Туррини.

Почти одновременно в том же издательстве появилась другая новинка этого автора — пьеса "Да Понте в Санта-Фе", премьера которой состоялась на недавно прошедшем театральном фестивале в Зальцбурге.

Действие пьесы происходит на Диком Западе — небольшой оперный театр в городке Санта-Фе дает "Дон Жуана" Моцарта. Театр этот не совсем обычный. Руководит им бывший хозяин салуна, в переоборудованном помещении которого он помещается, а обязанности билетеров и капельдинеров исполняют прежние вышибалы.

Действие оперы иногда прерывают девицы легкого поведения, которые шумной стайкой выбегают на сцену — в остальное время они развлекают почетных гостей и публику в ложах, дабы те не заскучали от серьезной музыки. А если какой-нибудь зритель несмотря ни на что выказывает недовольство постановкой, он попросту вышвыривается вон.

Лоренцо Да Понте, автор либретто "Дон Жуана", переодевшись продавцом бренди, тайком проникает в театральное фойе. Он хочет исправить многовековую несправедливость. Все вокруг превозносят музыку "великого Моцарта", тогда как имя либреттиста даже не указывается на афишах. Поэтому Лоренцо Да Понте должен выйти на сцену и разъяснить зрителям, что он тоже заслуживает толику признания. Однако осуществить этот план ему не дают вездесущие капельдинеры...

*Петер Туррини в роли оперного певца Бориса Кадори, исполняющего партию Лоэнгрина, в фильме Йорга Гразера "Три секунды вечности"*

По материалам газеты "Нью-Йорк таймс" [США], журнала "Спайк мэгэзин" [Великобритания], каталога издательства "Зуркамп" [Германия].

# Австрийская *литература на страницах "ИЛ"*

## *Романы, повести, рассказы, пьесы, стихи, эссе*

1955 Николаус Ленау. *Стихи* [№ 3]

1958 Леопольд Грюнвальд. *Современная австрийская литература.* Обзор [№ 10]

1961 Леопольд Грюнвальд. *Когда молчание нарушено.* Статья [№ 6]

1963 Леопольд Грюнвальд. *Новая австрийская проза.* Письмо из Вены [№ 8]

1964 Франц Кафка. *Рассказы* [№ 1]

1967 Гуго Гупперт. *Бригада двадцать первого января.* Кузбасская баллада [№ 6]

1969 Рейнгард Федерман. *Голос.* Рассказ [№ 3]

1970 Роберт Музиль. *Тонка.* Повесть [№ 3]

1972 Эрих Фрид. *Стихи* [№ 1]

1974 Ингеборг Бахман. *Стихи* [№ 3]

Пауль Целан. *Стихи* [№ 5] 1975

Райнер Мария Рильке. *Стихи* [№ 12]

1979 Венделин Шмидт-Денглер. *Преодолеть отчаяние.* Статья [№ 8]

1980 Роберт Музиль. *Рассказы* [№ 9]

1981 Карл Краус. *Афоризмы* [№ 8]

1982 Петер Хандке. *Женщина-левша.* Повесть [№ 2]

1983 Роберт Музиль. *Человек без свойств.* Отрывок из романа [№ 9]

Дьёрдь Шебештьен. *Австрийская литература и ее связи с литературами дунайского региона.* Статья [№ 10]

Томас Бернхард. *Подвал.* Повесть [№ 11]

1984 Кристине Нёстлингер. *Дуйбол-привет!* Повесть [№ 12]

1985 Стефан Цвейг. *Кристина Хофленер.* Роман [№ 7–9]

1986 Эрих Фрид. *Стихи* [№ 6]

1987 Эрих Фрид. *Стихи* [№ 10]

1988 Франца Кафка. *Замок.* Роман [№ 1–3]

1989 Георг Тракль. *Стихи* [№ 11]

1990 Райнер Мария Рильке. *О фонтанах.* Вглубь одного стихотворения [№ 7]

1991 Вольфганг Краус. *В роли предтечи.* Австрийская культура в силовом поле европейских культурных течений. Статья [№ 2]

1992 Густав Майринк. *Майстер Леонгард.* Новелла [№ 3]

Роберт Музиль. *Душевные смуты воспитанника Тёрлесс.* Роман [№ 4]

Теодор Крамер. *Вырезки из газет.* Криминальные баллады [№ 11–12]

1993 Элиас Канетти. *Другой процесс.* Франц Кафка в письмах к Фелице. Повесть-эссе [№ 7]

*"Wespennest".* В рубрике "Литературная пресса мира" [№ 11]

1995 Ильза Брем. *Стихи* [№ 8]

Хаймито фон Додерер. *Очень короткие истории* [№ 8]

Карл Любомирский. *"Голубой цветок на обочине..."* Стихи [№ 8]

Йорг Мауте. *Венские правила хорошего тона* [№ 8]

Кристофер Рансмайр. *Убийство.* Отрывок из романа [№ 8]

Йозеф Рот. *Иов.* Роман [№ 8]

*"Манускрипты".* В рубрике "Литературная пресса мира" [№ 8]

1996 Йозеф Рот. *Легенда о святом пропойце.* Повесть [№ 1]

Петер Хандке. *Опыт познания усталости.* Эссе [№ 6]

Ильза Тильш. *Стихи* [№ 8]

Ингеборг Бахман. *Рассказы* [№ 9]

Пауль Целан. В рубрике "Портрет в зеркалах" [№ 12]

1997 Адальберт Штифтер. *Кондор.* Рассказ [№ 2]

1998 Йозеф Рот. *Бюст императора.* Рассказ [№ 3]

Райнер Мария Рильке. *Воскрешение Лазаря.* Стихотворение [№ 5]

1999 Эрнст Яндль. *Стихи* [№ 10]

Радек Кнапп. *Франек.* Рассказ [№ 11]

Петер Туррини. *Все, наконец.* Монолог [№ 12]

Пауль Целан. *Псалом.* Вглубь одного стихотворения [№ 12]

2000 Ингеборг Бахман. *Смерть придет.* Неоконченный рассказ [№ 7]

2002 Бригитта Швайгер. *Откуда в море соль.* Роман [№ 1]

Йозеф Рот. *Склеп капуцинов.* Роман [№ 6]

Гюнтер Фрайтаг. *Из Флоренции.* Рассказ [№ 7]

# Авторы номера

**Кристоф Рансмайр**
**Christoph Ransmayr**
[р. 1954]. Австрийский писатель.

Автор романов *Последний мир* [*Die letzte Welt*, 1988], *Болезнь Китахары* [*Morbus Kitahara*, 1995], повести *Третий воздух, или Театр у моря* [*Die dritte Luft, oder Eine Bühne am Meer*, 1997], сборника репортажей и эссе *Дорога на Сурабаю* [*Der Weg nach Surabaya*, 1997]. Мировую известность автору принес роман *Последний мир*, переведенный на все европейские языки.
Публикуемый роман печатается по изданию: *Die Schrecken des Eises und der Finsternis* [Wien, Christian Brandstätter & Edition, 1984].

**Петер Хандке**
**Peter Handke**
[р. 1942]. Австрийский писатель. Лауреат многих литературных премий.

Автор романов *Шершни* [*Die Hornissen*, 1966], *Мой год в ничейной бухте* [*Mein Jahr in der Niemandsbucht*, 1994]; пьес *Поругание публики* [*Publikumsbeschimpfung*, 1966], *Каспар* [*Kaspar*, 1968], *Верхом через Боденское озеро* [*Der Ritt über den Bodensee*, 1971]; повестей *Короткое письмо к долгому прощанию* [*Der kurze Brief zum langen Abschied*, 1972], *Несчастье без желаний* [*Wunschloses Unglück*, 1972], *История детства* [*Die Kindergeschichte*, 1981], *История карандаша* [*Die Geschichte des Bleistifts*, 1982], *Медленно в тени* [*Langsam im Schatten*, 1992]. Многие произведения П. Хандке экранизированы. Нашим зрителям знакомы фильмы по его повестям *Страх вратаря перед одиннадцатиметровым* [*Die Angst des Tormanns beim Elfmeter*, 1972] и *Небо над Берлином* [*Der Himmel über Berlin*, 1987], снятые кинорежиссером Вимом Вендерсом.
В *ИЛ* опубликована повесть *Женщина-левша* [1982, № 2] и эссе *Опыт познания усталости* [1996, № 6]. Рассказ публикуется по изданию: *Versuch über die Jukebox* [Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1990].

**Фридерика Майрёкер**
**Friederike Mayröcker**
[р. 1924]. Австрийская поэтесса, прозаик, эссеист, член Берлинской академии искусств, лауреат премии Бюхнера [2001].

Автор книг стихов *Возраст одержимости* [*Das besessene Alter*, 1991], *Магические листы* [*Magische Blätter I–IV*, 1983–1995], *Соседние металлы* [*Benachbarte Metalle*, 1998] и др.
Публикуемые стихи и эссе взяты из сборников *Gute Nacht, Guten Morgen* [Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1982] и *Requiem für Ernst Jandl* [Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 2001].

**Даниэль Кельман**
**Daniel Kehlmann**
[р. 1975]. Австрийский прозаик и критик.

Автор романов *Миры Берхольма* [*Beerholms Vorstellung*, 1997 ], *Время Малера* [*Mahlers Zeit*, 1998], *На краю земли* [*Der fernste Ort*, 2001]. Публикуемый рассказ взят из книги *Под солнцем* [*Unter der Sonne*. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1998].

**Карл Любомирский**
**Karl Lubomirski**
[р. 1939]. Австрийский поэт и прозаик, президент ПЕН-клуба Лихтенштейна.

Автор поэтических сборников *Тишина – мера пространства* [*Stille ist das Mass der Weite*, 1973], *Постоялец жизни* [*Untermieter des Lebens*, 1976], *Меридианы надежды* [*Meridiane der Hoffnung*, 1981], *Отсутствие* [*Das Ausbleiben*, 1994] и прозы: *Жизнь поэта – поэзия жизни* [*Dichterleben – Lebendichtung*, 1977], *Тахира и Шахиди* [*Tahira und Schahidi*, 1994].
Публикуемые стихи взяты из сборника *Propyläen der*

*Nacht. Gedichte 1960–2000* [Connect Edizioni/ Edition Atelier, Milano, 2000].

**Ингеборг Бахман**
**Ingeborg Bachmann**
[1926–1973]. Австрийская писательница, лауреат многих литературных премий.

Автор сборников стихов *Отсроченное время* [*Die gestundete Zeit*, 1953–1957], *Призыв к Большой Медведице* [*Anrufung des Großen Bären*, 1956], романа *Малина* [*Malina*, 1971], драм *Цикады* [*Zikaden*, 1955], *Добрый бог из Манхэттена* [*Der gute Gott von Manhatten*, 1958] и др. В *ИЛ* публиковались ее стихи [1965, № 12; 1974, № 3], рассказы [1996, № 9, 2000, № 7].
Публикуемые стихотворения взяты из книги *Werke. B-de 1–4.* [München, Piper, 1978].

**Томас Бернхард**
**Thomas Bernhard**
[1931–1989]. Австрийский прозаик и драматург, лауреат многих литературных премий.

Автор сборника прозаических миниатюр *Происшествия* [*Ereignisse*, 1969], романов и повестей *Каменоломня* [*Das Kalkwerk*, 1970], *Корректура* [*Korrektur*, 1975], *Любители дешевых обедов* [*Die Billigesser*, 1980], *Бетон* [*Beton*, 1982], *Ко дну* [*Der Untergeher*, 1983], *Лесоповал* [*Holzfällen*, 1984], *Изничтожение* [*Auslöschung*, 1986]. На русском языке выходили его роман *Стужа* [М., 2000], повести *Причина* и *Подвал* [*ИЛ*, 1983, № 11; Томас Бернхард. *Избранное.* М., 1983], *Ребенок как ребенок* [*Повести австрийских писателей.* М., 1988], *Старые мастера* [*Альманах немецкой литературы.* М., 1995], книга *Видимость обманчива и другие пьесы* [М., 1999].
Публикуемый перевод выполнен по изданию: *Wittgensteins Neffe. Eine Freundschaft* [Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1982].

**Хаймито фон Додерер**
**Heimito von Doderer**
[1896–1966] Австрийский писатель, лауреат многих литературных премий, в т. ч. Большой премии Австрийской республики и премии Баварской академии изящных искусств.

Автор сборника стихов *Улицы и ландшафт* [*Gassen und Landschaft*, 1923], романов *Убийство, которое совершает каждый* [*Ein Mord, den jeder begeht*, 1938], *Окольный путь* [*Ein Umweg*, 1940, рус. перев. 1988], *Освещенные окна, или Превращение действительного советника Юлиуса Цихаля в человека* [*Die erleuchteten Fenster oder Die Menschenwerdung des Amtsrates Julius Zihal*, 1950, рус. перев. 1988], *Меровинги* [*Die Merowinger*, 1962]. Наибольшую известность принес Додереру роман-дилогия *Штрудльхофская лестница* [*Strudlhofstiege*, 1951] и *Бесы* [*Die Dämonen*, 1956]. Писал также новеллы и короткие рассказы.
Публикуемые рассказы взяты из книги: *Die Erzählungen. Hrsg. von Wendelin Schmidt – Dengler* [München, Biederstein Verlag, 1972].

**Франц Кафка**
**Franz Kafka**
[1883–1924]. Австрийский писатель.

Автор опубликованных посмертно романов *Америка* [*America*, 1927], *Процесс* [*Der Prozeß*, 1925], *Замок* [*Das Schloß*, 1926]. При жизни писателя вышло несколько рассказов. В *ИЛ* публиковались рассказы Кафки [1964, № 1] и роман *Замок* [1988, № 1–3].
Публикация выполнена по изданию: *Franz Kafka. Briefe an Felice und andere korrespondenz aus der Verlobungszeit.* [Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1967]. Из писем, вошедших в данную публикацию, три письма [20.9.1912, 14–15.1.1913 и 14.08.1913] печатались в изданиях Кафки в переводе Е. Маркович.

**Марианна Грубер**
**Marianne Gruber**
[р. 1944]. Австрийская писательница, президент Австрийского литературного общества.

Автор романов *Стеклянный шар* [*Die Gläserne Kugel*, 1981], *Затишье* [*Windstille*, 1991] и др.
Публикуемое эссе печатается по рукописи.

**Нина Николаевна Федорова**
Переводчица с немецкого, норвежского, нидерландского, английского и польского языков, лауреат Австрийской государственной премии в области литературного перевода за 1994 год.

В ее переводе печатались произведения К. Вольф, Г. Гессе, Ф. Дюрренматта, А. Зегерс, К. Рансмайра, П. Низона, Й. Рота, А. Штифтера, рассказы М. Л. Кашниц и З. Ленца, драмы Р. Музиля и др. В *ИЛ* в ее переводе были опубликованы романы А. Зегерс *Каменный век* [1975, № 12] и *И снова встреча* [1978, № 11], Д. Веллерсхофа *Победителю достанется все* [1986, № 6—8, совместно с М. Рудницким], К. Рансмайра *Убийство* [1995, № 8] и др.

**Галина Михайловна Косарик**
Переводчица с немецкого.

В ее переводе печатались произведения немецких, швейцарских и австрийских авторов — Г. Кунерта, Ф. К. Крёца, П. Хэртлинга, Э. Кестнера, И. В. Гёте, Х. И. Шедлиха, Г. Гессе, Ф. Глаузера, Ф. Дюрренматта, А. Мушга, М. Сутера, Г. Вольфгрубера, М. Шпербера, Г. Эрнста, П. Хандке и др.

**Елизавета Всеволодовна Соколова**
Переводчица с немецкого, кандидат филологических наук.

В ее переводе в *ИЛ* напечатаны стихи австрийского поэта К. Любомирского [1995, № 8], немецких поэтесс У. Хан [1994, № 2 и 1997, № 7] и И. Тильш [1996, № 8], швейцарской поэтессы Э. Буркарт [1998, № 9], эссе Д. Грюнбайна *Галилей измеряет Дантов ад* [1998, № 1], рассказы Ю. Герман [2000, № 11].

**Вячеслав Глебович Куприянов**
[р. 1939]. Поэт, переводчик с немецкого, лауреат Европейской литературной премии [Югославия].

Автор книг стихотворений *От первого лица* [1981], *Жизнь идет* [1982], *Домашнее задание* [1986], *Эхо* [1988], *Дайте договорить* [2002], переводов Э. Фрида [1987], Р. М. Рильке [1999].

**Анна Геннадьевна Кацура**
Литературовед, переводчица с немецкого, кандидат филологических наук.

В ее переводе опубликованы рассказы Й. Рота *Бюст императора* [*ИЛ*, 1998, № 3], Ю. Герман *Коралловый браслет* [*ИЛ*, 2000, № 11], стихи К. Любомирского, И. Ракузы и др.

**Татьяна Александровна Баскакова**
Переводчица с немецкого, итальянского и французского языков.

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Германский мастер и его время*, романы К. Крахта *Faserland* и *1979*, А. Шмидта *Каменное сердце*; в *ИЛ* — рассказы А. Шмидта [1999, № 7] и И. фон Кизерицки [2002, № 5].

**Владимир Денисович Седельник**
[р. 1935]. Литературовед, доктор филологических наук, переводчик с немецкого. Лауреат литературной премии им. А. Карельского [1997].

Автор книг *Герман Гессе и швейцарская литература* [1970], *Швейцарские варианты* [1990, в соавторстве с Н. Павловой], многих статей по немецкоязычной, преимущественно швейцарской литературе. В его переводе изданы романы *Ной* Х. Лёчера, *Год любви* П. Низона, воспоминания Лу Андреас-Саломе *Прожитое и пережитое*, а также произведения Г. Гессе, У. Тимма, Ф. Глаузера, Ф. Дюрренматта, К. Шпиттелера и др. Автор ряда статей в *ИЛ*.

**Михаил Львович Рудницкий**
[р. 1945]. Литературный критик и переводчик с немецкого, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолит* [1996] и премии им. Жуковского [2002].

Автор книги *Перед лицом правды* [1987]. В его переводах издавались романы и повести *Короткое письмо к долгому прощанию* П. Хандке, *Искра жизни* Э. М. Ремарка, *И больше нечего желать* А. Мушга и др. В *ИЛ* напечатаны его переводы *Под конвоем заботы* Г. Бёлля [1988, № 11, 12], *Другой процесс* Э. Канетти [1993, № 7], *Медея. Голоса* К. Вольф [1996, № 1], *Собачьи годы* Г. Грасса [1996, № 5—7], *Земля обетованная* Э. М. Ремарка [2000, № 3], *Завет* Г. Бёлля [2001, № 1], *Вилленброк* К. Хайна [2001, № 7, 8] и др.

**Евгения Александровна Кацева**
Переводчица с немецкого, лауреат премии им. А. Карельского и премии Австрийского союза переводчиков.

В ее переводе публиковались произведения Б. Брехта, Г. Бёлля, Ф. Дюрренматта, Ф. Кафки, романы Г. де Бройна *Буриданов осел* [*ИЛ*, 1969, № 11—12, совместно с Т. Иллеш], *Присуждение премии* [*ИЛ*, 1973, № 5], *Новое благоденствие* [*ИЛ*, 1988, № 1], повести Макса Фриша *Человек появляется в эпоху голоцена* [*ИЛ*, 1981, № 1], *Синяя Борода* [*ИЛ*, 1982, № 11] и др. Составитель *Собраний сочинений* Ф. Кафки, М. Фриша, Ф. Дюрренматта, Г. Грасса, Р. Музиля. Автор автобиографической книги *Мой личный военный трофей* [М., 2002].

**Александр Васильевич Белобратов**
[р. 1951]. Переводчик с немецкого, литературовед-германист, кандидат филологических наук.

Автор книги *Роберт Музиль. Метод и роман* [1990]. Составитель и филологический редактор серии *Австрийская библиотека в Санкт-Петербурге*. В его переводе публиковались афоризмы К. Крауса, письма Г. Тракля, эссе Р. Музиля, романы *Бегство без конца* Й. Рота, *Любовницы* и *Пианистка* Э. Елинек и др.

## *ЧТО ЧИТАЮТ В АВСТРИИ?*

*По результатам еженедельного опроса, проведенного издательским бюро "Шварцер" 2 декабря 2002 года.*

1. HENNING MANKELL
*Die Rückkehr des Tanzlehrers*

2. JANATHAN FRANZEN
*Die Korrekturen*

3. ERICH HACKL
*Die Hochzeit von Auschwitz*

4. ISABEL ALLENDE
*Die Stadt der wilden Götter*

5. GERHARD ROTH
*Der Storm*

6. DONNA LEON
*Das Gesetz der Lagune*

7. ANDREA CAMILLERI
*Der Kavalier der späten Stunde*

8. LILY BRETT
*Alles halb so schlimm!*

9. IAN MCEWAN
*Abbitte*

10. MICHAEL CRICHTON
*Beute*

# ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ НАШИХ ЕЖЕГОДНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ ЗА 2001 ГОД

Премия ***ИЛлюминатор***
[учредители – *ИЛ* и МДМ Банк]
присуждена Анатолию Гелескулу
за выдающиеся заслуги в области перевода зарубежной поэзии
(испанской, французской, польской).

Премия ***Инолит***
[учредители – *ИЛ* и МДМ Банк]
присуждена Вере Феоновой
за перевод книги ОРХАНА ПАМУКА *Меня зовут Красный*

Премия ***Инолиттл***
[учредители – ИЛ и МДМ Банк]
присуждена Ольге Вайнштейн
за статью *Грамматика ароматов*

Почетный ***диплом критики зоИЛ***
присужден Наталье Богомоловой
за перевод романа АРТУРО ПЕРЕСА-РЕВЕРТЕ *Клуб Дюма, или Тень Ришелье*

rinet

*Быстрый доступ*
*Надежная связь*
*Качественный сервис*
*Rinet*

Internet servis provider **www.rinet.ru**

**Услуги подключения к сети INTERNET**

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

**Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00**
**Телефоны:** (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
**Адрес:** Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
**E-mail:** info@rinet.ru

В формлении обложки использован фрагмент композиции современной австрийской художницы Юдит Мозер.

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжном магазине "Библио-Глобус" — ул. Мясницкая, д. 6.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.8.2002
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1956.
Тираж 9400 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика

**ЛИНИЯ-АРТ**

**галерея современного искусства, москва, пятницкая, 41**

Некоммерческая организация культуры Галерея "Линия-Арт"
существует с 1997 года

---

В художественной программе Галереи различные направления выставочной деятельности:

наследие ряда московских художников,
искусство династий,
современная живопись, скульптура, графика, эмали.

Галерея экспонирует работы известных московских художников поколений 60-х, 70-х и 80-х годов.

**М**ихаил **Р**удаков, **О**льга **Р**удакова,
**В**алерий и **А**лександр **В**олковы,
**А**натолий **З**верев, **И**горь **К**ислицын,
**С**ергей **А**лферов, **А**лександр **Б**абин,
**И**рина **Р**усакова, **И**горь **Е**рмолаев,
**Г**иви **А**наньев, **О**лег **С**лепов,
**Е**вгений **В**ерещагин –

далеко не полный перечень ведущих авторов Галереи

**С октября 2002 г. в Галерее читается курс лекций по истории мирового искусства**

---

**Наш телефон/факс: (095) 953 36 24**
**E mail: liniya-art@yandex.ru**
**Адрес: Пятницкая ул., 41, стр. 1**

**Посетить Галерею можно с 14 до 19 часов по предварительной договоренности с Администрацией Галереи**

---

[ 3 ] 2003

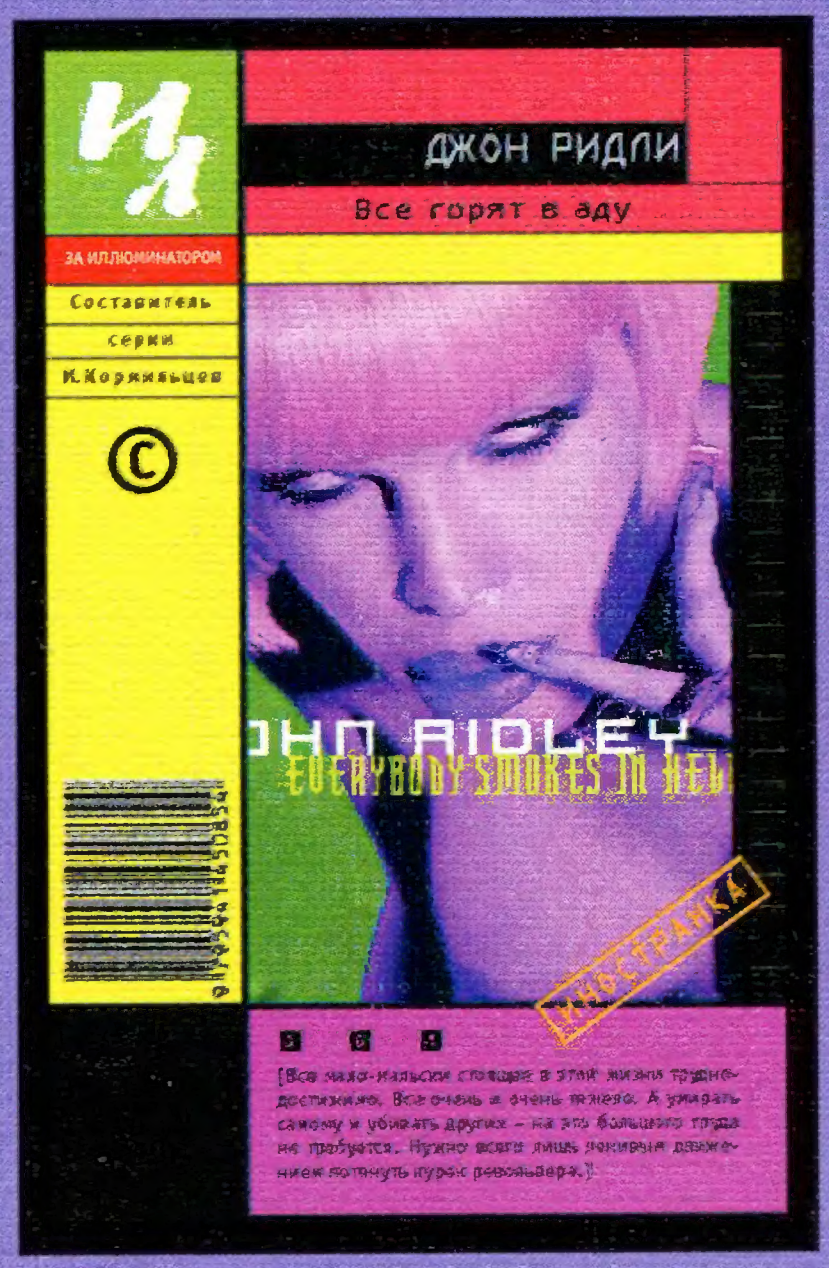
ПЬЕСА МИЛОРАДА ПАВИЧА “КРОВАТЬ ДЛЯ ТРОИХ” / СТИХИ МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА / ПОВЕСТЬ ФЛЕР ЙЕГГИ “ПРОЛЕТАРКА” / “THERE WAS A YOUNG LADY OF RUSSIA” ЭДВАРДА ЛИРА В РУБРИКЕ “ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ” / ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ ФЕЛИСБЕРТО ЭРНАНДЕСА / ФИЛЛИС РОУЗ О КЭТРИН ХОГАРТ И ЧАРЛЬЗЕ ДИККЕНСЕ

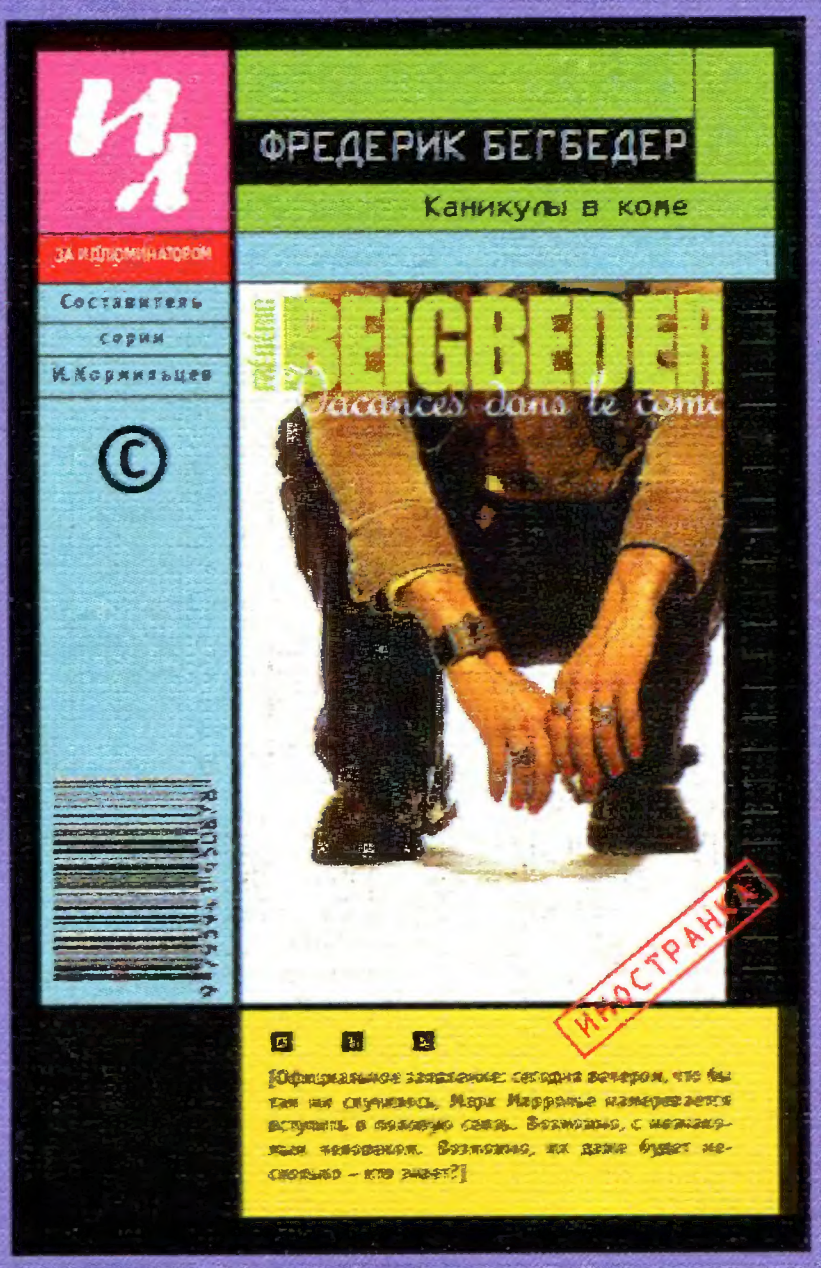
Новая серия издательства "Иностранка"

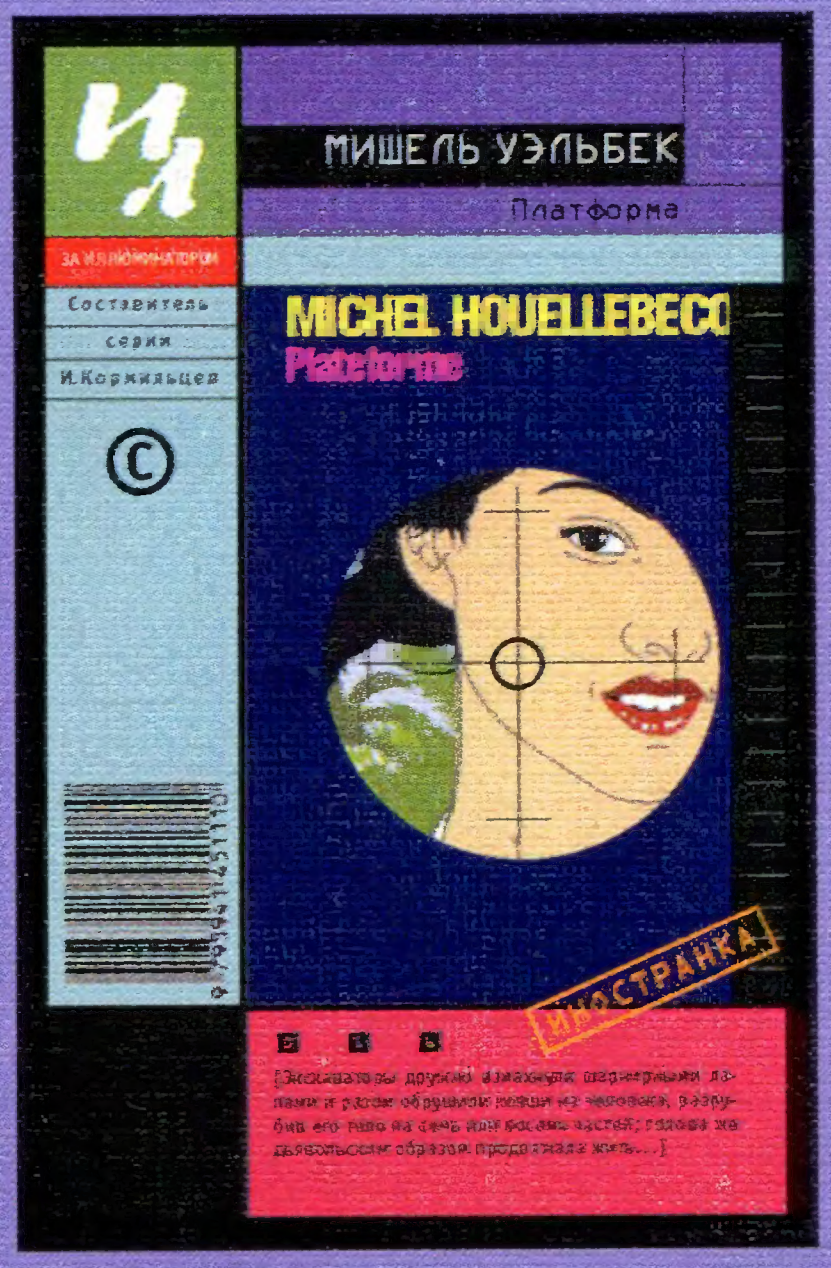
# "За иллюминатором"

составитель Илья Кормильцев

## "ИЛЛЮМИНАТОР" нового века






По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"

тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru

или по телефонам: в Москве (095) 289 0284; в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2003, №2, 1-288